Юрий Зобнин

Ахматова

Юные годы Царскосельской музы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От первых публикаций Анны Ахматовой до настоящего времени её творчество и удивительная судьба неизменно привлекают интерес всех поклонников русской литературы. Однако путь Ахматовой к триумфальному поэтическому дебюту всегда был окружён таинственностью. По её собственным словам, «когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилёва, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь». Новая книга петербургского литератора и историка Серебряного века Юрия Зобнина – первый подробный рассказ о жизни Ахматовой до литературного признания, жизни, полной драматических событий, тесно переплетённых с историческими триумфами и катастрофами Российской империи конца XIX – начала XX века. Настоящее издание, рассчитанное на широкий круг читателей, выходит в юбилейный год 50-летия со дня кончины Анны Ахматовой и открывает цикл книг Юрия Зобнина, посвящённых жизнеописанию великого поэта России.

- Юрий Владимирович Зобнин
  - ○
  - ○ Часть первая
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV
    - ■ V
    - ■ VI
  - ○ Часть вторая
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV
    - ■ V
    - ■ VI
    - ■ VII
    - ■ VIII
    - ■ IX
    - ■ X
  - ○ Часть третья
    - ■ I

        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
    - Заключение
    - Библиография
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30

- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74

- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118

- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162

- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206

- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250

- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294

- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305

Юрий Владимирович Зобнин
Ахматова. Юные годы Царскосельской Музы

Тане Сарафановой

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.

И.Ф. Анненский

© Зобнин Ю.В., 2016
© ООО «Рт-СПб», 2016
© «Центрполиграф», 2016

* * *

Часть первая
Россия Достоевского

I

Эразм Иванович Стогов – Детство – Подпоручик И. Д. Стогов – Капитан-лейтенант И. П. Бунин и Анна Бунина – Путешествие в Петербург – Морской кадетский корпус – Служба на Дальнем Востоке – Вновь в Петербурге – III отделение Собственной ЕИВ канцелярии – Жандармский штаб-офицер в Симбирске – Женитьба на Анне Мотовиловой – Служба в Киеве – В отставке.

Больше всего на свете отставной жандармский штаб-офицер, полковник Эразм Иванович Стогов любил правильный ход вещей, не нарушаемый дерзновенно, отнюдь, ничем – ни помыслами, ни поступками, ни неразумными страстями человеческими, которые, как известно, чаще всего и оказываются досадной помехой свершающемуся в мире божественному промыслу. Сам он отличался завидным здоровьем, никогда не пил ни капли вина и равномерно был усерден и бережлив в делах, чем снискал глубокое уважение соседей-помещиков по всему Летичевскому уезду Подольской губернии. Молился Эразм Иванович всегда долго и истово, однако попов не жаловал, с сокрушением замечая среди знакомого духовенства ту же неподобающую суетность, что и среди мирян. Был Эразм Иванович строг: сына своего, Илиодора, за непочтительность прогнал с глаз долой без средств и состояния. С гостями же, вне различия звания, всегда был внимателен и любезен. В хорошем расположении духа говорил, шутил и смеялся очень охотно, а если избранное общество оказывалось совсем приятным – и вовсе пускался в воспоминания о своих встречах в молодые годы с государем Николаем Павловичем, которого всю жизнь почитал пламенно и ставил на недосягаемую высоту:

– Я, будучи тогда штаб-офицером флота, обязан был при разводе явиться к Государю. Император Николай I был верхом – что за красавец, что за молодец, нельзя не любоваться! Нас, после развода, являлось человек тридцать, я стоял из последних, на левом фланге. Развода и всех проделок я почти не видал, потому что всё смотрел на истинно русского царя. Нас перекликал комендант, а богатырский конь переступал только на одного человека – и ни разу не сбился. Дошла очередь и до меня. «Капитан-лейтенант Стогов из Камчатки», – сказал комендант. «Долго Вы там были? – спросил император с привлекательной улыбкой. – Скучно там было Вам?» – «Нет, Государь, там много службы и там русское царство!»

– И Государь, – с чувством заключал Эразм Иванович, – милостиво поклонился в ответ!

В своем благоденствии Эразм Иванович не обделён был и потомством. Помимо неблагодарного сына Илиодора, небеса подарили ему пятерых дочерей, которых он, по мере возрастания, выдавал, как водится, за соседских помещиков. Старшая Ия стала женой Александра Змунчиллы, Алла – Владимира Тимофиéвича, Зоя – Льва Демяновского, Анна – Виктора Вакара[1]. За каждой полагалось 80 тысяч рублей приданого (Эразм Иванович подходил к браку, как, впрочем, и ко всякому солидному жизненному предприятию, основательно). Сёстры были дружны меж собой, и оставались дружны, разлетевшись по своим новым домам, так что даже тайком от отца, получив каждая свою долю, скинулись вместе на вспомоществование отверженному Илиодору, бедствовавшему с семьёй учителем в Полтаве. Наконец, когда в 1874 году Эразм Иванович выдал за Григория Григорьевича Змунчиллу (брата Александра и свояка обожаемой Ии) последнюю дочь – самую добрую, безответную и бестолковую младшенькую Инну (сопроводив и её в жизненный путь всё теми же непременными 80 тысячами), – то, с облегчением вздохнув, переписал на чету Змунчилл-старших 4000 десятин своей Снитовки, и зажил тут, уйдя от дел, на полном покое, балуя сверх всякой меры регулярно прибывающих внучат да составляя в назидание потомства «Очерки, рассказы и воспоминания» собственной жизни[2].

А вспомнить и рассказать ему, и в самом деле, было что!

Эразм Иванович Стогов родился 24 февраля 1797 года в семье отставного подпоручика Ивана Дмитриевича Стогова (1766–1852), ординарца славного генералиссимуса, князя А. В. Суворова-Рымникского. Вместе с другими чудо-богатырями Иван Дмитриевич брал на штык турецкий Гаджибей, позже воевал на Дунае. Громкая слава суворовских викторий не преумножила состояния бравого подпоручика. Именье Золотилово Можайского уезда Московской губернии, где он проживал в отставке, было захудалым, всего два десятка душ, принадлежавших, к тому же нераздельно, не только Ивану Дмитриевичу, но и его братьям Михаилу и Федору, таким же почтенным инвалидам екатерининских войн. Правда, золотиловские помещики упорно пытались доказать родство со знаменитыми новгородскими боярами Стоговыми, соперничавшими в 1478 году с московским великим князем Иваном III и рассеянными, веком позже, его грозным внуком Иваном IV по разным российским землям. Однако Московское губернское дворянское депутатское собрание в конце концов после многолетних разбирательств, признало происхождение Ивана Дмитриевича и его родни лишь от деда, Дементия Аркадьевича Стогова, купившего Золотилово в

последней четверти XVII столетия, – о чём Ивану Дмитриевичу и была выдана в 1804 году соответствующая обидная грамота. Получалось, что вместо легендарных поколений, уходящих в глубину веков, к новгородско-московским распрям, ветеран Гаджибея был родовит лишь дедушкой-приобретателем да чудаковатым батькой, который, по слухам, знал заветное слово, чтобы останавливать лошадей на скаку.

Как и полагается воспитаннику Суворова, Иван Дмитриевич был бескорыстно честен, к картам и вину равнодушен, неприхотлив в быту, чрезвычайно смел и горяч до безрассудности: деревенских озорников нещадно наставлял розгами, дворовых бездельников – кулаками. Улыбка никогда не касалась его уст; чтение гражданских книг он почитал делом греховным, духовную же литературу усердно изучал, молился исступленно и постился, как истинный аскет. Зная добродетель Ивана Дмитриевича, можайское дворянство неоднократно избирало его на ответственные должности местного судьи и казначея. Тут Иван Дмитриевич в общих заботах сблизился с казначеем соседнего Рузского уезда Максимом Кузьмичем Ломовым, чья дочка Прасковья (1781–1832) почиталась первой уездной красавицей; надо ли добавлять, что она и стала вскоре дражайшей половиной сурового инвалида. В браке Прасковья Максимовна принесла ему шестнадцать детей, принесла бы и семнадцатого, да, уже будучи на сносях, вывалилась из пролётки и насмерть убилась. Из столь многочисленного потомства Ивана Дмитриевича выжило, впрочем, лишь четыре дочери и трое сыновей, из которых Эразм был старшим.

Терпя по добродетели своей постоянную нужду, Иван Дмитриевич, в отцовских попечениях, регулярно, если представлялся случай, прибегал к благодетельной помощи извне. Эразм шести лет от роду был отдан для начального воспитания в Лужецкий монастырь под Можайском. Пробыв там год с небольшим, он перекочевал в имение Праслово под крыло к местному богачу Борису Карловичу Бланку, состоявшему со Стоговыми в не уловимом свойстве через тёщу Варвару Петровну. К Варваре Петровне, урождённой Буниной, наезжала влиятельная столичная родня. Брат её, Иван Петрович Бунин, блестящий адъютант адмирала П. И. Ханыкова, получив в 1807 году капитан-лейтенанта, «баламутил» можайских помещиков, устраивавших в честь балтийского героя обеды и балы с фейерверками. На одном из увеселений Бунин, выловив за ухо отрока Эразма, посоветовал находящемуся здесь же родителю:

– Вижу, что вашего сына не будет укачивать на корабле; отдайте-ка его в Морской корпус…

Со своей стороны капитан-лейтенант сулил всяческое содействие. С этого момента судьба Эразма Ивановича была предрешена. В начале 1810 года отец, по договоренности, отвёз его в Москву к младшей сестре Варвары и Ивана Буниных Анне Петровне, собиравшейся в столицу[3].

Анна Петровна Бунина, доставившая недоросля Эразма в Петербург, была женщиной замечательной. Семнадцати лет от роду, явившись по сиротской бедности из рязанской поместной глуши, она обратилась к вдовствующей императрице с челобитной… в стихах. Приятно удивлённая новому дарованию, Мария Фёдоровна назначила пенсион. Ободрённая успехом, Анна Петровна тут же написала стихотворное послание к императору Александру I – и тоже получила пенсион. Перебрав затем в качестве адресатов поэтических слёзниц ещё нескольких лиц царствующей фамилии, Анна Петровна не только окончательно поправила свои дела, но и приобрела в светских салонах славу «русской Сафо»[4]. Ко времени появления в Петербурге юного Стогова Анна Бунина уже выпустила первую книгу стихов «Неопытная Муза», которую одобрили Г. Р. Державин и И. А. Крылов. Впрочем, племянник относился к её дарованию скептически. «Стихи стоили страшного труда Анне Петровне, – писал о «тётушке» Эразм Иванович, – но зато и читать их можно только за большое преступление. Может быть, их никто и не читал, но все хвалили Бунину, называли её – “десятая муза”»[5].

Тем не менее, популярности Анны Петровны он был обязан целым рядом полезных светских знакомств. И, конечно, ещё более обязан Эразм Иванович был её брату, который слово своё вполне сдержал, устроив «племяша» без экзамена в младшие, кадетские классы петербургского Морского кадетского корпуса.

В стенах корпуса Эразму Ивановичу предстояло пройти весьма строгую жизненную закалку. Как отмечал историк этого старейшего российского военного училища, «в жизни и обстановке воспитанника того времени оставалось ещё довольно много грубого и сурового. Между кадетами право сильного было в общем употреблении; но всякий маленький и слабосильный гардемарин мог самовластно распоряжаться самым взрослым и сильным кадетом. Воспитанники всех возрастов жили вместе в одних комнатах <…> О чистоте и утончённом комфорте помещения <…> тогда не в одном Морском корпусе, но во всех учебных заведениях не имели понятия, и мальчику надобно было иметь крепкое физическое сложение, чтобы безвредно вынести переход от домашней жизни к Корпусной»[6]. С другой стороны, кадет, а затем гардемарин Стогов застал время, когда, стараниями выдающегося ученого, педагога и литератора П. Я.

Гамалеи, ведавшего учебной частью, воспитанники Корпуса получали образование, соответствовавшее самым высоким, не только российским, но и европейским стандартам. «Каждый, имевший способности, старался изо всех сил, чтобы опередить товарищей или, по крайней мере, не отстать от них. Первые ученики в классе пользовались глубоким уважением своих товарищей, которые даже называли их не иначе, как по имени и отчеству. Почётное кадетское называние Зеймана (See man – морской человек), которым величали товарищи знающих воспитанников, было для честолюбивого мальчика почётнее всякого учебного диплома. Держаться в числе лучших воспитанников было тогда нелегко, если вспомнить, что в курс входило дифференциальное и интегральное исчисления с их приложениями к механике и высшей геометрии. Но в каждом выпуске было около десятка и более таких учеников, которые своим товарищам рассказывали и поясняли всё пройденное не хуже учителя. Из этих-то “зейманов” и вышли наши учёные гидрографы, кругосветные плаватели, искусные адмиралы, боевые капитаны и, кроме множества хороших флотских офицеров, вышло множество способнейших и достойнейших служивых по другим отраслям государственной службы»[7].

Эразму Ивановичу судьба указала для начала служебного роста Дальний Восток, куда он убыл в 1817 году. Шестнадцать следующих лет проходят для него в плаваниях и разнообразных приключениях на Камчатке и в Сибири, в среде, большей частью совершенно экзотической для уроженца Можайской губернии. Такое положение пробуждало в молодом моряке как познавательные[8], так и деловые навыки. Решительно делая карьеру, «зейман» не чуждался прибыльных торговых операций, обнаруживая предприимчивость и железную хватку[9]. Явившись (как уже знает читатель) в 1833 году в Петербург флотским штаб-офицером, Эразм Иванович имел в своём активе богатый профессиональный и жизненный опыт и достаточно средств, чтобы, распростившись с морской службой, переменить жизнь в сторону куда более основательного положения офицера по особым поручениям при главном начальнике III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии графе Александре Христофоровиче Бенкендорфе.

Предание гласит, что, учреждая в 1826 году институт тайного сыска, Николай I вместо инструкции вручил шефу жандармов белый платок со словами: «Вот тебе вся инструкция. Чем больше отрёшь слёз этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!» За давностью лет позабылось, что жандармерия в России создавалась изначально для борьбы не столько с крамолой,

сколько со злоупотреблениями на местах[10]. А. Х. Бенкендорф, совершив в молодости длительное путешествие по России (вплоть до Сибири и Дальнего Востока), был равно потрясён как невероятными богатствами страны и живой бойкостью её многообразного рабочего населения, так и гомерическими масштабами провинциального воровства, которое сводило на нет все добрые начинания Петербурга:

Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет…

Поэтому, разрабатывая по поручению Николая проект оздоровления отечественной жизни, Бенкендорф, помня о круговой поруке, связывающей провинциальные элиты в единое криминальное целое, предложил создать независимую контрольную организацию, не обременённую обычными административными и полицейскими задачами и действующую под покровом государственной тайны. По этому плану европейская Россия, сверх прочего административного деления, была поделена ещё и на пять жандармских округов со своими генералами и штабами (в Петербурге, Москве, Киеве, Витебске и Казани). Округа состояли из региональных отделений, которыми руководили жандармские штаб-офицеры, непосредственно надзирающие за ходом дел на местах. Пресловутый утешительный платок вместо инструктивного формуляра точно отражал специфику их работы – в каждом конкретном случае «отирания слёз» они могли действовать по своему собственному разумению. Законодательным регламентом их обязанности строго не ограничивались, а полномочия предоставлялись огромные: полная независимость от губернской администрации, право самостоятельного объезда губерний, право контроля над полицейским следствием и службой исполнения наказаний, право наблюдения за дворянскими выборами, рекрутскими наборами, организацией ярмарочной торговли и т. д. В идеале жандармский штаб-офицер мыслился создателем III отделения человеческим типом, схожим с героем средневековых рыцарских баллад (а в наше время – героем голливудских боевиков). Deus ex machina[11], он являлся перед жертвами произвола в последний, отчаянный момент – и, именем Государя, вершил высшую справедливость (Бенкендорф так и называл жандармерию – высшей полицией).

Понятно, что для подобной работы требовались особые исполнители, натуры сильные, инициативные, самостоятельные, очень твёрдо стоящие на ногах, имеющие недюжинные познания и способности, но лишённые излишнего идеализма и, конечно, умеющие за себя постоять. Тридцатишестилетний Эразм Иванович Стогов именно таков и был, и заместитель

Бенкендорфа, генерал Л. В. Дубельт, познакомившись с камчатским капитан-лейтенантом, сразу оценил все его достоинства, помог с переводом из флота и в 1834 году, без лишних проволочек, направил командовать жандармами в Симбирск.

Три года, проведённые в Симбирске, стали звёздным часом Эразма Ивановича. Строгий патриот, не имеющий и тени сомнения в правоте своего дела, он коршуном обрушился на губернию, разметав в разные стороны воров, лихоимцев, подозрительных инородцев, иноверцев и тайных франкмасонов. Апофеозом его жандармской эпопеи явилось разоблачение самого губернатора А. И. Загряжского – человека легкомысленного и невоздержанного. Затравленный Загряжский, в слезах, получил указ об отставке, и акции жандармского штаб-офицера поднялись после того на небывалую высоту. Новый губернатор И. С. Жиркевич относился к нему с уважением и опаской, равно как и сменивший Жиркевича (на этот раз без участия Эразма Ивановича) И. П. Хомутов. Последний был одержим идеей совершенно очистить Симбирск от грабителей, донимавших горожан, – и тут жандармский начальник оказался на высоте, лично захватив атамана разбойников, угрожавшего пистолетом… Подвиги Эразма Ивановича в Симбирске завершились после того, как он дерзнул учредить негласный надзор за… сенатором Л. А. Перовским (вице-президентом уделов и будущим министром внутренних дел), объезжавшим в 1837 году охваченные волнениями губернские имения. Возник скандал. Перовский, вернувшись в Петербург, пожаловался на симбирского штаб-офицера императору, но Бенкендорф, знавший о личном расположении Николая I к «камчадалу», не только уладил дело, но ходатайствовал о переводе Эразма Стогова на повышение в Киев.

Эразм Иванович покидал Симбирск, будучи уже человеком семейным. Войдя в силу и почувствовав себя, по собственным словам, «по праву первым», Эразм Иванович, как и следовало в его положении и летах, задумал жениться. Понимая ответственность такого жизненного шага, он взял предварительные меры. Используя свою безграничную осведомлённость, жандармский штаб-офицер составил особый список брачных кандидатур, учитывая и знатность, и добрый нрав, и возможное приданое, нижней границей которого полагалось наличие не менее ста крепостных душ. По всему вышло, что из 126 «великодушных» окрестных невест более всего желательна была Анна Егоровна Мотовилова (1817–1863), дочь отставного поручика, владевшего поместьем Цильна в

шестидесяти верстах от Симбирска. Для Эразма Ивановича, хорошо помнившего родительское фиаско в генеалогических спорах, особенно привлекательной являлась несомненная знатность Мотовиловых, ведущих свое начало из XV века, от московского боярина Федора Ивановича Шевляги, брата самого Андрея Кобылы, родоначальника царствующей фамилии Романовых. По матери же, урожденной *Ахматовой*, Анна Егоровна состояла в родстве с князьями Чегодаевыми, чьим легендарным пращуром был знаменитый Чагатай-хан, второй сын Чингисхана Тэмуджина и Борте[12].

Явившись в Цильну, Эразм Иванович без особых прелюдий объявил хозяевам о намерении своём.

– Но Вы же незнакомы с моей дочерью, – удивился Егор Николаевич Мотовилов, – да и мы Вас не знаем!

– Извините, но я жандарм и, по долгу службы, обязан всё знать, и знаю, – веско возразил Эразм Иванович. – О себе же доложу, что человек я во всех отношениях превосходный.

И оставив хозяев переваривать услышанное, Эразм Иванович вернулся в Симбирск. Через четыре дня Мотовиловы дали знать, что ждут его к себе вновь. В Цильне, после двухчасовых переговоров («Мы с Прасковьей Федосеевной думали, старались узнать о Вас, да ведь один Бог Вас узнает. Но вот, видите ли, Вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит, но Вас все хвалят, видно, и вправду Вы хороший человек, а если так, то Бог Вас благословит»), он наконец отправился к девице:

– Нет ли во мне что-нибудь противного Вам?

– Нет, – отвечала смущённая Анна Егоровна.

– В таком случае, пойдемте к образу, перекрестимся!..

В браке Эразм Иванович оказался совершенно счастлив. В канун переезда в Киев Анна Егоровна разрешилась первенцем, и, не желая рисковать их здоровьем, он отправился к новому месту службы один. «Прощай, моя лихая деятельность! – думал он, уносясь из Симбирска. – Я был на своём месте и по способности, и по характеру. Я был любим всем обществом, не делал зла, а прекращал злоупотребления тихо, без шуму, и старался исправлять, а не губить».

В Киеве Эразм Иванович принял должность начальника канцелярии киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова и очень скоро сделался к губернатору самым близким человеком, прослужив бессменно четырнадцать лет. Впрочем, его таланты были востребованы здесь большей частью по линии рутинного администрирования, чем Эразм Иванович, тосковавший по жандармским приключениям, очень тяготился. Всё же, по-видимому, иногда, по старой памяти, его призывали в Петербург

для неких особых поручений. «Государь, – пишет он в завершении «Записок», – поручал мне дела лично, помимо генерал-губернатора, всегда милостиво разговаривал со мною. Последний раз, в 1850 году, на вопрос мой о здоровье, [Государь] изволил спросить:

– А ты, старый драбант (я был уже седой), всё ещё служишь?

– Устарел, Ваше Величество, хочу в отставку.

– Погоди, вместе пойдём».

Как известно, Николай Павлович «пошел в отставку» 18 февраля 1855 года, скончавшись от огорчений Крымской кампании. Что же касается Эразма Ивановича, то он, покинув службу в 1851-м, пережил своего кумира на четверть века. Он занимался поместьем, воспитывал детей, схоронил жену и сам мирно скончался 17 сентября 1880 года на руках любимой дочери Ии. Соборовавшись и причастившись, он, испуская дыхание, утешал её: «Не плачь, Юша, о чём плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда Он призывает меня!» Этот баловень судьбы так и остался в счастливом неведении, что благоденствие, окружающее его старость, уже превратилось в призрачную химеру, и потрясение основ всего, что было смыслом и основанием его долгой жизни, готово было разразиться вот-вот – при непосредственном участии младшей дочери Инны.

II

Инна Эразмовна Стогова – Брак с Григорием Змунчиллой – Разрыв – Париж, Петербург – Разночинцы – «Бестужевки» – Мария и Анна Вальцер – В. Н. Фигнер – «Народная воля» и «Черный передел» – Среди революционеров-народников.

Инна Эразмовна… Но здесь уверенный ритм нашего повествования начинает давать ощутимые сбои. С полной достоверностью (сохранились фотографии) о молодых годах матери Ахматовой можно сказать только то, что она была в юности весьма миловидна: «Чёрные до колен волосы, огромные сине-голубые глаза, полные ласки и неизъяснимой доброты, хорошего рисунка рот, ослепительный цвет лица» (Х. В. Горенко). Родилась она в 1856 году и была последним ребёнком в семье; спустя семь лет Анна Егоровна скончалась. Не вызывает сомнения, что Инна Эразмовна получила приличное домашнее воспитание и образование – у Эразма Ивановича была возможность нанимать хороших гувернанток и, зная его основательность в делах семейных, сложно предположить, что младшая дочь, рано лишившись матери, росла затем как полевая трава. Она учила языки, была охоча до литературы: первый муж дарил ей книги. С очень большой степенью вероятности можно утверждать, что этим её избранником в 1874 году стал, как уже говорилось, Г. Г. Змунчилла, но тут следует сделать оговорку: никаких официальных документов, подтверждающих их брачный союз, до нас не дошло. Судя по всему, брак был «неравным» и муж, служивший по военной части, был намного старше восемнадцатилетней жены.

А дальше – вплоть до середины 1880-х годов – в жизни Инны Эразмовны следует биографический «провал», о котором мы можем судить лишь по обрывкам мрачных семейных слухов и разрозненным фактам, странным и зловещим.

Следует повторить: ни о каком связном изложении тут говорить не приходится. Однако выходит, что, покинув в 1874 году родительский дом, Инна Эразмовна Змунчилла, перебравшись к мужу (возможно – в имение Новая Соколовка Ярмолинецкой волости Проскуровского уезда Подольской губернии), побывала затем (очевидно, вместе с Григорием Григорьевичем) в Одессе у своей тётки Анастасии Ивановны Александровой. А затем Г. Г. Змунчилла совершает самоубийство…

На этом пункте и без того запутанная история первого замужества Инны Эразмовны становится вовсе невнятной. И

Ахматова, и её брат Виктор, со слов матери, утверждали, что это было «окончательное» самоубийство, и Инна Эразмовна очень рано овдовела. Однако майор Г. Г. Змунчилла в 1878 году упоминается в подольских геральдических документах как вполне здравствующий и, главное, – как состоящий в законном браке с Екатериной Павловной Змунчилла, от которой у него в том же году родился сын Георгий. В 1884 году в чине подполковника Г. Г. Змунчилла вышел в отставку и жил у себя в Новой Соколовке, по меньшей мере до 1903 года. Поэтому современные исследователи ахматовской родословной склоняются к предположению, что в реальности имела место какая-то тяжёлая семейная драма, завершившаяся разводом. Возможно, в ходе этой драмы Г. Г. Змучилла пытался стреляться. Но очевидно, что, разведясь с Инной Эразмовной, он больше знать не хотел об её существовании и вскоре нашёл новую жену (с которой, как хочется надеяться, был более удачлив). Если учесть, что русский бракоразводный процесс в последней четверти XIX века – дело весьма продолжительное; если прибавить к этому, что, обретя вновь свободу, Григорий Григорьевич должен был потратить затем какое-то время на объяснение с новой невестой, помолвку и новые брачные хлопоты; наконец, если учесть также, что уже в 1878 году у супругов появился новорожденный первенец, то сроки первого брака Инны Эразмовны представляются крайне быстротечными. И виновата в столь скором разрыве, несомненно, была она – иначе её бывший муж и думать бы не посмел о новой законной семье, по крайней мере в обозримом будущем. Ведь на виновную сторону в случае официального развода налагалась епитимия (церковное покаяние) на длительный срок (а то и запрещение вступать в церковный брак до конца дней).

Если такое предположение верно, то становится понятна история о самоубийстве мужа и раннем вдовстве, которую слышали от Инны Эразмовны дети: посвящать их в подробности своей «прошлой жизни» она, естественно, не считала необходимым. Впрочем, не исключено, что Ахматова знала о катастрофе и позоре первого брака матери, хотя и не обмолвилась об этом никогда, заученно повторяя всем историю про «самоубийство и вдовство». На подобное предположение наводит странная нелюбовь Ахматовой ко… Льву Николаевичу Толстому, причём источником нелюбви всегда оказывается почему-то только один роман – «Анна Каренина»:

> – Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она

> неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так! И подумайте только: кого же «мусорный старик» избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.

Лидия Чуковская, зафиксировавшая в своём дневнике (18 мая 1939 г.) этот гневный монолог, равно как и другие собеседники Ахматовой, попавшие в подобную переделку, обычно не мешали её филиппикам: «Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка…» Но если причиной этой обвинительной речи явилось не «женофильство» (феминизм), а сохранённое чувство детской обиды за мать – горячность Ахматовой станет куда понятнее и ближе:

> Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя. Вишнёвый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа…

Чехова, впрочем, Ахматова тоже не любила (об этом – позже).

Если вернуться к судьбе Инны Эразмовны во второй половине 1870-х годов, то, вновь следя за «пунктирными» вехами, которые так или иначе можно выявить в скудных биографических репликах её близких, можно заключить, что она побывала в Париже, где, среди прочего, обновила свой туалет (по крайней мере, приобрела шубку или «мантилью»), – а затем оказалась в Петербурге среди учениц Высших женских (Бестужевских) курсов. Логика тут понятна. После разрыва с мужем она могла вести самостоятельную жизнь – 80 тысяч рублей её приданого оставались при ней (надо полагать, на эти деньги Змунчилла имел благородство не претендовать). Однако на время бракоразводного процесса виновные его участники из среды российского дворянства предпочитали (вспомним ту же Анну Каренину) уезжать за границу, где общественное мнение к подобным казусам личной жизни относилось куда более терпимо. Тем не менее долго в Париже ей было нечего делать, а на родине статус разведённой жены предполагал тогда для женщин её круга, в сущности, только две формы социальной адаптации – либо в качестве «дамы полусвета», либо в качестве «нигилистки». Инна Эразмовна выбрала второе, после чего путь её, естественно, пролёг в Петербург, который в эпоху реформ Александра II представлял собой средоточие всевозможных либертинских

группировок молодёжи обоих полов, равно поставлявших человеческий материал и для революционных политических партий, и для формирующейся интеллигенции – научной, педагогической, технической, художественной, медицинской, юридической.

Эта молодёжь, большей частью ещё не имеющая устойчивых профессиональных доходов, ютящаяся в съёмных комнатах и едва перебивающаяся в самых насущных заботах об одежде и питании, была уверена в своих силах и оптимистична. Высшей добродетелью тут почиталось умение жить своим трудом, профессионализм, творческая воля, жажда знаний:

> Он родился в бедной доле,
> Он учился в бедной школе,
> Но в живом труде науки
> Юных лет он вынес муки[13].

Все прочие ценности считались предрассудками, из которых злейшими становились духовные, сословные и семейные добродетели минувшей «дореформенной» России. Активное неприятие «предрассудков» в первую очередь и превращало разночинцев (и «разночинок») в «бесов-нигилистов», охваченных губительным стремлением к разрушению тысячелетнего российского бытового и государственного уклада:

> Порешить в конец боярство,
> Порешить совсем и царство,
> Сделать общими именья
> И предать навеки мщенью
> Церкви, браки и семейство —
> Мира старого злодейство![14]

Этих «новых людей» предугадал и воспел ещё на заре реформ Н. Г. Чернышевский, указав, в частности, в своём романе «Что делать?» (1863) на сексуальную революцию и женскую эмансипацию как на важнейшие составляющие того прогресса, который и должен был привести Россию, в итоге, к светлому будущему, явившемуся главной героине романа в знаменитом «четвёртом сне». В отличие от патриархальных нравов провинции, петербургское разночинное вольномыслие не только не осуждало супружескую измену и развод, но подчас восторженно приветствовало их как формы «социального протеста». Как точно формулировал незабвенный Андрей Семёнович Лебезятников

(списанный Достоевским в «Преступлении и наказании» с… натуры): «Рога – это только естественное следствие всякого законного брака, так сказать, поправка его, протест, так что в этом смысле они даже нисколько не унизительны… И если я когда-нибудь, – предположив нелепость, – буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене моей: “Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать!”»

Неизвестно, насколько Инна Эразмовна была подготовлена к принятию мировоззренческих установок столичного разночинства, так сказать, идейно. Очевидно, что её семейная подготовка, проходившая под бдительным оком Эразма Ивановича (не утратившего, надо полагать, и на покое прежних жандармских навыков), не предполагала глубокого знакомства с трудами Чернышевского и Писарева. Однако мы знаем, например, что одним из упомянутых «книжных» подарков Г. Г. Змунчиллы стал том Н. А. Некрасова. Конечно, строить на таком зыбком основании какие-либо окончательные заключения невозможно, но всё же выбор сочинений именно Некрасова (а, скажем, не Салиаса или Крестовского[15]) в качестве подарка для любимой женщины в какой-то мере позволяет судить об её умонастроении. Но даже если Инна Эразмовна и не была знатоком новейших либеральных и революционных теорий, то само её отверженное, «каренинское» положение (в отсутствии желания следовать до конца по пути толстовской героини) располагало к нонконформизму. В Петербурге среди студентов, курсисток, нигилистов, обитателей «коммун»[16], энтузиастов женского «освобождения» и равноправия – ей, разумеется, было уютнее, чем среди подольского поместного дворянства, просто в плане какой-то позитивной человеческой перспективы. Приехав в Петербург, она, не испытывая стеснения в средствах, вполне могла снять не «угол», а отдельную квартиру, где-нибудь в Коломне или на Песках, и, как водится, спустя малое время, превратиться de facto в хозяйку одного из тех молодёжных разночинных «салонов», которых в 1870-е годы было неисчислимое множество и где дебатировались проклятые вопросы. Явление Инны Эразмовны среди этого разночинного петербургского «взбаламученного моря» описано её дочерью в начальной «Северной элегии» столь выразительно, что нельзя не заподозрить тут отголосок каких-то давних рассказов, услышанных Ахматовой в детстве и юности «от первого лица»:

> Россия Достоевского. Луна
> Почти на четверть скрыта колокольней.

Торгуют кабаки, летят пролётки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: «Henriete», «Basile», «André»
И пышные гроба: «Шумилов-старший».
……
Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве
Под жёлтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах…
Всё разночинно, наспех, как-нибудь…
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене – рулетка.

И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от неё как будто получила, —
Ненужный дар моей жестокой жизни…[17]

С конца 1860-х – начала 1870-х годов одной из важнейших составляющих общественной жизни столицы стала борьба за женское образование – высшее и специальное. Первые вечерние открытые занятия для слушателей и слушательниц проходили в Петербурге, в здании Пятой мужской гимназии у Аларчина моста (т. н. «Аларчинские курсы»), а затем – в здании Владимирского уездного училища («Владимирские курсы»). Тогда же, независимо от этих официально разрешённых лекций, которые читали университетские профессора, начали действовать всевозможные образовательные женские кружки, собиравшиеся как на частных квартирах, так и в аудиториях Артиллерийской академии, в частных лабораториях Кочубея и Зверкова и иных исследовательских и учебных центрах. Однако, несмотря на огромный энтузиазм педагогов и учениц, научно-методическое качество занятий везде было сомнительным: «…Аудитории составлялись в значительной мере случайно, из слушательниц различных возрастов, с весьма разнообразною подготовкой. Это

обстоятельство лишало профессоров возможности вносить в свои лекции строгую систему, научность и полноту – надо было, так или иначе, приспособляться к разнородной и притом переменной по составу и в высшей степени подвижной аудитории. Курсы не имели постоянного учебного плана, не предъявляли к своим слушательницам никаких определённых требований относительно предварительной научной подготовки, наконец, не назначали для слушания лекций никакого срока»[18].

Постепенно необходимость включения женщин в систему отечественного высшего образования была осознана и на властных верхах. В 1876-м последовало Высочайшее повеление, которое предоставляло Министерству народного просвещения право открывать Высшие женские курсы в университетских городах, используя приблизительно ту же административно-организационную схему подготовки специалистов, которая действовала и в «мужских» университетах – с набором обязательных дисциплин, промежуточной и итоговой аттестацией слушательниц и вручением выпускницам дипломов о высшем образовании. «Открытие курсов признавалось не только полезным, но и необходимым, чтобы прекратить наплыв русских женщин в заграничные университеты, давая им возможность получить высшее образование в России, а вместе с тем и для приготовления достаточного количества учительниц для высших классов женских гимназий и институтов, взамен учителей, число которых оказывалось недостаточным даже для мужских гимназий»[19]. Спустя два года, 20 сентября 1878 года, после огромной подготовительной работы, проделанной инициативной группой, сложившейся ещё со времени Владимирских курсов (А. Н. Бекетов, Н. В. Стасова, А. П. Философова, М. В. Трубникова и др.), первый русский «женский университет» открылся в здании Александровской женской гимназии на Гороховой улице. Новое учебное заведение, имеющее три отделения (словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое), 468 постоянных и 346 вольных слушательниц, возглавил К. Н. Бестужев-Рюмин[20]. Курсы потому стали называть Бестужевскими; под этим именем они и вошли в историю России.

Практически все биографические источники сообщают, что Инна Эразмовна Змунчилла-Стогова во время своего пребывания в Петербурге была «бестужевкой». Между тем поиски в архивах Высших женских курсов ничего не дали: никаких формальных отметок, фиксирующих её пребывание там, на настоящий момент не обнаружено. Однако, как уже было сказано, открытию Бестужевских курсов предшествовал восьмилетний период разнообразных общественных просветительских инициатив,

которые позднее могли быть ассоциированы с деятельностью самих курсов, т. к. исходили от будущих организаторов, преподавателей или слушательниц «женского университета». Инна Эразмовна могла посещать (а то и принимать у себя) какие-либо кружки, собрания, мероприятия, непосредственным продолжением которых явилось учреждённое профессором Бестужевым-Рюминым учебное заведение.

Помимо того, сами слова «бестужевка» и «курсистка» имели в тогдашнем обиходе двоякое значение. Непосредственно они относились к молодым женщинам, подавляющее большинство которых вело в учебные аудитории не желание заявить «общественный протест», а самая обыкновенная семейная бедность, которую они думали преодолеть, получив специальность более востребованную и денежную, чем традиционная подёнщина белошвеек, прачек, нянек и кухарок. «Бестужевки» большей частью точно так же нуждались и боролись за свое повседневное существование, как и студенты-универсанты, вроде Раскольникова и Разумихина Достоевского. «Эти сырые и холодные углы, где набиваются по три, по четыре слушательницы, нередко одна постель на троих, которой пользуются по очереди, – описывал «бестужевский» быт петербургский журнал «Друг женщин» (1882), – этот в трескучий мороз плед поверх пальто, подбитого ветерком; эти обеды грошовых кухмистерских, а зачастую колбаса с чёрствым хлебом и чаем; эти бессонные ночи над оплачиваемой грошами перепиской вместо отдыха…» Разумеется, и курсистки, и студенты принимали участие в общественной жизни, но всё же главной задачей у них было получение специальности и вместе с ней материальной обеспеченности. Ради этого они, затянув пояса, три года работали не покладая рук, изучая в учебных аудиториях, лабораториях и библиотечных залах логику, психологию, богословие, историю древней и новой философии, историю педагогики, историю литературы, теорию эмпирического познания, русский, латинский, немецкий, французский, английский языки, математику, физику, химию, ботанику, зоологию, минералогию, кристаллографию… Двое из таких настоящих курсисток-бестужевок, сёстры Мария и Анна Вальцер, были в конце 1870-х годов подругами Инны Эразмовны, а может быть и компаньонками, живущими у неё. Вместе с ними Инна Эразмовна могла посещать какие-нибудь особенно примечательные лекции, участвовать в дискуссиях, сходках, праздниках, самодеятельных вечерах – и чувствовать себя вполне включённой в «бестужевскую» курсистскую среду. Что же касается непосредственно образовательного процесса, то никакой

необходимости в нём у Инны Эразмовны не было. Материально она была вполне обеспечена благодаря рачительности отца и благородству бывшего мужа, а особенной бескорыстной любви к профессии педагога, судя по её дальнейшему жизненному пути, она не имела, равно как вроде бы не имела и навыков, свидетельствующих о каких-либо специальных образовательных усилиях.

Но, как уже было сказано, слово «бестужевка» (равно как и «курсистка») очень скоро стало использоваться не только для обозначения принадлежности женщины к определённой учебной корпорации, но и для фиксации её убеждений (как понятно, «левых», нигилистических или вовсе революционных). Вряд ли это было полностью справедливо. Среди курсисток встречались и революционерки, и нигилистки, однако в целом общественный состав учащихся был (как и в университете) достаточно пёстрым. Впрочем, тон, действительно, задавали слушательницы, которые, по выражению тогдашнего шефа жандармов, генерал-адьютаната А. Р. Дрентельна, «стремились во внешних проявлениях нового высшего учебного заведения подражать прискорбным уклонениям от правильного пути, которыми, к сожалению, в последнее время отличается учащаяся молодёжь». И, главное, сам образ учёной женщины «из простых» был для России XIX века настолько экзотичным, что любые невинные вольности в словах и поступках подобной «белой вороны» тут же бросались в глаза каким-то постоянным злоумышлением против спокойствия и порядка:

> Теруань де Мерикуры
> Школы женские открыли,
> Чтоб оттуда наши дуры
> В нигилистки выходили[21].

Такое «расширенное» понимание вскоре стало настолько употребительным, что в толковых словарях конца XIX – начала XX веков наряду с прямым значением сло́ва «бестужевка» появилось и дополнительное – «идеалистка». А петербургский обер-полицмейстер П. А. Грессер для обозначения политически неблагонадёжных выпускниц приказывал ставить на их аттестатах особую помету: «курсистка» – и был отлично понят всеми заинтересованными лицами.

Вот в этом-то «расширенном» смысле Инна Эразмовна была, конечно, и «бестужевкой», и «курсисткой». За несколько лет, проведённых в Петербурге, она полностью эмансипировалась от прежнего образа подольской помещицы, – настолько, что её попытка навестить угасающего отца едва ли не ускорила его

кончину. Эразм Иванович, увидев дочь, пришёл в «неудержимый гнев» и тут же, на глазах у всех домашних, заставил стирать с лица петербургскую косметику. Вряд ли старик знал подробности, но отцовское сердце и жандармская интуиция своё дело сделали: по свидетельству Ии Змунчиллы он вплоть до последних минут «говорил только о своих дочерях, молился об их счастии». И, нужно сказать, что молитвы его достигли цели, поскольку Инна Эразмовна чудом смогла пройти по краю той страшной пропасти, которая разверзлась перед ней, после того как в число её петербургских знакомых попала Вера Николаевна Фигнер.

По всей вероятности, эта встреча произошла летом 1880 года, когда за плечами двадцативосьмилетней Веры Николаевны были уже казанский Родионовский институт благородных девиц; работа ассистенткой профессора П. Ф. Лесгафта в анатомическом театре Казанского университета; учёба на медицинском факультете университета в Цюрихе; встречи в Берне с теоретиками революционного террора С. Г. Нечаевым и П. Н. Ткачёвым; сотрудничество в Петербурге с Г. В. Плехановым и создание революционной группы «Земля и воля»; работа фельдшером в Саратовской и Самарской губерниях; революционная пропаганда среди местных крестьян; дружба с Софьей Перовской; реорганизация радикалов из «Земли и воли» в террористическую партию «Народная воля»; и, наконец, подготовка динамитчиков в Одессе во время «охоты на царя», развязанной Исполнительным Комитетом народовольцев в 1879–1880 годы. Это была фанатичка, хорошо усвоившая § 1 нечаевского «Катехизиса революционера»:

> Революционер – человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией.

Свою верность этим заветам она доказала делом, без колебаний разорвав по требованию товарищей как с учёной карьерой (ввиду практически готовой докторской диссертации), так и с не подходящим из-за рода занятий мужем (А. В. Филиппов был судебным следователем). Кроме того, она была азартна. Убедившись, что южные террористические группы не будут задействованы в цареубийстве, она, предварительно попытавшись в сердцах взорвать хотя бы заведующего гражданской частью по управлению Новороссийского края статс-секретаря С. Ф. Панютина[22], решила не размениваться на мелочи и летом 1880

года прибыла из Одессы в Петербург, чтобы лично принять участие в заключительной акции по умерщвлению затравленного Александра II.

К этому времени «Народная воля» уже обладала разветвлённой агентурной сетью среди учащейся петербургской молодёжи. «Бестужевки» не были исключением, тем более что на Высших женских курсах училась младшая сестра В. Н. Фигнер Ольга. Последняя организовала среди слушательниц особый кружок, который вёл пропаганду и осуществлял сбор пожертвований на нужды революции. Возможно, именно Ольге Николаевне Фигнер Инна Эразмовна и передала (по словам Виктора Горенко) «2200 рублей на покушение на царя». Помимо того, связь с народническим подпольем имела и Анна Фёдоровна Вальцер: в том же 1880 году она вместе с М. К. Решко, А. П. Булановым и О. К. Трубниковой (тоже «бестужевкой») входила в «молодую группу» действовавшего параллельно с «Народной волей» «Чёрного передела». По всей вероятности, именно это своё окружение в 1880–1881 годы Инна Эразмовна и имела в виду, когда впоследствии добродушно именовала революционных боевиков-террористов «нашим кружком» (В. С. Срезневская). С появлением среди участников «кружка» члена Исполнительного комитета «Народной воли» Веры Фигнер дочь бывшего штаб-офицера Симбирской жандармерии оказывается в самом эпицентре событий, потрясших основы Российской империи. Неизвестно, правда, была ли Инна Эразмовна знакома с главной участницей этих событий, руководительницей «Народной воли» Софьей Львовной Перовской. Это вполне вероятно, поскольку из воспоминаний Веры Фигнер следует, что они с Перовской постоянно встречались осенью-зимой 1880/1881 годов на разных петербургских квартирах у знакомых, сочувствующих революционной борьбе.

Софья Перовская тоже была «курсисткой» (она училась на Аларчинских курсах)[23].

28 февраля 1881 года на конспиративной явке Исполнительного Комитета у Вознесенского моста Перовская, Фигнер, Л. А. Тихомиров, Н. Е. Суханов и М. Ф. Грачевский принимают решение действовать незамедлительно. На следующий день, 1 марта, боевые группы народовольцев занимают свои подготовленные позиции, расположенные по нескольким возможным маршрутам следования кортежа Александра II. «В начале третьего часа, – вспоминает Фигнер, – один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы: бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора; смертельно раненные, и

царь, и метальщик через несколько часов были бездыханны. <… > Я бросилась к своим; на улицах повсюду шёл говор и было заметно волнение: говорили о государе, о ранах, о крови и смерти. Когда я вошла к себе, к друзьям, которые ещё ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие: тяжёлый кошмар, на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников – всё искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжёлое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России. В этот торжественный момент все наши помыслы заключались в надежде на лучшее будущее родины».

И действительно, в первые часы и дни после расправы над императором Александром Фигнер и прочие руководители «Народной воли» «видели вокруг себя сильнейший энтузиазм; смиренно сочувствующие люди, пассивные и индифферентные, расшевелились, просили указаний, работы; всевозможные кружки приглашали к себе представителей партии, чтоб войти в сношения с организацией и предложить свои услуги. Если бы честолюбие было руководящим мотивом членов партии, то теперь оно могло бы насытиться, потому что успех был опьяняющий». Глава Исполнительного Комитета народовольцев Софья Перовская в первые минуты эйфории готовила оставшихся в её распоряжении боевиков для немедленного продолжения устрашающих акций в городе, чтобы взбунтовать «низы» и солдат гарнизона, взять штурмом Петропавловскую крепость, освободить заключённых там сподвижников и вместе с ними брать власть. Но очень скоро даже ей стало понятно, что русский народ бессознательным и безошибочным жизненным инстинктом отторг от себя убийц Царя-Освободителя, проклял их и возненавидел как извергов. По стране прокатилась волна стихийных погромов. Народовольцев стали повсеместно «сдавать», причём добровольные группы охранителей-патриотов появились даже среди студентов и гимназистов. Арестована была и Перовская, которую вместе с другими «первомартовцами» судили и приговорили к повешенью. «…День 3 апреля был днём казни наших цареубийц, – вспоминала Вера Фигнер. – Погода была чудная: небо ясное, солнце лучезарно-весеннее, на улицах полная ростепель. Когда я вышла из дома, народное зрелище уже кончилось, но всюду шёл говор о казни, и, в то время как сердце сжималось у меня от воспоминаний о Перовской <…>, я попала в вагон конки, в котором люди возвращались с Семёновского

плаца, на котором происходило зрелище. Многие лица были возбуждённые, но не было ни раздумья, ни грусти. Как раз против меня сидел в синей свитке красавец мещанин, резкий брюнет с курчавой бородой и огненными глазами. Прекрасное лицо было искажено страстью – настоящий опричник, готовый рубить головы».

Сама Фигнер сумела тогда уйти от расплаты. Некоторое время она практически безвыходно отсиживалась на конспиративной квартире, а в самый день казни «первомартовцев» бежала из Петербурга. Накануне побега, по её воспоминаниям, к ней тайно пробирались прощаться сподвижники по партии и сочувствующие – двое «морских офицеров» и две «дамы», собиравшие её в путь. Если верно семейное предание, одной из этих «дам» была Инна Эразмовна, снабдившая Веру Николаевну своей парижской «мантильей». Sancta simplicita, она несла свою «щепочку» на разгоравшийся костёр, который спустя десятилетия взметнётся до небес и поглотит и её страну, и всех её родных и близких… Впрочем, даже «идеалистки», подобные Инне Эразмовне, постепенно осознавали, что цареубийство 1 марта 1881 года менее всего походило на «торжественный момент начала обновления России». Среди петербургской интеллигенции вовсю ходили слухи, что невероятный успех народовольцев, прикончивших царя прямо в сердце столицы, на глазах впавших в неожиданный ступор жандармских и полицейских телохранителей, был достигнут лишь благодаря династическому придворному заговору, имеющему целью помешать овдовевшему Александру II сочетаться законным браком с его давней пассией Екатериной Долгорукой. Получалось, что революционные Прометеи при всей их обаятельной романтической жертвенности и талантах[24] – суть беспомощные марионетки в руках совершенно противоположных им и корыстных кукловодов. И, главное, до интеллектуальной элиты страны постепенно доходило, что бомбисты настигли царя-реформатора как раз в тот день и час, когда он должен был подписать конституционное соглашение, окончательно утверждавшее европейский и демократический путь развития России, и, следовательно, народовольцы в нетерпении своём объективно сыграли на руку самой чёрной и тупой реакции… Можно предположить, что разные сомнения посещали Инну Эразмовну и её подруг-курсисток задолго до первомартовской трагедии. В биографических записях Ахматовой имеется глухое упоминание о том, что компаньонка матери Мария Вальцер, очевидно, в 1880-м году «беседовала с Достоевским». Фёдор Михайлович, сам прошедший в юности

через революционные кружки, арест, каторгу в Омском остроге и ссылку, был для тогдашней молодёжи едва ли не единственным безусловным авторитетом среди тех, кто призывал страну к общественному согласию. Однако, как и полагается пророку, в отечестве своём Достоевский в итоге услышан не был:

Страну знобит, а омский каторжанин
Всё понял и на всём поставил крест.
Вот он сейчас перемешает всё
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесётся. Полночь бьёт.
Перо скрипит, и многие страницы
Семёновским припахивают плацем.

Достоевский скончался в самом начале рокового 1881 года, не увидев сам ни очередное торжество российской бесовщины, ни внезапное рассеяние «бесов» из Петербурга. Что же касается Веры Николаевны Фигнер, то она (в парижской «мантилье» Инны Эразмовны) благополучно выскользнула из возбуждённого казнью цареубийц города, чтобы вновь собрать вокруг себя революционных мстителей и на страх «красивым русским опричникам» – убивать, убивать, убивать… Ещё около двух лет она будет руководить «Народной волей», неуклонно придерживаясь линии террора. Самое громкое её дело этих лет – организация покушения на военного прокурора, генерал-майора В. С. Стрельникова, убитого на Николаевском бульваре в Одессе 18 марта 1882 года. Везение, сопутствовавшее В. Н. Фигнер, превосходило все мыслимые границы вероятия, и только профессиональный талант жандармского подполковника Георгия Порфирьевича Судейкина смог положить конец её лихим похождениям. 10 февраля 1883 года Вера Фигнер, выданная одним из своих доверенных лиц, была опознана в Харькове, задержана и препровождена под конвоем в Петербург. Император Александр III, узнав об этом, не смог сдержать радостного восклицания: «Слава Богу! Эта ужасная женщина арестована!»

Неизвестно, вспоминала ли все эти годы Вера Николаевна о петербургской «курсистке», сопровождавшей её бегство из столицы в апреле 1881-го, хотя, конечно, нельзя отделаться от мысли, что подаренная в соответствующих обстоятельствах парижская мантилька сто́ила известного в истории русской литературы заячьего тулупчика. Однако упоминание об одесском покушении на Стрельникова неоднократно встречается в биографических монологах Ахматовой (письменных или устных) в совершенно неожиданном контексте:

– Моя мама была сама кротость, – рассказывала она в 1963 году в Комарово Натану Готхарду. – И, можете себе представить, была близка с «Народной волей». Была близка с Верой Фигнер, прятала её, давала ей свою шубу… Крёстный мой – Романенко. Я его никогда не видела. Он был в «Народной воле». В день моих крестин убил какого-то генерала. Представляете, бросил бомбу или что-то в этом роде, а потом поехал на крестины…

Разумеется, крёстный Ахматовой, ученик Ильи Мечникова и кандидат естественных наук, Степан Григорьевич Романенко, направляясь 17 декабря 1889 года в кафедральный Преображенский собор портового города Одессы, не метал по ходу своего движения бомбы – равно как не был он повинен (по крайней мере – непосредственно) и в трагической кончине жандармского генерала, происшедшей за семь лет до появления Ахматовой на свет. Но и семидесятичетырехлетнюю Ахматову нельзя упрекать в смешении событий, о которых, на заре её жизни, родители говорили вполголоса (а она тогда вполуха подслушала). Нам же, чтобы разобраться во всём этом, нужно вспомнить, что среди петербургской народовольческой эпопеи конца 1870-х – начала 1880-х годов в жизни «бестужевки» Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой появляется флотский лейтенант Андрей Антонович Го́ренко.

III

Андрей Антонович Горенко – Прапорщик А. Я. Горенко и полковник А. А. Горенко: дед и отец – Братья Пётр и Владимир – Сестры Мария, Анна, Надежда и Евгения (Аспазия) – В штурманском училище – В 1-м Черноморском флотском экипаже – Великий князь Константин Николаевич – РОПИТ – Реорганизация военного флота – Преподавание в николаевских юнкерских классах – «Николаевская коммуна» – В столичном Морском училище – А. Н. и Е. И. Страннолюбские – Салон А. П. Философовой – Знакомство с Достоевским – Революционное подполье – Первая семья – Катастрофа 1 марта 1881 года.

Как Александр Великий, Цезарь или Наполеон Бонапарт, Андрей Антонович был человеком рока; само появление его на свет оказалось отмечено событиями рубежными и грозовыми для судеб Российской империи и всей Европы. Младенца, рождённого 13 (25) января 1848 года, родители едва успели крестить в севастопольском Адмиралтейском соборе, как в Париже начали строить баррикады, король Луи-Филипп в страхе бежал, отрекшись, а император Николай Павлович, ворвавшись с роковой депешей в руках на придворный бал, прервав мазурку, провозгласил: «Седлайте коней, господа, во Франции республика!»

Когда Андрею Горенко исполнилось семь лет, великие державы Европы, обеспокоенные военными успехами России, теснившей Турцию из придунайских княжеств, вторглись в Крым и, разбив тридцатитысячную армию князя А. С. Меньшикова на Альме, осадили Севастополь. Сам Андрей вместе с матушкой Ириной Ивановной[25], старшей сестрой Марией, братьями Петром и Леонидом и новорождённой сестрой Анной были до осады вывезены в Николаев, родитель же его, подпоручик 4-го ластового экипажа Черноморского флота, принял удар неприятеля вместе со всем севастопольским гарнизоном.

А в год совершеннолетия Андрея Антоновича, когда он, завершая штурманское училище в Николаеве юнкером 1-го сводного Черноморского флотского экипажа, служил на каспийских и черноморских шхунах и транспортах (Россия, потерпев поражение в Крымской войне, на пятнадцать лет лишилась возможности держать на юге военный флот), безумный мечтатель Дмитрий Каракозов стрелял в Петербурге в императора Александра II, положив начало эпохе революционного террора.

И дед, и отец Андрея Антоновича принадлежали к числу тех служилых людей, которые, не имея ни денег, ни связей и даже не

блистая особыми дарованиями, резко выделяющими их из общего строя, достигают тем не менее прочного основания в жизни исключительно прямым и постоянным усердием, доблестью и добросовестностью. Дедушка Андрей Яковлевич, простой крепостной рекрут, честно бил под командованием Кутузова сначала турок, потом французов, получил серебряные солдатские медали за Бородино и Париж и за заслуги оказался произведённым в конце Отечественной войны в унтер-офицеры. Затем дослужился в 1825 году и до прапорщика, а право на потомственное дворянство, которое представлял этот чин, передал в 1840 году старшему сыну Антону Андреевичу Горенко (1818–1891), к тому времени – унтер-офицеру николаевского 2-го Учебного морского экипажа. Через два года Антон Андреевич сам был произведён в прапорщики и перевёден в Севастополь, где, вполне освоившись в новом, дворянском статусе, уверенно делал офицерскую карьеру, встретив Крымскую войну, как известно читателю, подпоручиком. Ластовые экипажи являлись нестроевыми командами, обеспечивавшими снабжение войск и эвакуацию раненых. Антон Андреевич побывал в таковом качестве в сражениях на Николаевской батарее и Инкерманских высотах, не был ни ранен, ни захвачен в плен, находился бессменно в Севастополе вплоть до июня 1855 года, когда попал в команду «сухопутного транспорта» с ранеными, направлявшегося в Николаев. Там подпоручик Горенко, воссоединившись с семьей, и остался; Севастополь же, как известно, пал. С 1855 по 1861 год Антон Андреевич занимался штабной работой в Николаеве, где после подписания Парижского мирного договора базировалась оставшаяся у России на Чёрном море скудная флотилия, а затем, уже в чине поручика, вновь оказался в разрушенном Севастополе – смотрителем морского госпиталя. В этой должности он состоял до 1873 года, был участником медленного возрождения города, служил затем (с повышениями) смотрителем казённых земель и садов Севастопольского порта, а в апреле 1887 года вышел в отставку «с мундиром и пенсией» полковником по Адмиралтейству. Был он кавалером орденов Св. Анны 3-й степени с бантом и мечами «в воздаяние отличной храбрости и мужества» (за Севастополь), Св. Владимира 4-й степени (за 25 лет выслуги), Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 2-й степени с императорской короной. Вместе со своими многочисленными наследниками Антон Андреевич Горенко был занесён во 2-ю часть родословной книги Таврической губернии как потомственный дворянин Симферопольского уезда. Между тем ни поместий, ни капиталов Антон Андреевич нажить не успел, так что для детей его открывалась ещё возможность приложения сил по

возрастанию фамильного успеха.

Но в детях случился разнобой. Пётр и Владимир, точно, продолжили служить Отечеству в душевной простоте, верой и правдой, хотя и избрав для того гражданское поприще: Пётр пошёл по севастопольской чиновной части, Владимир же учительствовал в Евпатории[26]. Марья Антоновна на правах старшей дочери неотлучно находилась с родителями, ведала всем домом и хранила их старческие дни[27]. Что же касается сестёр Анны, Надежды и Аспазии (в крещении – Евгении[28]), то они, принадлежа к иному поколению, несколько иначе понимали и служение отчизне:

> Не может сын глядеть спокойно
> На горе матери родной,
> Не будет гражданин достойный
> К отчизне холоден душой,
> Ему нет горше укоризны…
> Иди в огонь за честь отчизны,
> За убежденье, за любовь…
> Иди и гибни безупрёчно.
> Умрёшь не даром: дело прочно,
> Когда под ним струится кровь…[29]

Анна Антоновна Горенко (1854–?) являла собой совершенный образ курсистки-«семидесятницы». Рано оставив родительский дом, она поступает на открывшиеся в 1872 году в Петербурге Женские медицинские курсы (тут готовили акушерок) и, вероятно, участвует в 1874 году в «хождении в народ». В 1875 году, когда были задержаны и находились под стражей сотни народников, пытавшихся внушать деревенским мужикам «бред фантастического воображения» (как именовались социалистические теории в тогдашних официозах), по «Делу о пропаганде в Империи» привлекалась и Анна Антоновна – ей инкриминировали «передачу студенту Крутикову запрещённых книг». Всё решилось в административном порядке, и в число 193 непосредственных участников так называемого «Большого процесса» она не попала, но негласный надзор с января 1876 года за ней был установлен. Впрочем, от сыскной опеки она скоро избавилась, вступив сестрой милосердия в отряд русских волонтёров, который под началом генерала М. Г. Черняева участвовал в освободительной войне княжества Сербского против Османской империи (июнь – октябрь 1876 г.). Вернувшись в Петербург, Анна Антоновна, по всей вероятности, принимала участие в знаменитой народнической демонстрации 6 декабря у

Казанского собора (где Г. В. Плеханов держал речь под красным знаменем с надписью «Земля и воля»). По крайней мере, в следующем 1877 году вместе с Верой Фигнер, А. И. Иванчиным-Писаревым[30] и другими «землевольцами» она оказывается в народническом поселении под Самарой (именно тогда в Самаре появляется Софья Перовская и начинается формирование ядра будущей «Народной воли»). В 1878 году Анна Антоновна вновь в Петербурге, где попадает под арест по подозрению в укрывательстве Иванчина, но вскоре выходит на свободу под залог. В это время к ней уже присоединилась сестра Аспазия (1862–1927), которая, окончив гимназию, приехала учиться на женских медицинских курсах при петербургском Николаевском военном госпитале. Благодаря жандармской отчётности, мы знаем, что они квартировали на Песках, в доме № 28 по восьмой Рождественской улице, а также, что Аспазия Антоновна Горенко «с 15-летнего возраста стремилась к самостоятельному труду и, поступив на курсы, приезжала в Севастополь только на каникулярное время»[31].

«Народная воля» уже вовсю действовала, и сёстры принимали непосредственное участие в подпольной работе, а один из боевиков-народовольцев, вольнослушатель Петербургского университета Николай Желваков, стал близким другом Аспазии. На знаменитой демонстрации, устроенной народовольцами в здании Двенадцати Коллегий на университетском Акте 8 февраля 1881 года, все они, вероятно, были вместе и видели, как среди черырёхтысячного торжественного собрания с хоров белоколонного зала вдруг полетели листовки, как ученик Желябова, студент Папий Подбельский, зачитав краткий картель, под рёв студенческих глоток: «Вон наглого лицемера!! Вон негодяев!!!», – ринулся к ошеломлённому министру народного просвещения А. А. Сабурову и нанёс ему оскорбление действием… В разбушевавшемся зале в это время были Софья Перовская и Вера Фигнер; воображение тут же рисует рядом с ними и сестёр Вальцер, и Инну Эразмовну, взволнованно вцепившуюся своей «белой ручкой» в чёрный морской китель стоящего рядом спутника…

Впрочем, не будем забегать вперёд.

Из всего потомства Антона Андреевича лишь старший сын продолжил военную династию в фамилии, однако, в отличие от деда и отца, для которых форма предоставляла возможность выразить себя вполне, фигуру Андрея Антоновича Горенко и в куртке юнги, и в щегольском черноморском командирском кителе окружала какая-то недосказанная значительность. Казалось всё время, что явилось что-то бóльшее, что тут непременно какое-то

incognito, взявшее облик черноморца, чтобы только не смущать без нужды окружающее его невеликое общество.

Он был прекрасен!

Все пишущие об Андрее Антоновиче упоминают прежде всего об его необыкновенной мужской красоте, сочетающей чарующую юношескую мягкость черт и обаятельно-непосредственные манеры с несомненно ощущаемой властностью, даже брутальностью энергичной и физически исключительно крепкой натуры. Очень высокий, белокурый, с открытым лицом и идеальной выправкой, он был ещё и видимо умён – так, что окружающие большей частью легко и необидно признавали за ним интеллектуальное превосходство. «Хороший человек и очень неглупый человек», – вот первое, что выносили из общения с Андреем Антоновичем его многочисленные знакомцы. Правда, за ним водились странности. Он был до чрезвычайности любопытен ко всему, а жажда жизни клокотала в нём сверх всякой меры. «К сожалению, – честно признаёт сын Виктор, – он кроме хороших качеств имел и плохие качества. Умел тратить деньги, как никто другой, вечно ухаживал за чужими жёнами, и они его очень любили». Помимо того, он был подвержен приступам возбуждённой обидчивой злобы, во время которых, по поводу и без повода, мог наговорить дерзостей. В таком состоянии он собой словно не владел и даже нарочно избирал своей мишенью лицо в нарушение всякой субординации. С начальством и прочими сильными мира вообще имел обыкновение брать совершенно равный тон: черта удивительная, если учесть, что Андрей Антонович, при всех своих дарованиях и наследном дворянстве, оставался почему-то всегда гол как сокол. Впрочем, это мало тяготило его, поскольку обстоятельства, как будто заведомо зная о непрактичности черноморца, как-то сами выворачивали в нужную сторону.

Если довоенный, парусный, нахимовский Севастополь хранился в его памяти городом детства, то местом отроческого мужания и юности стал Николаев, где уничтоженному в Крымскую кампанию флоту суждено было возродиться в стали и броне. Отец ещё служил в николаевских штабах, когда Андрей Антонович вступил в местное штурманское училище. За девять лет учёбы кадету, а затем юнкеру Горенко довелось совершать плавания на разных судах, вплоть до императорской яхты «Тигр». По всей вероятности, в выборе морской профессии сказалось влияние его николаевского дяди Ивана Андреевича Горенко (1838–1911), также начинавшего свою службу в Черноморских штурманских ротах и попавшего затем в инженер-механики, флотскую элиту того времени. Выбор оказался удачен. Юный

Андрей Антонович был замечен начальством и по выходе из штурманской роты в 1868 году, как и дядя, получил производство в кондукторы корпуса инженер-механиков флота. Два года он плавал на пароходах Русского Общества пароходства и торговли (РОПиТ), ходил в Константинополь, а по возвращении получил первый офицерский чин прапорщика и оказался в 1-м Черноморском флотском его императорского высочества генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича экипаже[32].

В придворных кругах Константин Николаевич, любимый брат и конфидент Александра II, слыл либералом из либералов. Молва приписывала ему, а не императору, происхождение всех идей, двигавших Великие реформы: именно он в 1857 году возглавил комитет по освобождению крестьян, настоял затем на судебной реформе и отмене телесных наказаний в армии. В качестве адмирала и управляющего морским ведомством на правах министра Константин Николаевич, переживший севастопольский разгром, полагал своей жизненной миссией возрождение российского флота на Чёрном море[33]. Черноморское Пароходное общество было его личным ответом Парижскому конгрессу:

– Подобное Общество, – разъяснял в 1856 году великий князь, – заменило бы до некоторой степени прежний Черноморский флот наш, а для транспортировки войск представило бы даже с меньшими издержками несравненно бóльшие средства. Оно было бы в высшей степени полезно для развития морской торговли нашей, ибо занялось бы перевозкой товаров на русских судах, и, наконец, посредством беспрерывных сношений с разными пунктами православного Востока и перевозки большого числа поклонников в Палестину и к Афонской горе, оно содействовало бы весьма сильно сближению нас с нашими единоверцами и доставило бы России необходимое для неё значение на Востоке[34].

За 15 лет «нейтралитета», Чёрное море заполнили русские пароходы. Создатели РОПиТ-а, капитан 1-го ранга Н. А. Аркас и статский советник Н. А. Новосёлов, вели дело с размахом, прокладывая пароходные линии из Одессы в Константинополь, Марсель, Александрию, создавая собственные портовые сооружения во всех черноморских гаванях, закладывая на правах мирного акционерного предприятия новые верфи, приобретая железные дороги, сталелитейные заводы, рудные и угольные разработки. Встрепенулся и Севастополь, военные моряки которого служили теперь на пароходах РОПиТ-а. А в 1871 году рухнула французская Вторая империя, кабальный парижский договор превратился в фантом, и новоиспечённый контр-адмирал Николай Андреевич Аркас, вступая в должность Главного

командира Черноморского флота и военного губернатора Николаева, имел в своём распоряжении не несколько ветхих корветов и шхун, а мощную морскую транспортную структуру в качестве базы для возрождающегося морского могущества России на её южных рубежах.

Подобно Петру I, великий князь Константин Николаевич, понимая масштабы работ по строительству нового флота, активно окружал себя в начале 1870-х годов честолюбивой и талантливой молодёжью. Возглавляемый им 1-й Черноморский флотский экипаж являлся интеллектуальной элитой военно-морских сил, на представителей которой не распространялись обычные правила карьерного роста. Прапорщик Андрей Горенко, оказавшись здесь, тут же уловил направление фортуны. Не оставляя службы, он в 1870–1872 годы начал посещать вольнослушателем одесский Новороссийский университет, недавно возникший из Ришельевского лицея, был вполне замечен и вознесён почти вертикальным карьерным взлётом. В 1873 году в ходе реорганизации механической службы флота он становится мичманом, вслед за тем получает назначение преподавателем в юнкерские классы в родном Николаеве, а спустя два года приказом по Морскому ведомству назначается штатным преподавателем петербургского Морского училища, где готовился высший офицерский состав и которое лично курировал сам царственный генерал-адмирал[35].

Великий князь, досконально изучивший постановку морского дела в Европе, ясно видел назревшую в ходе рванувшегося вперед технического прогресса стратегическую необходимость как в переходе к принципиально новым образцам военных кораблей (паруса в Крымскую кампанию уже отпели свою лебединую песню), так и в подготовке новых кадров для грядущих морских сражений, в которых тон задавать будут уже не дерево, пенька и холстина, а сталь и горючее топливо. С первыми сполохами грядущей научно-технической революции начиналась и интернациональная гонка вооружений, и «русский европеец» Константин Николаевич осознал это едва ли не первый в стране. Поэтому ещё на заре РОПиТ-а он дал указание Аркасу и Новосёлову строить для Общества пароходы «с таким расчётом, чтобы, когда понадобится, правительство могло нанять или купить их для перевозки десанта и обращения в боевые суда». Первенцем в серии подобных кораблей стал заказанный в Марселе железный пароход «Великий князь Константин», который во время Балканской войны 1877–1878 годов превратился в носителя минных катеров. Под командованием отважного лейтенанта С. О. Макарова «Константин» крушил минами и

торпедами турецкие корабли так лихо, что Аркасу приходилось проводить разъяснительную работу, призывая к осторожности. А Степан Осипович Макаров, став вице-адмиралом, сам начал заказывать за границей опытные модели новейших кораблей: усиливая военно-морскую мощь страны, они одновременно служили образцами для творческой конкуренции в отечественной промышленности. Кульминацией этого процесса на самом излёте девятнадцатого столетия (уже после кончины великого князя Константина Николаевича) станет строительство для 1-й русской Тихоокеанской эскадры на далёких, почти экзотических в российском ракурсе филадельфийских верфях настоящего чуда – бронепалубного крейсера 1-го ранга, получившего имя «Варяг», лучшего боевого корабля всех времён и народов. Андрей Антонович Горенко, попав в 1875 году под своды петербургского Морского училища, мог на следующий год обратить внимание на худощавого, изящного и взбалмошного выпускника-балтийца, которого за пристрастие к чтению модных литературных новинок и салонной болтовне среди светских дам все дразнили «Дипломатом», – Всеволода Федоровича Руднева. Тогда, в 1876-м, за блистательные экзаменационные ответы он получил Нахимовскую премию. Открыл ли дар провидения, который Андрей Антонович передал своей дочери, *кто* стоит сейчас перед ним, дрогнуло ли его сердце?

Скорее, скорее —
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток…

А в Николаеве в 1870-е годы спешно переоборудовали верфи Адмиралтейства для того, чтобы из путиловской ста́ли строить броненосцы. Концепция броненосного флота была разработана ещё в 1869 году другим выдвиженцем великого князя Константина, вице-адмиралом А. А. Поповым, стараниями которого в Петербурге был возведён первый корабль этого класса «Пётр Великий», спущенный на воду в 1877-м. В ходе строительства обнаружилась неприспособленность балтийских условий для подобных работ, и было принято решение о перенесении «броненосного проекта» на юг. С этого момента Николаев менялся буквально на глазах. Сюда была протянута железнодорожная ветка из Знаменки, связавшая причерноморский край со страной. Н. А. Аркас начал радикальное благоустройство и расширение города, помнившего ещё времена светлейшего князя Потёмкина-Таврического.

Военные заказы, как водится, влекли за собой и преображение мирной городской жизни: возникли новые жилые кварталы, было перестроено здание театра, появились реальное училище, фельдшерская и даже музыкальная школы. «Красивейший город среди степей всей Таврии», – писали тогда о Николаеве заезжие иностранные путешественники.

Те юнкерские классы, которые оказались в ведении мичмана Горенко, были открыты 10 августа 1873 года в заново отремонтированном здании Морского собрания с великолепным залом и множеством служебных помещений. И Андрей Антонович, приступив к занятиям, тут же взял быка за рога, бомбардируя начальство рапортами о необходимости улучшения программ, о закупке современных учебников, об оборудовании классов новейшими физическими приборами. Вдохновлённый всеобщим подъёмом, он работал не за страх, а за совесть, читая не только положенные ему физику, навигацию и теоретическую механику, но и – если была необходимость – физическую географию и русский язык. В броненосцы же он, как и все «птенцы гнезда Константинова», был беззаветно влюблён. Отношение Андрея Антоновича к этим жутким стальным чудовищам было подобно страсти любвеобильного дамского угодника к особенно чувственным пассиям: он коллекционировал их фотографии и в часы особого расположения духа вновь и вновь пересматривал, смакуя. Ахматова всю жизнь хранила воспоминание о том, как в детстве, перебирая эти фотографии, она выбирала вместе с отцом самый чудесный из николаевских кораблей по красоте и выразительности силуэта: выбор пал на барбетный броненосец «Три святителя»… И потом, забираясь на скалы крымского Херсонеса, с которых открывался сумасшедший простор Чёрного моря, она, как истинная дочка своего отца, тут же представляла себе берегущие этот простор грозные стальные суда:

Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента…[36]

Возвращаясь к педагогическому дебюту Андрея Антоновича, нужно сказать, что народническое фрондёрское поветрие коснулось и его тоже (в среде морских офицеров-константиновцев это не считалось зазорным). Сам он, вероятно, непосредственно не участвовал в подпольной борьбе, но всюду, где ни появлялся, оказывался вдруг окружённым лицами и событиями, весьма…

своеобразными. Так, мы можем сейчас только догадываться о содержании встреч и бесед мичмана Горенко с деятелями так называемой «Николаевской коммуны», полулегальной просветительской группы, возникшей весной 1874 года для агитации среди горожан и окрестных крестьян. А такие встречи были наверняка, ибо Андрей Антонович в это время сотрудничал с газетой «Николаевский вестник», являвшейся чем-то вроде легального «филиала» коммунаров. Здесь работал корректором организатор коммуны И. М. Ковальский, а главный редактор, отставной моряк А. Н. Юрковский, приходился родным братом Фёдору Николаевичу Юрковскому, вошедшему в историю русского народнического террора под кличкой «Сашка-инженер». По воспоминаниям соратников, Ф. Н. Юрковский уже тогда постоянно носил «мундир революционера», то есть никогда не расставался с кинжалом и револьвером, а по жандармской ориентировке был «человеком смелым, решительным, смерти не боялся». В Николаевской коммуне развернуться ему было негде, ибо тут в основном агитировали (и Юрковский вместе с другими коммунарами отделался потому кратким заключением в морской тюрьме и административным взысканием). Зато пятью годами позже, в 1879 году, он совершил сразу два подвига: провёл подкоп под Херсонское казначейство, экспроприировав для нужд революции тамошние средства, и покорил сердце Веры Николаевны Фигнер, которую называл запросто: «Топниножка»… Известно также, что Юрковский взялся лично *исполнить* провокатора, а потом очень живо описал процесс «исполнения» в одном из своих рассказов (он был одарён литературно).

Обратил ли внимание Андрей Антонович Горенко на будущего «Сашку-инженера» – точно неизвестно (хотя не заметить столь неординарную личность, кажется, сложно). Зато с определённостью мы можем говорить о том, что он был знаком с боцманом 2-го Черноморского экипажа Иваном Ивановичем Логовенко, одним из лидеров другой николаевской подпольной организации, революционного кружка военных моряков, готовивших взрыв царской яхты. Вопрос об этом Андрею Антоновичу задавали в петербургском жандармском управлении, после того как Логовенко и другие участники заговора летом 1878 года попались с поличным (на конспиративной квартире при их аресте были обнаружены запалы с гремучей ртутью и провода́):

– Были ли Вы с ним в дружеских отношениях?

– Я был с ним в дружеских отношениях[37].

Однако, до поры, подобная интеллигентская фронда сходила талантливому механику и педагогу с рук. Как уже говорилось, в

1875 году он попадает в святая святых отечественного флотоводства – петербургское Морское училище. «В Морском училище того времени, – вспоминал один из его учеников, – при начальнике Алексее Павловиче Епанчине, ещё не угас дух Воина Андреевича Римского-Корсакова, проводившего в жизнь проникнутые разумным гуманизмом начала, которыми генерал-адмирал великий князь Константин Николаевич обновлял флот, а также и всю Россию, как ближайший и деятельнейший сотрудник своего брата <Александра II>. Воин Андреевич своей педагогической системой стремился к развитию во вверенных его попечению юношах прежде всего самостоятельности, поэтому, пока живы были его заветы, можно кратко сказать, что в учебном плане Морского училища проводилось начало: “Как можно меньшему учить, как можно большему предоставлять учиться самим”. Это не значит, что ничему или плохо учили, или что были плохие преподаватели, напротив. Кто не знает имени Александра Николаевича Страннолюбского, – а именно в наше пребывание в Морском училище был самый расцвет его деятельности; мы же, воспитанники Морского училища, кроме того, гордились такими учителями, как Н. Н. Зыбин, Ф. Д. Изыльметьев, А. А. Горенко, Я. И. Павлинов»[38].

Упомянутый маститый петербургский военный математик А. Н. Страннолюбский и его жена Елена Ивановна скоро взяли под свою опеку молодого черноморца (единственного мичмана среди всех преподавателей училища), который, явившись в столицу, нуждался в руководстве и покровительстве. Александр Николаевич Страннолюбский, моряк и воспитанник Морского корпуса (во время знакомства с Андреем Антоновичем он был капитаном 2-го ранга) являлся не только теоретиком высшего морского образования в России, но и энтузиастом женского просвещения. Он читал лекции по математике ещё на Аларчинских и Владимирских курсах, а теперь входил в инициативную группу готовящихся к открытию Высших женских курсов. Самыми знаменитыми его ученицами были две Софьи – Софья Васильевна Ковалевская, которую он репетировал по математике в 1860-е годы, и Софья Львовна Перовская, с которой он занимался в начале 1870-х в домашнем просветительском кружке, собиравшемся у Анны Павловны Корбы-Мейнгард, в её квартире на Галерной улице. Этот кружок можно рассматривать как своеобразную стартовую площадку для всей женской составляющей революционного подполья 1870-х годов, ибо помимо Перовской и Корбы (обе в будущем члены Исполнительного комитета «Народной воли»), участницами его были будущая анархистка М. П. Лешерн (сестра Корбы) и

будущие активистки народнического кружка так называемых «чайковцев» – сёстры Корниловы. В середине десятилетия все они так или иначе поддерживали связи со своим учителем.

Через Страннолюбского Андрей Антонович становится вхож в салон Анны Павловны Философовой, жены главного военного прокурора Империи и одной из центральных фигур в движении за женское образование. Салон Философовой был открыт для самых неожиданных посетителей, так что петербургские остряки шутили: «Что за чудеса происходят в доме военного прокурора: в то время как муж подписывает в своём кабинете приговоры террористам, его супруга принимает этих господ в своей гостиной!» Впрочем, к Философовой регулярно захаживал и Достоевский: дочь Анны Павловны М. Г. Каменецкая вспоминала, как писатель вместе с «преподавателем математики в Морском корпусе Горенко» растолковывали ей мудрёную гимназическую задачу «о черепахе и зайце», причём Достоевский «непременно хотел, чтобы черепаха пришла раньше зайца: “Она, бедная, не виновата, что её так Бог создал. А старается изо всех сил, а это лучше, чем заяц: прыг-скок, прыг-скок и уже поспел!”»

Ну и, разумеется, Андрей Антонович в Петербурге навещал сестёр, наверняка сталкиваясь в доме на восьмой Рождественской с Желваковым и его суровыми друзьями из студенческой группы «Народной воли». Сам он, разумеется, квартировал отдельно, как человек к тому времени семейный…

Впрочем, и с семейным статусом Андрея Антоновича всё оказывается как-то непросто.

Женился он ещё в Николаеве: в архиве местного Адмиралтейского собора сохранилась запись о бракосочетании 22 сентября 1874 года 26-летнего мичмана 1-го Черноморского экипажа Андрея Антоновича Горенко с девицей, дочерью умершего капитана, 27-летней Марией Григорьевной Васильевой. Если судить по тому, что на следующий год Мария Григорьевна принесла мужу первенца Николая, а в 1878 году – второго сына, Антона, намерения создать семью у молодых были вполне определённые. С другой стороны, едва осев в Петербурге, Андрей Антонович затевает с оставшимися в Николаеве друзьями переписку, в которой убеждает их вступать… в фиктивные браки, дабы освобождать девушек «из болота удушливой атмосферы родительского дома». Мотив фиктивного брака хорошо известен по многочисленным личным судьбам отечественных либералов и «либералок», настольной книгой которых был роковой для интеллигентских семейств роман Чернышевского, провозгласивший товарищеское равноправие взамен «семейных предрассудков». Вспомним вновь откровения пародийного

Лебезятникова из «Преступления и наказания»:

> Вот у нас обвиняли было Теребьеву (вот что теперь в коммуне), что когда она вышла из семьи и… отдалась, то написала матери и отцу, что не хочет жить среди предрассудков и вступает в гражданский брак, и что будто бы это было слишком грубо, с отцами-то, что можно было бы их пощадить, написать мягче. По-моему, всё это вздор, и совсем не нужно мягче, напротив, напротив, тут-то и протестовать. Вон Варенц семь лет с мужем прожила, двух детей бросила, разом отрезала мужу в письме: «Я сознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества, посредством коммун. Я недавно всё это узнала от одного великодушного человека, которому и отдалась, и вместе с ним завожу коммуну. Говорю прямо, потому что считаю бесчестным вас обманывать. Оставайтесь, как вам угодно. Не надейтесь вернуть меня, вы слишком опоздали. Желаю быть счастливым».

В практике революционных кружков 1870-х фиктивные браки вообще были обычным делом: их заключали иногда просто для того, чтобы обеспечить безопасность какой-нибудь очередной явочной квартиры, которую снимали «молодожёны». Но и в среде сочувствующей народникам молодёжи, прежде всего учащейся, также постоянно возникала неопределённость семейных союзов, участники которых, не признавая содержательность церковного обряда, путались затем в нравственной диалектике «товарищеских» и «супружеских» взаимоотношений между полами. Так, например, русское землячество студенток-фричей (от английского free – свободный) в университете Цюриха было, в бытность там Веры Фигнер, просто распущено специальным правительственным указом: до Петербурга дошло, что «под покровом занятий наукой русские женщины едут за границу, чтобы беспрепятственно предаваться утехам “свободной любви”». А юная Софья Перовская и её друзья сами удалили из петербургской «коммуны» студентов и курсисток на Большой Вульфовой улице одного из участников «за его отношение к женщинам, совершенно не соответствовавшее этическим требованиям членов кружка» (А. И. Корнилова-Мороз).

Степень «революционности» Андрея Антоновича в отношении собственной первой семьи не выяснена (о фиктивном браке ввиду появления потомства говорить неудобно, хотя и такие

неожиданности у последователей Веры Павловны и Дмитрия Сергеевича Лопуховых[39] случались, конечно).

Но то, что эта революционность в той или иной мере присутствовала, мы можем подозревать определённо, ибо Мария Григорьевна не оставила никаких следов в последующей жизни мужа, а само тринадцатилетнее существование её в качестве первой законной (!) жены лишь недавно было открыто биографами Ахматовой посредством кропотливой архивной работы. В абсолютное небытие канули и оба рождённые в этом браке сына: от старшего остался лишь списанный краеведом текст эпитафии на забытом надгробии севастопольского кладбища: «Сын лейтенанта Горенко Николай, умер 25 декабря 1885 г. на 11 году от роду», а от младшего Антона – вообще ничего не осталось, кроме имени и года рождения в служебном формуляре отца[40]. Были и другие странности, сопровождавшие семейную жизнь Андрея и Марии Горенко – о них будет сказано далее.

Однако до поры ничто не мешало блестящему взлёту карьеры Андрея Антоновича. За три года работы в Морском училище он видел только начальственное расположение, всегда оказывался на хорошем счету, и в 1879 году в возрасте 31 года был произведён в лейтенанты флота, получив в придачу орден Св. Станислава 3-й степени. Между тем за всеми личными и общественными треволнениями неумолимо надвигалось роковое 1 марта 1881 года. В канун покушения на императора закадычный друг Аспазии Горенко, вольнослушатель университета Николай Желваков умолял своего наставника по подпольному студенческому кружку Андрея Желябова послать его, Желвакова, главным бомбометателем. Однако выбор пал на студента Технологического института Игнатия Иохимовича Гриневицкого.

> «Александр II должен умереть. Дни его сочтены, – писал тогда Гриневицкий в своём «Завещании» потомкам. – Мне или другому кому придётся нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдалённейших уголках её, – это покажет недалёкое будущее.
>
> Он умрёт, а вместе с ним умрём и мы, его враги, его убийцы.
>
> Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнётся то, что хитрые люди зовут правлением – монархическим, неограниченным, а мы – деспотизмом…
>
> Что будет дальше?
>
> Много ли ещё жертв потребует наша несчастная, но

дорогая родина от своих сынов для своего освобождения? Я боюсь… меня, обречённого, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди много ещё дорогих жертв унесёт борьба, а ещё больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убеждён в том, не особенно далека и которая зальёт кровью поля и нивы нашей родины, так как – увы! – история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв.

Мне не придётся участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю всё, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может».

Но и Гриневицкий в составе бомбометателей, окончательно утверждённом Перовской, оказался лишь дублёром. Первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года в один час сорок пять минут пополудни он стоял на набережной Екатерининского канала, с узелком своей бомбы, боком облокотившись на ограду Михайловского сада, – и лишь машинально смотрел, как восторженно приветствуют приближающуюся карету государя прохожие, как стягивает шапку и широко улыбается забавный крестьянский мальчишка, тащивший корзину из соседней мясной лавки, и как Александр, выглянув в окно кареты, улыбается ему в ответ.

Окаменев, он машинально наблюдал, как Перовская, выскочив из людской толчеи на площади, взбегает на Ново-Конюшенный мост и отчаянно, сверху вниз, машет белым платком, и как первый метальщик Рысаков семенит наперерез карете, но кулёк с бомбой почему-то летит не в неё, а под ноги лошадей, прямо перед смеющимся деревенским мальчишкой…

Сквозь дымное марево, накрывшее место взрыва, в наступившей звенящей тишине, он видел, как корчатся умирающие лошади и как Александр, выскочив из осевшей кареты, бросился к упавшему ребенку и склонился над ним. Со всех сторон бежали люди, и мгновенно образовавшаяся толпа скрыла собой царя из виду. Вдруг, спустя несколько минут, царь вновь показался между собравшимися. Он медленно шёл сквозь толпу прямо на Гриневицкого, смертельно бледный, сосредоточенный и что-то говорил следующим за ним офицерам. И тогда Гриневицкий, шагнув навстречу, резко замахнувшись обеими руками, бросил бомбу вниз, перед собой, под ноги себе и

императору, поравнявшемуся с ним в эту минуту…

Казак лейб-гвардии Терского эскадрона собственного Его Величества конвоя Александр Малеичев скончался от ран, полученных во время первого взрыва, через десять минут по доставке в госпиталь.

Смертельно раненный, истекающий кровью Александр II умер в Зимнем дворце через час после второго покушения.

Его убийца Игнатий Гриневицкий пережил его на семь часов: в Конюшенном госпитале, куда его перенесли с набережной, ему никак не давали умирать, всё время среди смертной агонии приводили в себя и постоянно спрашивали об имени и звании, но выжали из него под самый конец только два слова: «Не знаю». Голова его была заспиртована и приобщена к вещественным доказательствам процесса о цареубийстве, на котором он фигурировал как «умерший 1 марта человек, проживавший под ложным именем Ельникова».

А четырнадцатилетний крестьянский мальчишка Колька Захаров был доставлен в бессознательном состоянии с проникающей раной черепа в левой височной области, в продолжении 40 часов не приходил в себя, подавая признаки жизни лишь судорогой израненных осколками рук, и так и умер 3 марта 1881 года в 12 часов пополудни.

Петербургские предания, в достоверности которых сомневаться не принято, сообщают, что страшный призрак повешенной через месяц после цареубийства Софьи Перовской так никогда и не покидает с тех пор Екатерининский канал: в промозглые глухие сумерки, которыми начинается здешний март, из года в год появляется её тень, которая всё машет и машет своим платком на Ново-Конюшенном мосту. И тому, кто имел несчастие увидеть своими глазами это белое пятно, плещущее всегда одним и тем же сигналом: сверху – вниз, сверху – вниз, сверху – вниз! – непременно грозит большая беда…

И неудивительно: жизнь всей великой страны по взмаху этого платка вдруг потеряла устойчивость и начала медленно, но неудержимо катиться в тартарары. Для сотен же и тысяч людей, как связанных с петербургской трагедией непосредственно, так и оказавшихся среди неё волею случая, это внезапное скольжение и оседание в жизненную бездну началось сразу же после 1 марта.

Одним из этих последних был преподаватель математики Морского училища, потомственный дворянин Симферопольского уезда, лейтенант флота и кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени Андрей Горенко.

IV

Андрей Горенко в 1881 году. – Связь с Инной Змунчилло – Сотрудничество с РОПИТ – Новое царствование – Отставка великого князя Константина Николаевича – Дело о политической неблагонадежности и отрешение от должности в Морском училище – Заговор в Николаеве – Г. П. Судейкин и Вера Фигнер – Генерал В.С. Стрельников – Г. Г. и С.Г. Романенко – Николай Желваков и сестры Горенко – Покушение в Одессе – Охота на народовольцев – Арест Веры Фигнер и гибель Судейкина – Угроза над Инной Эразмовной – Бегство за границу.

Согласно семейным преданиям, жизненные пути Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой сошлись в год цареубийства. Виктор Горенко говорит даже о свадьбе их в этот роковой год, однако, если понимать «свадьбу» не в чернышевско-нигилистическом, а в традиционном для России XIX века смысле брачного союза, освященного церковным обрядом и узаконенного посредством удостоверяющих это событие консисторских и иных документов, – то даже в послужном списке, составленном 24 июня 1886 года (и заверенном тогда же, как и полагается, собственноручно Андреем Антоновичем), указывается, что женой его является Мария Григорьевна Горенко, урождённая Васильева. И только в свидетельстве о рождении 23 сентября 1887 года младенца Андрея, Инна Эразмовна, мать новорождённого, впервые выступает в качестве законной супруги Андрея Антоновича Горенко, отца означенного младенца. Так что свадьба (если она вообще была) могла быть сыграна родителями Ахматовой во временно́й промежуток с осени 1886-го по осень 1887-го, никак не раньше.

А до того, если брать 1881 год в качестве некоего легендарного условного ориентира, было пятилетнее сожительство, крайне хлопотное и к тому же стеснённое людьми и обстоятельствами, от которых жестоко пострадал Андрей Антонович.

А ведь 1881 год начинался для него так удачно!

Вероятно, ещё в Николаеве мичман Горенко оказался вовлечённым в круг проблем, связанных с деятельностью правления РОПиТ-а[41]. Послужило ли этому короткое знакомство его непосредственно с Н. А. Аркасом или с каким-нибудь влиятельным заезжим акционером[42] – неизвестно, однако в 1878 году преподаватель математики Морского училища вдруг был призван в головное, петербургское отделение РОПиТ-а для

работы над новым уставом, необходимость в котором после блистательного завершения Балканской кампании стала насущной. С окончательным утверждением российского военного присутствия на Чёрном море и в Средиземноморье качественно менялся характер деятельности Общества. При наличии броненосцев и крейсеров отпадала необходимость переделывать транспортные суда в боевые корабли, зато возрастала значимость их непосредственной мирной функции, промышленного и сырьевого снабжения того же флота, равно как и всех южных губерний, экспортной грузоперевозки и пассажирского судоходства. Если в 1860-х – начале 1870-х годов деятельность РОПиТ-а, частично берущего на себя исполнение обязанностей Черноморской военной эскадры, щедро дотировалась государством, то теперь было необходимо усиливать её экономическую составляющую. Помимо того необходимо было урегулировать и специальные, внутренние вопросы, связанные с разделением акционерного финансирования морских и сухопутных перевозок. Именно Андрей Антонович стал автором аналитической записки, которая после обсуждения легла в основу нового устава РОПиТ-а, принятого 31 мая 1879 года. Если учесть, что как раз в это время мичман Горенко становится лейтенантом флота и получает своего первого «Станислава» – усилия его были по достоинству оценены «в верхах».

На этом связь новоиспечённого лейтенанта и кавалера с петербургским правлением РОПиТ-а не оборвалась. В самом начале 1881 года, 7 января, Андрей Антонович выступил на заседании IV отделения Императорского технического общества с основным докладом о РОПиТ-е, где он, по словам обозревателя «Николаевских ведомостей», «основываясь на точных сведениях и на данных, почерпнутых из отчётов самого же общества, доказал преступную небрежность, с какою ведёт оно свои морские операции». Затронутая проблема была крайне болезненной: одна из пароходных линий РОПиТ-а, проложенная по маршруту Одесса – Галац – Рущук, несмотря на значительные субсидии, обнаружила полную нерентабельность. Судить о подлинной роли лейтенанта Горенко в истории управления российским торгово-пассажирским мореплаванием второй половины 1870-х – начала 1880-х годов сейчас сложно (эта тема, как кажется, ещё ждёт своего исследователя). Но любому, кто имеет хотя бы поверхностное представление об отечественной специфике веде́ния дел, должно быть ясно: просто так подобные «резонансные» выступления тут не случаются. В деятельности РОПиТ-а Андрей Андреевич мог принимать столь активное участие, только являясь креатурой каких-то влиятельных сил,

стоящих за его спиной. Очевидно, что это была заявка с весьма далеко идущими намереньями, и заявка, судя по произведённому эффекту (Галацкая линия была признана убыточной и вскоре вообще отменена), достигшая цели.

Но грянувшее спустя два месяца 1 марта разом смешало всё.

Уже 8 марта 1881 года на экстренном заседании Государственного совета, собранном новым императором Александром III, стало понятно, что либерализму в «верхах» наступает конец. Позиция верховной власти, озвученная на этом заседании в речи обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева (домашнего учителя Александра Александровича в бытность его наследником-цесаревичем), оказалась предельно ясной: разгул смуты и террора, приведший к катастрофе, непосредственно связан с попытками либералов из придворного окружения покойного императора и министров-реформаторов внедрить в управление страной органически чуждые ей формы западной демократии. Ясен был и вывод: для возвращения жизни страны в нормальное русло нужно не только калёным железом без дискуссий и сантиментов выжигать революционную заразу в нижних слоях общества (в первую очередь, среди интеллигентов-разночинцев), но и одновременно перетрясти весь властный российский «верх», решительно отодвинув от рычагов управления всех тех, кто в минувшее царствование смущал неокрепшие российские умы губительными соблазнами «политической говорильни» (парламента) и конституции («орудия всякой неправды, источника всяческих интриг»). Одним из первых жертв этой «перетряски» стал великий князь Константин Николаевич, которому припомнилось сразу всё – от освобождения крестьян и польского восстания, до «сводничества» (он являлся конфидентом брата в его романе с княгиней Долгорукой). Он был лишён всех должностей (сохранив лишь почётное звание генерал-адмирала) и перёшел фактически на положение частного лица, не имеющего никакого государственного влияния даже по родственной близости к престолу: домовитый и семейственный племянник-император, беззаветно влюблённый в свою собственную жену, органически не переносил беспутного дядюшки, открыто живущего с любовницей. Тому оставалось только покинуть Петербург и затвориться с «беззаконной» возлюбленной, балериной Анной Кузнецовой и четырьмя детьми, прижитыми от неё, в крымском имении. «Моя политическая жизнь этим кончается, – подвёл итог происшедшему сам генерал-адмирал, – но я уношу с собою спокойное сознание свято исполненного долга, хотя с сожалением, что не успел принести всей той пользы, которую надеялся и желал».

Чёрные дни наступили и для его многочисленных выдвиженцев. Над всеми «птенцами гнезда Константинова», привыкшими к самостоятельности и свободе в суждениях и поступках, вдруг замаячил нехороший знак неблагонадёжности. Жандармерия и полиция считали делом чести и реванша за Екатерининский канал восстановление жёсткого контроля над мятежным интеллигентским сообществом, где, как в салоне А. П. Философовой, настоящие государственные преступники, заговорщики и террористы практически не дистанцировались уже от словесных фрондёров, присутственных мирабо и дантонов[43] и просто любителей вставить невзначай красное словцо. Разумеется, до таких охранительных высот как «таганцевское дело» 1921 и «кировский поток» 1934 годов имперские законники ещё не доросли, но первые сполохи, предвещающие грядущие бури на петербургском интеллигентском небосклоне, мелькнули – ведь платок Перовской уже дал отмашку…

14 апреля 1881 года Департаментом полиции было заведено дело «О политической неблагонадёжности лейтенантов Андрея Горенко и Гаврилова и мичмана Кулеша». В конце месяца Министерство внутренних дел поставило в известность об этом управление Морским министерством, а 25 сентября того же года, по итогам предварительного следствия, директор Департамента полиции В. К. Плеве испросил разрешение у своего шефа, министра Н. П. Игнатьева, возбудить против лейтенанта А. А. Горенко особое производство «по исследованию вредного его направления с целью представления затем о высылке его административным порядком, согласно ст. 33 и 34 “Положения о мерах по охране государственного порядка”».

Нужно сказать, что основания для тревоги у Департамента полиции и в самом деле были. Чтобы это понять, следует вновь вернуться к Вере Николаевне Фигнер, ускользающей из столицы Империи в парижской мантильке Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой. Путь её пролегал тогда на юг, в Одессу и Николаев. Тайный отъезд из Петербурга 3 апреля 1881 года не был обычным побегом: она уезжала готовить вооруженный мятеж на Черноморском флоте и в Одесском военном округе.

Как мы помним, первые часы и дни после жертвоприношения на Екатерининском Софья Перовская носилась с идеей немедленного вооружённого бунта на петербургских улицах и последующего переворота. Перовская вскоре была арестована и погибла, но идея всеобщего вооружённого восстания, возникающего как продолжение бурного, но локального возмущения, подготовленного малым числом заговорщиков, получила распространение среди руководства «Народной воли»

и была проработана одним из народовольческих «военных специалистов», полковником Михаилом Юльевичем Ашенбреннером. «Одна рота, под руководством решительного человека, – убеждал Ашенбреннер, – может оказать великие услуги революционному движению, например, в городе рота может захватить арсенал и передать народу оружие. Известно, что в каждом городе существуют громадные неприкосновенные запасы оружия, патронов, снарядов на случай мобилизации, и эти склады расположены на окраинах и охраняются ефрейторским постом (3 человека и ефрейтор). Снять этот пост ничего не стоит. В мирное время в батареи запрягаются только 4 орудия и по одному зарядному ящику на орудие; остальные 4 орудия и 20 зарядных ящиков также хранятся до мобилизации в особых помещениях, под охраной ефрейторского караула. Захватить эти орудия, захватить снаряды в пороховых погребах дело очень немудрёное. Рота может арестовать особенно ретивых начальников и, таким образом, действительно расстроить планы начальства и поселить в штабах неурядицу. Рота или даже один взвод может ворваться в тюрьму и освободить политических заключённых. Офицеры-радикалы должны изучать не только топографию местности, но и все мелочи военного быта и обычные приемы действия и распорядка властей, и такое изучение откроет уязвимое место в военных порядках. <…> С небольшими силами можно обезоружить приблизительно в один и тот же час всю русскую армию».

Если учесть, что в Прагском полку Одесского военного округа М. Ю. Ашенбреннер командовал не пресловутой ротой, а целым батальоном, – намерения его были самыми серьёзными. Для политического руководства ашенбреннерской «группой решительных офицеров» и была откомандирована из Петербурга член Исполнительного комитета «Народной воли» Вера Фигнер. В столице, накрытой волной сплошного сыска, Вера Николаевна, поднявшаяся после гибели Желябова, Перовской и Кибальчича в российской революционной иерархии на самую вершину, всё равно производила впечатление слона в посудной лавке: она была настолько заметна, что могла лишь сидеть, бездействуя, в глухом затворе. Зато в южном таврическом раздолье, среди колеблющихся одесских и николаевских военных, которых необходимо было вдохновить ни много ни мало на разоружение в один и тот же час всей армии Российской империи, от Варшавы до Владивостока, овеянная легендами Фигнер оказывалась на своём месте.

В Николаеве был организован военный штаб заговорщиков. «В течение лета 1881 г., – фиксируют документы полицейского

дознания, – члены кружка часто собирались на сходки, читали запрещенные издания, обсуждали разные вопросы, между прочим, об освобождении содержавшейся в тюремном за́мке государственной преступницы Фанни Морейнис. Два раза посетила их и Вера Фигнер, проезжавшая чрез Николаев, отправляясь в сентябре 1881 г. в Москву на совещание с вожаками главного террористического кружка, а также возвращаясь оттуда в Одессу. <…> Кружок собрался в полном составе приветствовать гостью, которую Ашенбреннер представил им под именем “Елены Ивановой”. Разговор вёлся в духе революционном, причем говорили больше Ашенбреннер и Вера Фигнер. Она интересовалась узнать настроение общества офицеров Прагского полка и произвела на них большое впечатление красивою своею наружностью и увлекательным красноречием».

Очевидно, что «большое впечатление» николаевские события производили и на соответствующие местные охранительные инстанции, информировавшие, разумеется, Петербург о тревожных агентурных сообщениях, поток которых весной и летом 1881 года приобрёл лавинообразный характер. Вряд ли В. К. Плеве и Н. П. Игнатьев всерьёз верили в способность Веры Николаевны и её военных инсургентов развернуть южные войска против Петербурга и Москвы, но какой-то декабристский призрак Черниговского полка, несомненно, замерещился им из глубины минувших десятилетий, причем в роли города Василькова теперь выступал именно Николаев[44]. Поэтому неудивительно, что всё военное «николаевское землячество» в столице было подвергнуто самому тщательному наблюдению. А тут-то и выяснилось, например, что одна из сестёр флотского лейтенанта Горенко, переведённого из Николаева в столичное Морское училище, дважды, в 1874 и в 1878 годах, проходила по политическим делам, напрямую связанным с деятелями «Народной воли», а сам он, по его собственному признанию, был в дружеских отношениях с казнённым в Николаеве государственным преступником, дезертиром и убийцей боцманом Логовенко…

В сентябре 1881 года Андрей Андреевич был «отрешён» от должности преподавателя Морского училища и «зачислен по резервному флоту» (т. е. перевёден в запас). В квартире его был проведён обыск, а за домом установлено негласное наблюдение, причём агент, осуществлявший оное, отнёсся к делу спустя рукава и, не обременяя себя маскировкой, тупо торчал у подъезда. Это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Андрея Антоновича. Он сам отправился к заведующему агентурой Петербургского охранного отделения Г. П. Судейкину и настоятельно попросил организовать негласное наблюдение за

собой на более высоком профессиональном уровне:

– Если уж необходимо за мной следить, то пусть это будет так, чтобы я не замечал сыщика: это нервирует и мешает работать.

Судейкин вызвал кого-то и приказал привести нерадивого агента:

– Тебе́ было поручено следить за этим человеком?

– Мне.

Судейкин поднес к носу сыщика кулак.

Георгия Порфирьевича Судейкина по праву называли «гением русского сыска». До Петербурга он возвысился из Киева, где сумел извести всю местную группу народовольцев, используя, правда, методы, которые оставили за ним в истории и другой, менее почтенный титул – «король провокации». В качестве главы столичной охранки, а затем инспектора сыскной полиции Судейкину было суждено в 1881–1883 годы искоренить «Народную волю» уже во всероссийском масштабе. Заветной его целью, как уже говорилось, была Вера Николаевна Фигнер, и он добыл-таки её, правда, ценою собственной жизни. Судейкин оставил потомкам самые невероятные легенды. Говорили даже, что он готовил свой собственный государственный переворот, расчищая путь во власть с помощью революционеров-террористов, которыми ловко манипулировал посредством «двойных агентов». Утверждали, что и Плеве, и граф Д. И. Толстой, и сам великий князь Владимир Александрович были уже намечены им в жертвы, и пали бы наверняка, если бы главный судейкинский «двойной агент» С. П. Дегаев не восстал, подобно исчадию Франкенштейна, против своего повелителя…

Что́ тут правда, что́ домыслы – точно не знает никто. Но в судьбе Андрея Антоновича Горенко «гений русского сыска» сыграл самую благотворную роль. Отчитав филера, он внимательно выслушал затем затравленного отставного лейтенанта, пообещав разобраться с его бедами. И не обманул. Георгий Порфирьевич затребовал следственные материалы, внимательно вник и написал рапорт, в котором настаивал, что первоначальные сведенья о неблагонадёжности подозреваемого явно не подтверждаются ни донесениями агентуры, ни результатами обыска. Плеве прислушался к мнению своего доверенного лица и совсем было нависшая над Андреем Антоновичем угроза суда и ссылки благополучно минула: дело было направлено на доследование.

Некоторые из биографов Ахматовой, говоря об этом эпизоде в биографии её отца, вспоминают, разумеется, о том, что «гений сыска» был и «королём провокации». Неожиданную

благотворительность начальника охранной агентуры они объясняют тем, что Андрей Антонович на встрече с Судейкиным был им, как водится, завербован. Верится в это с трудом, потому что очень сложно представить, в каком именно качестве практичный Судейкин мог осенью 1881 года использовать новоиспечённого агента. Лейтенант А. А. Горенко, как установило следствие, только был знаком с некоторыми персонажами подполья, возможно, догадываясь о «теневой» стороне их жизни. Но вменять прикосновенность к преступникам в соучастие им русский политический сыск ещё не научился, да и смысла в этом не видел: ведь на подобном основании можно было смело сажать и ссылать едва ли не половину Петербурга. А массовые репрессии в 1881 году на повестке дня не стояли. Вот если бы Андрей Антонович оказался в «светлом времени торжества», о котором мечтал перед смертью несчастный Гриневицкий, то с подобным кругом знакомств его бы, действительно, в лучшем случае ждал ГУЛАГ, а в худшем – стенка, как его будущего зятя Николая Гумилёва. Единственным собственным крамольным деянием Андрея Антоновича была перехваченная переписка с призывами жениться на девицах фиктивно. Её, при большом желании и достаточных усилиях, можно было обратить в ссыльный приговор. Но нужно ли? Судейкин, что бы ни говорили его противники, был деятелем идейным, уж никак не менее, чем его главная противница и, можно сказать, закадычный враг Вера Николаевна Фигнер. И тот, и другая понимали служение отечеству по-разному, но вместе были патриотами. Если «заговор Судейкина», о котором вещал Дегаев, и был в действительности, то, при всей чудовищности замысла, составлялся он в целях альтруистических. Если же рассказ Дегаева есть ни что иное, как бред ополоумевшего от страха за свою шкуру многократного предателя и убийцы, то всё-таки какие-то правдоподобные черты там были. Потому что ему поверили люди, знающие Георгия Порфирьевича не понаслышке, и знавшие, в частности, что Судейкина всегда возмущала беспечная людская расточительность высших полицейских «консерваторов», загнавших в ссылки и на каторгу целое поколение образованной русской молодёжи. И вот перед Судейкиным сидит молодой человек, учёный до мозга костей, педагог милостью Божьей, специалист, увлечённый развитием судоходства на Чёрном море, болеющий за развитие этого дела… Зачем и его куда-то ссылать, кому и какая от этого будет польза? И тем не менее роль бескорыстного доброго самаритянина, разыгранная вдруг Судейкиным в деле Андрея Антоновича Горенко, кажется подозрительной – уж больно не судейкинское это амплуа. Шеф

охранного сыска, по единодушному заключению современников, относился к той породе людей, любые инициативы которых всегда имеют некие стратегические «подтексты», просчитанные на много ходов вперед, иногда в расчёте на месяцы и годы.

Андрей Антонович не имел никакого непосредственного касательства к делам народовольцев, так что использовать его можно было только методом внедрения. А зачем это было нужно Судейкину, когда в его распоряжении были уже настоящие агенты-подпольщики, им перевербованные? Но, если вспомнить, что идеей fxe Судейкина в это время была поимка и заключение под стражу Веры Николаевны Фигнер, то во внезапном его благодетельном участии осенью 1881-го в судьбе Андрея Антоновича (действительно, странном) мы можем видеть первый знак, свидетельствующий о прочном утверждении в жизни лейтенанта Горенко Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой.

В истории русской революции Судейкин связан с Фигнер приблизительно так, как кинематографический инспектор Фош связан с Фантомасом. Любые вновь обнаруженные связи Фигнер тут же отрабатывались им вполне и до конца, вне текущих планов и любой ценой. А у неожиданного визитёра, судя по агентурным отчётам, имелась тесная дружба с одной из хороших петербургских подруг Веры Николаевны. Вербовать его сейчас никакого смысла нет. Фигнер, проявляя чудеса конспиративного искусства, гуляет по южным областям Империи, собирается разоружать русскую армию, брать приступом то ли Николаев, то ли Одессу, и Андрей Антонович, смиренно ожидая решения своей участи в Петербурге, никакого касательства к ней иметь не может. Тем более он не будет иметь к ней никакого касательства, если его сейчас арестуют и сошлют dans le pays de Makar et de ses veaux, как выражался один современный Судейкину литературный герой. А вот если Андрей Антонович под тихим, незаметным надзором будет продолжать в Петербурге мирно изучать возможности пароходных транспортировок РОПиТа, пользуясь одновременно благосклонностью экстравагантной подольской помещицы (бывшей владелицы парижской мантильки), – то у Судейкина, на случай обнаружения вожделённой добычи вновь в Петербурге, появится в здешнем окружении Фигнер новый добрый знакомый, целиком по-человечески обязанный благородному «гению русского сыска»…

И Судейкин незамедлительно пишет рапорт. И Андрей Антонович под невесомой опекой новых необременительных судейкинских сексотов, действительно, успокаивается и завершает очередной доклад о РОПиТ-е «Русское общество пароходства и торговли и его значение как субсидируемого

пароходства» (он с успехом прочёл его 2 декабря 1881 года в Обществе содействия русской торговле и промышленности). И Инна Эразмовна, вступив как раз в это время во владение своей частью отцовского наследства, скрашивает, надо полагать, как умеет, дни жизненных испытаний выведенного в резервный флот неблагонадёжного лейтенанта.

Только вот Фигнер в Петербурге так и не появилась. Зимой 1881/1882 годов она целиком захвачена подготовкой годовщины 1 марта, которую «Народная воля» решила «отпраздновать» новым грандиозным террористическим актом. Мишенью на этот раз был избран «Торквемада деспотизма»[45] – военный прокурор киевского военно-окружного суда генерал-майор Василий Степанович Стрельников, находившийся тогда в Одессе для производства по Высочайшему повелению дознаний о государственных преступлениях.

В отличие от асов политического сыска, подобных Судейкину, предпочитавших помалкивать, действовать в тени и наносить точные, выверенные удары по хорошо отработанным целям, патриархальный Стрельников полагал, что лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного, и был потому фигурой «медийной». «В Одессу прибыл Стрельников, убыло 100 человек», – лаконично сообщали последние российские новости иностранные газеты. Он был груб, невежествен, невоздержан на язык, к месту и не к месту поминал всюду тюрьму и петлю, а в судебных прениях мог открыто заявить, что, за отсутствием улик, одного убеждения прокурора в виновности подсудимого вполне достаточно, чтобы отправить его на виселицу. Это и другие стрельниковские изречения мгновенно тиражировались в подпольной печати, просачивались даже и в легальную прессу, и Стрельников стал к началу 1880-х годов «притчей во языцех», воплощая собой расхожий лубочный образ злобной и тупой полицейской России. Для «юбилейного» жертвоприношения «Народной воли» это была идеальная кандидатура.

С другой стороны, как вспоминала Фигнер, «система действий» Стрельникова наносила существенный вред самой партии: «Этот вред заключался в дискредитировании её в общественном мнении, что происходило вследствие огульных оговоров и запугивания массы лиц людьми, терроризированными и деморализованными Стрельниковым, – людьми, совсем не принадлежавшими к революционным деятелям, но которых общество не имело возможности отличить от них, раз они привлекались по политическому делу. <…> Он прилагал все усилия, чтобы смешать социалистов с грязью, выставить их перед обществом как шайку уголовных преступников, умышленно

прикрывающих политическим знаменем личные поползновения испорченной натуры». В Одессе это было ещё проще, чем в Киеве, так как среди местной революционной молодёжи были очень популярны взгляды М. А. Бакунина, считавшего «разбойный элемент» одним из главных составляющих в революционной борьбе и полагавшего весьма полезными для дела революции погромы и грабежи. Один из лидеров студенческой группы «Народной воли» в Новороссийском университете Герасим Романенко, хорошо известный Фигнер ещё с конца 1870-х, опубликовал в октябре 1881 года прокламацию, в которой от имени народовольцев горячо поддерживал народные расправы над одесскими «евреями-эксплуататорами»: «Всё внимание обороняющегося народа сосредоточено теперь на купцах, шинкарях, ростовщиках, словом, на евреях, этой местной “буржуазии”, поспешно и страстно, как нигде, обирающей рабочий люд». Его брат, Степан (будущий крёстный Ахматовой) был также знаком Фигнер: он тяготел к украинским националистам и привлекался за хранение подцензурного женевского издания шевченковского «Кобзаря»[46]. Представители этой крайне разношерстной и неопределившейся в своих взглядах молодёжи и становились основными фигурантами подготовляемых Стрельниковым показательных процессов. А в средствах он не стеснялся. «Арестанту Геккеру на допросе, – фиксировалось в деле Департамента полиции, – генерал Стрельников сказал, за неоткровенность в его показаниях, что он уничтожит не только его, Геккера, но и его семейство; Геккер по возвращении в тюрьму громогласно об этом говорил заключённым, добавив, что где бы он ни был, какая бы участь его ни постигла, он… не простит генералу Стрельникову то, что он трогает его семейство»[47].

Покушение на Стрельникова В. Н. Фигнер готовила с декабря 1881 года, а под Новый год к ней в Одессе присоединился матёрый террорист-народоволец Степан Халтурин, ставший всероссийской знаменитостью после устроенного им в феврале 1880 года взрыва в Зимнем дворце. Но Стрельников, почувствовав опасность, из Одессы стал надолго исчезать, так что непосредственных исполнителей, которых вызывал к очередному удобному дню «технический руководитель» операции Халтурин, из соображений конспирации приходилось отсылать обратно ни с чем. Халтурин выходил из себя от нетерпения, но 1 марта 1882 года так и прошло «неотмеченным». А вскоре из-за обнаружившейся слежки Одессу была вынуждена покинуть и Фигнер, перед самым отъездом узнавшая, что Халтурин вновь вызвал исполнителя, и что на этот раз им является её старый

петербургский знакомый Николай Алексеевич Желваков.

Желваков присутствовал при казни пяти цареубийц на Семёновском плацу и потом говорил близким друзьям (надо думать, и Аспазии Горенко), что в этот миг дал себе клятву, умереть, как умерли они, «совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия».

Клятву свою он исполнил.

18 марта 1882 года, около пяти часов вечера, Стрельников, пообедав во французском ресторане, гулял по Николаевскому бульвару. Когда он присел на скамью[48], прохожий в длинном пальто (это был Желваков), подойдя к генералу, неожиданно выхватил пистолет, выстрелил ему в голову и бросился бежать. На спуске к морю его настигли и после борьбы скрутили. Сообщник, поджидавший стрелка в пролётке у спуска (это был Халтурин), бросился на помощь, но тоже был схвачен рабочими, проходящими со смены. Известно, что, вырываясь, Халтурин кричал: «Оставьте! Я социалист! Я за вас!» – но был оглушён, со словами: «Чтобы ты так жил, как ты за нас!»

Стрельников был сражён наповал. Как и предполагала Фигнер, готовя «юбилейное» покушение, никто о нём не пожалел:

> Судьба изменчива, как карта.
> В игре ошибся генерал,
> И восемнадцатого марта
> Весь юг России ликовал…[49]

Пойманных террористов тайно казнили в одесской тюрьме рано утром 22 марта 1882 года, через три дня после покушения. Халтурин молчал, а Желваков перед эшафотом попытался сказать перед тюремщиками и солдатами речь, а потом только махнул рукой – «Высоко-то как!» – и легко взбежал по ступенькам к виселице… Себя они так и не назвали. О том, что казнён «сам» Халтурин, одесские жандармы узнали только через несколько дней от случайного свидетеля. А месяц спустя, во время семейного праздника в семье вятского землемера Алексея Ивановича Желвакова, почтальон принёс свежие газеты; хозяин стал просматривать их, и по внезапно изменившемуся лицу гости и жена поняли, что он прочитал что-то ужасное. Жена выхватила лист, глянула в него, закричала и упала в обморок. Гости разбежались…

Во время официальной процедуры установления личности государственного преступника А. И. Желваков на допросе у вятского полицмейстера, в частности, показал, что сын высказывал намерение оставить на время Петербург, а все письма

к нему просил пересылать на адрес студентки Аспазии Антоновны Горенко, квартирующей на Песках. Из Вятки эта информация немедленно была передана в петербургский Департамент полиции, и тут вновь занялись домом № 28 по 8-й Рождественской, но ровно ничего подозрительного не обнаружили: Аспазия на лето уехала к родителям в Севастополь, а её сестра – в Самару (надо полагать, у Анны Антоновны там сохранялись знакомства ещё со славных времён «хождения в народ»).

Ничего подозрительного не выявило дополнительное расследование и в личности Андрея Антоновича Горенко. 21 сентября 1882 года Департамент полиции известил инспекторский департамент Морского министерства, что «дознание по совершенному отсутствию данных к обвинению лейтенанта Горенко было прекращено без всяких для него последствий, и затем в Департаменте государственной полиции не имеется никаких сведений, компрометирующих Андрея Горенко в политическом отношении»[50], после чего 18 октября 1882 года он был «возвращён из резерва» на действительную службу. Но…

Но жизнь в тридцать четыре года приходилось начинать заново. После столь длительного отсутствия в Морском училище восстановиться тут преподавателем уже не представлялось возможным. 24 октября 1882 г. он был уволен из штата училища «для службы на судах коммерческого флота» и… бесследно растворился более чем на два года. На каких коммерческих судах он служил, к какому порту эти суда были приписаны, что за обязанности приходилось ему выполнять во время службы, да и была ли служба вообще – неизвестно.

А что же Инна Эразмовна? Присутствие её с начала 1881 года совершенно невесомо не только в судьбе Андрея Антоновича, но и в бытии послемартовского разночинного Петербурга. И это воистину удивительно! Если простое знакомство и родство её любовника с лицами, причастными к событиям 1 марта, привело к длительному полицейскому разбирательству и краху столичной карьеры, то её-то собственная парижская мантилька тянула на полновесное уголовное преследование и последующий срок в ссылке или на каторге. При любых политических режимах соучастие в организации побега преступника, организовавшего физическое убийство главы государства (не то что Помазанника Божия, но даже какого-нибудь захудалого президента или премьер-министра), является проступком, влекущим за собой повышенное внимание правоохранительных органов и самые громкие и неприятные последствия.

Охота, развёрнутая Департаментом полиции на народовольцев в 1881–1882 годах, велась по всем правилам оперативно-сыскного искусства того времени, недаром главным загонщиком этой охоты был срочно призванный в Петербург «гений русского сыска» Георгий Порфирьевич Судейкин. И, несмотря на конспиративное мастерство народовольцев, победа уже к концу 1882 года начала явно склоняться на сторону правительства Александра III.

Как известно, ещё до 1 марта были арестованы семеро из синклита главных инсургентов – Исполнительного комитета «Народной воли» – А. А. Квятковский (29 ноября 1879 г., повешен), С. Г. Ширяев (4 декабря 1879, умер в Алексеевском равелине), А. Д. Михайлов (28 ноября 1880, умер в Алексеевском равелине), Н. А. Морозов (23 января 1881 г., 20 лет Шлиссельбурга), А. И. Баранников (25 января 1881 г., умер в Алексеевском равелине), Н. Н. Колодкевич (26 января 1881 г., умер в Алексеевском равелине) и А. И. Желябов (27 февраля 1881 г., повешен). Вместе с Желябовым в феврале 1881 г. прямо накануне покушения на Екатерининском канале был схвачен и другой член ИК – М. Н. Тригони (20 лет Шлиссельбурга), а чуть ранее, в январе, после задержания Н. Н. Колодкевича, жандармы в засаде захватили главного осведомителя народовольцев, «глаза и уши» партии, Н. В. Клеточникова, сумевшего внедриться в само III отделение Собственной ЕИВ канцелярии (умер в Алексеевском равелине).

Сразу после убийства императора Александра II были арестованы член Исполнительного комитета Софья Перовская (10 марта, повешена) и Николай Кибальчич, универсальный гений, «мозговой центр» партии (17 марта, повешен). Член ИК М. Ф. Фроленко был задержан в засаде на квартире Кибальчича в тот же день (его тоже приговорили к повешенью, но смертная казнь была заменена бессрочной каторгой). 1 апреля 1881 года очередь дошла до члена ИК Г. П. Исаева (умер в Шлиссельбурге), 21 апреля, в Киеве, – до членов ИК А. В. Якимовой-Диковской (бессрочная каторга) и М. Р. Лангаса (умер в Алексеевском равелине). Чуть позднее, 28 апреля, был схвачен лейтенант флота Н. Е. Суханов, тоже член ИК (расстрелян).

«Зачистка» Петербурга оказалась настолько плотной, что оставшиеся на свободе руководители «Народной воли» во второй половине 1881 года вынуждены были бежать в Москву. «Местопребывание Комитета было перенесено из Петербурга в Москву не по каким-нибудь высшим соображениям, – вспоминала Вера Фигнер, – а исключительно в силу необходимости: тем из членов его, которые ещё не попали в руки полиции, невозможно

было держаться в Петербурге после арестов в марте и апреле. Оставаться там – значило идти на неминуемую гибель: было ясно, что кто-то, знающий в лицо членов организации, на улице указывает их полиции». Но осенью аресты членов Исполнительного комитета возобновляются: 3 сентября 1881 года – Т. И. Лебедева (умерла на каторге), 6 ноября 1881 года – О. С. Любатович (ссылка), у неё на квартире попался в засаду только вошедший в исполнительный комитет Г. Г. Романенко (ссылка). 16 декабря 1881 года арестован П. А. Теллалов (умер в Алексеевском равелине), 18 декабря – С. В. Мартынов (ссылка). Всю первую половину 1882 года аресты руководителей «Народной воли», старых и новых, продолжаются. В заключении оказываются Я. В. Стефанович (8 лет каторги), Ю. Н. Богданович (умер в Шлиссельбурге), С. С. Златопольский (умер в Шлиссельбурге), В. С. Лебедев (ссылка). Наконец, 4–5 июня 1882 года оказываются за решёткой сразу два ветерана Исполнительного комитета – М. Ф. Грачевский (покончил с собой в Шлиссельбурге) и Анна Корба (20 лет каторги). Впрочем, уже в апреле-мае 1882 года среди народовольцев, по словам Фигнер, «началось бегство, о котором после говорили, что спасался, кто только мог». Двое из трёх оставшихся на свободе участников «первомартовского» Исполнительного – Л. А. Тихомиров и М. Н. Ошанина – принимают решение эмигрировать и формировать в Париже новый комитет за границей, но третья – Вера Фигнер – остаётся в России…

Разумеется, персонажи этого «синодика» – олимпийские высоты, пергамские фрески, титаны, с искажёнными схваткой ликами. Но ведь у подножия Олимпа тоже шла борьба, в которой погибали безвестные легионы агентов «Народной воли» и тех, кто имел неосторожность приблизиться к их сражению:

> Жертвы валятся здесь
> Не телячьи, не бычачьи,
> Но неслыханные жертвы – человечьи[51].

Как могла Инна Эразмовна уцелеть в этой мясорубке 1881–1882 годов, и впрямь напоминающей языческую гекатомбу? Мистический строй мыслей приводит к заключению о воистину безграничной силе родительской молитвы, вознесённой к небесам в час кончины:

> Я – Господь Бог Твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих Мя и творящий милость до тысячи родов

любящим Мя и соблюдающим заповеди Мои (Исх. 20. 5–6).

Рациональное же размышление указывает, что при всех потерях, понесённых «Народной волей», вплоть до начала 1883 года недосягаемой для агентов Судейкина продолжала оставаться главная цель – В. Н. Фигнер, и поэтому всех известных Департаменту полиции конфидентов Веры Николаевны (тем более петербургских) Георгий Порфирьевич держал про запас, нетронутыми:

> И какое мне в том беспокойство, что он несвязанный ходит по городу! Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка и никуда не убежит от меня! Да и куда ему бежать, хе-хе! [52]

Судейкин на рубеже 1882/83 годов начинал главную операцию своей жизни.

В начале февраля 1883 года на одной из харьковских явок Фигнер вдруг объявился её протеже в Исполнительном комитете Сергей Дегаев, арестованный в декабре прошлого года в Одессе. С чувством он рассказал грустную, но героическую историю о своём дерзком побеге из одесской тюрьмы[53]. Радость встречи помрачила сознание Веры Николаевны. Она не только не застрелила Дегаева как бешеную собаку сразу по окончании захватывающего рассказа, но и похвасталась ему, какую замечательную конспирацию она завела в Харькове, проживая по дубликату паспорта одной из учениц фельдшерских курсов. Когда к 8 часам утра будущие фельдшерицы шли на занятия, из дома можно было выходить смело: кто из харьковских прохожих в толпе курсисток может её опознать?

– Разве что Меркулов встретит меня на улице! – смеясь, добавила Вера Николаевна.

Все знали уже, что одессит Меркулов был провокатором. Он и встретил Фигнер, выходящую из дома, ровно в 8 часов утра 10 февраля, два-три дня спустя после её разговора с Дегаевым. Некоторое время они молча шли рядом, потом Фигнер, пытаясь бежать, шагнула к переулку, но тут на неё со всех сторон набросились переодетые жандармы и через сутки она была уже переправлена в петербургскую Петропавловскую крепость, а оттуда – в одиночный каземат Шлиссельбурга.

На двадцать лет.

Судейкин торжествовал. Радость добычи помрачила сознание Георгия Порфирьевича. Он не только не застрелил Дегаева как

бешеную собаку сразу после отлова Фигнер, но и оставил его в числе своих действующих агентов. А Дегаев (он был сообразителен) использовал представившийся ему шанс: объявился в новом парижском Исполнительном комитете «Народной воли» и с чувством рассказал грустную, но героическую историю о созданном им на паях с самим Судейкиным патриотическом заговоре, для успеха которого он, Дегаев, и вынужден был сдать Судейкину и Фигнер, и ещё… Расчёт был безошибочным. Члены Исполнительного комитета, «вынужденные горькой необходимостью преодолеть свою нравственную брезгливость и законное негодование» (формулировка из официального заявления «Народной воли»), сообразили, конечно, сразу, что через Дегаева им открывается прямой путь к Судейкину. Дегаеву «оставили жизнь с безусловным изгнанием его из партии с запрещением ему, под опасением смерти, вступать когда-либо на почву русской революционной деятельности» (вновь официальная формулировка), но взамен потребовали убить Судейкина. Да не просто убить, а так, чтобы… «Система Судейкина была вполне определённа, – писал лидер заграничного Исполнительного комитета Л. А. Тихомиров, – он поставил себе за правило – обращаться с предложением поступить в шпионы – решительно ко всякому. Чем мотивировать такое предложение – это всё равно. Будет оно принято или отвергнуто с презрением – это, конечно, не всё равно, но труд и хлопоты в обоих случаях не пропадают даром <…> Всё это <…> приучает всех к мысли о естественности и законности собеседования порядочного человека с чинами секретной полиции. <…> Нельзя, к сожалению, не заметить, что таким путём деморализация и действительно проникала в общество и молодёжь». И действительно, если идейная российская молодёжь начнёт вдруг добровольно становиться под охранительные знамёна (а с приходом Судейкина к руководству политическим сыском происходило именно это) – дело «Народной воли» можно считать проигранным. Судейкина нужно было убивать срочно: он буквально на глазах вырастал из жандармского сыщика в общественную фигуру слишком большого масштаба[54].

В Петербурге повеселевший Дегаев (он был изобретателен) поручил двум прикомандированным к нему дюжим напарникам, Стародворскому и Коношевичу, купить два дворницких лома, укоротить их и отточить, а сам подал Судейкину сигнал, что ждёт его на конспиративной квартире.

16 декабря 1883 года Судейкин в сопровождении своего племянника, полицейского чиновника Николая Судковского,

появился у Дегаева на Невском, 93. В квартире № 13 Дегаев выстрелил Судейкину в спину и выбежал вон[55], а Коношевич стал убивать раненого ломом, заглушая истошный крик Георгия Порфирьевича:

– Коко, стреляй их из пистолета!!

Но Стародворский уже оглушил Судковского. Истекающего кровью Судейкина затолкали в отхожее место и там забили острыми железными палками.

Насмерть.

«Ужасы России в 80-х годах немного отстали от ужасов царствования Иоанна Грозного», – пишет современник о трагедии 16 декабря 1883 года. Однако страшная гибель Судейкина, от которой оторопела законопослушная часть населения, внезапно насытила и революционную его часть, – как будто бы была принесена какая-то последняя жертва, после которой следует остановиться и по крайней мере взять паузу. В 1884 году революционный террор медленно, с рецидивами пошёл на убыль. Он возродится через двадцать лет, но уже в совсем другой исторической ситуации, в другом поколении и под другими знамёнами. Так что справедливость требует признать, что задачу свою Георгий Порфирьевич выполнил сполна, и даже чудовищно страшные и отвратительные обстоятельства, сопутствующие его кончине, парадоксально работали на полный успех его земной миссии. Народовольческий террор он остановил[56].

После крушения В. Н. Фигнер в феврале 1883 года чёрная полоса должна была наступить и в жизни её петербургской знакомой Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой. Никакой ценности в плане оперативной разработки для Судейкина и его сотрудников она больше не представляла, а законниками они были строгими, аккуратными и жестокими, руководствуясь той же судейской логикой, что и достоевский Порфирий Петрович: «Теперь и права не имею больше отсрочивать; посажу-с….»

Впрочем, собственно «сажание» (то есть взятие под стражу, следствие, суд и т. д.) касалось в годы разгрома «Народной воли» в основном деятельных революционеров. Их соучастников ссылали в административном порядке, и весьма активно. «Административная ссылка произвела гораздо более глубокие опустошения, чем суды, – писал народоволец С. М. Степняк-Кравчинский в своей работе о «политически гонимых» («Россия под властью царей», 1885). – По данным, опубликованным в “Вестнике народной воли” в 1883 году, за время с апреля 1879 года, когда в России было введено военное положение, до смерти Александра II в марте 1881 года происходило сорок политических процессов и число обвиняемых достигло 245 человек, из них 28

были оправданы и 24 приговорены к незначительным мерам наказания. Но за этот же период из одних только трёх южных сатрапий – Одессы, Киева и Харькова, – по документам, имеющимся в моём распоряжении, было выслано в различные города, в том числе в Восточную Сибирь, 1767 человек. На протяжении двух царствований число политических заключённых, приговорённых по 124 процессам, составило 841, причём добрая треть наказаний была почти только условна. Официальных статистических данных, относящихся к административной ссылке, у нас нет, но, когда при диктатуре Лорис-Меликова правительство попыталось опровергнуть обвинение в том, что в ссылку отправлена половина России, оно признало пребывание в различных частях империи 2873 ссыльных, из которых все, кроме 271, были высланы в короткий период времени – с 1878 по 1880 год. Если не будем делать скидки на естественное нежелание правительства признать всю меру своего позора; если позабудем, что из-за множества начальников, обладающих правом издавать распоряжение о высылке в административном порядке по собственному усмотрению, никому не отдавая об этом отчёта, центральное правительство само не знает, каково число его жертв; если, не замечая всего этого, мы будем считать, что число этих жертв составляет примерно три тысячи – действительное число ссыльных в 1880 году, – то для последующих пяти лет беспощадных репрессий мы должны удвоить это число. Мы не погрешим против истины, предположив, что за время двух царствований общее число ссыльных достигало от шести до восьми тысяч».

Но никаких следов ссылки в судьбе Инны Эразмовны нет. На рубеже 1882/1883 годов она как будто бы бесследно растворяется среди всех бурных событий российской истории.

Вместе с Андреем Антоновичем.

V

Тайна рождения Инны Горенко – Обстоятельства бегства – Заграничные странствия – Среди политэмигрантов – Духовный кризис народничества – «Второе первое марта» – Судьба Аспазии Горенко – Возвращение в Россию.

Их следы вновь обнаруживаются только в начале 1885 года, в швейцарской Женеве, где они крестят свою первеницу – Инну Андреевну Горенко (1884–1906), родившуюся в минувшем году, 5 декабря. Согласно записи, сделанной 9 января 1885 года в метрической книге Женевской православной Крестовоздвиженской церкви, оба родителя новорождённой были налицо. Однако, как явствует из этой книги, если «лейтенант Андрей Антонович Горенко» присутствовал при крещении старшей дочери сам-друг, то Инна Эразмовна выступала там под именем… «законной жены его, Марии Григорьевны Горенко, рождённой Васильевой».

Женевская запись, обнаруженная лишь в 2000 году, позволяет хотя бы приблизительно восстановить события предшествующих двух лет.

Как свидетельствовала В. Н. Фигнер, «бегство среди народовольцев, о котором после говорили, что спасался, кто только мог», началось ещё с весны 1882 года. Мы не знаем, входила ли формально Инна Эразмовна в какую-либо из групп «Народной воли», однако минимум в одной конспиративной операции партии – тайном отъезде члена ИК Веры Николаевны Фигнер из Петербурга в апреле 1881 года – она принимала непосредственное участие. Общая тревога, охватившая в 1882 году всех участников её «кружка», никак не могла минуть и лично её, тем более что она уже принимала близкое участие в жизни Андрея Антоновича и очень хорошо знала, что под угрозой административной высылки в сложившейся ситуации может оказаться даже человек, лишь прикосновенный к второстепенным народовольцам родственными и приятельскими связями. Что же говорить о ней, знакомой с самой Фигнер? Тем не менее вплоть до конца истории с Андреем Антоновичем (то есть до ноября 1882 года) Инна Эразмовна, по всей вероятности, оставалась в Петербурге в своём прежнем амплуа «курсистки» и «общественницы».

Как мы знаем, Андрею Антоновичу удалось избежать ссылки, но с работой в Морском училище всё равно пришлось расстаться. А Морское министерство, восстановив его в рядах действующего флота, тут же откомандировало лейтенанта Горенко служить на

коммерческих судах, т. е. предоставило устраивать свою собственную судьбу как угодно. Тут следует вспомнить, что, помимо романтической связи с фрондирующей подольской помещицей, Андрей Антонович в Петербурге в 1881–1882 годах имел ещё и семью (жену и двух детей, шести и трёх лет от роду), которую, очевидно, ему нужно было как-то содержать. Пока тянулось разбирательство, он мог перебиваться временными работами, брать чертёжные заказы и заниматься репетиторством, в надежде, что всё в итоге вернётся на круги своя. Ведь от преподавания в Морском училище он был только временно отстранён до выяснения вопроса об его благонадёжности.

Но когда вопрос, год спустя, был, наконец, благополучно разъяснён – оказалось, что благонадёжности у Андрея Антоновича всё-таки недостаточно, чтобы вести занятия в старейшем высшем учебном заведении России. Да и обновлённое Морское министерство, думается, не горело желанием видеть сомнительного лейтенанта-«константиновца» в рядах экипажей боевых кораблей, тем более что как раз на вторую половину 1882 – начало 1883 годов пришёлся пик смуты, вызванной в родном Андрею Антоновичу Николаеве и в Одессе действиями «военной группы» народовольцев (М. Ю. Ашенбреннера и его «решительных офицеров»).

Оставалось РОПиТ, проблемы которого так занимали Андрея Антоновича в петербургские годы. По всей вероятности, выходя осенью 1882 года из Морского министерства в гражданскую «командировку», он имел в виду какую-то постоянную вакансию в правлении Общества пароходства и торговли, возможно, даже получил её и служил тут краткое время. Но, как сообщает автор биографической некрологии, предыдущие острые доклады лейтенанта Горенко «произвели много шума в Обществе, а вместе с тем и недовольство А. А-чем в правящих кругах. Он оставил службу, и ему пришлось утешаться лишь тем, что выводы из его докладов положены были в основу тогда пересматривавшегося устава этого крупнейшего на юге акционерного предприятия»[57]. Очевидно, перемены «в верхах» затронули и правление РОПиТ-а.

Во все времена энергичный и здравомыслящий семейный человек, попав внезапно под роковой удар, вёдет себя, в общем, одинаково: после краткого периода борьбы с обстоятельствами он, убедившись в их нынешней неодолимости, стремится устроить семью в какую-нибудь удалённую от эпицентра бурь тихую заводь, а сам возвращается к месту схватки налегке, чтобы либо восстановить, либо окончательно завершить свои дела. Вряд ли Андрей Антонович вёл себя осенью-зимой 1882 года иначе. «Тихая заводь» у него была только одна – Севастополь, где жили

родители, сёстры и братья. Полковник в отставке Антон Андреевич Горенко к тому времени имел уже собственный дом по Екатерининской улице, 12; туда и отправил из ненадёжного Петербурга свою семью его старший сын. А сам, как и полагается, вернулся, чтобы потратить первые месяцы 1883 года на окончательное разъяснение своего положения, увы, незавидного. Впрочем, в Петербург его манило и ещё одно обстоятельство – любимая женщина, над головой которой сгущались тучи, куда более грозные, чем его собственная, только что отгремевшая гроза.

Первые громы грянули вокруг Инны Эразмовны, очевидно, весной 1883-го, когда В. Н. Фигнер уже ждала суда в Петропавловской крепости. А доказательством, что громы были, является то, что, решив-таки выехать за границу по примеру прочих, слишком далеко зашедших в отрицании петербургских разночинных фрондёров, она уже не могла сделать этого под своим именем. И действительно, если подобному путешествию предшествовало некое собеседование в жандармерии, оно (путешествие) могло безвременно прекратиться на западной российской границе задержанием путешественника и препровождением его совершенно в противоположную сторону – далеко на восток. И тут на помощь Инне Эразмовне, как и следовало ожидать, пришёл её возлюбленный, на руках которого по какой-то причине имелись документы законной жены. Этическую сторону дела можно проигнорировать – оба были людьми, свободными от «предрассудков»[58]. К тому же речь шла если не о жизни и смерти, то, по крайней мере, о свободе. А выезд за границу политически неблагонадёжного лица по чужим документам в тогдашней общественно-революционной практике – достаточно распространенный приём. Именно так, например, 29 июля 1900 года покинул Россию ради Швейцарии неблагонадёжный Владимир Ильич Ульянов, которому подруга жены, О. Н. Ленина, передала паспорт отца, статского советника Николая Егоровича Ленина. Правда, для бóльшей достоверности, ей пришлось исправить в нём дату рождения, ибо Николай Егорович был стар, а Владимиру Ильичу едва перевалило за тридцать. А в документах Марии Григорьевны Горенко и переделывать ничего было не надо, благо возраст, а возможно, и внешность Инны Эразмовны вполне соответствовали паспортным данным. Что же касается Андрея Антоновича, то он мог пересекать границу Империи совершенно легально и бестрепетно: ведь все подозрения с него были официально сняты и к тому же он мог дополнительно получить какое-нибудь заграничное командировочное поручение по линии РОПиТ-а, в правлении

которого у него оставались связи. В деньгах на дорогу и для устроения на новом месте у них не было недостатка: к исходным 80 000 Инна Эразмовна совсем недавно добавила ещё какую-то денежную сумму, полученную по родительскому завещанию. Можно было пускаться в путь.

Маршруты и подробности их европейских странствий вплоть до декабря 1884 года мы не знаем, за исключением, может быть, одной. Спустя полвека, после ссоры и разрыва, Инна Эразмовна, как водится, упрекала мужа во многих грехах и, в частности, в том, что он «промотал всё её приданое в 80 тысяч» (Х. В. Горенко). Конечно, для человека, «умеющего тратить деньги, как никто другой», задача пустить в распыл и куда бóльшую сумму достаточно легко выполнима в любой день и час. Однако, следя за жизненной и карьерной судьбой Андрея Антоновича вплоть до его расставания с Инной Эразмовной в 1905 году, приходится признать, что более удобного момента для проявления своей способности транжирить деньги жены (тогда – гражданской, что, вероятно, ещё обиднее) у него не было. Что же касается места и способа «проматывания приданого в 80 тысяч», то, возможно, они указаны их дочкой в первой «Северной элегии»:

…И в Бадене – рулетка.

Если же говорить об историческом фоне подобного европейского путешествия, то и Германия (в меньшей степени), и Франция, и Швейцария были наводнены в 1882–1885 годах русскими политическими эмигрантами и «полуэмигрантами», которые, месяц к месяцу, всё более и более теряли боевой задор. Русское революционное народничество, прогремев на весь мир (в прямом и переносном смыслах) террористическими актами времён «Народной воли» Желябова и Перовской, переживало теперь глубокий идейный и нравственный кризис, выход из которого оно так и не найдёт. Наступало время отрезвления и покаяния. Любопытным человеческим документом 1880-х, отражающим типичные настроения рядовых участников этой первой русской политической эмиграции, является анонимная брошюра «Исповедь нигилиста», вышедшая на французском языке в Париже в 1887 году: «Не входя в подробности, я могу сказать, что моя собственная революционная жизнь представляет собой революционную жизнь моих товарищей и может служить её историей. Прежде всего – юношеское стремление пересоздать всю Россию по принципам чувства, а не по принципам разума; затем, ещё во время моего пребывания в школе, – желание сделаться политическим агитатором, вместо того чтобы быть прилежным учеником, и, наконец, позднее – жизнь, исполненная лжи, среди

эмигрантов, где всякий, в ком ещё сохранился остаток чувства собственного достоинства, краснеет от стыда и испытывает к самому себе чувство отвращения. <…> Посмотрите вокруг себя с некоторым вниманием и без заранее предвзятой мысли. Вы не замедлите увидеть, что жизнь так называемой “аристократии” эмиграции есть не что иное, как сброд профессиональных революционеров, без имени, без стыда, без нравственности и без совести, каких нельзя найти в истории никакого иного народа, которые пожирают друг друга, повинуясь какому-то циническому эгоизму, живут милостыней и мошенничеством»[59].

От подобных брошюр, равно как и от приватных откровений знакомых, эмигрант 1880-х ещё мог отмахнуться: провокация, низость, малодушие. Но в 1888-м с покаянной исповедью выступает сам глава парижского Исполнительного комитета «Народной воли» Лев Александрович Тихомиров, опубликовавший книгу с исчерпывающим заголовком: «Почему я перестал быть революционером». В ней он, в частности, писал:

> Мне жаль видеть, как погибает молодёжь. Меня возмущает, когда я слышу рассуждения: «Пусть бунтуют, это, конечно, пустяки, но из этих людей всё равно ничего серьезного не выйдет, а тут, всё-таки, “протест”». Какое банкротство готовит своей стране поколение, которое не выработает к своему времени достаточного количества людей мужественных, крепких духом, способных всегда отыскать свой собственный путь, не поддаваться первому впечатлению или влиянию политической моды, а, тем более, пустых фраз, посредством которых шарлатаны повсюду эксплуатируют доверчивые сердца. <…> Студенческое вмешательство в политику даёт наиболее вредные последствия в форме разных демонстраций, когда чуть не в 24 часа, из-за громового протеста против какого-нибудь несчастного инспектора – погибает для страны несколько сотен молодых незаменимых сил. «Лучше что-нибудь, чем ничего, – повторяют подстрекатели, – лишь бы не “спячка”». И такое рассуждение, к сожалению, действует и продолжает в зародыше истреблять русскую цивилизацию. Более выдающаяся часть студенчества была бы совершенно способна *сама по себе* к строгой выдержке и серьёзному отношению к жизни и сумела бы дать тон остальной массе товарищей, если бы не была постоянно шпигуема разными бунтовскими точками зрения. Разве не факт, что стоит университету не бунтовать 8 месяцев, как со

> всех сторон начинают раздаваться обвинения, что студенчество опошлилось, измельчало, «развратилось» и не знаю, ещё что. Всё это имеет значение прямого подстрекательства. <…> Россия может только выиграть, если бы молодёжь дала зарок не мешаться в политику, не посвятив, по крайней мере, пять – шесть лет на окончание курса и некоторое ознакомление с Россией, её историей, её настоящим положением.

Это – великие слова. Но это – только слова. И написанные к тому же спустя без малого десятилетие после народнической мясорубки 1870-х – начала 1880-х годов. Задумывался ли пишущий их, прозревший, наконец, создатель «Народной воли» Л. А. Тихомиров о том, например, сколько именно сотен, тысяч или более «молодых незаменимых сил» практически спас для России один только обречённый им на гибель жандармский подполковник Георгий Судейкин, положивший себе задачей любой ценой парализовать в стране деятельность народовольческих агитаторов и решивший эту задачу ценой собственной страшной, мучительной и позорной смерти? Именно Судейкин и дал поколению русской молодёжи, вступающей в жизнь в середине 1880-х, те самые «пять-шесть лет на окончание курса», которые она, вместо политических демонстраций и протестов, потратила на занятия наукой, искусством, промышленностью и создала – серебряный век.

Подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин не смог сам увидеть этого, он не смог даже толком увидеть и собственного сына, великого художника Сергея Судейкина, родившегося всего за полтора года до гибели отца. С. Ю. Судейкин будет другом Ахматовой и Николая Гумилёва, именно он распишет стены знаменитой петербургской «Бродячей собаки». Лев Тихомиров тоже вложит свою лепту в петербургский серебряный век. Он получит от правительства Александра III полную амнистию, вернётся в столицу и посвятит себя публицистике, где с присущим ему словесным блеском будет доказывать теперь благодетельность для России абсолютной и безграничной царской власти – за что и окажется милостиво жалован в 1906 году серебрянной чернильницей. Впрочем, подполковник Судейкин и тут, если бы представилась такая возможность, оппонировал бы Тихомирову. Георгий Порфирьевич был далеко не в восторге от всеобщей отечественной патриархальной гражданской невинности и безответственности населения, и склонялся скорее (как и Александр II) к конституционной монархии при сильной, до свирепости, исполнительной власти

премьер-министра.

А непосредственный убийца Судейкина С. П. Дегаев, выстрелив в спину подполковнику русской жандармерии и выполнив тем самым свой революционный долг, окончательно покинет Россию и займёт кафедру профессора математики в институте Армора в Чикаго (ныне – Технологический институт Иллинойса), отдав остаток дней благородному делу повышения профессионального уровня молодёжи Соединённых Штатов Америки (он был талантлив).

Вера Фигнер в гордом безмолвии будет заживо погребена в одиночном каземате Шлиссельбурга два десятилетия. Тюремное заключение в 1904 году было заменено ей на отбывание ссылки в Архангельской, а затем в Казанской губерниях. В 1906 году Фигнер разрешили выехать за границу, где она занималась литературной и общественной деятельностью. В 1915 году она вернулась на родину, год провела под надзором полиции в Нижнем Новгороде, затем получила разрешение на жительство в Петрограде. В 1917 году «шлиссельбурженка» Фигнер была избрана членом Учредительного собрания. Переворот, устроенный 25 октября 1917 года большевиками и левыми эсерами, она осудила, но осталась в РСФСР (СССР), где прожила до 1942 года. В. Н. Фигнер и её семья пользовались благосклонностью И. В. Сталина, и репрессии их не коснулись. Однако она была бессильной свидетельницей логического завершения той революционной смуты, которую начали народовольцы-первомартовцы. Итог последних двух десятилетий долгой жизни Веры Фигнер подвела замечательная поэтесса ГУЛАГа Анна Баркова:

Ты молчала. И поступью мерной
Сквозь сгустившийся красный туман
Шла к последним товарищам верным
В клуб музейных политкаторжан.

Но тебе в открытом пространстве
Было дико и страшно, как встарь.
В глубине твоих сонных странствий
Появлялся убитый царь.

И шептала с мёртвой улыбкой
Ненавистная прежде тень:
«Вот ты видишь, он был ошибкой,
Этот мартовский судный день.

Вы взорвали меня и трон мой,
Но не рабство сердец и умов,
Вот ты видишь, рождаются сонмы
Небывалых новых рабов».

Просыпалась ты словно в агонии,
Задыхаясь в постельном гробу,
С поздней завистью к участи Сони,
И к веревке её, и столбу[60].

Последним всплеском террора в восьмидесятые годы стала попытка участников так называемой «Террористической фракции партии “Народная воля”» А. И. Ульянова и П. Я. Шевырёва подготовить в «юбилейный» день 1 марта 1887 года убийство Александра III, которого они планировали забросать разрывными снарядами на Невском проспекте при проезде царя из Аничкова дворца в Исаакиевский собор. Но «второе первое марта» не удалось: шестеро назначенных боевиков, регулярно фланировавших в конце февраля вдоль проспекта со своей тяжелой ношей (им были даны указания, по возможности, использовать удачную случайность), попали на подозрение полицейских и в самый знаменательный день оказались задержанными.

«Террористическая фракция» возникла из молодёжных народовольческих групп, упорно продолжавших собираться в Петербурге в середине 1880-х и после убытия за границу, в Шлиссельбург и в Сибирь «взрослых» участников организации. Один из таких кружков собирался и на квартире Аспазии Горенко на 8-й Рождественской, 28. Однако в конце концов Аспазия Антоновна после ряда полицейских внушений и краткосрочного задержания уехала в 1887-м из Петербурга в родной Севастополь. Уехала она не одна: её избранником стал сын известного севастопольского архитектора М. Ю. Арнольда Анатолий Максимилианович Арнольд, тогда – студент петербургского Горного института, также участвовавший в народническом движении, но гораздо менее восторженный и фанатичный, чем истлевший ко времени их свадьбы в безымянной могиле на одесском Карантинном кладбище Николай Желваков. Впоследствии А. М. Арнольд будет работать чиновником канцелярии севастопольского градоначальника и станет членом городской управы, а его жена будет состоять вольнопрактикующим врачом при том же севастопольском градоначальстве. Дело, заведенное на неё из-за обнаружившейся

переписки с казнённым государственным преступником, было прекращено 30 октября 1887 года «ввиду необнаружения фактических данных к обвинению». К активной революционной деятельности с тех пор она больше не возвращалась.

По-видимому, и Инна Эразмовна в заграничные годы утратила всякий интерес к общественной борьбе. Рождение дочери направило её внимание на проблемы бытовые и семейные. Да и за границей, как становилось ясно, отсиживаться больше не было никакой нужды. Русское правительство не жаждало крови и мести и не чинило никаких препятствий к возвращению тем, кто не был запятнан убийствами и диверсиями.

VI

«Морской ценз» – Служба А. А. Горенко в николаевском 2-м Черноморском экипаже – Между Севастополем и Одессой – Отставка и гибель первой семьи – Венчание с Инной Эразмовной – Рождение сына Андрея – Жизнь в Одессе – «Одесские ведомости» и журналист А. Г.

В феврале 1885 года Александр III утвердил «Положение о морском цензе», разработанное российским морским ведомством, чтобы избавиться от офицеров, много лет не ступавших на палубу корабля и не состоящих на строевой службе.

Теперь, согласно этому положению, для производства в капитаны 2-го ранга лейтенанту флота требовалось иметь не менее 98 месяцев плавания, 58 месяцев из них – в чине лейтенанта. Это требовало немедленного возвращения в Россию Андрея Антоновича: затянувшаяся «сухопутная пауза» могла поставить окончательный крест на его карьере. 15 июня 1885 года он был возвращён на действительную службу и через два дня зачислен во 2-й Черноморский флотский Его Королевского высочества Герцога Эдинбургского экипаж в Николаеве. Следующие полтора года он проведёт, исполняя морской ценз, в плаваниях, старшим штурманом на пароходе «Редут-Кале» и вахтенным начальником на шхуне «Казбек».

Неизвестно, вернулась ли с ним на родину Инна Эразмовна, или ещё какое-то время продолжала жить в Швейцарии, растя малютку Инну. Однако можно предположить, что долго с возвращением она не затягивала, а вернувшись, поселилась с дочерью в Одессе, где к тому времени учительствовали в частной гимназии В. Н. Масловой и М. Н. Градской её верные петербургские подруги Мария и Анна Вальцер. Ну и, разумеется, в Одессе, где сходились все российские черноморские и средиземноморские рейсы, Инна Эразмовна была ближе к Андрею Антоновичу.

Остаётся только гадать, как всё это время складывались его отношения с оставленной в Севастополе семьёй, произошел ли окончательный разрыв между супругами, или Андрей Антонович продолжал жить на два дома, находя какие-то правдоподобные объяснения своим многомесячным отлучкам. По крайней мере, в годы черноморской службы ему это было сделать легко, деля между Севастополем и Одессой то немногое время, которое он проводил на берегу. Дальнейшая судьба его первой семьи представляется очень печальной: в конце 1885 года по неизвестной нам причине скончался старший сын, десятилетний

Владимир, а не позже весны 1887-го, по всей вероятности, уходят из жизни и Мария Григорьевна Горенко с девятилетним Антоном. По крайней мере, иначе как вдовцом Андрею Антоновичу никак нельзя было в том же году вновь обвенчаться и узаконить тем самым свою связь с Инной Эразмовной (у которой тоже к этому времени, как можно понять, закончился срок церковного прещения на брак). А зная обоих, сложно представить, что они бросили бы на произвол судьбы маленького Антона, оставшегося сиротой. К сказанному остаётся только добавить, что весной 1887-го Севастополь пережил эпидемию сыпного тифа, настолько свирепую, что больничных мест не хватало и в городе возводились временные деревянные бараки для размещения заражённых, а приём больных шёл в парусиновых палатках, разбитых перед бараками…

На эту же весну приходится и история с отставкой Андрея Антоновича с действительной флотской службы, – история весьма странная и полная недомолвок, как и всё, связанное с этим человеком. Накануне, в конце 1886-го, он, испросив отпуск, ездил из Николаева в столицу, по всей вероятности хлопотать о получении следующего чина капитана 2-го ранга в связи с исполнением им в качестве лейтенанта флота морского ценза. Чем была вызвана срочная необходимость этих хлопот – точно сказать нельзя, поскольку до конца ценз им выполнен не был[61]. Ничего страшного в этом тоже не было, ибо предельным сроком нахождения в звании лейтенанта флота на действительной службе определялся тогда возрастной рубеж в 47 лет, а Андрею Антоновичу не исполнилось ещё и 39. Но производство в чин понадобилось почему-то немедленно – возможно, это было связано с какой-нибудь открывшейся вакансией. Однако хлопоты оказались напрасными и, явившись вновь в Петербург 3 марта 1887 года, лейтенант флота Горенко подаёт на Высочайшее имя прошение об отставке с действительной службы «по болезни». И уже через сутки, 5 марта, он и в самом деле получает отставку, а вместе с ней… производство в чин капитана 2-го ранга (в случае увольнения морского офицера с действительной службы по уважительной причине такое производство осуществлялось автоматически, вне зависимости от цензовой выслуги), право ношения мундира и 419 рублей 25 копеек годового пенсиона (с учётом страховых и прочих выплат).

С одной стороны, в подобном течении событий нельзя не заподозрить очередной виток конфликта строптивого офицера с высшим морским начальством: не желаете идти навстречу мне, так вот же вам рапорт на стол! Внимательный наблюдатель заметит, помимо прочего, что Андрей Антонович, по своему

обыкновению, появился в столице со своим прошением об отставке не в добрый час: именно в эти мартовские дни весь официальный Петербург лихорадит в связи с раскрытым новым заговором цареубийц. И хотя «второе первое марта» не состоялось, вовсю идут задержания, проверки, расследования. Разумеется, к вахтенному начальнику николаевской шхуны «Казбек» прямого отношения история «Террористической фракции “Народной воли”» вроде бы не имеет, но нельзя не подивиться странной жизненной особенности Андрея Антоновича, который и теперь вдруг оказался поблизости… Его, «свободного от подозрений», как будто магнитом притягивали к себе все случаи нарушения спокойствия в Империи!

Однако, с другой стороны, известно, что в качестве обозначения причины отставки из-за служебных неладов (с начальством, подчинёнными, сослуживцами) в российском флоте того времени традиционно использовалась формула «по домашним обстоятельствам». Отставка «по болезни» обычно не являлась эвфемизмом, а означала оставление службы, как говорили тогда, «за ранами» или (поскольку в боевых действиях Андрей Антонович не участвовал) из-за какого-нибудь хронического недуга. Возможно, в начале 1887 года со здоровьем лейтенанта Горенко что-то внезапно стряслось, хотя впоследствии он будет работать в полную силу и в Государственном контроле, и в Главном управлении торгового мореплавания и портов, не выказывая, насколько можно судить, никаких видимых признаков немощи…

Так или иначе, но в марте 1887 года тридцатидевятилетний капитан 2-го ранга Андрей Антонович Горенко оказывается неожиданно совершенно свободным от всех военно-морских обязанностей. От первой его семьи к этому времени остались, по всей вероятности, лишь три надгробия на Севастопольском городском православном кладбище, и Андрей Антонович окончательно перебирается в Одессу, к Инне Эразмовне, которая тогда уже была беременна вторым ребёнком. Летом следует свадьба, как можно догадаться, весьма скромная и без участия многочисленной родни с той и с другой стороны, а 23 сентября у четы Горенко рождается сын Андрей (1887–1920). Приросшее семейство занимало квартиру № 4 в доме Немировского на углу улиц Кузнечной и Спиридоновской[62], а на летние месяцы выезжало на дачу Сорокини, на 11-й станции Фонтана:

> Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по

самому краю.[63]

Одесса того времени переживала кульминацию расцвета, который происходил тут всю вторую половину века и превратил к началу нового столетия этот черноморский город в «южную» российскую Пальмиру, сопоставимую по красоте и изобилию жизни только с Пальмирой «северной», столичным Санкт-Петербургом:

Есть город, который я вижу во сне,
О, если б вы знали, как дорог
У Чёрного моря явившийся мне,
В цветущих акациях город.
У Чёрного моря…[64]

Это была золотая пора благотворительной деятельности третьего после Дерибаса и Воронцова «отца – основателя» Одессы – городского головы Григория Григорьевича Маразли, попечениями которого одесситы получили городскую публичную библиотеку и музей изящных искусств, конно-железную дорогу и водопровод с канализацией, Александровский парк и грязелечебницу на Куяльницком лимане, бесплатные народные училища, богадельни, столовые для бездомных, ночлежки и даже первую в России бактериологическую станцию при Новороссийском университете с профессором И. И. Мечниковым (будущим Нобелевским лауреатом) во главе. А в год появления здесь четы Горенко на месте сгоревшего городского театра была отстроена и открыта для взоров восхищённой публики великая одесская Опера, не уступающая ничем итальянским и венским залам…

Одесса была великолепна!

Пространство земель от Днепра и Буга до Днестра, где суждено было родиться его великой праправнучке, отвоевал у турок в 1791 году, вместе с другими суворовскими чудо-богатырями суровый подпоручик Иван Дмитриевич Стогов. Взятый им на штык турецкий Гаджибей был передан Суворовым под управление вице-адмиралу Осипу Михайловичу Дерибасу (де Рибасу) и инженер-подполковнику Францу Павловичу Деволану (де Волану), которые 10 июня 1793 года заложили тут, на месте будущего Карантина, приморскую крепость. В следующем году рескрипт главного начальника Новороссийского края графа Платона Александровича Зубова предписывал Дерибасу «уважая выгодное положение Хаджибея при Чёрном море и сопряженные с оным пользы устроить там военную гавань купно с купеческой

пристанью» и «открыть свободный вход купеческим судам, как наших подданных, так и чужеземных держав, коим силою трактатов, с Империей нашею существующих, можно плавать по Чёрному морю». Тогда же петербургские мудрецы из Академии Наук вспомнили про древнее селение греков Одессоса, и уже в екатерининских указах 1795 года начинает фигурировать «город Одесса, татарами Гаджибей именованный».

В апреле 1854 года англо-французская эскадра из тридцати двух кораблей вторглась в одесскую бухту и четыре дня бомбардировала город, но получила такой отпор, что от высадки и штурма интервенты отказались и ушли к Евпатории. После этого главные события Крымской войны разворачивались в стороне от Одессы, не грозя уже ей разрушениями, в цоколе памятника герцогу де Ришелье на память о бомбардировках осталось чугунное английское ядро, а на старом Карантинном кладбище появился увенчанный крестом беломраморный обелиск с вензелем императора Николая I над могилой 77 одесских воинов, сложивших головы здесь и на берегах Альмы.

В годы черноморского «нейтралитета» именно Одесса стала главным портом для торговых и пассажирских пароходов РОПиТ-а – тут с ней не могли конкурировать ни разрушенный военный Севастополь, ни Николаев, оборудованный под торговлю лишь в 1862 году. Помимо судоходства в Одессе 1860–1870-х годах быстро развивалось машиностроение; кроме того, торговую Одессу с момента её возникновения облюбовали еврейские банкиры и купцы. Уже в 1895 году в городе существовала иудейская колония и была построена синагога, а к началу XX века евреи составили треть одесского населения и представляли 80 % крупного бизнеса, две трети городских юристов и медиков. Столь активное присутствие в городе денежного и интеллектуального еврейского капитала, всегда космополитического и тяготеющего к установлению универсальных цивилизационных стандартов, независимо от места и времени пребывания, придавало жизни Одессы совершенно несвойственную русской провинции второй половины XIX века хищную и страстную активность, неумолимую волю к деловому и культурному первенству. Марк Твен, посетивший Одессу в 1867 году, был поражен её отличием от уже известной ему патриархальной славянской экзотики и писал потом в «Простаках за границей»:

> По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) – просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль

тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и всё вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, – так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, – везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России.

Пока прочие российские города раскачивались, мучительно приноравливаясь к земским свободам, дарованным великими реформами Александра II, общественная жизнь в Одессе 1880-х, превратившейся к тому времени в четвёртый по величине населённый пункт Империи (после Петербурга, Москвы и Варшавы), вовсю била ключом. Тон, как водится, задавала городская печать. Местные журналисты, почти синхронно со столичными уловив веяния времени, владели умами горожан, создав уже тогда оригинальную «медийную среду», в которой причудливо мешались международные и российские известия, новости экономики и культуры, сатирические рассказы, бульварные истории и публичные сплетни. Одесская периодика с нескрываемым наслаждением питалась насыщенной всевозможными страстями жизнью неугомонного многоязычного города, и, без стеснения и разбора усваивая все идущие от этой жизни импульсы, сама, в свою очередь, сообщала новую и новую динамику той южной торговой приморской круговерти, которая ошеломляла, захватывала и опьяняла неофитов, съезжавшихся под благодатную сень одесских каштанов со всех концов бескрайней Российской империи:

Вперёд по лестнице гигантской!
Жара бросает в пот цыганский,
Акаций пыльные ряды
С боков свергаются в сады.
Дополз до памятника «Дюку»…
День добрый, герцог Ришелье!
Щитком к глазам подносишь руку:
Спит море – синее колье…
В ребре средь памятника – бомба,
Жужжит кольцом цветник детей,
И грек, исполненный апломба,
Раскрыл, пыхтя, лоток сластей.
Сажусь у лестницы на кладку, —

Мороженщик снял с круга кадку.
Сквозь Николаевский бульвар
Плывёт змея беспечных пар.
Голландский шкипер белоснежный
Склонил к Кармен одесской лоб.
Взлетает смех, как жемчуг нежный,
Играет палкой местный сноб,
Горит над жирным турком феска,
Студент гарцует средь девиц…
Внизу среди морского блеска
Чернь пароходных верениц…[65]

Одесса сыграла с прибывшим сюда на покой сорокалетним капитаном 2-го ранга в отставке Андреем Антоновичем Горенко невероятную шутку.

Он стал журналистом!

Разумеется, как и вся российская интеллигенция той поры, как светская, так и военная, Андрей Антонович был воспитан на публицистике, имел достаточно бойкий слог и грешил словесно, наверное, ещё со времен Черноморских штурманских рот и Новороссийского университета. Как уже говорилось, в годы преподавания в Николаеве Андрей Антонович сотрудничал с местным «Николаевским вестником», возможно – ещё с какими-то южными газетами. Связи с ними он не оставил и в Петербурге[66], выступая, таким образом, в роли пишущего и публикующегося в популярной периодике автора-профессионала, которых тогда было великое множество во всех слоях просвещённой части российского общества – от уездных чиновников, земских врачей и туркестанских офицеров до обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева, одного из величайших публицистов своего времени.

Помимо того, публиковался он и в специальных изданиях, выступая по вопросам, интересующим достаточно узкий круг осведомлённых читателей. Так, в 1880-е годы в трудах «Общества для содействия русской промышленности и торговле» были напечатаны его статьи об организации пенсионной кассы для моряков и об учреждении в Одессе правительственной инспекции для квалификационного освидетельствования судов. Как сейчас, так и тогда обращение к «профильным» журналам и сборникам являлось обычным средством общения научной и технической элиты, и было бы странным, если бы в активе Андрея Антоновича с его опытом аналитической работы в области организации черноморского судоходства отсутствовали подобные печатные

выступления.

Однако в Одессе, возымев досуг, Андрей Антонович, быть может, неожиданно для себя самого выступил в совершенно новом амплуа газетчика. Вероятно, уже в конце 1887 года он попадает в число сотрудников политической, литературной и коммерческой ежедневной газеты «Одесские новости», умеренно-либерального издания, напоминавшего по направлению московские «профессорские» «Русские ведомости» (с поправкой на одесскую специфику, разумеется). Наряду с обязательными для этого типа российской прессы обширными разделами коммерческой хроники и хроники иностранных, внутренних и городских событий, тут публиковали всевозможные очерки и зарисовки из одесской жизни и жизни других городов, театральные обзоры и рецензии и разнообразную художественную словесность. Качество последней было очень неоднородно. Газета заказывала переводы рассказов Вашингтона Ирвинга, Альфонса Доде, Мопассана и… Захер-Мазоха, а в 1888 году, когда в ней сотрудничал А. А. Горенко, «фельетонный» (литературно-критический) подвал на второй странице был несколько месяцев, из номера в номер забит бульварным романом Октава Фелье «Посмертная победа». Если политические стихотворные сатиры писал в «Одесских новостях» Лиодор Пальмин, автор гениального «Requiem»[67]:

> Не плачьте над трупами павших борцов,
> Погибших с оружьем в руках,
> Не пойте над ними надгробных стихов,
> Слезой не скверните их прах… —

то любители лирики должны были довольствоваться продукцией В. Петровского:

> Под тенью зелёного сада
> Душистая роза цветёт;
> Соловушка серый, залётный
> Над ней свои песни поёт.
> ……
> Исчез ея запах… затихла
> И песнь молодого певца.
> Поник он головушкой буйной
> Над розой своей навсегда[68].

Беллетристическая часть издания, возникшего в 1884 году,

ещё не сформировалась, и Андрей Антонович Горенко оказался в числе тех, кто был призван своим пером и талантом проложить дорогу Максиму Горькому, Ивану Бунину и А. М. Фёдорову, сотрудникам «Одесских новостей» в следующее десятилетие. Газетой руководили братья Евгений и Александр Попандопуло, сыновья известного в Одессе домовладельца и предпринимателя, и весьма заметные фигуры в общественной жизни города: Е. С. Попандопуло был видным юристом, а А. С. Попандопуло (писавший под псевдонимом «Маленький гражданин») исполнял обязанности казначея одесского отделения кассы взаимопомощи литераторов и учёных[69].

Как и сотрудничество с РОПиТ-ом, сотрудничество Андрея Антоновича с «Одесскими новостями» ещё не получило той доли исследовательского внимания, при которой можно с уверенностью говорить об обстоятельствах его деятельности в качестве журналиста, и даже о конкретных результатах этой деятельности (бóльшая часть материалов газеты помещалась анонимно или под псевдонимами и летронимами: Москвич, Стрембо, Св-ръ, С.А. Тр-ръ, N, Эмиль, Эмзе, М-лъ П-о, Точка, П. В-ский, Вій, К-ій, Н. Е. Старушка, Буки и т. п.). Тот условный круг возможных публикаций в «Одесских новостях», которые обычно упоминаются в связи с его гипотетическим авторством, включает не только цикл анонимных передовиц, поднимающих проблемы черноморского пароходства[70], но и статьи о зарубежных литературных новинках, подписанные тем же прозрачным летронимом *А. Г.* (Андрей Горенко), который использовался Андреем Антоновичем в качестве подписи под статьями в «Николаевском вестнике»[71].

Первая из указанных статей «Мемуары Гарибальди» появилась на страницах «Одесских ведомостей» 19 февраля 1888 года[72]. Со стороны издания это была, безусловно, либеральная фронда. В календаре императорской России конца XIX века день освобождения крестьян (19 февраля 1861 г.) был прежде всего днём памяти Александра II Освободителя, а тираноборец Гарибальди ассоциировался, скорее, с его убийцами из «Народной воли». Но для самого *А. Г.* книга итальянского революционера оказалась интересна исключительно содержащимися в ней семейными историями героя, возможно, частично совпадающими с собственными жизненными обстоятельствами автора статьи:

> Гарибальди начинает мемуары короткой характеристикой своих родителей. Отец его был моряк. Моряком был и дед его. Отсюда понятна и ранняя страсть к морю молодого Джузеппе. Он с восторгом

отзывается об отце – человеке честном и добром, но малообразованном, которому не доставало не столько желания, сколько материальных средств, чтобы дать детям приличное образование. Отлично знакомый со всеми опасностями морского плавания, отец Гарибальди хотел, чтобы сын избрал другое, более спокойное занятие, и потому пустил его в первое морское плавание лишь по истечении 15-ти летнего возраста и после продолжительной борьбы. «Это было слишком поздно, – пишет Гарибальди. – Я убеждён, что всякий моряк должен начинать свою карьеру так рано, как только возможно, примерно, до 8-ми лет. Генуэзцы и англичане являются в этом отношении превосходными образцами»

С великой любовью Гарибальди рисует образ своей матери. «С гордостью заявляю я, – говорит он, – что моя мать может служить лучшим примером всем матерям, и этим, думаю, сказано всё. Быть может, нежность её ко мне была слишком велика, – но не её ли ангельскому сердцу обязан я тем небольшим счастьем, которое приходилось мне испытывать? Я не суеверен, и, однако же, нередко, в трудные моменты моей бурной жизни, во время сражений на суше или море, я видел образ моей кроткой матери, склонившейся пред Всевышним с молитвою о своём сыне». Без сомнения в этом беспредельном благоговении пред матерью заключается объяснение того, что Гарибальди так высоко ставил женщин, несравненно выше мужчин. В одном месте его мемуаров мы читаем следующий отзыв о женщинах: «Все благородные женщины побуждали меня так часто заявлять, что женщина – совершеннейшее существо, что бы там ни воображали себе мужчины!»

Дальше продолжается в том же духе.

«Что сделал для Италии Гарибальди и его “итальянский легион”, сколько героям пришлось преодолеть препятствий, – всё это обстоятельно рассказано в мемуарах, и в большей или меньшей степени стало уже – из других источников – достоянием истории», – пишет *А. Г.* и тем и ограничивается, препоручая тут своего читателя упомянутым «другим источникам». Зато «личная жизнь Гарибальди никогда не переставала быть в высшей степени разнообразной и полной треволнений», и автор обзора убедительно доказывает это, приводя пространный – на два столбца газетного подвала – свой перевод главы мемуаров, озаглавленной «Innamorato» («Влюблённый»):

> Случайно взор мой упал на холм, у подножья которого виднелась пара простых, но красивых домиков. С помощью бинокля я мог заметить на берегу одну даму. Мы причалили к берегу вблизи того дома, возле которого я заметил даму, но дамы уже не было. Меня встретил господин и очень любезно пригласил войти в дом. Мы вошли, и первое лицо, которое открыл мой взор, была та дама, которая привлекла меня на берег. Это была Анита! Мать моих детей! Подруга моей жизни, счастливых и несчастливых дней! Та жена, по которой я так часто томился! Мы остановились и упорно смотрели друг на друга, как смотрят люди, которые не в первый раз встречаются и ожидают лишь знака, чтобы вызвать в своей памяти прошлое. Наконец, я приветствовал её и произнес дерзко-смелые слова: Tu devi essere mia! (Ты будешь моей). Я очень плохо говорил по-португальски, и потому произнес эти слова на моём родном языке. Но от меня не ускользнуло, что моя смелость имела магнетическое действие… Я завязал тот узел, который развязывается лишь со смертью… Если это была ошибка, то пусть вина за неё падет на меня, на одного меня!..

«Анита, как известно, была замужем, – добавляет *А. Г.* – Влюблённые бежали…»

Подобная интерпретация автобиографии вождя Рисорджименто пришлась по душе одесским читателям. *А. Г.* утвердил за собой место в фельетонном подвале «Одесских новостей» и далее появлялся тут с разбором новейших иностранных изданий. А прозвучавший в стартовой статье «женский мотив» был подхвачен и развит им, пожалуй, в самом оригинальном обзоре «Философ Секундус», посвящённом книге, обозначенной в примечании как «Secundi philosophi taciturni vita ac sententiae, secundum codicem Acthiopicum Berolinensum, quem in linguam latinam vertit. Dr. J. Bachmann, 1888»[73]:

> Женщина всегда была излюбленным объектом философских и нефилософских наблюдений и рассуждений. Она привлекала к себе внимание философов и нефилософов всех времён и народов. Она во все времена имела своих защитников и своих врагов, – и Шопенгауэр в «женском вопросе» – явление не новейшего только времени. Следует лишь вспомнить – начнём с «А дама»! – тот приговор, который произнесён автором Книги Бытия о нашей прародительнице Еве! Женщина погубила Адама, – этот приговор имеет тем

большее значение, что он является выражением взгляда *целого* народа и составляет одно из основных положений всего Ветхого Завета.

Совершенно иначе смотрели на женщину эллины: они являлись восторженными поклонниками и защитниками своей «прекрасной половины», они не устают воспевать всевозможные женские добродетели. Тем более должно казаться удивительным, что та самая Греция, которая создала прекрасный образ Пенелопы, недоступной никаким соблазнам, во втором веке после Р. Хр. устами Секундуса произнесла над женщиной приговор диаметрально противоположный тому, который выражен всей остальной греческой философской и художественной литературой.

Следующую за тем странную историю афинского бродячего книжника Секундуса, решившего на собственном опыте проверить вычитанный им в философском манускрипте тезис, что «между женщинами нет честных; все они развращены», соблазнившего в итоге собственную мать и наложившего на себя после её самоубийства обет молчания, – *А. Г.* завершает одной из притч, сочинённой немым философом-кровосмесителем для императора Адриана:

В одном городе жил префект, которого как-то посетили странники. Как гостеприимный хозяин префект устроил пир, и, вследствие отсутствия в доме молока, приказал служанке отправиться в поле, где пастухи в то время находились со всеми стадами. Рабыня исполнила приказание господина; но когда она возвращалась в город, неся на голове открытый кувшин с молоком, в то самое время, над ней пролетал орёл со змеёй в клюве, и змея в страхе перед смертью, пустила несколько капель яда, которые и попали в кувшин, о чем, конечно, служанка не знала. От отравленного ядом молока умерли один за другим все гости, – ну кто виноват в смерти странников? Префект ничего не знал об отраве, а угощая чужестранцев, он исполнял лишь долг гостеприимства. Пастухи, давая молоко, повиновались приказанию господина; хищная птица также неповинна, так как змеёй она питается; змея пустила яд от страха пред собственной смертью. И служанка неповинна в совершившемся – она действовала согласно воле господина, – на кого же должна пасть вина?

«В заключение прибавим, – пишет *А. Г.*, – что как ни противоречивы сведенья писателей о личности самого Секундуса, одно не может подлежать сомнению, именно – то, что и Шопенгауэр II века не пользовался расположением представительниц прекрасного пола. Он не был счастлив в выборе “подруги жизни”, – об этом можно судить на основании изречения, принадлежащего, несомненно, нашему мудрецу. Он сказал, что “человека может постигнуть только три тяжелых несчастья: грамматика, бедность и злая жена. Первых двух несчастий он избежал, третьего не мог избежать”».

Статьи *А. Г.* сочетали дразнящую умственную фривольность истинного либертинца с талантом светского рассказчика и идеально подходили стилю «Одесских новостей», далеко обходя большинство постоянных авторов по мастерству исполнения[74].

И если о личности *А. Г.* можно спорить, то уже совершенно бесспорным фактом является появление в начале нового 1889 года на лицевой странице «Одесских новостей» следующего анонса, наглядно (на четверть полосы!) свидетельствующего о том, что Андрей Антонович Горенко явно пришелся по душе как читателям, так и редакции газеты:

> ОТ РЕДАКЦИИ «ОДЕССКИХ НОВОСТЕЙ»
>
> С 1889-го года нам обещали постоянное участие в газете:
>
> Барон Икс (С. Т. Герцо-Виноградский)
>
> Г. Ф. Блюменфельд
>
> А. А. Горенко
>
> В. Я. Лучинский
>
> А. С. Попандопуло
>
> А. П. Старков
>
> Л. А. Шварц.
>
> Подписка принимается в Одессе, в Главной Конторе «Одесских новостей». *К* сведенью подписчиков: Контора газеты помещается на Греческой улице, в доме С. Гуровича, против Общества Взаимного Кредита, второй дом от Ришельевской ул.
>
> *Редактор-издатель А.И. Черепенников*[75].

Воистину, этот человек был каким-то универсальным гением! Везде, где бы он ни появлялся, он тут же подавал надежды, доказывая, и с несомненностью, что и это, и другое, и прочие поприща по плечу ему, что он, как будто, только того и ждал, чтобы представился случай продемонстрировать ещё одну грань своего дарования. Но почти сразу за тем, когда глаза восхищённых зрителей уже горят в предвкушении окончательного

восторга, когда громовое «Аксиос!»[76] уже совсем готово сорваться с тысяч уст, Андрей Антонович делал некий неприличный пируэт и, неловко поклонившись, покидал удивлённое ристалище. Он был похож на мскушенного игрока, который, вступая в миллионную игру, срывает сразу куш в несколько десятков тысяч и далее понижает ставки до предельного мизера, так и стушевавшись до конца на краешке стола. И нет в том греха, напротив, остаётся лишь радоваться за его скромный, но несомненный выигрыш, но неистребимая досада остаётся навсегда и вокруг, да и в нём самом: уж лучше бы проиграл!

И уж конечно, на ближних это странное его обстоятельство проявлялось куда обострённее и больнее, чем когда он действовал вне дома, на службе или в общественной или культурной среде. Жён своих он, в душевной доброте, по-своему, и любил, и жалел, но изменял им, не задумываясь, а постоянно рождающихся детей, хотя и пытался жизненно обустроить в силу имеющегося чувства отцовского долга, но за прочими заботами большей частью совсем не замечал, и, вероятно, часто в своём земном странствии был готов повторить, вслед за Свидригайловым:

> Прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый… вояж, я пожелал сделать необходимые предварительные распоряжения. Дети мои остались у тётки; они богаты, а я им лично не надобен. Да и какой я отец!

Но иногда, случайно, как бы подвинутый игрой событий к тому или другому оставленному ребёнку своему, он раскрывался навстречу ему с такой нежностью и силой своего всеобъемлющего жизненного таланта, что память об этом, быть может, единственном случае оставалась и хранилась навсегда, и заставляла недоумевать, плакать, но примиряться с отцовскими чудачествами и обидными проказами:

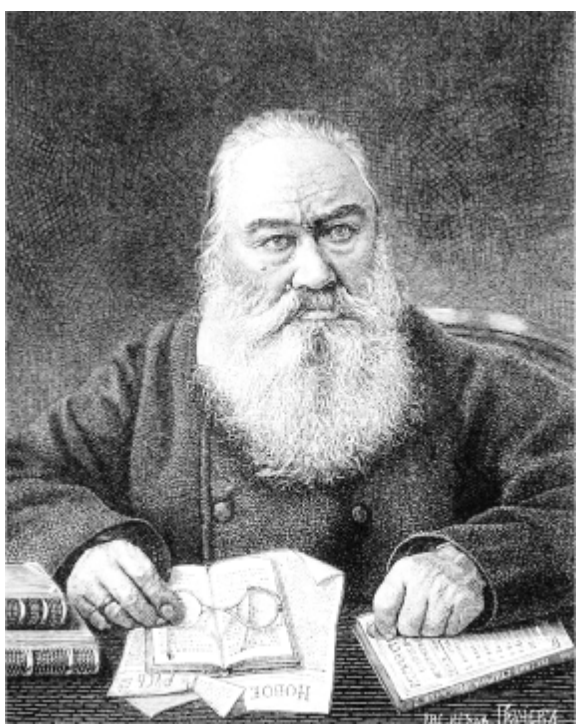
– Детей я вообще люблю, я очень люблю детей…

«Он был хорошим отцом, но плохим мужем», – скажут о нём его дети, а когда в 1955 году Лидия Чуковская затеет с Ахматовой разговор о теориях Зигмунда Фрейда и «той огромной роли, какую он приписывает раннему детству», – та разразится вдруг гневной тирадой:

– Фрейд – мой личный враг. Ненавижу всё. И всё ложь. Любовь для мальчика или девочки начинается за порогом дома, а он возвращает её назад, в дом, к какому-то кровосмешению… А насчёт раннего детства догадывались и без него!

А вернувшись после этого разговора к себе, к гостеприимным Ардовым на Ордынку, напишет вторую «Северную элегию»:

И никакого розового детства…
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина.[77]

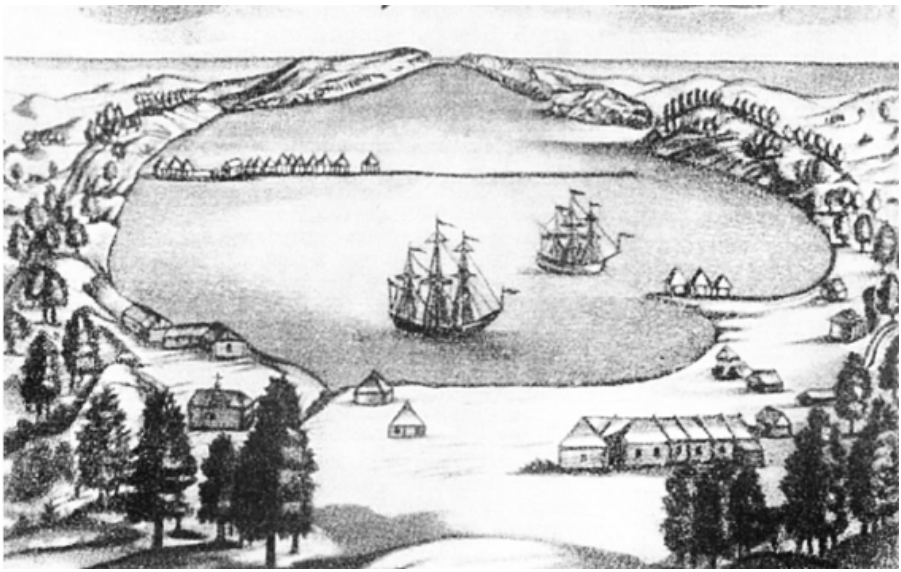


Полковник Эразм Иванович Стогов, дед Ахматовой

Поэтесса Анна Петровна Бунина, тётка Эразма Стогова

Капитан 2-го ранга Иван Петрович Бунин, дядя Эразма Стогова

Император Николай I



Петропавловская гавань. Гравюра с рисунка И. Х. Беркана. 1740–1744 гг.

Генерал-адъютант Александр Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов и главный начальник III отделения Собственной ЕИВ канцелярии

Симбирск. Фотография середины XIX в.

Организаторы Высших женских курсов: О. А. Мордвинова, А. Н. Бекетов, А. П. Философова, П. С. Стасова, Н. А. Белозерская, В. П. Тарновская, Н. В. Стасова, М. А. Менжинская

Педагог и общественный деятель Александр Николаевич Страннолюбский

М.В. Брянский. Портрет Анны Павловны Философовой. 1876 г.

Н. А. Ярошенко. Курсистка. 1883 г.

Вера Николаевна Фигнер, член Исполнительного комитета партии «Народная воля»

Софья Львовна Перовская, глава партии «Народная воля»

И.Е. Репин. Сходка. 1883 г.

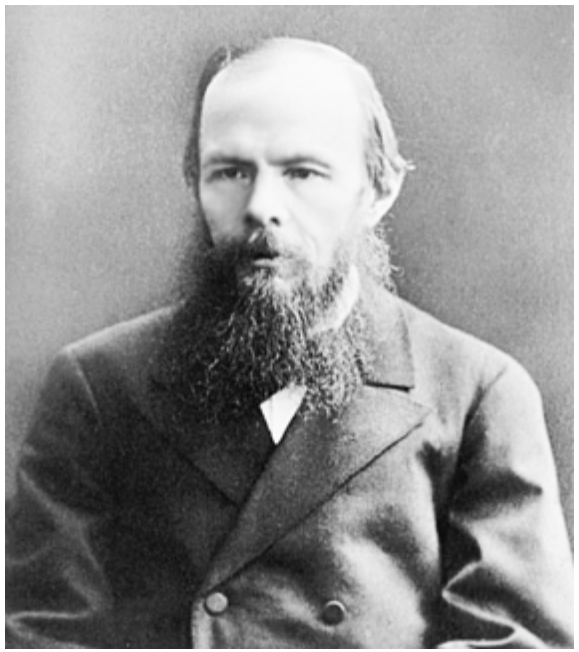
На месте взрыва на Екатерининском канале 1 марта 1881 г. Литография, 1881 г.

К.Е. Маковский. Император Александр II на смертном одре. 1881 г.

Георгий Порфирьевич Судейкин

Николай Желваков

Потёмкинская лестница в Одессе (Лестница Николаевского бульвара). Открытка начала XX в.



Фёдор Михайлович Достоевский

Морской кадетский корпус в Петербурге

Великий князь Константин Николаевич

Николаев. Адмиралтейство. Открытка начала XX в.

Герб Русского общества пароходства и торговли

Ф.Я. Алексеев. Вид города Николаева. 1799 г.

Инна Эразмовна Горенко (урожденная Стогова, в первом браке Змунчилла, 1854–1931), мать Ахматовой. Фотография 1870-х гг.

Андрей Антонович Горенко (1848–1915), отец Ахматовой

Пятилетняя Анна Ахматова. Студийный фотопортрет. Царское Село, 1894 г.

Часть вторая
Луг Прозерпины

I

Рождение Ахматовой – «Приморская избушка» – Эпоха Царя-Миротворца – Вызов в Петербург – Петербургские встречи А. А. Горенко – Крещение Ахматовой – Одесса, Севастополь, Петербург – Начало службы А. А. Горенко в Государственном контроле.

11 (23) июня 1889 года было воскресенье, и Одесса отдыхала: в Городском театре давали «Кармен», Театр и Сад «Гранд-Отель» обещали «экстраординарное представление» с участием знаменитого клоуна-сатирика Анатолия Дурова, в Городском саду намечался музыкально-вокальный вечер. На Малом Фонтане было гуляние под «хор музыки Максанта», в саду Енни – гуляние «в бенефис Л. К. Леонтьева», в саду Эрмитаж – гуляние «с танцами», а на даче Белль-Вю – просто «большое гулянье». В этот день вся Одесса потешалась над курьёзным объявлением, помещённым накануне в городских газетах неким изобретателем детской соски нового устройства:

– Этот снаряд чрезвычайно удобен, – говорил изобретатель в своей рекламе. – Когда ребёнок перестал сосать, то его надо осторожно развинтить, промыть и положить в прохладное место, всего же лучше под кран.

– Бедный ребёнок! – смеялись одесситы. – Впрочем, может быть речь идет не о нём, а о соске[78].

Больше никаких предзнаменований не было. На городские улицы не падали орлы, не взносились над Ланжероном гневные огненные протуберанцы, памятник Пушкину, открытый двумя месяцами ранее, не сиял в окружении своих фонтанов на Николаевском бульваре дивным небесным светом.

Правда, Европу уже накрывала в эти часы таинственная ночь св. Иоанна Крестителя, чреватая всевозможными чудесами, но до России, живущей в XIX веке по юлианскому календарю, она, разумеется, ещё не докатилась[79].

«Я родилась, – писала Ахматова, – в один год с Чарли Чаплином, “Крейцеровой сонатой” Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом[80]. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь – 23 июня (Midsummer Night). Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем[81]. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в

глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет и мы жили на даче в Лустдорфе, проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: “Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска”. Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. “Боже, как я плохо тебя воспитала”, – сказала она».

С мемориальной доской и в самом деле получилось непросто.

Уже в первые десятилетия существования Одессы степные земли за городской чертой начали осваиваться зажиточными одесситами, возводившими у моря летние дома. В 1870-е годы, во время начала всероссийского «дачного бума», прибрежная зона юго-западного предместья, возникшего у Большого Фонтана (одного из трёх пресных источников на этом направлении), была нарезана на дачные участки, которые тут же раскупили одесские чиновники средней руки за весьма умеренную цену. Приобретение оказалось весьма выгодным. Новоявленные владельцы участков строили вокруг своих нехитрых загородных вилл ещё и многочисленные подсобные «избушки», сдаваемые внаём на летние месяцы. Таким образом, под «дачей Саракини» (Сорокини) следует понимать целую группу строений, находящуюся на прибрежной полосе у Фонтанской дороги, между 11-й и 12-й станциями проведённой сюда городской узкоколейки. Именно тут отставной капитан 2-го ранга Андрей Горенко снимал на лето для нового семейства жилище в 1887, 1888, 1889 и, наверное, в 1890 годах. Селились ли они из года в год по одному и тому же адресу, или, напротив, ежегодно меняли «избушки» – неизвестно.

На рубеже XIX–XX веков, когда разбогатевшая и разросшаяся Одесса придвинулась к некогда удалённому пригороду, Большой Фонтан становится самым престижным дачным районом в окрестностях. Сюда был проведён водопровод, а, позднее, – электрический трамвай, остановки которого расположились на местах прежних «станций». Территории «дач» перекупались, и вдоль приморской черты у Фонтанской дороги появились роскошные белые особняки «с розами на оградах и блеском черепичных крыш», с «висящими в лазури балконами под полосатыми маркизами, увитые цветеньем» (Ю. К. Олеша). А «избушки» минувшего столетия шли, как водится, на слом; возможно, визит на земли Сорокини Инны Эразмовны, проживавшей в 1906 году с детьми неподалёку, был вызван ещё и

ностальгией по неустроенному, но милому прошлому, уходившему на глазах в небытие.

Двадцатый век жестоко потрепал Одессу. В Гражданскую войну город многократно переходил из рук в руки всевозможных вооруженных группировок, враждующих на российском юге, горел, ветшал, был оккупирован (на пять месяцев), отбит затем Красной армией, отстраивался и перестраивался в советские годы, оказался во время Второй Мировой войны в трехмесячной осаде, вновь был оккупирован (на три года) и вновь с боем отбит, и вновь отстраивался и перестраивался… Но об Ахматовой Одесса не забывала никогда: первая в мире «улица Анны Ахматовой» появилась именно здесь (в сентябре 1987 года ею стала бывшая Украинская улица Киевского района города, поглотившего во второй половине XX столетия Большой Фонтан[82]). А в юбилейный 1989-й год был решён и мемориал на месте рождения – и вот тут-то встал вопрос: «Где домик?».

Городская легенда уверенно гласит, что «домик Ахматовой», как и полагается, прошёл, невредим, сквозь лихолетья и грозы. Если вы приедете в Одессу – вам его покажут:

– Вы хочете песен? – Их есть у меня!

Однако административные и научные инстанции, естественно, сомневались в чудесной живучести приморской «избушки» XIX века. К тому же никакого конкретного адреса, документально указывающего на строение (или хотя бы на участок, им занимаемый), не сохранилось – и сохраниться не могло. Ведь в 1889 году Андрей Антонович, нанимая дачу, не знал, что участвует в историческом событии, и, подобно всем отдыхающим на Черноморском побережье на протяжении всех последующих эпох, не озаботился формальностями бóльшими, чем устный договор и передача задатка. Поэтому, по согласованию с краеведами, разыскивавшими «дачу Саракини» ещё в 1973 году[83], было принято соломоново решение. На месте между 11-й и 12-й станциями, где бывшая узкоколейка прилегала ближе всего к берегу, так что «рельсы паровичка шли по самому краю» (а это в сущности единственное достоверное свидетельство и примета), в начале аллеи, уводящей к обрыву над Хрустальной бухтой, была установлена изящная ступенчатая полукруглая стена-обелиск из серого камня с аркой посредине. На левом секторе стены и была установлена искомая мемориальная доска, точнее, бронзовый памятный горельеф с надписью:

> Здесь в глубине аллеи находился дом, где родилась Анна Андреевна Ахматова (Горенко) – русский поэт 1889–1989.

Тут же, у арки, была установлена извлеченная из музейных запасников чугунная скамья… на которой Николай Желваков убил в 1882 году генерала Стрельникова!

С этим одесским мемориалом происходили странные метаморфозы. Едва установленный, он вместе со всем городом угодил в очередную жестокую историческую переделку кризисных 1990-х годов. Бронзовый ахматовский горельеф голодающие злоумышленники стали скрадывать потихоньку, для дня насущного, необидно, но настойчиво, как это делают в Одессе. Горельеф возобновляли, снова скрадывали, и наконец его возобновили в мраморе, не представляющем никакого интереса для пунк та приёма цветных металлов.

Тогда исчезла скамья.

Неизвестно, как бы отнеслась к этой истории сама Ахматова, хлебнувшая лиха в голодном Петрограде 1919–1920 годов.

Почему-то думается, что «сердца бы не держала», а, может быть, хихикнула и порадовалась про себя – как пропаже (благодеяние!), так и возобновлению (поклонение!). А страшную скамью, конечно, с исторической точки зрения жаль, но по-человечески – туда ей и дорога… Так или иначе, но в ходе всех этих треволнений мемориал как бы преобразил сам себя и обернулся вдруг одним из самых гармоничных и одухотворенных памятных знаков, когда-либо созданных в честь русских писателей[84]. Свободный от каких-либо ненужных содержательных недомолвок – ведь Ахматова лишь появилась на свет в этой случайной «избушке» на Большом Фонтане и, возможно, провела тут, год спустя, ещё несколько младенчески-бессознательных недель – обелиск с аркой, уводящей к сияющему морскому простору, напоминают только: здесь легко дышится!

> Есть воздух, который я в детстве вдохнул —
> И вдоволь не мог надышаться…

То, что Ахматова одесситка по месту рождения, иногда трактуется как факт в её биографии окказиональный, случайный – мало ли кто где родился… Во-первых, вовсе не мало, а во-вторых, Одесса во всём неповторимом своеобразии своём сыграла затем серьёзную роль и в сознательном становлении Ахматовой, уж никак не меньшую, чем Киев или Севастополь. Об этом речь впереди; сейчас же только следует отметить, что на берегах одесской бухты новорождённой дочке Андрея Антоновича Горенко суждено было провести затем, и в самом деле, не более года.

Рождение дочери летом 1889 года, по всей вероятности,

прошло не очень заметно даже в собственной её семье. Это было суетное время для Андрея Антоновича и Инны Эразмовны. Уже обнаружилось, и со всей жестокой очевидностью, что жизнь в Одессе на полном покое была явно не по карману молодому капитану-отставнику и его уже вполне почтенному (особенно после появления третьего ребёнка) семейству. Не помогала ни пенсия Морского ведомства, ни капитал Инны Эразмовны, уже сильно торпедированный расточительными талантами мужа. А журналистские занятия давали, как легко предположить, более пищи для ума и души, нежели для тела. Между тем в Одессе, как и везде в Империи, переживавшей невероятный промышленный подъём (сказались наконец великие реформы Александра II), уже не оставалось почвы для юного, непрактичного интеллигентского романтизма шестидесятых-семидесятых годов. Молодые бунтари-разночинцы, тогда же появившиеся в стране в качестве особо динамичной и креативной общественной силы, вдруг испытали теперь незнакомую им доселе сладость скромного, но ощутимого буржуазного достатка. Сопровождая жену в вечерних прогулках с новорождённой по коротким приморским улочкам Большого Фонтана, Андрей Антонович, проживающий в местной патриархальной дачной «избушке», мог созерцать, как то тут, то там уже начинали вырастать те самые добротные белокаменные особняки «с розами на оградах и блеском черепичных крыш», которые спустя всего несколько лет неузнаваемо преобразят быт и облик предместья. Ведь одной из наиболее приятных особенностей нового состояния потребления у отечественного «среднего класса» стала возможность комфортного летнего загородного отдыха. Если в бурные и «тощие» 1860-е – 1870-е годы нищие провинциалы, ринувшиеся покорять столичные и губернские города, только и могли, подобно Раскольникову, в изнуряющий летний зной бродить по раскалённым мостовым, мечтая о пресловутом «топоре»

в качестве универсального средства утверждения мировой гармонии, – то теперь, в «тучные» 1880-е, те из них, кто добрался до университетского диплома, получил практику, чиновное место или открыл собственное дело, обрели более умиротворённый строй мыслей, качаясь в гамаке и созерцая в послеобеденном блаженстве синие библейские небеса над радостной зеленью летней деревенской природы.

Гордое бессребреничество и гражданский пафос народников-семидесятников смотрелись теперь анахронизмом, а их фанатичные духовные и политические вожди, рассеянные по шлиссельбургским казематам, французским и швейцарским городам и селениям бескрайней Сибири, совсем позабылись, как

будто бы их и не было вовсе. Талантливому и амбициозному Андрею Антоновичу, испытавшему в Одессе железную хватку наступающей в России новой капиталистической эпохи, дано было на своём собственном опыте убедиться в правоте заключения легендарного таврического исправника, который во время недавней переписи в ведомости о распределении населения его уезда по сословиям пометил в графе «свободные художники»:

– Ввиду заключения конокрадов Абдулки и Ахметки в тюрьму, свободных художников во вверенном мне уезде больше нет.

За три одесских года Андрей Антонович, надо полагать, успел полностью восстановиться от шока, вызванного крахом сначала педагогической, а потом и всей военно-морской карьеры. Надо было вновь искать применения силам и способностям, позабыв обиды и отставив на время, ввиду возросших семейных обязанностей, утоление ненасыщенной гордыни своей. Ему было уже чуть за сорок. «Пора смириться, сёр!» – как справедливо напишет позже, при схожих обстоятельствах, «уставший демон» русской поэзии Александр Александрович Блок.

Совсем немного времени спустя после рождения дочери, летом, в июле, а может, и в конце июня Андрею Антоновичу вновь выпал случай, и он был срочно востребован в Петербург, где задержался почти до конца года. По крайней мере, иначе как длительным отсутствием отца семейства сложно объяснить странную пятимесячную (!) паузу, которая отделяет рождение Ахматовой от её крещения. Традиции восточного христианства отводят для крещения новорождённого 40 дней. Понятно, что Андрей Антонович и Инна Эразмовна были людьми передовыми и «народные предрассудки» не были для них чем-то существенно важным. Но затягивать с крещением новорождённой в Российской империи не было никакого смысла и по соображениям правовым, поскольку обряд крещения являлся тогда элементом в процессе обретения ребёнком гражданской состоятельности. Метрические свидетельства, выданные духовными властями, служили для гражданского делопроизводства доказательством рождения ребёнка в законном браке. А эти метрические свидетельства выдавались на основании записи о рождении и крещении в приходских метрических книгах. Поэтому все представители коренного населения страны, если только они не были принципиальными противниками крещения младенцев (протестантами или раскольниками-беспоповцами, для которых действовали особые юридические правила), крестили детей, по возможности, быстрее. Ведь документы в бюрократической

России могли потребоваться в любой момент, а охотников до дополнительных объяснений с громоздкой государственной машиной регистрации граждан было немного. И Андрей Антонович с Инной Эразмовной не были исключением из общего правила. Даже в разгар своего фрондёрства, в политической эмиграции, в Женеве, они крестили новорождённую Инну, как положено, через месяц с небольшим после её рождения.

А Ахматову, выходит… позабыли?

Легко представить потому следующее течение событий: ещё не отойдя от приятных хлопот, связанных с прибавлением семейства, Андрей Антонович получает известие о наличии вакансии в петербургском Государственном контроле. С момента возникновения в 1811 году этой суровой казённой организации нехватка грамотных и инициативных сотрудников там ощущалась всегда. А репутация политически неблагонадёжного в данном случае не только не мешала соискателю места ревизора, но даже оказывалась дополнительным аргументом в его пользу: считалось, что «политические» более самостоятельны, активны, меньше воруют и, как правило, не склонны вступать в сговор с коррумпированными чиновниками[85].

Особым подразделением Государственного контроля всегда был (под разными названиями) Контрольный департамент морских отчётов, ибо масштабы воровства на российском флоте были сопоставимы только со степенью его доблести. Кронштадтские интенданты, наткнувшись в очередной судовой дефектной ведомости на известие о том, что «в Индийском океане из салона адмирала штормовой волной смыло персидский ковёр», хладнокровно приписывали: «Пианино тоже», – и ведомость полюбовно утверждалась. Впрочем, это были цветочки: известна история, когда черноморская «морская мафия», чтобы сорвать ревизию в Севастополе… объявила город зачумлённым и закрыла его на карантин. Любителей наводить здесь порядок было немного, правдолюбцы запросто могли расстаться и с эполетами, и с головой (бывали случаи). Тем внимательней столичное начальство морских контролёров следило за смельчаками-энтузиастами, возвышавшими голос в защиту государственных интересов. Скандальные выступления Андрея Антоновича по деятельности РОПиТ-а, равно как и его многочисленные статьи, бичующие ничтожество отечественного судоходства, наверняка привлекали пристальное внимание не только на Фонтанке, 16, где располагалось здание III отделения Собственной ЕИВ канцелярии, но и у Фонарного моста на Мойке, 76, в помещениях Государственного контроля. Тут не торопились, дождались, когда в жизни горячего черноморца утрясутся все политические и

личные неурядицы, и летом 1889 года, письмом или встречей (благо Одесса была постоянным местом командировок для ревизий на флоте) дали знать: приезжай, пора! И Андрей Антонович очутился в Петербурге, где, стосковавшись по службе, сразу окунулся в водоворот знакомых ему морских страстей: как уже говорилось, он с юности имел привычку сразу брать быка за рога. Ну а оставшаяся в Одессе Инна Эразмовна, натурально, ждала возвращения мужа, чтобы крещение дочери состоялось как полноценный семейный праздник.

С этой поездкой Андрея Антоновича в столицу связан эпизод, продолжающий историю его сотрудничества с «Одесскими новостями». 1 декабря 1889 года, собираясь наконец из Петербурга к домашним в Одессу, он пишет письмо модному беллетристу Антону Павловичу Чехову. Бывший юморист «Осколков» и «Стрекозы» уже несколько лет поражал публику, помещая на страницах петербургского «толстого» журнала «Северный вестник» рассказы и повести в каком-то новом, невиданном ещё роде. А в «Одесских новостях» затевали «Литературный сборник», и Александр Попандопуло, используя оказию, поручил Андрею Антоновичу разведать в Петербурге творческие планы Чехова, залучив, если представится возможность, модную знаменитость в число авторов. Однако Чехов, печатаясь в Петербурге, проживал в Москве, так что Андрею Антоновичу оставалось только переслать по московскому адресу письмо Попандопуло, сопроводив послание собственной любезной запиской. По всей вероятности, отец Ахматовой побывал в редакции «Северного вестника» в знаменитом петербургском «Пале-Рояле»[86] на Пушкинской улице. Он мог столкнуться там и с юной четой Мережковских, только что вернувшихся из первого семейного путешествия на юг, и с неистовым Акимом Волынским, который дописывал свои скандальные статьи, потрясшие через год классический реализм, и с бывшим поэтом-народником Николаем Минским, провозгласившим теперь целью искусства – стремление к мировому небытию («мэону»). Серебряный век был на пороге. Но Андрея Антоновича это уже мало беспокоило. Журналист *А. Г.*, сверкнув на одесском литературном небосклоне блестящей звёздочкой, канул, не успев запомниться, в то самое небытие, о котором грезил Минский. Правда, если бы кто-нибудь из будущих вождей русского литературного декаданса пожелал вдруг состязаться в заслугах перед отечественной словесностью с Андреем Антоновичем Горенко, – у того в запасе был некий аргумент, сопоставимый по убедительности с атомной бомбой в новейших геополитических спорах. Однако этот аргумент пока

зрел, некрещёным, в одесской колыбели; туда и устремился Андрей Антонович.

17 (29) декабря 1889 года в кафедральном Преображенском соборе Херсонской епархии портового города Одессы была крещена Анна, дочь потомственного дворянина, капитана 2-го ранга Андрея Антониева Горенко и законной жены его Инны Эразмовой. Таинство крещения совершал протоиерей Евлампий Арнольдов[87] с псаломщиком Александром Тоболиным, которые и записали затем соответствующий акт в шнуровую метрическую книгу собора за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, в первой части о родившихся женского пола, под № 87:

> В то время я гостила на земле.
> Мне дали имя при крещенье – Анна,
> Сладчайшее для губ людских и слуха.
> Так дивно знала я земную радость
> И праздников считала не двенадцать,
> А столько, сколько было дней в году…[88]

Имя татарских княжон-чингизидок Анны Яковлевны Чегодаевой-Ахматовой и Анны Егоровны Мотовиловой теперь, после крещения, посвящало девочку недавно минувшему празднику Анны Зимней, великому дню любви и верности в православных святцах. Ибо был праведный Иоаким, муж из колена Иудина, счастлив с женой своей, Анной, так, как только позволяет быть счастливыми скудное земное обличие людей. Но не было у них детей, и отвернулись от Анны израильтяне, и потребовали от Иоакима, чтобы он, оставив бесплодную, женился на другой, а когда тот отказался – не пускали в Храм и не давали не создавшему Израилю потомства принести жертву. И тогда удалились они от всех, и жили в своей любви, отверженными и гонимыми, до семидесяти лет, смиренно благодаря Бога за всё горькое счастье своё. И было чудо, и Анна зачала и понесла, и родила девочку Марию, и, торжествующая, вместе с верным своим Иоакимом, ввела её, трёхлетнюю, на глазах изумлённых израильтян, на ступени Храма…

Праздник Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы, который стал именинами новокрещённой, приходился в православном календаре на 9 (22) декабря, когда в северной деревенской России короток день, и мороз, и вьюга, и нет никому охоты выбираться на улицу из тёплого домашнего уюта. Поэтому Анну Зимнюю, Тёмную, особо почитали домовитые хозяйки, беременные матери, а также пасечники-пчеловоды, которые, отстояв заутреню, шли затем в свои омшаники, и, обходя ульи,

обращались к каждому, заклиная: «Как вы, мушки благодушные, зачалися детьми от всемилостивейшего Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, на дело, зачинайте вы белые и желтые воски, густые меды Господу Богу и чудотворцам Зосиме и Савватию вдосталь, а мне, рабу Божию, в пожиток». Вряд ли эти народные премудрости были известны Андрею Антоновичу и Инне Эразмовне и их одесским друзьям, собравшимся на крестины в Преображенском соборе, но то, что Анна Зимняя связана с чем-то домашним, семейным и основательным знали все, и это располагало к добродушию как хороший знак, счастливая примета, обнаружить которую приятно и прожжённым фрондёрам, и вольнодумцам. Правда, спустя много лет Ахматова будет полагать своей небесной покровительницей другую Анну – единственную пророчицу Нового Завета, полубезумную вдовую старуху, «которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк 2. 36–37) и мало напоминала домовитую, бессловесную и кроткую младшую дочь священника Матфана из первосвященнического рода Аарона.

Но это произойдёт только много лет спустя.

Восприемниками были Мария Вальцер и Степан Романенко. Мария Фёдоровна, которой суждено было прожить в старых девах до старости, вместе со своей неразлучной и тоже бессемейной сестрой, будет встречаться с крестницей во время её летних наездов в Одессу уже в начале нового XX столетия и рассказывать о далёком молодом времени, о Петербурге студенческих «коммун» и явочных квартир «Народной воли», о бесстрашных идеалистках-бестужевках, о Достоевском, который так и не смог научить терпению и мудрости рвущуюся в бой разночинную молодёжь, и о великом и грозном дне 1 марта 1881 года.

А указанный в метрической записи «кандидат естественных наук Стефан Григориев Романенко», с которым супруги Горенко, по всей вероятности, познакомились ещё в Швейцарии, мелькнув тенью в самом начале жизненного пути Ахматовой, затем без следа исчезнет и в её судьбе, и в судьбах страны, обязанный вниманием потомков только своему присутствию на крестинах в одесском Преображенском соборе 17 декабря 1889 года в столь ответственной роли.

С вступлением Андрея Антоновича на службу в Государственный контроль и для него, и для его семейства начинался совсем новый жизненный этап. Былые приключения и знакомства становились прошлым, равно как и весь их черноморский юг. 7 мая 1890 года Инна Эразмовна получает из духовной консистории свидетельство о рождении младшей дочери, необходимое для устроения с детьми по новому месту

жительства, и, очевидно, уже спустя несколько дней всё семейство воссоединяется окончательно в столице, точнее – в Павловске, живописном пригороде, знаменитом своими парком, дворцом и Музыкальным вокзалом. Какое-то не очень продолжительное время Горенко снимают тут временное жильё на Солдатской улице, где была сделана первая из известных фотографий их дочери. К осенне-зимнему сезону Андрей Антонович подыскал для семейства петербургскую квартиру – в самом центре города, напротив Казанского собора и в двух шагах от Невского проспекта. По всей вероятности, летом этого года супруги ещё побывают в Одессе, чтобы окончательно уладить все оставшиеся там дела и распродать не подлежащие перевозу домашние вещи (объявления о продаже появлялись в летних номерах «Одесских новостей»). Возможно, к морю возили детей, и годовалая Ахматова ещё раз побывала в той самой «избушке» на даче Сорокини, которой её имя обеспечило столь громкую славу среди прочих наёмных летних строений Большого Фонтана. Хочется надеяться также, что Андрею Антоновичу с женой и детьми удалось в эти месяцы добраться до Севастополя[89], и почтенный его родитель, которому суждено было преставиться 7-го апреля следующего 1891 года, смог перед кончиной из первых рук узнать, что ненадёжная пора в жизни пылкого старшего сына окончательно завершилась и тот вновь прочно стал на твёрдое основание. А справочник «Весь Петербург на 1891 год», как и положено, зафиксировал появление в российской столице нового чиновника в канцелярии Государственного контроля – титулярного советника Андрея Антоновича Горенко, проживающего по адресу: Казанская улица, дом 4/2.

II

Государственный контроль – Т. И. Филиппов – Гражданская карьера А. А. Горенко – Жизнь в Петербурге – Рождение Ирины Горенко – Переезд в Царское Село – Первые царскосельские адреса и первые царскосельские впечатления Ахматовой.

Если Пётр Великий в начале XVIII века, чтобы приучить подданных к отчётной дисциплине финансов, приказывал водить нерадивых и нерасторопных казённых подрядчиков за шею на цепи, как цыганских мишек, «пока не исправятся», – то в XIX столетии его просвещенные наследники для тех же целей использовали Государственный контроль.

Государственное управление ревизии государственных счётов (затем для краткости переименованное) было создано в начале 1811 года стараниями Балтазара фон Кампенгаузена, просвещённого лифляндского барона, сенатора и камергера, посвятившего жизнь служению российской казне. По поручению императора Александра I Кампенгаузен стал первым государственным контролёром, набрал штаты, разработал порядок и устав деятельности нового учреждения, провёл ряд успешных проверок, но в 1822 году, катаясь верхом, нечаянно погиб. А вскоре на покой удалился и сам царственный мистик.

Сменивший Александра Николай I для борьбы с отечественными татями и ворами, как уже было сказано, создал при помощи графа А. Х. Бенкендорфа конспиративную организацию жандармов, обращавших против злодеев их же методы, в духе Ринальдо Ринальдини. В действенность на русской почве правовых механизмов Николай не верил, и детище Кампенгаузена всерьёз не воспринимал. Государственный контроль захирел в бесконечном разборе бумаг[90] и воспрял лишь в следующее царствование.

Реформатор Александр II вновь вручил дело защиты интересов казны чиновникам-финансистам. Его государственные контролёры В. А. Татаринов, А. А. Абаза, С. А. Грейг и Д. М. Сольский освоили опыт ревизионных систем в Европе и США и сумели в сотрудничестве с министерством финансов к 1872 году достичь бездефицитного бюджета (что по предшествующим российским экономическим меркам являлось оксюмороном). Без жандармерии, впрочем, тут тоже не обошлось, поскольку придворные департаменты для ревизоров оставались закрытыми, и это была прорва, сводившая на нет все их усилия. Поэтому громовый успех отечественных финансистов оказался возможен во многом только благодаря деятельности славного патриота и

государственного мужа графа Петра Андреевича Шувалова, который, получив в 1866 году пост начальника III отделения Собственной ЕИВ канцелярии, сумел без малого на десятилетие обуздать как революционные устремления разночинцев, так и аппетиты придворной элиты[91].

Консерватор Александр III считал борьбу с коррупцией в числе главных приоритетов своей внутренней политики и относился потому к Государственному контролю очень уважительно. Все 1880-е годы тут бессменно руководил строгий правдолюбец Дмитрий Мартынович Сольский, назначенный на этот пост ещё в конце предыдущего царствования. Был он «почвенником», подобно Достоевскому, сочувствовал идее народного представительства и не порывал дружеских отношений с опальным М. Т. Лорис-Меликовым, автором несостоявшейся конституции. Но государя Александра Александровича это нисколько не смущало. От Сольского и его контролёров он требовал исключительно практических результатов, подчёркнуто не обращая внимания на степень их верноподданнической активности. Это был осознанный политический жест. К тому же Александр III с его грубоватым, но действенным здравым смыслом, прекрасно понимал, что все политические разногласия среди честных людей в кратчайшие сроки дезавуируются до нуля перед лицом русской мафии. Правда, самого термина тогда ещё не существовало, но смысл от этого не менялся.

Летом 1889 года пятидесятишестилетнего Д. М. Сольского разбил апоплексический удар, парализовавший ноги. В тот самый день и час, когда в благословенной «избушке» на Большом Фонтане в семье Андрея Антоновича Горенко появилась на свет дочка Анна, в Петербурге принимал дела управления Государственным контролем заместитель Сольского Тертий Иванович Филиппов.

Т. И. Филиппов служил в Государственном контроле с 1864 года, но известен был прежде всего как знаток народного пения, этнограф, писатель-славянофил и церковный историк. Известно, что против назначения «богемного» Филиппова резко выступал могущественный обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев, однако Александр III, верный себе, прислушался ко мнению уходящего по болезни Сольского и предложенную им кандидатуру утвердил. И не прогадал. Несмотря на своеобразные новации, внесённые Т. И. Филипповым в деятельность вверенного ему учреждения (он организовал из подчинённых чиновников великолепный хор, а также вводил в штат знакомых безработных музыкантов), Государственный контроль при его руководстве не только не утратил хватку, но и расширил сферу ведомственных

полномочий. На бытность Т. И. Филиппова государственным контролёром Империи приходится самое громкое за всю историю существования ведомства дело о злоупотреблениях, в результате которого в 1894 году был смещён министр путей сообщения А. К. Кривошеин.

Неизвестно, был ли Андрей Антонович Горенко знаком с Тертием Филипповым во время своего «первого Петербурга» и какие интересы их связывали, однако нельзя не отметить, что неожиданное призвание Андрея Антоновича в Государственный контроль точно совпадает по времени с утверждением Филиппова в должности главы контролёров. И, если судить по карьерным вехам, Андрей Антонович явно пришёлся по душе новому начальству. Вступив на службу гражданским чином титулярного советника (что по «Табели о рангах» было полным соответствием флотскому лейтенанту), он в 1892-м возвышается до коллежского асессора (несколько менее его флотского чина капитана 2-го ранга в отставке, но соответствует последней занимаемой им на флоте должности старшего офицера и специалиста), к 1895 году становится надворным советником (точное соответствие капитану 2-го ранга), на рубеже столетий получает коллежского советника (капитан 1-го ранга на флоте, полковник в армии), а к 1904 году – статского советника. Военных и морских аналогов этот чин 5-го класса в те годы не имел: носители его выступали в роли «гражданских генералов», принадлежавших к высшей чиновной номенклатуре, имеющей особые привилегии и определяющей государственную политику. Подобно многим своим сверстникам, Андрей Антонович смог на собственном опыте убедиться, что служение интересам России возможно не только посредством революционного ниспровержения, но и в ходе добросовестного созидательного труда на свободно избранном поприще. Ещё более приятным открытием, как можно полагать, стали для жизнелюбивого Андрея Антоновича многообразные возможности, которые на рубеже XIX–XX веков щедро открывала российская столичная жизнь навстречу тем современникам петербургского серебряного века, что сумели укорениться здесь в должности, превышающей потолок 8-го чина «Табели о рангах». Выразительный портрет отца Ахматовой этого времени имеется в воспоминаниях журналистки и писательницы А. В. Тырковой-Вильямс:

> Горенко служил, насколько помню, в Государственном контроле, дослужился до чина действительного статского советника. Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить.

Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне:

– Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую…

– Это мне понравилось, – добавляет Ариадна Владимировна. – Я сама, когда видела Дузе, совершенно растворялась в её победоносной гениальности[92].

Тем не менее, справедливая объективность повествования требует признать, что, отдавая непременную дань как деловой, так и светской части столичного обращения, Андрей Антонович в новом благоденствии своём не позабывал совсем и о супруге, опять готовой осчастливить его дни радостями отцовства. Уже в 1892 году семья коллежского асессора Горенко перебирается из Петербурга в престижное Царское Село. В плане житейском это, как было сказано, по всей вероятности, имело причиной новое прибавление семейства: рождается Ирина (1892–1895), которую в доме все называли Рикой. В центре Петербурга с его сплошной многоэтажной застройкой, изредка прореженной зеленью скверов, семье с грудным младенцем и тремя детьми (старшей из которых не исполнилось и восьми лет), проживающей в наёмной квартире доходного дома, приходилось непросто, разумеется. То, что Андрей Антонович, в отличие от многих иных петербургских отцов, занимающих, как и он, чиновное место средней руки, смог оперативно отреагировать на эти объективные сложности, тут же переместив Инну Эразмовну с детьми в привольный пригород, лишний раз свидетельствует о его неравнодушии к обязанностям главы семейства. А то, что таковым пригородом было именно Царское Село, а не Павловск или Гатчина, позволяет посмотреть на этот переезд и в плане провиденциальном, хотя, конечно, мало кто, имея хоть минимум возможностей, удержался бы от соблазна лично испытать все удобства пребывания в этом благословенном уголке столичной губернии, воспетые ещё Петром Свиньиным в «Достопамятностях Санкт-Петербурга и его окрестностей». «Главным преимуществом Царского Села служит здоровое местоположение его, – писал в своем пространном очерке Свиньин. – Быв с одной стороны закрыто от морских сырых ветров высокою Пулковскою и Дудоровскою горами, оно возвышается над близлежащими окрестностями, так что 70 футами выше Павловского. По сей причине даже осенью ложится здесь по вечерам весьма лёгкая роса и самые болезни, по уверению докторов, менее здесь опасны. Туманы неизвестны Царскому Селу – все дышат здесь чистым благоуханным воздухом и пьют чистую

кристальную воду».

Начало 1890-х годов являлось тем рубежом, когда инерция былого, первого, золотого расцвета царскосельской культуры, созданной во времена Екатерины Великой и её внука Александра Благословенного, окончательно обратилась в мемориальные формы парковых и архитектурных ансамблей, памятных мест, исторических трактатов и названий классических произведений искусства, созданных насельниками летней загородной резиденции русских царей на рубеже XVIII–XIX столетий – первой четверти XIX века. Уже в царствование Александра II «царскосельская» культурная составляющая в бытии России начинает существенно убывать, прежде всего под напором транспортного прогресса, сделавшего, по мере развития сообщения с южными губерниями, легко доступным для петербургского двора и его светских сателлитов Крым. С 1861 года в качестве южной царской резиденции начинает действовать Ливадия, и неизменное летнее обращение Царского Села в столичный центр – главная причина, поддерживавшая его постоянную культурную активность, – постепенно прекращается. Разумеется, что порядок на территории царских парков и в самом городе стараниями дворцового ведомства всегда поддерживался образцовый, ибо царскосельский статус главной загородной резиденции никто не отменял, однако тень заштатного провинциализма постепенно окутывала земли бывшей Саарской мызы. А во времена Александра III под сомнением оказался и сам статус, ибо этот государь из всех пригородных романовских владений решительное предпочтение отдавал Гатчине, где жил с семьей практически круглый год. И хотя в восьмидесятые годы царскосёлы стали первыми среди горожан-европейцев счастливыми обладателями собственной электростанции, залившей улицы и квартиры русским светом[93], среди старожилов, помнивших страстный и напряженный ритм придворной жизни Царского Села при Николае, а то и при самом Александре Павловичах, всё более и более укреплялись настроения, замечательно выраженные на нашумевшем в 1889 году полотне живописца Василия Максимова «Всё в прошлом».

Нельзя сказать, чтобы это отстранение от придворного (и, соответственно, столичного) бытия совсем разрушительно подействовало на образующий город уезда, готового вот-вот превратиться из Царскосельского в Гатчинский. В кротком умалении была своя поэтическая прелесть, которую точно предугадал ещё в 1858 году Ф. И. Тютчев, сам мирно угасший здесь в 1873-м, на Малой улице, в трогательной деревянной вилле николаевских времён, вместе с былым величием

державинского, жуковского и пушкинского Царского Села:

Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят,
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле..

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени
Октябрьских ранних вечеров —
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездáх из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,
Выходит купол золотой…[94]

И, главное, с уходом на второй, резервный план забот державных пробудилась и громко заявила о себе собственно «городская» часть царскосельского уклада, до того практически полностью подавленная и существовавшая только как придаток к части «дворцовой». Всю вторую половину XIX века Царское Село не переставало расти, так что к концу столетия население его увеличилось вдвое: с 12 124 человек в 1846 году до 22 353 в 1897-м. Если учесть, что никакой промышленности, не считая небольшой обойной фабрики на полторы сотни рабочих, тут никогда не было в помине, равно как и крупной торговли, то рост шёл прежде всего за счёт гвардейской аристократии, пополнявшей царскосельский гарнизон[95], маститых придворных, военных и гражданских отставников, удалявшихся сюда на покой, да перспективных петербургских карьеристов, оценивших, подобно многодетному Андрею Антоновичу, выгоды жизни в suburb. Этот американский эквивалент русского понятия пригорода употреблять приходится потому, что ничего подобного регулярному железнодорожному сообщению, связывавшему Петербург с Царским Селом и Павловском в последней четверти XIX века, ещё не было ни в одном из тогдашних российских «мегаполисов» – ни в Москве, ни в Киеве, ни в Варшаве, ни даже в прогрессивной Одессе (хотя знакомый чете Горенко паровичок на Фонтанской дороге уже немного напоминал поезда, курсирующие по царскосельской ветке с 1837 года).

Военные облюбовали себе район Софии на юге Царского Села, а заслуженные отставники – центр города, вокруг Екатерининского собора и Гостиного двора, застроенный уютными особнячками, воспетыми позднее Осипом Мандельштамом:

Одноэтажные дома,
Гд е однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая “Ниву” и Дюма…
Особняки – а не дома![96]

Что же касается семейств чиновных отцов, служебные интересы которых были связаны с Петербургом, то тут, разумеется, предпочитали занимать съёмные квартиры в домах, расположенных неподалёку от Царскосельского вокзала. Этот квартал между железной дорогой и городом был спланирован Г. Фосатти ещё в конце 1830-х годов, когда первая железнодорожная ветка России только-только начала действовать, однако застройка шла медленно, с существенными отклонениями от замысла архитектора. По мере возрастания перевозок становилось ясно, что вокзальную часть всё равно придётся расширять и реконструировать, что и осуществил в 1849–1852 годах К. А. Тон, который возвёл новый вокзал и спроектировал привокзальную площадь и подъезды к ней. Здание этого вокзала, увенчанное изящной часовой башенкой, и примыкающие к нему павильоны с залами ожиданий, буфетами и багажными помещениями, отдельно для каждого из трёх пассажирских классов и для особ императорской фамилии, исправно служили до конца столетия, ежедневно принимая пёструю толпу пассажиров, едущих на службу в столицу и возвращающихся после рабочего дня обратно в Царское Село[97].

От южного завершения такой же миниатюрной, но удобной, как и сам вокзал, прямоугольной Привокзальной площади лучами расходились три улицы: Жуковско-Волынская, вдоль железнодорожного полотна в сторону Фридентальской немецкой колонии, Бульварный переулок, ведущий к Московским воротам и военным казармам Софии, и Широкая улица, направленная на Запад, к городскому центру. Северная же сторона площади продолжалась далее выгоном и провиантскими магазинами, завершавшими город на Петербургском направлении.

Семейство Горенко, переместившись из Петербурга в Царское Село в 1892 году, поселилось на углу Широкой улицы и Бульварного переулка в доме, который Ахматова именует в своих

записках «холодным» и «первым от вокзала», т. е. выходящим прямо на Привокзальную площадь. С этим домом, о котором сейчас не имеется никаких определенных сведений, связаны самые ранние ахматовские детские воспоминания, зафиксированные в её сознании с поразительной топонимической точностью:

> Мои первые воспоминания – царскосельские: зелёное, сыроё великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал…

То, почему «зелёное, сырое великолепие парков» тут стоит на первом месте, ясно любому, кто хоть раз побывал в Царском Селе. Легко представить, как поразил маленького ребёнка, пребывавшего до того в каменной тесноте петербургского центра, зелёный простор, окружающий Екатерининский и Александровский дворцы[98]. Однако дворцовые парки были расположены на другой стороне города, так что ежедневные «прогулки с няней»[99], разумеется, ограничивались для детей близлежащими к дому окрестностями царскосельской вокзальной части XIX века. Отсюда – тоновский архитектурный комплекс станции (где, по семейным преданиям, Ахматову благословил св. Иоанн Кронштадтский, приехавший в Царское Село), выгон на севере от площади и особенно «маленькие пёстрые лошадки», первое живое и яркое пятно в земной памяти крохотной девочки, начинающей сознавать себя.

Царскосельский скаковый ипподром, построенный ещё в 1841 году по проекту Альберта Кавоса, архитектора петербургского Мариинского и московского Большого театров, был расположен прямо напротив выгона, по другую сторону железнодорожного полотна с вокзалом. Это было великолепное сооружение, в амфитеатре которого помещалось до 1000 человек, а окружность заключала две версты. Скачки, где с 1876 года действовал тотализатор, проводились тут регулярно два раза в неделю, с начала июня до половины августа, и были весьма важной летней составляющей светской жизни как Царского Села, так и Петербурга, откуда на состязания приезжали толпы игроков и зрителей. Учитывая временные границы скакового сезона, можно предположить, что появление в Царском Селе семейства Андрея Антоновича и Инны Эразмовны Горенко приходится именно на летние месяцы 1882 года, когда их трёхлетнюю дочку так поразила праздничная картина предуготовлений к очередным заездам:

По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчёсанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.[100]

Этими стихами Ахматова в 1912 году откроет свою первую поэтическую книгу. Одесса и Петербург не пробудили её от младенчества; с самого начала сознательных дней она помнила себя царскосёлкой.

III

Зимний сезон в Киеве – На Институтской улице – Рождение Ии Горенко – В «Hôtel Nationale» – В Царском саду с бонной Моникой – Киевские тётки – Первое лето в Гугенбурге – Начало царствования Николая II и триумф Государственного контроля – Новые царскосельские адреса – Дом Шухардиной – Павловский вокзал.

Следующий образный ряд, оставшийся в памяти Ахматовой от детских лет, связан уже не с Царским Селом, а с Киевом, куда Инна Эразмовна, вновь беременная, отправилась со всеми детьми, очевидно, осенью 1893 года. О причинах этой поездки, равно как и о том, путешествовала ли Инна Эразмовна сама по себе, сопровождаемая лишь бонной Моникой, или вместе с мужем, которого служебная необходимость заставила на осенне-зимний сезон 1893–1894 годов переменить место жительства, – мы можем сейчас только догадываться. Однако, судя по оставленным Ахматовой записям, пребывание в Киеве было длительным. Они снимали квартиру или меблированные комнаты на Институтской улице[101], где 27 января (8 февраля) 1894 года родилась Ия Горенко (1894–1922). Затем шестилетний Андрей заболел дифтеритом и здоровых детей на какое-то время отправили под присмотром бонны в роскошные номера «Hôtel Nationale» на углу Крещатика и Бессарабской площади, занятой в то время ещё «дикими» рыночными лотка́ми (здание Бессарабского рынка появится уже в новом столетии). Рыночную суету внизу четырёхлетняя Ахматова с удовольствием наблюдала из окна или с балкона.

В то время в губернских гостиницах была особая мода на копии и репродукции с нашумевших в Европе или России полотен, причём из одного города в другой кочевал стандартный набор изображений с сюжетами, либо по-русски трогательными, либо по-европейски страшными. Из русских картин предпочитали Василия Перова с его «Охотниками на привале» и «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого, а из зарубежных – «Плот “Медузы”» Т. Жерико и «Похороны Шелли» Луи-Эдуарда Фурнье[102]. Последнее полотно, произведшее сенсацию на Парижском салоне в год рождения Ахматовой, изображало необычное огненное погребение великого английского поэта Перси Биши Шелли, утонувшего во время крушения яхты «Ариэль» в Средиземном море близ Ливорно в 1822 году. Лорд Байрон и другие друзья Шелли, как истинные поэты-романтики, решили предать его тело, выброшенное

волнами на берег, огню, по примеру древних греков. Тут же, на берегу, сложили погребальный костёр, подобный костру Гектора, изображённому Гомером в «Илиаде». Тело Шелли, покрытое известью и почти полностью закальцинированное, было положено на этот костёр лицом вверх. Байрон поднёс факел к хворосту. «Снова ладан, масло и соль были брошены в огонь, вино текло ручьём. От жары дрожал воздух. После трёх часов горения необычно большое сердце ещё не сгорело… Череп, расколотый киркой солдата, открылся, и в нём, как в котле, долго кипел мозг» (Андре Моруа). Эту сцену и изобразил Фурнье, с живостью, достаточной, чтобы, будучи водружённой на стене в гостиничном номере, его картина могла впечатлить не только четырёхлетнего ребёнка. На неизбежный вопрос бонна, надо полагать, ответила, что так хоронят поэтов, возможно, даже процитировав модную новинку прошлого литературного сезона – «русского Шелли», изданного в переводе скандального декадентского поэта Константина Бальмонта:

Кто ты, дух чудесный?
Кто тебя нежней?
Радуги небесной
Красота – бледней,
Чем лучезарный дождь мелодии твоей.[103]

Ахматова, несмотря на ранний возраст, не могла не смекнуть, что поэты – люди своеобразные. И поэзией очень заинтересовалась:

Я пила её в капле каждой
И, бесовскою чёрной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звёздной Палатой
И гнала на родной чердак,

В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мёртвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, —
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира,
И факел Георг держал[104].

Поэтическая тема, по-видимому, какое-то время заполняла

все её беседы с бонной Моникой во время ежедневных прогулок в киевском Царском саду, в верхней части которого, за железным мостом, неподалёку от перестроенного Елизаветинского дворца была устроена великолепная по тем временам детская площадка. И когда, играя здесь, она нашла обронённую кем-то заколку в виде лиры, бонна, смеясь, сказала:

– Это значит, что и ты будешь поэтом!

С Царским садом связан и другой, ещё более драматический эпизод, подробно описанный в «Записных книжках»:

> …История с медведем в Шато де Флёр, в загородку которого мы попали с сестрой Рикой, сбежав в горы. Ужас окружающих. Мы дали слово бонне скрыть событие от мамы, но маленькая Рика, вернувшись, закричала: «Мама, Мишка – будка, морда – окошко».

«Замком Цветов» («Chateau de Fleurs», фр.) называлось развлекательное заведение, открытое в нижней части киевского Царского сада, у входа с Крещатика, неподалёку от Институтской улицы и Бессарабки. Бродячий зверинец находился здесь, очевидно, на Масленой неделе, так что скатиться с ледяной горки прямо в объятия тамошних мишек малолетние сёстры Анна и Ирина могли во время традиционных народных гуляний. Понятно, что при неблагоприятном исходе на этом событии настоящее повествование и прекратилось бы, но – миловал Бог.

В Киеве в это время жили со своими семьями все дочери Эразма Ивановича Стогова: Ия Змунчилла – на Меринговской улице, Алла Тимофиевич – на Фундуклеевской, Зоя Демяновская – на Бибиковском бульваре, Анна Вакар – на улице Круглоуниверситетской. Опять-таки, можно только догадываться, поддерживала ли Инна Эразмовна отношения со своей роднёй во время революционно-нигилистических похождений (так сказать, от Парижа до Женевы), но теперь в качестве законной супруги и многодетной матери она точно общалась в Киеве с сёстрами Аллой и Анной. А по всей вероятности юная Ахматова познакомилась тогда со всеми своими многочисленными киевскими тётушками, дядюшками, кузинами и кузенами. Ведь с середины лихих семидесятых годов утекло уже очень много воды, и прежние ссоры и обиды, как это и должно проходить в изменяющейся жизни, виделись теперь повзрослевшим и постаревшим сёстрам Стоговым, когда-то очень дружным меж собой под кровом отеческой Снитовки, странной, диковинной историей, случившейся давно и совсем не с ними. Им оставалось лишь смотреть на умершее прошлое со стороны —

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело…[105]

Тем же летом 1894 года семья Горенко впервые отдыхала на балтийском взморье, в Гугенбурге, где к прежнему разрозненному вороху ахматовских памятных картинок раннего детства добавились «море и великолепные парусные суда в устье Наровы». Дачный район Гугенбурга (ныне Нарва-Йыэссу), протянувшийся вдоль тринадцатикилометрового морского пляжа с бело-золотистым песком и по берегу Наровы, начал расти ещё с 1880 года, а теперь здесь, в сосновом бору на берегу Финского залива, стояли дачи князей Урусовых, Орловых, баронессы Притвиц, барона Пельцера, столичных промышленников и финансистов. Сюда же на лето приезжала эстонская знать. Место было престижным, модным среди петербургского чиновничества, состязавшегося в карьерных успехах. Отдельные дачные дома сдавались тут по 200–300 рублей за сезон; те, кому это было не по карману, жили в многочисленных пансионатах, вполне благоустроенных, с балконами для воздушных ванн, и тоже не слишком доступных для прочей петербургской чиновной мелочи.

Андрей Антонович снял для семьи на летний сезон дачу Шкодта на Мерикюльской улице.

Он быстро шёл в гору, а вместе – и всё его контрольное ведомство, переживавшее в этот год самую напряженную и обильную добычей пору в своей истории. Новый государственный контролёр Тертий Иванович Филиппов, освоившись, оказался, при всех своих певческих и писательских странностях, зорок, цепок и, главное, азартен. В 1893–1894 годах он своими докладами на Государственном совете вводил в страх и заставлял оправдываться военного и морского министров, а на министра путей сообщения Аполлона Константиновича Кривошеина развернул настоящую охоту.

Тертий Филиппов имел обыкновение вникать во все маломальски значимые перестановки в министерствах и ведомствах, иногда и вовсе не имеющие никакого отношения к заботам Государственного контроля. Он изучал личные дела назначаемых и был, как правило, недоволен. Недовольство своё он доводил, приватно или гласно, до людей нешуточных, до самого обер-прокурора Победоносцева:

– Никак не могу, Константин Петрович, поддержать эту кандидатуру: подлец, настоящий подлец!

– Полноте, Тертий Иванович, ну кто сейчас не подлец? – меланхолически отвечал Победоносцев, и оба расходились:

Победоносцев – вершить кадровую политику Империи на Сенатской площади, а Филиппов – раздавать очередные ориентировки контролёрам у Фонарного моста.

То, что назначение А. К. Кривошеина в 1892 году министром путей сообщения было весьма странным, все, включая Победоносцева, знали и без Филиппова. Кривошеин начинал в армии, затем служил в Министерстве народного просвещения, затем был уездным предводителем дворянства, городским головой, мировым судьёй, после – пошёл по линии Министерства внутренних дел и, наконец, вдруг вознёсся в кресло министра, в общем, не имея к российским путям сообщения никакого прямого касательства в своих предшествующих многообразных занятиях. Был он энергичен, предприимчив, сметлив, однако репутацию имел сомнительную. Прямодушный и острый на язык директор по морской части РОПиТ-а Михаил Ильич Кази воспел назначение Кривошеина в стихах:

Был офицер, крупье был он затем,
Услужливый Артюр, старух любимец,
Подрядчик, голова, делец и всем,
Чем может быть в России проходимец.
Министром только не был он,
Но, словно миру в поученье,
Кого приблизить может трон, —
Путей министром сообщенья
Стал Кривошеин Аполлон…

Контролёры Филиппова информировали о необыкновенной активности Кривошеина в скупке лесных имений, однако Александр III, до которого эта информация регулярно доходила, проявлял несвойственную ему в коррупционных делах осторожность: высокого мнения о деловых качествах Кривошеина был князь В. П. Мещерский, которому Александр очень доверял. Поэтому, получив известие об очередном имении, приобретённом министром, суровый император ограничивался личным выговором:

– Ведь стыдно!

В сентябре 1894 года Александр III, страдавший почками, простудился на охоте в Беловежье. По настоянию врачей больного срочно отправили на юг, в Ливадию, однако воспаление прогрессировало, и 20 октября 1894 года Царь-Миротворец, соборовавшись и причастившись, тихо угас, успев попрощаться перед смертью с женой и детьми, собравшимися в Ливадийском дворце.

Ему наследовал двадцатишестилетний Николай II.

15 декабря, сразу после того, как улеглись траурные волнения, Тертий Филиппов сделал новому Государю обстоятельный доклад о том, как Кривошеин прямо в своём министерском кабинете заключал сделку на продажу для строящейся Рыбинско-Бологовской железной дороги древесины… со скупленных им лесных угодий, причём поставки шли по очень высокой цене. Мина, подложенная государственным контролёром, сработала безупречно: на следующий день царским указом скандальный глава МПС был снят с «лишением придворного звания и права носить мундир»[106].

Государственный контроль Российской империи встречал Новый год на вершине своего могущества. Неизвестно, какую лепту в этот триумф внёс среди других сотрудников Филиппова Андрей Антонович Горенко, но вскоре ему выходит чин надворного советника, и он становится помощником генерал-контролёра Департамента гражданской отчётности. Это было не просто повышение. Андрей Антонович переходил ту заветную для любого служилого человека грань, за которой завершается карьера исполнителя и начинается карьера руководителя. Менялся социальный статус, и Андрей Антонович, чуткий всегда к внешней, бытовой атрибутике, озаботился среди прочего соответствующим преображением собственного домашнего уклада. В памятных записях Ахматовой отмечен ряд новых адресов, относящихся к сезону 1894–1895 годов, когда после Киева и Гугенбурга Горенко вновь утвердились в Царском Селе:

Дача Бернаскони. Безымянный переулок (Мне 4 года?!), Малая дом Сергеева (там сумасшедший Дубельт, внук Пушкина).

В итоге главе семейства приглянулась просторная квартира в доме купеческой вдовы Евдокии Ивановны Шухардиной, расположенном на 15-м привокзальном участке, угловом по улице Широкой и Безымянному переулку. Не в пример памятному «холодному дому» тут была подклеть, были флигель, службы и собственный садик. Во время этих осенне-зимних царскосельских переездов Инна Горенко поступила в Мариинскую женскую гимназию, Андрей начал подготовительные домашние занятия к школе, а пятилетняя Анна продолжала осваивать местные жизненные впечатления. К завершающему периоду её детства относится ещё один фрагмент в «Записных книжках»:

> Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, salon de musigue (который называли

“соленый мужик”), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А ещё призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (Pavilion de roses). Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай, его бумажная фабрика.

Идею особых концертно-развлекательных помещений, подобных курзалам, летним эстрадам в городских парках, но расположенных при железнодорожных станциях, подал сам создатель первой российской железной дороги Франц-Антон фон Герстнер ещё в 1836 году. Царскосельская магистраль строилась на деньги акционеров и была изначально не столько транспортным средством, сколько грандиозным столичным аттракционом, забавой, демонстрирующей в то же время перспективы технического прогресса. Поэтому, по замыслу её создателя, перенесшись по рельсам за двадцать пять вёрст от Петербурга в самое сердце Павловского парка, на берега романтических прудов Большой Звезды, пассажиры Царскосельской дороги прямо с перрона конечной остановки должны были попадать в волшебный по красоте певческий зал (vaux – hall). «В конце дороги, – мечтал Герстнер, – устроится новое Тиволи, прекрасный воксал: он летом и зимою будет служить сборным пунктом для столичных жителей»[107].

Но то, что сумел сделать в Павловске Андрей Штакеншнейдер, превосходило самые смелые фантазии Герстнера. На берегу Вокзального пруда, куда через земли деревеньки Тярлево и живописные лесные заросли бренновской Большой Звезды была проложена узкая железнодорожная просека, вырос музыкальный дворец, равного которому не было ни в Старом, ни в Новом Свете[108]. Появление Павловского вокзала – первой русской филармонии – превращало Россию в мировую музыкальную державу. А сам концертный комплекс в Павловском парке достраивался и совершенствовался, превратившись к концу XIX века в шедевр архитектурной техники. Здесь были три тысячи газовых светильников, которые освещали всю территорию, специальный паровой насос, подающий воду в водопроводы и фонтан, рестораны, кафе, гостиничные номера, оранжереи с

отоплением, прогулочные галереи, крытая галерея, ведущая в помещения от железнодорожного перрона, большая и малая эстрады с залами, вмещающими одновременно до 3000 человек, отдельно – театральный зал с тремя ярусами лож и партером ещё на 3000 человек. С начала мая и до конца сентября концерты шли ежедневно, начинаясь с приходом специального шестичасового поезда в 18.10: в понедельник – военный оркестр, во вторник – симфонический оркестр, среда – балетная и оперная музыка, четверг – инструментально-вокальные номера, пятница – симфонический оркестр, суббота – инструментально-вокальные номера, воскресенье – музыкальные вечера общедоступного характера.

И всё это, за редкими исключениями, о которых объявлялось особо, было для посетителей Павловска бесплатным, «без особой платы за вход», как формулировали тогда. Ведь Герстнер, подметив особую, поголовную любовь петербуржцев к всевозможным музыкальным выступлениям, решил эту любовь использовать, приучая столичных обывателей к железной дороге, и настоял, чтобы Общество железнодорожных акционеров взяло на себя все издержки по проведению концертов в Павловском Вокзале. Европейская и русская симфоническая и оперная музыка, слушателями которой до 1838 года были только петербургские аристократы, приглашавшие оркестры и певцов в свои дворцы, стала теперь доступной каждому пассажиру, взявшему билет до Павловска. Устроенный Герстнером «пиар» железных дорог в России удался, сверх всякой меры. Но значение самого Павловского вокзала для страны было не меньшим, чем покрывшая её во второй половине XIX века железнодорожная сеть. И когда в 1899 году Царскосельский участок пути был продолжен Виндово-Рыбинской магистралью, на которой, в обход Большой Звезды, была построена платформа Павловск II (это и есть павловская железнодорожная остановка наших дней), то на защиту старой, тупиковой тярлевской ветки от Царского Села до Павловского Вокзала, которую хотели демонтировать, встал весь город. На имя великого князя Константина Константиновича от лица павловских домовладельцев, торговцев и промышленников была составлена особая челобитная: «С уничтожением в парке музыкального вокзала и железнодорожной станции падет и город Павловск, и мы все должны придти к полному разорению <…> На летнее время в Павловск прибывает более 1500 семейств, и мы большею частью только и существуем летними дачниками, а с уничтожением вокзала едва ли здесь будет жить и пятая часть дачников, так как Павловск признается сырым, канализации не имеющим и освещение в нём слабое, и поэтому несмотря на

прелестный парк Вашего императорского Высочества без музыкального воксала г. Павловск не привлечёт дачников…»

В духе посетителей берлинских Philharmonie и Concerthaus'a семейные завсегдатаи Павловского вокзала возили сюда своих малышей, и для многих, подобно Ахматовой, музыкальные переживания (с позднейшими культурными наслоениями, разумеется, как у неё – из «Идиота» Достоевского и «Le Petit Chose» Альфонса Доде) стали доминантой и кульминацией образа петербургского детства:

> В двух словах – в чём девяностые года. – Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и всё прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижёр Галкин – в центре мира.

Посещения концертов именно с маленькими детьми к концу столетия превратились в устойчивую традицию, так что близ Павловского вокзала пришлось устроить специальную детскую площадку. Впрочем, в ожидании концерта можно было прогуляться по близлежащим окрестностям парка, дойти до Розового Павильона и полюбоваться скульптурами Аполлона и муз на площади «Двенадцати дорожек». Никаких сословных ограничений в этом фантастическом музыкально-железнодорожном заповеднике не было, и надменный, прямой и широкоплечий Андрей Антонович Горенко в щегольском чёрном форменном пальто кавторанга, невозмутимо прокладывающий среди вокзальной павловской толпы дорогу своему нарядному семейному выводку, мог столкнуться тут с озабоченным, косноязычным, озирающимся перчаточником Эмилием Вениаминовичем Мандельштамом, самым трогательным отцом в истории большой русской литературы, тянущим за руку важное трёхлетнее чадо:

> В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему – тяжёлые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы[109].

Жизнь посылала Ахматовой и её будущим друзьям особые,

странные и многомерные знаки, что позволило ей, много лет спустя оглядываясь на свои детские годы, подытожить:

> Моё детство так же уникально и великолепно, как детство всех остальных детей в мире, с страшными отсветами в какую-то несуществующую глубину, с величавыми предсказаниями, которые всё же как-то сбывались, или, представьте себе – не сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть ещё какое-то тайное существование и цель.

IV

Начало отрочества – Безымянный переулок – Первые книги – Второе лето в Гугенбурге – Знакомство с Тюльпановыми – Болезнь Рики – Зима в Севастополе – Бабушка Ирина Ивановна, Мария и Надежда Горенко – Пиратские истории – Гречанка Ефросинья – Духовное воспитание.

С переездом в дом Шухардиной кончается детство Ахматовой, и начинается отрочество, «взрослое детство», по чудесному выражению нелюбимого ею классика. Внутренне это выразилось в зоркой наблюдательности, которая сменяет фрагментарную импрессионистическую впечатлительность её позднего младенчества. Вместо «пёстрых лошадок», «заколок в виде лиры», «великолепных парусных судов» и «дыма от допотопного паровозика», вырастающих в символические эмблемы целых прожитых месяцев, ахматовская память запечатлела быт царскосельского особняка на углу Широкой и Безымянного, как документальную хронику, мастерски снятую каким-то начинающим виртуозом тогдашнего синема:

> Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, тёмно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зелёном переднике, с мертвенно-бледным, отёкшим лицом запойного пьяницы. Из окна несётся зловещая сапожная вонь. Всё это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.
>
> Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к

вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей ещё не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесён зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами…

Что же касается внешних примет взросления, то они выразились в быстром превращении открытого, активного и радостного существования, соединяющего всех маленьких детей в едином ангельском и неземном обличье, в бытие пробудившейся индивидуальности, весьма непростой, замкнутой и меланхоличной. Ахматова была крайне мечтательным ребёнком и, как это часто бывает с людьми, которым доступна избыточная интенсивность жизни внутренней, – не только не нуждалась в общении с окружающими, но и часто избегала этого общения, как отвлекающей и раздражающей помехи:

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне…[110]

Самой с собой ей было куда интереснее; послушная фантазия творила из окружающих её людей и вещей удобную для неё реальность, похожую на тот заветный остров, в который обращалась опустевшая бумажная фабрика разорившегося отца для юного героя любимого ею романа Альфонса Доде:

Фабрика была для меня уже не фабрикой: она была моим пустынным – абсолютно пустынным! – островом; бассейны исполняли роль океана, сад был девственным лесом. В платанах жило множество кузнечиков, и они тоже принимали участие в представлении, сами того не подозревая[111].

Впрочем, в отличие от «птишоза» Доде, фантазия юной Ахматовой, по всей вероятности, питалась в это время не столько почерпнутыми из книг образами и положениями, сколько самодеятельными сюжетами, извлекаемыми из собственных недр. История её читательского дебюта достаточно неопределённа:

> Читать научилась поздно, кажется семи лет (по азбуке Льва Толстого), но в восемь лет уже читала Тургенева. Первая бессонная ночь – «Братья Карамазовы».

Если вынести за скобки первого десятилетия её жизни «Братьев Карамазовых», то ранние читательские впечатления Ахматовой связаны сначала с «Тремя медведями», «Львом и собачкой», «Булькой», а, затем, – с «Муму» и «Бежиным лугом»:

> Вот на днях зовёт приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясёт; однако он её отпрукал, сел на неё с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»[112]

Это вполне сто́ит, конечно, Робинзона с пиратами и дикарями, но, если учесть намеченную Ахматовой приблизительную хронологию, станет ей доступным лишь года через два-три. А снежной зимой 1894/95 годов Инна Эразмовна в Царском Селе читала детям некрасовские стихи про Мороза-воеводу, обходящего дозором свои владенья, и про злого старика

Борея из оды Гаврилы Державина:

С белыми Борей власами
И с седою бородой,
Потрясая небесами,
Облака сжимал рукой;
Сыпал инеи пушисты
И метели воздымал,
Налагая цепи льдисты,
Быстры воды оковал.
Вся природа содрогала
От лихого старика;
Землю в камень претворяла
Хладная его рука;
Убегали звери в норы,
Рыбы крылись в глубинах,
Петь не смели птичек хоры,
Пчёлы прятались в дуплах;
Засыпали нимфы с скуки
Средь пещер и камышей,
Согревать сатиры руки
Собирались вкруг огней.[113]

«Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина (“На рождение порфирородного отрока”) и Некрасова (“Мороз, Красный нос”), – писала Ахматова. – Эти вещи знала наизусть моя мама». В эти же первые месяцы обитания в доме Шухардиной, слушая, как нанятая учительница французского языка занимается с Инной и Андреем, пятилетняя Ахматова тоже заговорила по-французски. Если учесть, что, по-видимому, к этому времени с помощью бонны Моники она уже освоила азы немецкого языка, то, не умея ещё ни читать, ни писать, Ахматова весной 1895 года имела такой солидный гуманитарный задел, которому могли бы позавидовать и ученики младших классов гимназии.

Неизвестно, как отреагировали родители на это впечатляющее проявление лингвистических способностей. Возможно, впрочем, что в суете текучих будней многоязычное лепетание дочери их не тронуло вовсе: Андрей Антонович всё время пропадал на петербургской службе, а Инна Эразмовна едва справлялась с домашними заботами. В дом, дополнительно к бонне Монике, была взята ещё одна нянька – калужская крестьянка Татьяна Ритивкина, поразившая детей сентенциями: «Наши дела как сажа бела» и «Отворотясь, не насмотришься». Об

Ахматовой прозорливая няня, знакомясь с новыми подопечными, изрекла категорично:

– Эта перец будет!

Летом 1895 года Андрей Антонович снова повёз семью в Гугенбург. По соседству с дачей Краббау, где они остановились в этот раз, жила семья Тюльпановых с двумя малолетними детьми, сыном Алексеем и дочерью Валерией, тоже из Царского Села. «С Аней, – вспоминала Валерия Тюльпанова, – мы познакомились в Гугербурге, довольно модном тогда курорте близ Нарвы, где семьи наши жили на даче. Обе мы имели гувернанток, обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими “мадамами” на площадку около курзала, где дети играли в разные игры, а “мадамы” сплетничали, сидя на скамейке. Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой. Я была очень подвижной, весёлой, шаловливой и общительной. Особенной дружбы у нас не возникло, но встречи были частые, болтовня непринуждённая, и основа для дальнейших отношений возникла прочно». Сама же Ахматова из всех впечатлений этого лета помнила лишь то, что «в Гугенбурге, когда мы жили на даче Крабау – я нашла царь-гриб». 11 июня 1895 года ей исполнилось шесть лет.

Летние месяцы 1895-го стали последними безмятежными временами как в детстве Ахматовой, так и в жизни всей семьи Горенко. Тревога надвигалась исподволь, неторопливо, дав впервые знать о себе грустной вестью, дошедшей из Севастополя ещё год назад. 13 февраля 1894 года там безвременно скончался в возрасте 44 лет титулярный советник Пётр Антонович Горенко, отпетый 14 февраля в церкви Всех Святых и погребённый на городском севастопольском кладбище. Врачи констатировали «смерть от чахотки лёгких»[114]. Скорбь Андрея Антоновича была, несомненно, искренна, но, вероятно, не беспредельна: жизнь брата всё время протекала вдалеке от него. И Андрей Антонович, и Инна Эразмовна, и уж тем более их маленькие, не знающие далёкого севастопольского дядю дети вряд ли могли представить себе, что в этой гибели скрывается страшный сигнал для всех них – по вещему слову царскосельского поэта, известного до времени под летронимом *Ник. Т-о*:

> На консультации вчера здесь Смерть была
> И дверь после себя оставила открытой…[115]

Осенью 1895 года признаки активного туберкулёзного процесса были обнаружены у трехлетней малышки Ирины Горенко. По тем временам это был приговор, однако оставалась

призрачная надежда на благотворную перемену климата. Из Киева была срочно вызвана тётка Анна Вакар, которая увезла Рику к себе:

> Всю ночь не давали заснуть,
> Говорили тревожно, звонко,
> Кто-то ехал в далёкий путь,
> Увозил больного ребёнка.
> А мать в полутёмных сенях
> Ломала иссохшие пальцы
> И долго искала впотьмах
> Чистый чепчик и одеяльце…[116]

Ближе к зиме врачи заподозрили начало туберкулёза и у шестилетней Анны, и Андрей Антонович срочно отвез её в Севастополь, под крыло бабушки Ирины Ивановны Горенко и тётки Марии Антоновны. Инна, Андрей и полуторагодовалая Ия остались в Царском Селе с Инной Эразмовной. Что́ та пережила в эти осенние месяцы – лучше и не представлять…

После Царского Села, Киева и Гугенбурга первый, зимний Севастополь 1895/96 годов не произвёл большого впечатления на Ахматову: её «открытие» этих мест состоится годом позже. Тем не менее мемориальной доской в наши дни отмечен тот городской адрес, по которому она проживала, впервые попав на берега Ахтиарской бухты – Екатерининская улица, 12, жилище никогда не виденного ею деда Антона:

> Здесь, в доме своего деда – участника первой обороны Севастополя часто гостила в 1896–1916 гг. русский поэт Анна Ахматова[117].

Антон Андреевич Горенко поселился на Екатерининской, когда весь город лежал в руинах после несчастной осады, и даже центральные улицы отстраивались заново, освобождаясь от остовов прежних городских домов, разрушенных огнём артиллерии союзников или сгоревших в пожарах во время штурма 1855 года. Семейство Горенко было в числе немногих севастопольцев, вернувшихся сюда после ухода французов и англичан, оставивших от русской морской крепости пустынное пепелище: большинство из довоенных обитателей города предпочло, получив компенсацию, обживать новые места. Отстраивался Севастополь мучительно долго, два десятилетия, да и то преимущественно за счет возникновения тут порта РОПиТ-а, – так что оживление касалось торговой зоны, центром которой

стал таможенный городок, возникший на Тотлебеновской набережной. В разрушенных укреплениях играли местные мальчишки, а среди сгоревших кварталов скрывались многочисленные шайки разбойников и грабителей – вплоть до середины 1870-х годов прогулки по севастопольским улицам без оружия могли кончиться бедой. И тем не менее выбор заправил коммерческого судоходства очевидно клонился в пользу Севастополя, пусть и не отстроенного до конца. Конкурировать в удобстве мореплавания с Севастополем не могла даже Одесса, от которой путь до Проливов был в два раза дольше, да и ледовая обстановка порта в зимние месяцы оставляла желать лучшего. Впрочем, то, что местной морской стоянке не было равных как в Крыму, так и на всём северо-западном черноморском побережье, поняли ещё древние греки, основав в IV веке до Р. Х. торговый Херсонес, живописные античные руины которого в севастопольской Карантинной бухте привлекали археологов и туристов и в дни запустения.

С начала 1880-х военные моряки, вернувшиеся на черноморские просторы, стали решительно вытеснять из Севастополя (вновь получившего генерал-губернаторство) коммерческое судоходство. Крепостные сооружения, скрытое переустройство которых началось ещё во времена «нейтралитета», воссоздавались теперь по новейшим стандартам скорыми темпами, появились верфи, на которых были заложены броненосцы «Екатерина Вторая», «Георгий Победоносец», «Св. Евстафий», несколько крейсеров и миноносцев. Флотские офицеры вновь заполнили центральные улицы и площади, и в зале Морского собрания регулярно задавались балы. Антон Андреевич Горенко, отвечавший в последние годы службы за устроение казённых земель и садов Севастопольского порта, на закате своих дней был утешен зрелищем полного возвращения городу военно-морского облика, знакомого отставному полковнику Адмиралтейства с юности.

А к моменту прибытия сюда его внучки Морское ведомство перемещало остатки торговых судов из севастопольских бухт в Евпаторию и Новороссийск. Межведомственная борьба за порт из служебных кабинетов выплёскивалась и на городские улицы: на том самом Мичманском бульваре, куда Мария Антоновна Горенко водила гулять племянницу, по вечерам возникали стычки военной молодёжи со «шпаками», завершавшиеся обычно (как и в кабинетах) победами Марса над Меркурием.

Небольшой одноэтажный домик с подклетью и большим крыльцом, где под опекой старшей дочери доживала век Ирина Ивановна Горенко, вдова Антона Андреевича, находился у

перекрестка Екатерининской улицы и Мичманского спуска, в двух шагах от Мичманского бульвара. Вероятно, в это время вместе с ними жила и Надежда Антоновна Горенко, учительница местной начальной школы. Другая их сестра, Аспазия Арнольд, вместе с мужем в 1890 году перебралась из Севастополя в Одессу.

Ирина Ивановна, урождённая Воронина, была, по выражению внучки, «наполовину гречанка». Отец её, поручик Иван Воронин (дед Андрея Антоновича Горенко и прадед Ахматовой) женился на дочери критянина, участвовавшего в летучем морском отряде знаменитого Ламброса Качиониса, средиземноморского пирата-партизана, наводившего ужас на турок в островах Архипелага в конце XVIII столетия. Флотилия Качиониса была составлена исключительно из захваченных турецких судов и действовала на стороне России в её войнах с Турцией (флагманы Качиониса назывались «Князь Потёмкин-Таврический», «Граф Александр Безбородко» и, разумеется, «Минерва Северная»). Качионис продержался в архипелаге до 1792 года, когда его главная пелопоннесская база на полуострове Мани, в бухте Порто Кайо была атакована соединёнными франко-турецкими морскими силами. Однако греческие пираты, потеряв большинство кораблей, смогли избежать плена, прорвавшись ночью на небольшом судне сквозь вражеский строй.

Путь их был в Россию, где сам Качионис, обласканный «северной Минервой», получил право носить особую феску, украшенную изображением царственной десницы с надписью «Под рукой Екатерины». Его команда осела в севастопольской Балаклаве, которую охранял уже сформированный к тому времени особый греческий батальон.

Внучка славного пирата, Ирина Ивановна сохранила в свои семьдесят восемь лет здравую память и поразила шестилетнюю Ахматову рассказами о том, как прапрадедушка Эммануил под началом Качиониса пускал на дно турецкие корабли у острова Андрос и под Нафплионом[118]. Мать воспитала Ирину Ивановну в эллинских традициях: она знала язык и поддерживала связь с многочисленными земляками в Севастополе и Балаклаве. В дом на Екатерининской приходила её двоюродная племянница Ефросинья, чистокровная гречанка, также привнесшая свою долю историй в греко-пиратский эпос, который Ахматова самозабвенно впитывала как губка (кому не приятно почувствовать себя в шесть лет праправнучкой настоящего морского разбойника?!). Балаклавские гречанки были не менее воинственны, чем мужчины. Князь Потёмкин в своё время сформировал из них особый отряд амазонок, а командиры балаклавских шхун и подразделений греческого батальона регулярно прибегали к

помощи своих жён и сестёр в моменты военных тревог. Моменты такие в XIX веке случались часто. Греки в Севастополе не утратили воинский дух и не упускали случая обнажить старый боевой меч против турок и их союзников. В триумфальном 1827 году греческие моряки плечом к плечу с россиянами громили османский флот под Наварином, а во время нашествия союзников на Севастополь солдаты балаклавского гарнизона заперлись в старой Генуэзской крепости и оказали интервентам такое сопротивление, что, овладев наконец руинами, французские генералы допытывались у раненых пленных: на что́, собственно, они рассчитывали, столь ожесточённо сражаясь силами роты против целой армии?

– Сдачей я навлёк бы на себя и гнев моего начальства, и ваше презрение, теперь же совесть моя спокойна, я выполнил свой долг до конца, – отвечал им доблестный капитан балаклавцев С. М. Стамати.

Шхуны с балаклавскими головорезами поддерживали РОПиТовские «пароходы» в набегах на турецкие морские коммуникации во время Балканской войны. В мирные же промежутки насельники Балаклавы увлечённо занимались контрабандой. Словом, забот у местных греков (и гречанок) хватало всегда, жизнь их была насыщенной… Ахматова благоговейно слушала о том, как «тётя Фрося» сама привела в Балаклаву парусное судно, потеряв в море мужа – владельца корабля (он порезал руку канатом и умер от заражения крови). «Она была гречанка, – вспоминала Ахматова, – и водила меня в греческую церковь в Севастополе (на Слободке). Там пели Кириэлэйсон (Господи, помилуй)».

В отличие от своих русских собратьев по вере, просвещённая элита которых оказалась во второй половине XIX века заражённой проказой нигилизма, балаклавские греки, прошедшие суровую школу этнического выживания, верили истово, видя в православии основу как личного, так и национального духовного здоровья. Кроме того, образ жизни воинов, моряков и авантюристов приучал их относиться к религиозным таинствам с той простотой и серьёзностью, которую воспитывает в человеческом существе постоянное ощущение близости смерти. Центром греческого землячества в Севастополе всегда был храм, при котором создавалось образовательное подразделение для молодёжи. До Крымской войны это была церковь Свв. Петра и Павла и её церковноприходская школа, а в царствование Александра III во время возрождения Севастополя, в Артиллерийской слободке возник целый религиозно-просветительный архитектурный комплекс, включавший в себя

здание Греческого училища и храм Трёх Святителей, освящённый 17 мая 1890 года. Сюда и водила тётка Фрося шестилетнюю Ахматову, и эти маленькие паломничества иначе как чудом небесным назвать, конечно, нельзя, настолько точно оказались тут избранными время и место.

В семье Горенко религиозным просвещением детей родители не занимались никак. Это, кстати, следует также признать благом. Стойкий либертинец Андрей Антонович и «идеалистка» Инна Эразмовна могли своей метафизикой только смутить детское сознание («там что-то есть, конечно, но…»). А школьные уроки Закона Божьего для Ахматовой с её необыкновенно ранним интеллектуальным и личностным ростом безнадёжно запаздывали и вместо просветительского эффекта вполне могли привести к катастрофе (как это происходило со многими её современниками-декадентами, для которых школьные батюшки оказывались излюбленными объектами юношеского протеста). Но те несколько живых уроков православия, полученные под сводами греческой церкви Трёх Святителей, в компании такой наставницы, как тётка Ефросинья, которая сама довела корабль до Балаклавы после смерти мужа в море, – расставили по местам в религиозном мировосприятии шестилетней Ахматовой всё и навсегда. Тётя Фрося, надо полагать, после морского возвращения в Балаклаву не мудрствовала лукаво в вопросах богословских, да и разъяснять что-либо было, в общем, не надо:

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον[119].

Что́ тут разъяснять? И Ахматовой после её первого Севастополя уже не страшны были никакие духовные соблазны и сомнения, которые, конечно, не минули её. Жизнь сложится бурно – не хуже, чем у тётки Ефросиньи и её балаклавских мореходов. И, точно так, как и им, Ахматовой и в голову не придёт никогда усомниться в святости и правоте небесного лика Церкви, как бы он ни был искажён земным существованием.

Впрочем, и земное бытие православия здесь, в Севастополе, виделось несколько иным, чем на «теплохладном» столичном севере. От Екатерининской улицы до Артиллерийской слободки путь был неблизким. Через Мичманский бульвар и Нахимовский проспект тётя Фрося вела свою маленькую спутницу на утреннюю Корниловскую набережную над Артиллерийской бухтой, затем по ней – до Базарной площади, на которую и выходила Артиллерийская улица. За это время тётка могла, как водится, рассказать много разных поучительных святых историй, происшедших в давние времена на этих берегах.

А истории эти были любопытные!

Сюда, в древний Херсонес Таврический, был в начале второго тысячелетия за непокорность сослан императором Траяном четвёртый папа римский Климент, любимый ученик апостола Петра. В каторжных работах, в каменоломнях, в цепях, папа Климент не угашал духа: он неутомимо проповедовал учение Христа и, по слухам, обращал ежедневно в христианскую веру множество неофитов, стекавшихся теперь к лачугам херсонесских рудокопов со всей Тавриды. На местах языческих капищ по велению каторжного папы стали воздвигаться храмы. Тогда взбешённый Траян, которому донесли о непорядках в северных провинциях, приказал привязать Климента к корабельному якорю и бросить в Херсонесскую бухту. А наутро на глазах скорбных учеников Климента Гостеприимное море, Πόντος Εὔξενος, отступило от берега на три стадии, открывая доступ к покоящимся на дне святым мощам, которые были с великими почестями вынесены на берег и сокрыты в укромной раке от свирепых римских центурионов.

Κύριε, ἐλέησον!

Добрый священник Василий, знаменитый и прославленный словом и чудесами в III в. по Р. Х., подвизался, согласно преданию, в пустынных херсонесских скалах и был за свою праведность рукоположен в епископы города. Но и тогда он не оставил свою пещеру, принимая там учеников и неофитов, просвещая и исцеляя страждущих. Не делал Василий Добрый никакой разницы между православными и язычниками, кроткими и злыми, помогая всем, без разбора, и когда прибежал к нему жестокий городской голова, πρωτεύων, единственный сын которого скончался на днях, – ни слова не говоря, пошел с протево́ном в склеп, окропил тело святой водой, вознес молитву – и мальчик воскрес. А уже на следующий день городская языческая чернь, возмущённая отступничеством своего вожака, вломилась в пещеру Василия Доброго, била и ругалась над ним, затянула петлю на ногах мученика, волокла его по прибрежным осколкам и мостовым камням до рыночной площади и здесь, у высокого каменного столба, убила, бросив тело на съедение псам. Но запугать херсонесских епископов таврическим язычникам было не так-то легко: один из преемников св. Василия, св. Капитон, посрамляя малодушных и отступников, бестрепетно, с молитвой на устах вошёл в горящую печь, – и вышел невредимым.

Κύριε, ἐλέησον!

А в последнюю четверть тысячелетия, когда Свет Христов воссиял уже по всей Ойкумене, в 891 году греческие моряки, терпя крушение у мыса Фиолент, увидели на плоском камне в

десяти саженях от берега грозного Георгия Победоносца, возликовали, бросились вплавь к камню святого, выбрались невидимыми и припали к его ногам. Одним мановением утихомирил Георгий послушные волны и указал морякам на прибрежную черту, повелев основать там монастырь, молиться и ждать. И, воздвигнув на Фиоленте Свято-Георгиевский монастырь, эллинские монахи и моряки сто лет покорно молились там, и ждали, ждали, ждали – вплоть до дня, когда, сияющие в сумасшедших золотых сполохах падающего в море солнца, показались на херсонесском берегу железные варяжские дружины сумасбродного киевского князя Владимира…

Κύριε, ἐλέησον!

Вернувшись на Екатерининскую из греческого храма на Слободке, ещё окутанная благоуханием ладана, замёрзшая и счастливая Ахматова бросалась к бабушке Ирине, и они вместе листали Четьи-Минеи, отыскивая жития святых, прославивших землю будущего русского Севастополя. А оказавшись на следующий год в Херсонесе, Ахматова будет бесконечно бродить по площадям и набережным мёртвого города, отыскивая среди античных руин знакомые ей по святцам места, где так высоко прозвучала когда-то христианская проповедь:

…Я искала тот столб высокий,
Что стоял когда-то у стен Херсонеса
И до которого херсониды
Дотащили святого и там убили.
……
Про всё это написано в святцах,
Показать могу – сама читала,
Как мне прабабка моя сказала…[120]

V

Возвращение в Царское Село – Китайское посольство – Смерть Рики – Печальное лето в Слободке Шелиховской – Рождение Виктора Горенко – Ахматова учится чтению – Лето в Севастополе – «Дача Тура» – Чудеса Херсонеса.

Ахматова в первый свой приезд в Севастополь пробыла тут у бабушки и тёток зиму и начало весны, традиционно тяжкие в петербургских широтах для лёгочных больных. В конце апреля 1896 года она вновь находилась в Царском Селе; там её детское воображение было поражено обилием китайцев в сказочных пёстрых нарядах. По тихим царскосельским улочкам прошествовал слон, покрытый золочёной попоной с кистями и погремушками, – подарок пекинского богдыхана Гуансюя. Шли торжества по случаю прибытия чрезвычайного посольства Поднебесной Империи во главе с «наместником Чжили» (премьер-министром) Ли Хунчжаном. Там, на удалённых рубежах, где некогда воевал и хозяйствовал Эразм Иванович Стогов, в 1894–1895 годах шла жестокая сухопутная и морская война между обширной, богатой и неподвижной китайской Поднебесной Империей и островной Империей Восходящего Солнца – Японией[121]. Предметом состязания были Корея и земли Манчжурии, вотчина правящей в Пекине династии Цин. В ходе войны китайские армия и флот оказались наголову разгромлены и 5 (17) апреля 1895 года в городе Симоносеки был подписан мир, означавший капитуляцию Китая. Но торжествовали японцы недолго. Уже через неделю коалиция России, Германии и Франции, созданная по инициативе российского министра финансов С. Ю. Витте, предъявила им ультиматум с требованием восстановить территориальную целостность Китая в обмен на дополнительные денежные выплаты проигравшей стороны. В итоге воинственной Японии, помимо китайских денег, достались лишь Пескадорские острова и Формоза. А миролюбивая Россия в благодарность за защиту китайских интересов в придачу к учёному слону в царскосельском Александровском зверинце получила в 1896 году в аренду под строительство южной ветки Транссибирской магистрали[122] манчжурские земли. Хитроумный Витте понимал, что обложенный огромной японской контрибуцией Китай полностью зависим от кредитов западных союзников, и действовал напористо и бесцеремонно. Двумя годами спустя был установлен полный российский контроль над тем самым Ляодунским полуостровом с незамерзающим Порт-Артуром (Люйшунем), за который, в первую очередь, и сражались

отважные до наивности японцы. Последние вполне усвоили урок европейской политической диалектики и потратили всю поступившую от Китая контрибуцию на перевооружение армии и флота. А перед организаторами дипломатической «тройственной интервенции» открывались возможности, от которых захватывало дух. Вдохновлённый успехом Николай II провозгласил натиск в Восточную Азию геополитической миссией своего царствования, а в Европе заговорили о русском владыке как о новом Императоре Тихого Океана.

Чем может обернуться для России этот эффектный бросок в Приморье, никто из столичных обывателей, разумеется, не задумывался. Царскосёлы с удовольствием посещали устроенный близ Александровки китайский слоновник. Слон богдыхана танцевал и бил в колокол; жил он в одном вольере с золотистыми китайскими курочками, которые таскали зёрна из его миски. Слону это не нравилось, он гонял курочек хоботом, иногда побивая хоботом и нерадивого сторожа-татарина (но никогда не трогал его сынишку). А маленькая Рика так никогда и не вернулась в Царское Село. В отличие от старшей сестры, южный климат ей не помог: туберкулёз дал осложнение на мозг, и четырёхлетняя девочка угасала на руках тётки Анны, в её деражнянском поместье. Ахматова рассказывала своему биографу, что родители держали в секрете от неё эту смерть, но «Анна тем удивительным чутьём, каким обладают только дети, догадалась, что случилось, и впоследствии говорила, что эта смерть пролегла тенью через всё её детство» (Аманда Хейт). Листая «Малыша» Альфонса Доде, мы можем наткнуться на сцены, наверное, напоминающие то, что́ происходило в семействе Горенко в начале лета 1896 года:

> На столе было только два прибора: мой и отца.
>
> – А мама? А Жак? – спросил я с удивлением.
>
> – Мама и Жак уехали, Даниэль. Твой брат очень болен, – сказал Эйсет непривычно мягким для него голосом.
>
> Но, заметив, что я побледнел, он, чтобы успокоить меня, прибавил почти весело:
>
> – Это я только так сказал – очень болен; в действительности же нам сообщили только, что он в постели. Но ведь ты знаешь свою мать? Она захотела непременно к нему поехать, и я дал ей в провожатые Жака… В общем, ничего серьёзного…

У самой же Ахматовой есть странное «детское» стихотворение, от которого почему-то продирает мороз по коже:

Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
Мурка серый, не мурлычь,
Дедушка услышит.
Няня, не горит свеча,
И скребутся мыши.
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?[123]

Ахматова начинает свой диалог со смертью очень рано, ещё до того, как начнёт писать стихи, и, вероятно, даже до того, как научится читать. К моменту профессионального литературного творчества эта постоянно ведущаяся жутковатая, но очень содержательная беседа приобретёт привычный, домашний и будничный характер. Напряжённый пафос танатологии, свойственный духовным вождям серебряного века, в первую очередь, свойственный поэтическому мировосприятию мужа, Н. С. Гумилёва, Ахматова не понимала и считала этот пафос следствием недостаточного знакомства с предметом:

– У Н. С. никто никогда не умирал.

Сама же она, узнав с отроческих лет боль смертных утрат и страх за своё собственное завтра, вполне разделяла мудрость любимого народом речения, возможно, неоднократно слышанного из уст няньки Татьяны:

– Помирать – не в помирушки играть: дело сурьёзное, один раз бывает!

Однако и смерть, прочно и надолго обосновавшись с 1896 года в непосредственной близости от Ахматовой, была, очевидно, заинтересована в столь интересной собеседнице и, постоянно напоминая о себе, постоянно же и отступала от неё.

Печальное лето 1896 года вместе со всем семейством Горенко Ахматова провела в Слободке Шелиховской, имении Вакаров. Родители украдкой от детей посещали на местном кладбище могилку Рики. Единственным утешением для Инны Эразмовны в эти скорбные дни была новая беременность: уже после возвращения в Царское Село, 16 сентября родится сын Виктор (1896–1976), последний ребёнок в семье. Сёстры о нём будут трогательно заботиться, помогать его пеленать, купать, качать, и «последыш» вырастет всеобщим семейным любимцем. Об Ахматовой в эти месяцы известно только то, что она под руководством матери и отличницы Инны, блиставшей успехами в Мариинской гимназии, освоит по «Азбуке» Льва Толстого русскую грамоту. Впрочем, со времени вступления старших детей на стезю

образования Инна Эразмовна беседовала с ними (а заодно и со стихийно просвещённой Анной) исключительно по-французски, а бонна Моника – по-немецки.

В новый летний сезон 1897 года Андрей Антонович, озабоченный здоровьем детей, предпочёл северному Гугенбургу южный Крым, и Ахматова вновь оказалась в Севастополе, точнее, в его пригородной зоне, где на берегах Стрелецкой бухты севастопольский помещик Н. И. Тур, скупив земли, устроил вокруг своего имения «Отрада» настоящий дачный городок, ставший излюбленным местом летнего отдыха для севастопольцев и приезжих курортников. Имя предприимчивого землевладельца осталось как в городской топонимике (бывшую территорию «Отрады» местные жители и сейчас именуют Ту́ровкой), так и в специальной археологической научной литературе. Частные владения Тура захватывали южные границы древнегреческой застройки Херсонеса, расположенного на берегу соседней Карантинной бухты, где ещё в довоенные времена министр народного просвещения, один из величайших археологов граф А. С. Уваров вместе со своим другом, духовным писателем митрополитом Иннокентием Херсонским (Борисовым), затеяли раскопки на месте византийской базилики. С той поры археологи и любители древностей то тут, то там прокладывали свои траншеи, извлекая на свет новые и новые античные реликвии. В начале XX столетия историк античности М. И. Ростовцев подробно описал два византийских склепа, покрытых уникальной росписью, находящихся «на частной земле севастопольского помещика Н. И. Тура». После этого Туровку стали именовать вдобавок Новым Херсонесом.

Впервые попав с семьёй на дачу Тура Ахматова, ещё не разменяв седьмой год, неожиданно внесла свою скромную лепту в разыскания местных археологов:

> …Мои первые впечатления от изобразительных искусств тесно связаны с хер<сонесскими> раскопками и хер<сонесским> музеем. <…> Когда мне было семь лет, я нашла кусок мрамора с греческой надписью. Меня обули, заплели косу, и повели дарить его в музей. Вот какое место – где маленькая девочка, прямо так, сверху, находит греческие надписи.

Как и Гугенбург, Туровка была (по южным, провинциальным меркам, разумеется) достаточно престижным местом отдыха. Здесь жили семейства севастопольских флотских офицеров и морских чиновников, а также северная публика, достаточно состоятельная, чтобы позволить себе устроенные крымские

каникулы. Нравы были чопорные, ибо курортный морской пляжный отдых оставался ещё новинкой в этой среде. Однако французская неугомонная мода уже выдавала облегчённые модели одежд для возможного нахождения на морском берегу, вне купального уединения, представителей обоих полов с детьми. Отголоски её докатывались до Севастополя. Мужчины осваивали специальный полосатый обтягивающий костюм-трико, женщины же заказывали портнихам по заветным парижским выкройкам чудо элегантности, свободы, смелости и комфорта – пляжный гарнитур, куда входила исподняя часть из сшитых шортиков, блузки и купальных чулок и часть верхняя: особое кепи или шляпка, юбка ниже колен и зонтик от солнца. Всё это выполнялось из тонких сортов ткани и позволяло счастливой обладательнице совершать публичное купание «с сохранением благонравия». Разумеется, были свои неудобства. Намокшая одежда неумолимо тянула на дно, зонтик же мешал, особенно при плавании. Но усердие севастопольских дам превозмогало буквально всё, так что являвшиеся либертинки из юных офицерских жён, игнорировавшие зонтик, быстро изгонялись с туровского пляжа единым всеобщим неодобрением.

Младшим девочкам зонтик не полагался, и Ахматова, явившись впервые на курортном пляже в составе всего семейства прибывшего на отдых надворного советника, могла без особых помех поплескаться в своих юбках в прибрежной тёплой воде. Никакого особого впечатления курортное купание на неё не произвело (она уже занималась водной гимнастикой в Гугенбурге в особых женских «купальных машинах», устроенных по английскому образцу, где можно было барахтаться просто в нижнем белье). А вот летнее южное море, впервые увиденное так близко, понравилось, конечно, правда, как всегда, – дневным:

> В моём детстве и ранней юности было много моря. Мне казалось – я всё про него знаю. Наяву оно никогда не казалось мне страшным, но во сне участвовало в детских кошмарах про войну…

Разумеется, Горенко побывали и в Севастополе, и Ахматова вновь увидела бабушку Ирину, и тёток, а возможно, и гречанку Ефросинью, но, в отличие от прошлогодней зимы, оставалась молчаливой и равнодушной к их беседам. Вообще в эти месяцы она была совсем вялой и сонной, отвечала невпопад, не играла с курортными детишками на пляже, сидела без движения, смотря на море, или кружила по посёлку, бродила по дикой части берега, порываясь всё время к границе херсонесских развалин. В Херсонес её одну не пускали, но выручал старший брат Андрей, который,

побывав на Екатерининской, в свою очередь, так увлёкся эллинством, что стал совершенным грекофилом. Вдвоём они прятались в развалинах древних стен, вплотную подходили к Свято-Владимирову монастырю, к са́мому храму, скрывавшему баптистерий, и Ахматова долго стояла там, внимательно смотря на проходивших монахов, а те, проходя, улыбались девочке. А потом они возвращались в Туровку, и Ахматова снова молчаливо бродила неподалёку от дачного домика, у береговой черты за пляжем, где среди обожжённых солнцем шершавых камней и выгоревшей травы валялись ещё ржавые осколки корабельной шрапнели и расплющенные пули от смертельных французских штуцеров.

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море…[124]

Солнце закатывалось за Стрелецкий мыс, отражаясь и искрясь на далёком куполе едва различимого отсюда Свято-Владимирова монастыря, и, томимый духовной жаждой, уже отверг гневный киевский князь многословных иудеев и велеречивых магометан, а с легатом из Рима даже и говорить не пожелал; и пришёл тогда к нему греческий филосо́ф, и показал Владимиру завесу, на которой изображено было судилище Господне, указал ему на праведных справа, в веселии идущих в рай, а грешников слева, идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». Философ же сказал: «Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись». Владимиру же запало это в сердце и сказал он: «Подожду ещё немного», – желая разузнать о всех верах. Был он гневен и горд, и возжелал в жёны себе царевну Анну, сестру византийских базилевсов, и снарядил свою железную варяжскую дружину, и осадил греческий Херсонес, и взял его. Но царевна, приплыв на корабле из далёкого Царьграда, нашла грозного Владимира скорбящим, ослепшим, больным, и послала сказать ему: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга своего». И повелел незрячий Владимир крестить себя. И крестили его греки в Херсонесе, в баптистерии древнего храма Святого Василия посреди рыночной площади, и дали ему в крещении имя Василия Доброго, епископа херсонесского. И когда иерей возложил руку, тотчас князь прозрел, и увидел себя в храме, и греков вокруг, и царевну Анну, и сказал тогда: «Теперь узнал я истинного Бога».

Был пустынен вечерний пляж, солнце уходило от Херсонеса, от Туровки, валилось в море, ставшее масляным, золотистым,

горячим. В черте ленивого прибоя стояла только одна купальщица, вся в странном белом, искрящемся одеянии, совсем непохожем на водные гарнитуры туровских курортниц, и Ахматова подумала, что она, наверное, приезжая иностранка. И ещё почему-то подумала, что Херсонес – самое главное для неё теперь место в мире. А купальщица смотрела прямо на бредущую к морю по песку девочку, и смеялась, и манила её к себе рукой:

Я, тайному велению покорна,
Товарища свободного избрав,
Любила только солнце и деревья.
Однажды поздним летом иностранку
Я встретила в лукавый час зари,
И вместе мы купались в тёплом море,
Её одежда странной мне казалась,
Ещё страннее – губы, а слова —
Как звёзды падали сентябрьской ночью.
И стройная меня учила плавать,
Одной рукой поддерживая тело,
Неопытное на тугих волнах.
И часто, стоя в голубой воде,
Она со мной неспешно говорила,
И мне казалось, что вершины леса
Слегка шумят, или хрустит песок,
Иль голосом серебряным волынка
Вдали поет о вечере разлук…[125]

Был пустынен вечерний пляж. Никого вокруг не было. Девочка стояла на берегу, зажимая уши руками, защищаясь от звона и шума, наполняющего воздух вокруг неё. И сияло над белоснежными колоннами Херсонеса яростное низкое солнце, и вдохновенный папа Климент, любимый ученик апостола Петра, грозил своим посохом языческим храмам, и лихие дружинники князя Владимира с гиканьем неслись мимо, во весь опор, к стенам города, изготовившегося к осаде…

VI

Ахматова читает Пушкина – Подготовка к пушкинскому юбилею – «В начале жизни школу помню я…» – А. А. Горенко в конце 1890-х – «Ариадна Великолепная» – Семейные размолвки.

Вернувшись из Херсонеса в Царское Село осенью 1897 года, Ахматова другими глазами взглянула на окружавший её мир. Для домашних, родственников и немногих царскосельских знакомых она продолжала оставаться тихим, скромным восьмилетним ребёнком, к одиноким чудачествам и вечной упрямой задумчивости которого давно все привыкли и не считали их за помеху. А между тем в телесной оболочке этого ребёнка невидимо для всех уже рвались и истлевали последние душевные связи, защищающие незрелое человеческое существо от пробуждения тех переживаний, которые, проснувшись, не оставляют камня на камне от ощущения постоянной устойчивости и гармонии вокруг, то есть от того, что собственно и именуется детством.

Возрастная ломка совпала у Ахматовой с появлением интереса к пушкинским стихам, чему в большой мере помогало растущее оживление вокруг имени поэта в канун столетнего юбилея его рождения. Нужно помнить: творчество Пушкина, равно как и личность знаменитого молодого поэта, смертельно раненного на дуэли с кавалергардом Жоржем Дантесом на Чёрной речке в далёком 1837 году, всю вторую половину XIX века были «камнем преткновения» русской общественной мысли. В юности Пушкин дерзил царю Александру I и его вельможам, попал в опалу, сочинял богохульные стихи, и был в конце концов сослан на два года в имение Михайловское под Псковом. Это как будто приближало Пушкина к свободолюбцам-либералам и даже к нигилистам последующей российской эпохи реформ. Однако вожди отечественной фронды XIX века понимали, что за исключением нескольких юношеских текстов наследие поэта, мягко говоря, не близко их собственным идейным установкам. В царствование Николая I Пушкин, возвращённый из ссылки молодым императором (они были почти ровесники), оказался приближен к трону, поддерживал многие из государственных начинаний Николая, воспел разгром польских мятежников в 1831 году, исполнял должность придворного историографа и составлял проекты народного воспитания и просвещения. Держался он независимо, но был искренним русским патриотом и монархистом. Помимо прочего, Пушкин высоко ценил (справедливо) многие из человеческих качеств императора, –

равно как и Николай, человек военный и крутой, хотя и осуждал богемные выходки Пушкина, но к словам его прислушивался и в своём кругу говорил о «сочинителе» с нескрываемым восхищением, как о «самом умном человеке в России». Личная близость Пушкина к царю не была ни для кого секретом, и потому, после достаточно странных обстоятельств, сопутствовавших трагической гибели поэта, сведущие люди в столицах открыто говорили о политической придворной интриге против Пушкина как о главной причине этой безвременной смерти. Сам Пушкин на смертном одре велел сказать Государю, что «жаль умирать, весь бы был его». Николай в записке, переданной в дом на Мойке, 12, через врача в страшную ночь с 27 на 28 января 1837 года, писал:

> Если Бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими моё прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на своё попечение.

Легко понять, что либеральная интеллигенция к Пушкину всегда относилась неприязненно, повторяя с грустью вслед за В. Г. Белинским, что из-за своих верноподданнических стихов поэт утратил любовь народа, а его «Сказки» и вовсе «решительно дурны». Нигилисты же просто люто ненавидели пушкинскую поэзию («у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!»[126]) и утверждали, что

> Если жизнью всякой истинной поэзии сделалось страстное мышление, полное вражды и любви, то, очевидно, поэзия Пушкина – уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзиею в старые годы. Место Пушкина не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария[127].

Однако стихийный интерес к Пушкину среди самой пёстрой российской читательской публики был настолько велик, что наиболее прозорливые из либералов всё же склонялись к востребованию популярного имени, – тем более что имперская правящая элита и духовенство с упорством, достойным лучшего применения, продолжали видеть в Пушкине прежде всего автора разрушительных эпиграмм, богохульной «Гавриилиады» и «Сказки о купце Кузьме Остолопе и его работнике Балде». Пушкинские торжества 1880 года, приуроченные к открытию в Москве первого в России памятника поэту, задумывались именно

как съезд либеральной творческой интеллигенции, но всё дело испортил случайно приглашённый на торжества «почвенник» Достоевский, который рассказал с трибуны Московского благородного собрания о значении Пушкина для России и мира так, что выступать после его пушкинской речи никому уже не захотелось. В речи Достоевского впервые была выказана мысль о непосредственной связи пушкинского творчества с «русской идеей», мировой исторической миссией, которую призван осуществить русский народ среди прочих народов. Именно эта мысль Достоевского и была спустя два десятилетия подхвачена великим князем Константином Константиновичем, который предложил превратить столетний юбилей Пушкина в общенациональный праздник, организованный по образцу государственных торжеств Российской империи.

Великий князь Константин Константинович, сын уже известного читателю генерал-адмирала Константина Николаевича, вошёл в историю России прежде всего как выдающийся лирический поэт *К. Р.* [Константин Романов]. Помимо литературного дара, он имел глубокие познания в морском деле, был военным педагогом, талантливым учёным и, главное, обладал качествами государственного деятеля, способного к стратегическому планированию[128]. По крайней мере его стремление материализовать в государственной культурной политике Империи полузабытые слова Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё» и использовать столетний юбилей для превращения образа великого поэта в национальный державный символ следует признать гениальной идейно-политической интуицией.

Как и любое грандиозное начинание, юбилейная затея великого князя, получившая поддержку его двоюродного племянника-императора, сначала не находила понимания на местах, где в 1898 году были созданы губернские «пушкинские» организационные комитеты и группы поддержки в органах самоуправления. Так, городская дума Серпухова отказалась рассматривать вопрос о праздничных мероприятиях, упирая на то, что «Пушкин положительно ничего для города Серпухова не сделал», белгородские депутаты начинали выступления словами «Много у нас таких Пушкиных!..», а администрация одной из железных дорог и вовсе запретила, от греха подальше, всем своим служащим иметь какое-либо касательство к пушкинскому празднику, ибо «г. Пушкин никогда по министерству путей сообщения не служил». Сплочённым строем выступила против чествования Пушкина либеральная интеллигенция, развернувшая в прессе бурную кампанию за перевод средств из праздничных

фондов… на помощь пострадавшим от неурожая. А подпольные социал-демократы, которым не было нужды искать какие-нибудь пристойные предлоги, распространяли среди рабочих агитационные материалы с призывами бойкотировать и срывать праздничные мероприятия:

> Пушкин не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии: он льстил им, угождал их развратным вкусам, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина.

Однако среди рядовых граждан Российской империи идея «пушкинского юбилея» имела такой успех, что контрпропаганду пришлось свернуть, а большинство губернских и земских скептиков поневоле вовлеклось в невиданное действо, разворачивающееся по всей огромной стране. Тут каждый старался кто во что горазд. Помимо литературных утренников и вечеров, концертов и обедов, лотерей и викторин, выставок, благотворительных акций и сооружения мемориальных знаков, предлагались проекты совсем диковинные: объявить подписку на «национальную пушку имени Пушкина» или устроить в память поэта «всероссийские велосипедные гонки». Кинематографы в столицах демонстрировали «фильму» «Дуэль Пушкина» и повсеместно ставились «живые картины» на пушкинские сюжеты; знаменитый Шустов выпустил особый «Юбилейный ликер А. С. Пушкина (1799–1899)», на этикетке которого был воспроизведён текст стихотворения «Я люблю весёлый пир…»; рестораны предлагали жаркое à la Пушкин и салат «Евгений Онегин»; в продаже появились конфеты «Пушкин», табак «Пушкин», спички «Пушкин» и даже мыло «Пушкин» с духами «Bouquet Pouchkine», ну и, разумеется, всевозможные юбилейные сувениры с изображением поэта или иной пушкинской символикой – чернильницы, стальные перья, конверты, почтовая бумага, значки, жетоны и т. п. Живописцы писали «пушкинские» картины, композиторы – «пушкинские» песни, марши и вальсы.

За всей этой радостной всероссийской суматохой, грешащей, как водится, иногда – легкомыслием, иногда – дурновкусием, иногда – невежеством или корыстью, возникали вещи очень серьёзные. За один только торжественный май 1899 года было продано 45 000 экземпляров изданий произведений Пушкина, причём большинство книг, выпущенных к юбилею, было ориентировано на массового читателя. Издавались и специальные просветительские серии («Русскому солдату о Пушкине» и т. п.). В некоторых же губерниях специально подготовленные к юбилею тиражи раздавались желающим бесплатно. В сущности, это была

самая грандиозная за всю предшествующую отечественную историю единовременная всероссийская «книжная интервенция», достигшая таких групп населения, которым и в конце XIX столетия чтение художественной литературы было в новинку. Разумеется, россияне не бросились тут же поголовно в библиотеки и книжные лавки с именем Пушкина на устах, но образ «самой читающей в мире страны» впервые промелькнул среди других российских ликов и личин именно тогда, в дни пушкинского столетия.

В ходе юбилея произошло окончательное примирение с Пушкиным русского духовенства. «Сказка о купце Кузьме Остолопе…» была тогда издана в первоначальном виде «Сказки о попе и его работнике Балде» – и небеса не разверзлись. Между тем под впечатлением всеобщего пушкинского энтузиазма православные священники внимательно перечитывали сочинения Пушкина, обнаружив, что помимо этой сказки и скандальной «Гавриилиады» (которую поэт своим именем никогда не подписывал) – там ещё присутствуют тексты, превращающиеся в духовное оружие русского православия с невероятной силой воздействия. Это наглядно продемонстрировал выдающийся проповедник и общественный деятель митрополит Антоний (Храповицкий).

– В 1899 году, когда Казань и, в частности, Казанский университет праздновали 100-летие со дня рождения поэта, я был приглашён служить там Литургию и сказать речь о значении его поэзии, – вспоминал владыка Антоний. – Я указал на то в своей речи, что несколько самых значительных стихотворений Пушкина остались без всякого толкования и даже без упоминания о них критикой. Более искренние профессоры и некоторые молодые писатели говорили и писали, что я открыл Америку, предложив истолкование оставшегося непонятным и замолченным стихотворения Пушкина, оставленного им без заглавия, но являющегося точной исповедью всего его жизненного пути, как, например, чистосердечная исповедь Блаженного Августина. Вот как оно читается:

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена

Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Её чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в её беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Её чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.

Дичась её советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё – мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слёзы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,

И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений тёмный голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.[129]

Не однажды, предлагая вниманию слушателей на литературных вечерах и на студенческих рефератах это стихотворение, я спрашивал слушателей: «О какой школе здесь говорится, кто упоминаемая здесь учительница и что за два идола описаны в конце этого стихотворения, подходящего и под понятие басни, и под понятие загадки?» Сам автор такого толкования не дал, но смысл его исповеди в связи со многими другими его стихотворениями совершенно понятен. Общество подростков школьников – это русское интеллигентное юношество; учительница – это наша Святая Русь; чужой сад – Западная Европа; два идола в чужом саду – это два основных мотива западноевропейской жизни – гордость и сладострастие, прикрытые философскими тогами, как мраморные статуи, на которые любовались упрямые мальчики, не желавшие не только исполнять, но даже и вникать в беседы своей мудрой и добродетельной учительницы и пристрастно перетолковывавшие её приветливые беседы[130]…

Но самый главный «пушкинский подарок» получили российские детишки. Юбилейные торжества 1898–1899 годов, наводнившие Россию дешёвыми изданиями Пушкина и сделавшие на какое-то время творчество поэта обиходным даже в самых «нелитературных» слоях общества, подвигли поколение русскоязычных мам всех сословий и национальностей,

приступающих в эти годы к исполнению своих важных родительских обязанностей во всех концах Империи, на чтение «Сказок» Пушкина своим малышам:

> Три девицы под окном
> Пряли поздно вечерком…

Так начиналась традиция семейного чтения, которая по своим этнокультурным масштабам до сих пор не имеет аналога ни в одной из великих мировых «литературных» держав. Ведь ничего подобного «решительно дурным» сказкам, которые так не нравились Белинскому и его последователям, не было ни в наследии Гомера, ни в наследии Данте, ни в наследии Шекспира, ни в наследии Вольтера, ни в наследии Гёте. По выражению Ахматовой, «Сказкам» Пушкина «волею судеб было предназначено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми». А это имело глобальные последствия для всей отечественной культуры:

> Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который всё равно будет при них, как вечная драгоценность.

Что касается самой Ахматовой, то её детство пришлось на последние годы «допушкинского» периода в истории российского воспитания, и, как уже говорилось, литература вообще и стихи, в частности, начинались для неё не с Пушкина, а с Державина и Некрасова. Творчество Пушкина привлекло её, как и большинство старших современников, среди праздничного гомона, поднятого по всей России с лёгкой руки великого князя Константина Константиновича в 1898–1899 годы, прежде всего тем самым, очень взрослым стихотворением, о котором в это же время говорил в аудиториях Казанского университета будущий митрополит Антоний:

> В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ ПОМНЮ Я…

Каким образом она наткнулась на этот текст – остаётся только гадать. По всей вероятности, само проникновение в дом Шухардиной пушкинского тома причиной своей также имело юбилей. «В доме у нас, – вспоминала Ахматова, – не было ни одной книжки. Только Некрасов, толстый том в переплёте. Его

мне мама давала читать по праздникам». Однако Пушкина в 1898–1899 годы покупали (или получали бесплатно) даже крестьяне и городские рабочие; вряд ли семейство Горенко, где двое старших детей уже были гимназистами, миновало это всеобщее поветрие. И вот, знакомясь теперь «по праздникам» и со стихами Пушкина, Ахматова впервые в жизни испытала переживание, которое только и превращает homo sapiens в homo legens, мыслящее человеческое существо в читателя: «Да это же про меня написано!»

> «Всё мраморные циркули и лиры» – мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал, и ещё потрясающее: «В великолепный мрак чужого сада» – самое дерзкое, из когда-либо прочитанного или услышанного мною.

Разумеется, философские аллегории пока были недоступны восьмилетнему ребёнку. «Дерзкие» терцины она понимала буквально, как художественное изображение жизненной обстановки, которая складывалась тогда вокруг неё в доме Шухардиной. Ахматова неоднократно говорила, что пушкинская «смиренная, одетая убого, но видом величавая жена», которая всё время пытается чему-то научить «неровную и резвую семью», беспечных детей и которую никто никогда не слушает, – лучший словесный портрет её матери, Инны Эразмовны Горенко в царскосельские годы.

Когда упоминание четы Горенко впервые в качестве обитателей дома Шухардиной появилось в адресной книге «Всего Петербурга» за 1896 год, типографские работники, по своему обыкновению перепутав всё на свете, поименовали Андрея Антоновича – Александром Антоновичем Горенко, надворным советником по Министерству путей сообщения, а жену его, не разобрав, очевидно, её «редчайшее имя» из-за скверного почерка в адресной анкете – Ниной Александровной. Надо думать, амбициозный и обидчивый надворный советник в течение года выкроил время для визита в редакцию справочника и сделал там определённое внушение, ибо в следующем выпуске «Всего Петербурга» за 1897 год имя его не только оказалось исправленным верно, но и распространилось вереницей ласкающих глаз определений: «чиновник по особым поручениям Государственного контроля, помощник генерал-контролёра по Департаменту гражданской отчётности». А вот жена его и в этом выпуске так и осталась… «Ниной Александровной Горенко»: исправить ошибку в её имени Андрей Антонович, увлечённый восстановлением истины в собственном титуловании, как-то

позабыл. Более того, следующий выпуск «Всего Петербурга» 1898 года вообще содержит (со всем титулованием) только одно имя хозяина квартиры в доме Шухардиной по улице Широкой: свою труднопроизносимую жену Андрей Антонович в адресной заявке, по-видимому, выпустил вовсе – и во избежание путаницы, и… за ненадобностью.

Чем успешнее шли его служебные дела в Петербурге, тем более он тяготился своим царскосельским домом, хозяйка которого и в роли законной супруги надворного советника упорно продолжала оставаться «бестужевкой» 1870-х, живущей по законам петербургской народнической коммуны. Она «презирала “буржуазный уют”, одевалась по-старушечьи, более чем скромно <…> и завела в доме спартанскую простоту обстановки (seulement ce qu’est necessaire[131])» (В. С. Срезневская). Пока Андрей Антонович пребывал отставником в одесской опале, неприхотливость Инны Эразмовны, равно как и навыки взаимовыручки, приобретённые ею среди курсисток, были весьма полезны для совместного проживания. Но изменились времена, и теперь, отвергнув форменные платья ради светского сюртука с цилиндром (который он носил слегка набок, à l’Empereur Napoléon III), помощник генерал-контролёра по Департаменту гражданской отчётности являлся с петербургским поездом под домашний кров, благоухая дорогими сигарами и духами. Любил он, если были гости (конечно, не одесские голодранцы, романенки да вальцеры), плотно закусив, отвалиться в гостиное кресло и, вспоминая былое, тихо уронить по адресу низложенной французской красавицы-императрицы Евгении Монтихо (виденной им однажды, мельком, юнгой в Константинополе):

– Евгения была недурна!..

И помолчать потом, задумчиво дымя своей сигарой.

Ни обстановка seulement ce qu’est necessaire вокруг него, ни сама неудобнопроизносимая Инна Эразмовна в своих ветхих кофточках и юбках, близорукая, в немыслимом учительском пенсне на носу, никак не гармонировали со столичным служебным процветанием, которого Андрей Антонович столь удачно достиг. Гости недоумённо косились, а насмешливая и остроумная Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, оказавшись в числе визитёров Андрея Антоновича в его шухардинской резиденции, вспоминала потом:

> Странная это была семья, Горенко, откуда вышла Анна Ахматова. Куча детей. Мать, богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чём-то другом, может быть, ни о чём. В доме

беспорядок. Едят, когда придётся, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали, что хотят. Хозяйка бродит, как сомнамбула[132].

Любезный Андрей Антонович именовал столичную гостью «Ариадной Великолепной» и самым обходительнейшим образом целовал ручку. На жену же он начинал покрикивать, подчас не стесняясь и гостей, так что Инна Эразмовна после этих визитов затворялась у себя и не показывалась на глаза домашним. В это время она взяла манеру, пребывая в рассеянности, барабанить пальцами по бюро или туалетному столику, и Ахматова всё чаще и чаще слушала эту нервную дробь, которая часами, не ускоряясь и не замедляясь, раздавалась из-за её закрытых дверей.

VII

И. Э. Горенко в конце 1890-х – Музей Александра III – Передвижники и «декаденты» – «Декадентская поэтесса» – Единственный собеседник Ахматовой – По следам пушкинской эпохи.

Инна Эразмовна за всю бурную молодость и даже за всю дальнейшую жизнь не научилась ничему и решительно ничего не умела. Пребывание её в мире строилось исключительно в страдательном залоге. Какие-то люди, всё время выныривающие вокруг неё, – её детские гувернантки и строгий отец-охранитель, неожиданный первый муж, петербургские нигилисты и курсистки, Вера Фигнер, агенты «Народной воли» и гоняющиеся за народовольцами агенты подполковника Судейкина, женевские эмигранты и одесские обыватели, морской лейтенант Андрей Антонович Горенко, явившиеся от него дети и гувернантки этих детей – все они, преследуя свои собственные цели, подобно катящимся бильярдным шарам, задевали её в своём движении и создавали таким образом и её жизненную траекторию. Каждое из этих внешних существований, возникающих на пути Инны Эразмовны, привносило от себя в её жизнь какую-то часть событий, то благих, то дурных. Кто-то готовил ей пищу и отбирал для неё книги для чтения, кто-то зарабатывал и передавал ей деньги на повседневные расходы, кто-то эти деньги забирал, кто-то требовал её сопутствия и участия, кто-то её активно игнорировал и отвергал, кто-то понуждал являться с какими-то заботами в административные присутствия, кто-то увлекал прочь от исходящих от этих присутственных мест угроз, кто-то приглашал её в гости и сам приходил затем с визитом, кто-то воспринимал рождавшихся детей, ухаживал за ними и вместе с этими детьми побуждал её ежедневно совершать некоторые домашние и хозяйственные действия и поступки… Слагаясь вместе, все эти события образовывали как будто яркое и насыщенное человеческое существование, однако если из этого существования потребовался бы сухой остаток внешних жизненных проявлений, исходящих непосредственно от Инны Эразмовны, то количество такого остатка оказалось бы, наверное, столь незначительно, что у испытующего могли возникнуть сомнения: да жила ли она вообще? Можно сказать, что главным и единственным её участием в жизни оставался неподдельный эмоциональный энтузиазм, с которым она встречала каждое очередное возникшее событие, то ликуя, то отчаиваясь, но равно, при любом исходе, оставаясь неизменно бездейственной. Инна

Эразмовна принадлежала к достаточно распространённому российскому женскому типу профессиональных идеалисток.

Семейные неурядицы, как всегда, застали её врасплох и огорчили очень, настолько, что она даже попыталась что-то предпринять и как-то заявить о себе, если не в жизни мужа, уже открыто избегавшего её общества и проводившего в Петербурге весь свой досуг, то хотя бы в жизни неожиданно выросших детей. Течение времени она, разумеется, не замечала, и вдруг приступила к детям так, как будто бы вокруг продолжали оставаться неизменными нравы её собственной молодости, и все «проклятые вопросы», сводившие с ума гимназистов и студентов позапрошлого царствования, не увяли ещё и не пожухли вместе с четвертьвековыми библиотечными подшивками «Современника» и «Отечественных записок»:

> Пускай нам говорит изменчивая мода,
> Что тема старая «страдания народа»
> И что поэзия забыть её должна;
> Не верьте, юноши! Не стареет она…[133]

Она заговорила со старшими детьми с горячностью народников семидесятых годов – об общественности, науке, просвещении, обо всём том, что некогда так поражало её, очутившуюся после полтавских патриархальных усадеб середины века на «дебатах» в прокуренных общих гостиных студенческих петербургских коммун. Но отличница Инна была с ней (как и с прочими) неизменно вежлива, немногословна и непроницаема, а Андрей, окончательно погрузившийся в мир античности (он начал учить древние языки и очевидно тяготел к классической филологии), оказался собеседником более чем рассеянным. Особая коллизия возникает в это время и в отношениях Инны Эразмовны с Ахматовой: мать и дочь вместе начинают активно посещать Русский музей императора Александра III.

Несмотря на то что музей, торжественно открытый для посетителей 7 (19) марта 1898 года в здании специально перестроенного под картинную галерею петербургского Михайловского дворца был призван сосредоточить в своих стенах выдающиеся произведения русских живописцев и ваятелей всех времён и школ, создание его оказалось связанным прежде всего с историей знаменитых передвижников, русских художников-реалистов, вышедших в далёком 1863 году из императорской Академии художеств и организовавших собственное независимое профессиональное «Товарищество передвижных художественных выставок». Судьба передвижников парадоксальна. Начинали они

как нонконформисты и диссиденты, единомышленники Чернышевского и народников[134]. Народный быт в совокупности с пейзажными видами российской глубинки так и остались главной тематикой их полотен. В эпоху реформ это казалось фрондой и горячо приветствовалось разночинной молодёжью. Однако в новое царствование неожиданно для самих лидеров «Товарищества» главным поклонником их творчества оказался… император. Домовитый прагматик Александр III не любил мифологических сюжетов академической живописи, а нехитрые народные сценки и родные поля и леса жаловал очень[135].

На выставке 1889 года Государь-Миротворец, восхищенный картинами Репина, предложил «Товариществу» свою помощь в строительстве особого зала или галереи (где-нибудь в центре, поблизости от Исаакиевского собора) для постоянной экспозиции. Руководители передвижников от царской помощи отказались (они продолжали считать себя бунтарями), однако идея «народного музея» с этого времени поднималась неоднократно как в окружении императора, так и среди деятелей искусства, близких к передвижникам, и была в конце концов реализована уже после смерти Александра III его сыном, императором Николаем II. Музей создавался им как памятник «незабвенному родителю», с учётом вкусов покойного и для хранения собранной Александром художественной коллекции. Поэтому, несмотря на переданные сюда из Эрмитажа и частных собраний разнообразные отечественные шедевры, логическим центром экспозиции стала именно живопись передвижников, как бы венчающая собой процесс становления национального искусства со времен Петра Великого до конца XIX века. Это было триумфом «Товарищества» и одновременно завершением эпохи передвижных выставок: после открытия Русского музея в прежнем виде они больше не возобновлялись. А поколение Инны Эразмовны могло утешиться приятным сознанием того, что художественная школа, сформированная вкусами разночинной молодёжи Петербурга и Москвы, оказалась в итоге образцовым проявлением российской художественной самобытности. Приобщить к этому торжеству разночинного народничества Инна Эразмовна хотела и юную Ахматову, которую в конце 1890-х годов начала регулярно вывозить в Петербург на экскурсии:

> Меня маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Что я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Всё лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые

картины, развешанные на лестнице, лучше.

Попытка Инны Эразмовны привить дочери эстетическую склонность к живописным образам и темам собственной разночинной юности дала неожиданный и весьма обидный эффект. Ахматова не только не прониклась материнским восторгом перед портретами Ярошенко, провинциальными жанровыми сценками Мясоедова и среднерусскими пейзажами Левитана[136], но, как истинная (хотя и младшая) современница серебряного века, испытала острое желание иной красоты. Знаменитый стих Зинаиды Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете!» – был ещё не прочитан юной Ахматовой, но уже прочувствован ею. Обиднее же всего для Инны Эразмовны было то, что образцом «новой красоты» для её дочери оказалась живущая теперь по соседству с семейством Горенко Ариадна Великолепная.

> Она с любопытством прислушивалась к разговорам старших обо мне, – вспоминала А. В. Тыркова-Вильямс. – Это было ещё до моего писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, вьются шёпоты и пересуживания.
>
> – Я Вас в Царском и на улице всё высматривала, – рассказывала она мне. – Папа Вас называл “Ариадна Великолепная”. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная…

Избранный Ахматовой образец для подражания крайне забавлял Андрея Антоновича, который от души хохотал, указывая на дочку:

– Декадентская поэтесса растёт!

Представление о том, кто такие декаденты, было смутное не только у Ахматовой, но и у большинства обитателей Царского Села 1890-х годов. Судачили, что в Москве завелись какие-то «символисты» во главе с безумным (а, вернее, впрочем, бездарным) поэтом Валерием Брюсовым, автором «поэмы» из одной стихотворной строки: «О, закрой свои бледные ноги!». Поэму про ноги знали потому, что над ней вдоволь потешились критик Буренин в газете «Новое время» и философ Владимир Сергеевич Соловьев в журнале «Русская мысль». Оттуда же известно было и само слово «декадент», производимое от французского «decadence», упадок. Понятно, что эти «упадочники» ничего святого за душой не имели вовсе:

> Я действительности нашей не вижу,

Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу, —
Я люблю идеал человека![137]

На том царскосельские познания о новейших течениях в литературе исчерпывались. «Новое время» и «Русскую мысль» царскосёлы читали; символистов же (равно как и других прочих декадентов) – никогда. Что же касается Андрея Антоновича, то для него образ декадента не ограничивался, разумеется, одной лишь экстравагантной царскосельской соседкой. В Петербурге он имел знакомства в театральных, художественных и литературных кругах, регулярно посещал модные премьеры, дискуссии и выставки, на которых любимые Инной Эразмовной доморощенные реалисты-народники если и упоминались, то в качестве объектов для остроумных шуток и язвительных пародий. Однако для царскосельского семейства эта петербургская жизнь Андрея Антоновича оставалась полностью закрытой.

Можно представить, насколько тяжёлым оказались для Ахматовой, переживавшей подростковый возрастной кризис, и родительский разлад, и отчуждение отца, и неприкаянность матери, которую и прислуга, и соседи чуть ли не в глаза именовали Инной Несуразмовной:

Дичась её советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.[138]

Как уже говорилось, «великолепный мрак чужого сада» на всю жизнь оказался связан для Ахматовой с картиной царскосельских парков, которые она открывает для себя сразу вслед за её первым черноморским Херсонесом и непосредственно во время знакомства с пушкинской поэзией:

> …В Царском была другая античность и другая вода. Там кипели, бушевали или о чём-то повествовали сотни парковых водопадов, звук которых сопровождал всю жизнь Пушкина <…>, а статуи и храмы дружбы свидетельствовали о иной «гиперборейской» античности.

Тут следует вспомнить, что при всём многообразии «пушкинского присутствия» в ахматовском творчестве, ни её заметки, ни литературоведческие статьи, ни художественные тексты обычно никогда не касаются непосредственно человеческого облика поэта. Ахматова будет много писать о Пушкине, но изобразит его самого в сущности только однажды, в одном из самых известных своих стихотворений:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.[139]

Биографический подтекст тут становится очевиден, если осознать, что неприметное для нас слово «столетие» в сознании Ахматовой и её современников, переживших торжества 1898–1899 годов, читалось в пушкинском контексте не просто как обозначение неопределённо большого множества лет, во время которого сохранялась посмертная слава поэта, но как совершенно точное указание на конкретные события, превратившие Пушкина из обычного литературного классика в «наше всё». Но тогда и автор стихотворения также из неопределённого «субъекта речи», имеющего сказать нечто о великом бессмертии пушкинских трудов и дней, превращается в девятилетнюю Аню Горенко, потрясённую открытием, что тот самый Пушкин, о котором теперь говорят всюду, был, как и она, отроком, как и она, в безысходной тоске подросткового одиночества сбегал в те самые аллеи Екатерининского, Александровского и Бабловского парков, по которым сейчас бродит она сама, и точно так же здесь грустил:

Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

Говоря о «смуглом отроке» Пушкине, Ахматова рассказывает и о собственном отрочестве, о собственном мучительном взрослении, также начинавшемся в одиноких прогулках среди декоративных водопадов и лужаек Царского Села. Лицеист Пушкин, меланхолически кружащий по царскосельским садам с

зачитанным до ветхости томиком Эвариста де Парни[140], не рекомендованного к прочтению лицейским начальством, становится двойником юной Ахматовой, точно так же, столетием позже, кружащей здесь с истрёпанным томиком самого Пушкина, не слишком желанного в доме Шухардиной:

> Стихи я любила с детства и доставала их уж не знаю откуда.

«Одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим – слишком счастливыми, – писала Ахматова. – И то и другое обычно вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остаётся в душе человека, и существуют люди, которые только в неё и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: “Разве это был я?”».

Воспетые Пушкиным царскосельские парки, сохраняющие тень «смуглого отрока» с книгой в руках и его «еле слышный шелест шагов», оказались в жизни Ахматовой последним и главным образом её детства – «первоначальной картиной мира, навсегда оставшейся в душе». В незавершённой поэме «Русский Трианон» образ царскосельского парка 1890-х годов станет у Ахматовой тем самым «неподвижным миром», далёким детским раем, который имеет собственное независимое идеальное бытие, никак не связанное с трагедиями и кошмарами движущейся и меняющейся «взрослой» жизни, наступившей для неё в новом столетии:

> В тени елизаветинских боскетов
> Гуляют пушкинских красавиц внучки,
> Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
> И держат зонтик сморщенные ручки.
> Мопс на цепочке, в сумочке драже
> И компаньонка с Жип или Бурже[141].

Однако царскосельский сад девяностых годов является, одновременно, в памяти Ахматовой и первым образом из её «взрослой» жизни. Упоминание Ахматовой о «другой античности», обнаруженной ею в «гиперборейском» (северном) Царском Селе, после возвращения сюда из южного Херсонеса с

его памятью об античном христианстве и о крещении Руси, восходит, конечно, к демоническим пушкинским образам языческих кумиров, «бесов», которые подстерегали юного беглеца в «великолепном мраке чужого сада»:

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Никакого детского мира не было уже в душе Ахматовой во время её «пушкинских прогулок» 1898–1899 годов, и, читая Пушкина, она искала ответы на такие вопросы, которые она не могла доверить ни матери-идеалистке, ни отцу, почти уже неуловимому в царскосельском доме Шухардиной:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог[142].

Сами «юбилейные» царскосельские впечатления неожиданно оказались для неё связаны с первыми в жизни переживаниями нестойкости, хрупкости человеческого бытия – ведь столетняя годовщина Пушкина, помимо прочего, означала ещё и физическое исчезновение последних поколений, непосредственно относящихся к Пушкину-человеку, окончательное завершение в российской истории «пушкинской эпохи»:

> А иногда по этой самой Широкой <улице> от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажжённые фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и всё было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме». И мне (потом, когда я

вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце – было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

VIII

«Севастопольский год» – Подготовительные классы – Вновь в Царском Селе – Мариинская женская гимназия – Пушкинский юбилей в Царском Селе – И. Ф. Анненский – Речь в Китайском театре – Вновь в Севастополе – Первый учебный год в Мариинской гимназии – В доме Даудель – «Внутренняя оспа» и «первая смерть» – Лунатизм – Ещё одно лето в Туровке – Трудное начало нового учебного года – Открытие памятника Пушкину-лицеисту.

Присутствие Пушкина в жизни Ахматовой помогало ей, по крайней мере на первых порах, преодолевать наступающий «трудный возраст» без каких-либо внешних эксцессов, свойственных подросткам, чувствующим к тому же явные признаки неблагополучия в жизни семьи. Со стороны было видно, конечно, что она вдруг пристрастилась к «запойному» чтению и без конца теребит бонну Монику и няньку Татьяну, увлекая их на садовые прогулки. И в том, и в другом нельзя было усмотреть что-то предосудительное, разве что Инна Эразмовна могла иногда, при случае, посетовать погружённому в газету мужу, что и без того нелюдимая дочка теперь совсем уже полностью, как зимняя улитка в раковинку, ушла в свою заветную книжку и заградилась в себе самой. Но как бы удивились, наверное, родители, узнав, что всё происходит как раз наоборот, и что Ахматова, открывая для себя Пушкина, напротив, впервые в жизни ощущает действенное присутствие рядом близкого живого существа, и что это постоянное её одинокое чтение оказывается на самом деле постоянной дружеской беседой и спасением от подлинного одиночества, тем идеальным и редчайшим случаем возникшей сквозь времена человеческой связи, о которой некогда писал мудрец Баратынский:

> Мой дар убог и голос мой не громок
> Но я живу, и на земли мое
> Кому-нибудь любезно бытие:
> Его найдет далёкий мой потомок
> В моих стихах: как знать? душа моя
> Окажется с душой его в сношеньи,
> И как нашёл я друга в поколеньи,
> Читателя найду в потомстве я[143].

Между тем испытания не переставали преследовать семью Горенко. Едва вернувшись из новой летней семейной поездки на

севастопольский курорт, Инна Эразмовна осенью 1898 года оказалась почему-то перед необходимостью срочно отправить дочерей Анну и Ию из Царского Села снова в Крым. Срочность была такая, что сёстры девяти и четырёх лет переправлялись по железной дороге в Севастополь едва ли не самостоятельно, под надзором случайных попутчиков. Севастопольская бабка Ирина к этому времени уже скончалась (†4 января 1898), и некоторое время Анна и Ия жили в доме на Екатерининской на попечении тёток, а после в Севастополь, очевидно, приехала Инна Эразмовна с Виктором и сняла на зиму себе и детям квартиру в доме Семёнова на Соборной улице (ныне – дом № 17 по улице Суворова). В автобиографических набросках Ахматова несколько раз мельком упоминает и об этой странной поездке, и о своей второй зиме в Севастополе, где она «в школу ходила» (т. е. посещала подготовительное отделение расположенной по соседству на той же Соборной улице Севастопольской женской казённой гимназии или иные начальные классы, возможно, которые вела тётка Надежда). Причина эвакуации не названа нигде, однако ясно, что подобные разъезды и перемещения случаются только в самые нелёгкие годины. На ум сразу приходят либо угроза туберкулёза, вновь нависшая над детьми Инны Эразмовны, либо какой-то грандиозный семейный скандал, сделавший вдруг невозможным совместное проживание родителей и, как понятно, тут же отразившийся на их малолетнем потомстве. Впрочем, обе напасти вполне совместимы. Однако и на этот раз роковой оборот события не приобрели, ибо в мае 1899-го Ахматова вновь оказывается в Царском Селе, где успешно сдаёт вступительные экзамены в первый класс царскосельской Мариинской женской гимназии.

Эта гимназия, первая в Царском Селе, открылась в 1865 году и была названа в честь жены Александра II императрицы Марии Александровны, которая на тот момент ведала придворной благотворительностью. Императрица оказала существенную поддержку прогрессивному просветительскому начинанию городских властей (до того здесь существовал лишь начальный женский пансион). Как и другие царскосельские учебные заведения, находившиеся при непосредственном покровительстве двора, Мариинская гимназия изначально мыслилась как образцовая. На следующий год она переехала из деревянного дома в каменное здание на Леонтьевской улице, принадлежавшее ранее канцелярии главноуправляющего Дворцовыми правлениями, специально перестроенное и оборудованное для занятий. К 1875 году Мариинская гимназия стала семилетней, с программой, ничем не отличающейся от мужских гимназий (за

исключением курсов древних языков). По окончании курса её выпускницы получали право на работу домашними учительницами.

Первым директором Мариинской гимназии в Царском Селе был выдающийся филолог-славист, издатель «Русского педагогического журнала» Н. А. Вышнеградский, один из энтузиастов женского образования. После его кончины гимназию возглавила Клавдия Михайловна Битнер, будущая учительница детей Николая II. При ней дисциплина в гимназии весьма ужесточилась, хотя само качество преподавания, как можно понять из свидетельств мемуаристов, оставляло желать лучшего. Тем не менее репутацию образцовой женской школы гимназия сохраняла постоянно. К тому же обучение было дорогим, так что гимназистки в большинстве принадлежали к высшим сословиям (хотя существовала и система стипендиата, а дочерям служащих при гимназии предоставлялось право бесплатного обучения). В Мариинской гимназии уже училась Инна Горенко, уверенно идущая к золотым медалям; теперь очередь была за её сестрой Анной.

В наши дни на стене дома по Леонтьевской, 17, укреплена мемориальная доска, гласящая:

> Здесь, в здании бывшей Мариинской гимназии, с 1900 по 1905 гг. училась Анна Андреевна Ахматова.

В самом же здании располагается сейчас «Царскосельская гимназия искусств им. А. Ахматовой». Тем не менее справедливости ради следует сказать, что, в отличие от старшей сестры, Ахматова не ходила тут в первых ученицах, а сами стены школы сразу же сообщили чувство, очень похожее на нелюбовь с первого взгляда. О своём гимназическом дебюте в Царском Селе в мае 1899 года она не упоминает нигде (как, впрочем, особо не распространяется и о последующих школьных годах). Зато другое царскосельское событие этого же мая осталось навсегда в её памяти как одно из самых ярких впечатлений.

26 мая 1899 года Царское Село вместе со всей Россией праздновало столетие Пушкина. Для учеников и преподавателей всех царскосельских учебных заведений этот день начался в Екатерининском соборе, где после литургии была отслужена панихида по поэту. Затем все собравшиеся, заполнив Леонтьевскую улицу радостно-возбуждённой шумной толпой, двинулись в Лицейский садик. Тут состоялась торжественная церемония закладки памятника Пушкину. Затем для учащихся и их родственников прошёл праздничный концерт в Китайском театре, а также было устроено «народное чтение со световыми

картинами». Ахматова присутствовала, надо полагать, на всех этапах праздничного действа. Однако главное событие юбилея свершилось на следующий день, 27 мая, на пушкинских чтениях в том же Китайском театре, где с речью «Пушкин и Царское Село» выступил один из организаторов торжеств и подписки на сбор средств для сооружения памятника, директор царскосельской Николаевской мужской гимназии Иннокентий Фёдорович Анненский.

Об Анненском Ахматова могла до того слышать как от брата Андрея, ученика Николаевской гимназии, так и, помимо него, от родителей и их гостей, поскольку фигура Иннокентия Фёдоровича была, пожалуй, одной из самых колоритных среди царскосельских обитателей этих лет. Все вокруг знали, что это высокоучёный человек и к тому же с большими связями в Министерстве народного просвещения. По слухам, место директора в императорской Николаевской гимназии было предложено ему лично министром И. Д. Деляновым. Гимназия считалась «придворной» и, несмотря на то что титул не давал ей никаких особых преимуществ перед другими министерскими гимназиями, была внешне организована по образу дворцовых учреждений, вплоть до швейцара в ярко-красной придворной ливрее с пелериной, обшитой золотым галуном с чёрными орлами. Понятно, что возглавлять такую гимназию должна была персона представительная, сочетающая, по возможности, талант школьного работника с внешней импозантностью и светскими манерами. А тут равных Анненскому не было. Блистательный филолог-классик, педагог милостью Божьей, он обладал наружностью французского вельможи при дворе Наполеона III и даже, зная это, охотно подыгрывал первому впечатлению. «Очень высокий и стройный, он своим обликом напоминал тех кавалеров, какие попадались на французских иллюстрациях 60-х годов, – вспоминал младший коллега Анненского по Николаевской гимназии Б. В. Варнеке. – Сходство с ними усиливал покрой его щегольского платья с подчёркнутым уклоном в сторону мод 60-х годов. Галстухи, широкие из чёрного атласа, такие, как у него, я видал только на портретах герцога Морни[144]. На манер французских дворян времён империи подстригал он и свою бородку, от которой всегда сильно пахло тонкими духами и фиксатуаром. Длинные ноги его с очень высоким подъёмом над ступнёй плохо гнулись, и походка получалась тоже какая-то напряжённая и деланная. Среди филологов и педагогов такая фигура была совсем необычна».

В кругу подчинённых и учеников Анненский был всегда крайне благодушен и совсем рассеян, как будто бы происходящее

в гимназии не касалось его вовсе. Преображался он лишь в присутствии лиц царствующей фамилии (в гимназию забредал иногда живший по соседству великий князь Владимир Александрович) и министерского начальства – и выглядел тогда молодцом. По отбытии высоких гостей сразу же вновь впадал в свой обычный транс. Многие, наблюдая Анненского со стороны, готовы были признать его бездельником и позёром. Однако предоставленные сами себе педагоги Николаевской гимназии почему-то неплохо справлялись с обязанностями, а ученики, являвшие полную юношескую вольницу, бойко усваивали знания. Это многих раздражало, равно как раздражали и экстравагантности Иннокентия Фёдоровича, по своей обычной рассеянности мало считавшегося со вкусами окружавших его добродетельных царскосёлов. По крайней мере, тем из них, кому доводилось видеться с Анненским накоротке, всё время мерещилось, что бородка и галстуки à le Duc de Morny, вельможная флегма и дежурное добродушие – не что иное, как какая-то хитрая игра, а на деле директор императорской гимназии и есть самый настоящий декадент. Анненский, сестра которого была замужем за главным хранителем Muséum national d'histoire naturelle[145], регулярно выписывал французские литературные журналы, восхищался какими-то неведомыми «parnassiens»[146] Леконтом де Лилем и Herédia, похваливая, впрочем, и «les poètes maudits»[147] (от которых уж точно ждать ничего хорошего не приходилось!). Более того, похваливал Анненский даже доморощенного maudit Константина Бальмонта, чьи бессвязные вирши нельзя было трактовать иначе, как следствие нервной (а то и попросту белой) горячки. И главное, никто, никто не мог бы твёрдо поручиться, что импозантный директор Николаевской гимназии и сам как-нибудь не напишет чего-то вроде:

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю,
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Так иногда в банально-пёстрой зале,
Где вальс звенит, волнуя и моля,
Зову мечтой я звуки Парсифаля,
И тень, и Смерть над маской короля…
……
Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?

А если грязь и низость только мука
По где-то там сияющей красе…[148]

От такого предчувствия не по себе было даже выдержанным коллегам Анненского по Николаевской гимназии: «По молодости лет не приходила мне только тогда в голову мысль, как близко к гибели то общество, среди которого один из таких “магов” мог оказаться во главе учебного заведения. Французы ни Верлена, ни Малларме не назначали директором гимназии и не поручали им оценку учебных книг по должности члена Учёного комитета» (Б. В. Варнеке). Ахматова же, если ей, гуляя с нянькой, случалось встретить проплывающего по царскосельской улице Анненского, раскланивающегося, как обычно, во все стороны и всем улыбающегося, смотрела на него с тайным восторгом, как на Рождественского Деда, немецкого Weihnachtsmann, о котором рассказывала бонна Моника.

Однако сейчас на сцене Китайского театра Иннокентий Фёдорович был строг, сосредоточен и вдохновен: это была вторая в истории России «пушкинская речь», и Анненский, знавший толк в подобной символике, понимал важность момента. Он говорил об одиноком смуглом мечтательном отроке, который бесконечно бродил по аллеям Царского Села, только предуготовляясь к ожидающей великой миссии, цитировал пушкинские «царскосельские оды» и закончил своё выступление так:

– Есть старое лицейское предание, что ещё при Энгельгардте был возле Лицея поставлен дёрновый памятник кубической формы с белой мраморной доской: на доске золотыми буквами вырезана была надпись Genio loci – т. е. гению-хранителю. Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и царскосельские лицеисты окружали свой палладиум благоговением. Прошло без малого 30 лет, Лицей перевели в Петербург, и куда девался памятник, я не знаю. Но истинный гений-хранитель наших садов не мог их покинуть, и вчера мы положили первый камень для его царскосельского памятника. Под резцом художника образ поэта уже воплотился, и скоро, молодой и задумчивый от наплыва ещё неясных творческих мыслей, Пушкин снова будет глядеть на свои любимые сады, а мы, любуясь им, с нежной гордостью повторять: «Он между нами жил».

Несмотря на то что в зале Китайского театра присутствовали тогда куда более почтенные и зрелые гости, нежели десятилетняя Ахматова, более внимательного и благодарного слушателя, чем она, у Анненского не было: сказанное им Ахматова и спустя

тридцатилетие помнила наизусть. Verba magistri![149]

Впрочем, истинной ученицей Анненского Ахматова осознает себя много позже, уже после кончины Иннокентия Фёдоровича. Сейчас же, в 1899 году, от пушкинских царскосельских торжеств, уже зачисленная в Мариинскую гимназию, Ахматова вновь убывает на летние месяцы из Царского Села в Севастополь, на берега Стрелецкой бухты, а в сентябре, как положено, возвращается и начинает свой первый гимназический год.

Как раз в это время в доме Шухардиной, по-видимому, затевался ремонт, так что семейству Андрея Антоновича пришлось на полгода съехать с насиженного места во временную квартиру в доме О. Н. Даудель на углу улиц Средней и Леонтьевской[150], в двух шагах от Мариинской гимназии, Лицейского садика и Екатерининского парка. Во время переезда произошёл казус, красочно описанный Ариадной Великолепной, по всей вероятности, заинтересованно наблюдавшей за происходящим из окошка:

> При переезде в другой дом, [Инна Эразмовна Горенко] долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место – сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивленьем смотрела, чего он волнуется, да ещё и сердится.

А сердился Андрей Антонович, по всей вероятности, очень. К физическим и нервным издержкам этой волнующей погони (а ему как никак пошёл уже шестой десяток) добавлялись страдания моральные: по чинным улицам Царского Села на запалённом лихаче за уплывающими из-за жениной дури в никуда капиталами нёсся сломя голову без пяти минут коллежский советник (выходил новый чин), представитель Государственного контроля при Министерстве путей сообщения (новое назначение), а также непременный член комитета Общества содействия русской промышленности и торговле. Обошлось, конечно, слава Богу, но всё-таки…

«Мне было десять лет, и мы жили (одну зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской в Царском Селе), – вспоминала Ахматова. – Живущий где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своём красном и дикого вида автомобиле, проезжал квартал или два – затем машина портилась, и извозчик вёз её с позором домой. Тогда никто не верил в возможность

автомобильного и тем более воздушного сообщения». Занятия в Мариинской гимназии нравились ей куда меньше, нежели красный гусарский автомобиль, но она пока кротко терпела все тяготы школьной дисциплины, постигая вместе с одноклассницами премудрости разных наук, положенных младшим гимназисткам:

> …Она делала всё, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви.

Однако учебную программу первого (седьмого, по гимназическому отсчёту) класса целиком ей пройти не удалось: в новом 1900 году её на несколько недель, если не месяцев свалила в постель, в беспамятный жар, странная, так до конца и не понятая лечившими её докторами, но жестокая болезнь. Одни полагали, что то была корь с каким-то особыми, неизвестными науке осложнениями, другие считали десятилетнюю пациентку страдающей «внутренней оспой», не оставляющей следов на коже. Сама же Ахматова называла перенесённое ею в доме Дауделя заболевание просто: «Моя первая смерть».

Остриженная наголо, недвижно простёртая под простынёй исхудавшая девочка часами не подавала признаков жизни, и родители отчаивались уже, но смерть вновь играла с ней, и кружила и плясала вокруг, то притрагиваясь, то отступая, и тогда с воспалённой постели снова раздавался вздох или стон. Наконец, глухая, полная и неправдоподобно яркая луна нависла прямо над куполами храма Большого Дворца, над вытянутым овалом лицея, над дворцовыми службами, над ветхой дачей, где когда-то испускал дыхание отходящий в вечность Тютчев, над тихим Александровским дворцом и всем садом, над страшной тюрьмой с немыми окнами на углу Сапёрной улицы, над бойнями и городской портомойней, над Фризенгофской колонией, над казармами Софии – и стала растекаться всем своим белым светом к Тярлеву и павловским заповедным кущам, скользя лучами и бликами по тонкой линии рельс Царскосельской магистрали. Всюду в пустом и немом Царском Селе был этот слепой свет, тыкающийся в углы домов, шарящий по стриженным газонам, по мостовым камням и подбирающийся всё ближе и ближе к домику на перекрёстке Средней и Леонтьевской улиц. Спали все в Царском, задремала у себя и измученная вконец Инна Эразмовна, лишь Андрей Антонович, последние дни не отходивший от постели больной, курил ещё последнюю сигару, закутавшись в

халат, в кабинете. Но и он, сонный и тяжёлый, не заметил тот миг, когда, добравшись наконец до желанных стен, вспыхнули радостным живым белым пламенем все вокруг лунные лучи и пролились разом на дом Дауделя.

Никто не услышал, как зашевелилась и села на постели девочка, совсем прозрачная и невесомая от болезни, такая же белая в своей длинной ночной рубашке, как и льнущее к ней лунное свечение. И эта торжествующая, нарастающая музыка поющих, несущихся вверх и таких уже знакомых голосов звучала так радостно, громко и призывно, что она, почти не открывая глаз, невесомо встала, выпрямилась, пошла, медленно взобралась на подоконник, растворила незапертое окно, соскользнула на близкий тротуар и, ступив босыми ногами на покрытые весенним инеем булыжники мостовой, спокойно побрела к луне, к парку, чёрному под белым сиянием, к несущемуся перед парком живому водному потоку, голос которого, обычно чуть слышный, теперь гремел, обрушивался брызгами и пеной неистовых водопадов и, сливаясь с верхним хором, заполнил собой всё пространство.

В халате по немой Леонтьевской улице бежал Андрей Антонович, махнувший из окна, когда увидел дочь уходящей в лунную дорогу, спотыкался в своих войлочных туфлях, чуть не упал, догнал, схватил, обернул к себе, раздирая рот в безмолвном крике. А она, улыбаясь, тихо смотрела на отца счастливыми угасающими глазами, уронив руки, и быстро, блаженно тонула в неистовой музыке, и в луне, и в звучании парка, – как вдруг внезапно мелькнувший тут острейший запах гаванского табака ударил по ней, шатнул, потряс, смял всё и обрушил её, страшно кричащую, в пропасть, вниз, на мостовую.

Утром вызванные врачи, осмотрев лежащую в непрекращающейся испарине больную, констатировали минувший кризис, и все поняли, что девочка будет жить дальше.

И действительно, через несколько дней она стала узнавать окружающих и говорить с ними, но ничего не слышала. Слух не возвращался к ней и после того, как она стала потихоньку вставать. По утрам из гостиной на весь дом раздавался её возглас:

– BONJOUR, MAMÁ!!

Инна Эразмовна торопливо кивала и страдальчески морщилась, а дочка уже орала в отцовском кабинете:

– BONJOUR, PAPÁ!!

По-военному подтянутый, сосредоточенный Андрей Антонович, готовый к отправке в Петербург, широко улыбался, щелкал её по носу, гладил лысый гладкий череп, и, успокоенная, она возвращалась в свою постель. К лету слух вернулся, а она сама окрепла настолько, что вся семья снова отправилась в

привычную поездку на юг, в Крым, на берег Стрелецкой бухты.

А лунатизм остался. По мере того как по ночам росла, становясь всё ярче и радостнее, небесная луна, Ахматова становилась всё беспокойнее, начинала тосковать, иногда впадала в прострацию и ничего не замечала вокруг. Несколько раз после болезни повторялись и сомнамбулические припадки: в полнолуние она вставала и шла на лунный свет. Однако, наученный один раз, Андрей Антонович был всегда в такие ночи начеку, отыскивал её и приносил на руках домой. В это время он привязался к средней дочери больше обычного и почему-то был совершенно уверен, что её ждёт слава балерины. Очевидно, вся эта неожиданно вторгшаяся в дом «лунная романтика» ассоциировалась в его уме театрала и балетомана с соответствующими мизансценами из «Сильфиды» и «Жизели», столь вдохновенно воплощёнными на Мариинской сцене Мариусом Петипа.

Второй учебный год выдался самым тяжелым из школьных лет Ахматовой. Нужно было навёрстывать пропущенное и, вероятно, сдавать экзамены за весь седьмой класс[151]. Напряжённые занятия она выдерживала с трудом, а гимназические порядки раздражали её все больше. «А<нна> А<ндреевна> о преподавании в царскосельской гимназии говорит, что оно было очень плохо поставлено, – передаёт её рассказ П. Н. Лукницкий. – Многие учителя были только со средним образованием, гимназия была оборудована очень плохо, помещение было очень тесное». А сама Ахматова писала:

> Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни.

Светлым пятном на этом фоне стал торжественный акт 15 октября 1900 года, посвящённый открытию в Лицейском садике памятника Пушкину. Памятник получился великолепным – скульптор Роберт Бах считал бронзовое изваяние юного поэта-лицеиста, изящно присевшего на скамье, своим главным творением (а на счету Роберта Романовича были монументы М. И. Глинке в Петербурге, Петру Великому в Туле и целая галерея выдающихся скульптурных портретов современников). На цоколе памятника разместились пушкинские строки, специально отобранные Иннокентием Анненским для резчиков мастерской Штанге. Вокруг постамента разбили газон из живых цветов, сделали крытый вход, украшенный флагами; для почётных гостей, членов императорской фамилии и родственников

Пушкина были устроены шесть лож. День был чудесный, солнечный, и нарядная толпа царскосёлов восторженно аплодировала явлению памятника из-под упавших брезентовых покрывал. Пел детский хор, играл оркестр; отслужили молебен, изваяние поэта освятили.

Ахматова вновь увидела среди почётных гостей Анненского, однако, на этот раз Иннокентий Фёдорович речей не говорил и выглядел очень бледно. Соседи по ложе даже осведомились о состоянии здоровья директора императорской гимназии. Анненский честно признался им, что не спал всю ночь. Как это часто бывает, накануне ему вдруг примерещилось, что, списывая цитаты для мастерской, он совершил ошибку и в пушкинском стихе «Весной, при кликах лебединых» проставил: «криках».

– Стоило ли волноваться, Иннокентий Федорович! – улыбнулся один из соседей. – «При кликах» или «при криках» – какая разница?

– Разница большая-с! – возразил Анненский. – Ровно сто лет: XVIII и XIX век!

Когда все разошлись и Лицейский садик опустел, Анненский задержался у памятника:

На синем куполе белеют облака,
И четко ввысь ушли кудрявые вершины,
Но пыль уж светится, а тени стали длинны,
И к сердцу призраки плывут издалека..

Не знаю, повесть ли была так коротка,
Иль я не дочитал последней половины?..
На бледном куполе погасли облака,
И ночь уже идет сквозь чёрные вершины…

И стали – и скамья, и человек на ней
В недвижном сумраке тяжеле и страшней.
Не шевелись – сейчас гвоздики засверкают,
Воздушные кусты сольются и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнёт,
С подставки на траву росистую спрыгнёт[152].

IX

Вновь в доме Шухардиной – Стихотворчество – Переход в третий класс – «Дикая девочка» – Репетитор Селиверстов – «Проклятые поэты» – Короткий сезон в Туровке.

Осенью 1900 года семья Горенко вновь вернулась в дом Шухардиной. У Ахматовой появилась своя комната:

> Окно на Безымянный переулок, который зимой был занесён глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества ещё не было). В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками.

Она по-прежнему была увлечена Пушкиным, а текст «Пиковой дамы» выбрала для перевода на французский язык во время гимназических занятий. По-видимому, в это время у неё уже начинает формироваться достаточно обширный круг чтения, куда, помимо хрестоматийных произведений школьной программы, входят некие новейшие стихотворные тексты, которые она достаёт, «уж не знаю откуда». Все месяцы этого года после болезни проходят у неё в смутных переживаниях пробуждающейся творческой воли, ещё не осознанной и потому схожей по ощущениям с лунатическими психозами (а иногда, вероятно, и сливающимися с ними). «Её никогда не покидало чувство, – свидетельствует Аманда Хейт, – что начало её поэтического пути тесно связано с этим таинственным недугом». Отсюда, по всей вероятности, берёт своё начало та «клиническая картина» творчества, которую Ахматова многократно опишет в стихах и в прозе и которая в её изложении представляет нечто среднее между горячечным кошмаром и пророческой одержимостью (кликушеством):

> Бывает так: какая-то истома;
> В ушах не умолкает бой часов;
> Вдали раскат стихающего грома.
> Неузнанных и пленных голосов
> Мне чудятся и жалобы и стоны,
> Сужается какой-то тайный круг,
> Но в этой бездне шёпотов и звонов

Встаёт один, всё победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растёт трава,
Как по земле идёт с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И лёгких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.[153]

Психофизические симптомы ахматовских припадков вдохновения были очень ощутимыми и, как можно понять, не менее неприятными для неё, чем симптомы припадков кардиологического или астматического характера. В отличие от пастернаковской «высокой болезни» —

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют![154] —

ахматовская Муза обременяет собеседницу напастями менее эффектными, но более убедительными для читателя именно в плане «физиологии» творчества:

Как и жить мне с этой обузой,
А ещё называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу…»
Говорят: «Божественный лепет…»
Жёстче, чем лихорадка, оттреплет,
И опять весь год ни гугу.[155]

Как явление смерти, так и явление Музы для Ахматовой событие слишком знакомое и содержательное, чтобы дополнительно усиливать его выразительность гиперболическими метафорами. Убьют или не убьют поэта нахлынувшие в очередной раз «строчки с кровью» – вопрос открытый, может, и не убьют, но вот трясти будет очень, это неизбежная цена всех творческих озарений и свершений, одна из неприятных и непонятных непосвящённым тайн «поэтического ремесла»:

Когда я ночью жду её прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Отвечает: «Я».[156]

Припадки вдохновения (без всяких кавычек) впервые начинают одолевать одиннадцатилетнюю Ахматову в 1900 году, вероятно, уже в Херсонесе, «самом важном месте на земле», однако мысль о том, что для избавления от напасти нужно записать «в белоснежную тетрадь» некие «строчки», осеняет её лишь в новом 1901 году. Единственным предметом, которым она в то время располагала для беседы с человечеством, была собственная жизнь, прожитая за минувшие одиннадцать с половиной лет. К образам и событиям, заполнявшим эти годы, она и обратилась в миг своего письменного литературного дебюта:

> В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было одиннадцать лет, в разлинованной красным маминой книжке для записывания хозяйственных расходов (1901 год). Когда я показала записи старшим, они сказали, что я помню себя чуть ли не двухлетним ребенком (Павловский парк, щенок Ральф и т. п.).

Событийный материал прошлого (не слишком обильный) был весь исчерпан, но «какая-то истома» регулярно навещала её вновь и вновь. И чтобы отвязаться от докучающих «неузнанных и пленных голосов», Ахматова в том же 1901 году от мемуарной прозы переходит к лирической поэзии:

> Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет (оно было чудовищным)…

Чудовищный текст Ахматова переписала набело на первую страницу кстати оказавшейся под рукой чистой толстой тетради в белом переплёте и, подумав, проставила вместо заголовка № 1.

В отличие от мемуара про Павловск и щенка Ральфа, ахматовское «Стихотворение № 1» не нашло сочувственного отклика в домашнем кругу. И дело тут было, думается, не только в качестве текста и даже не в том, что, по словам Ахматовой, «в семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал». На рубеже XIX–XX столетий женское стихотворчество в глазах

большинства россиян имело столь же экзотическую и сомнительную ассоциативную ауру, какую в наши дни имеют женские бои в грязи[157]. В эпоху литературного декадентства с его стремлением к эпатажу и «переоценке всех ценностей», образ «поэтессы» ассоциировался с самыми крайними формами богемного андерграунда[158]. Поэтому, кстати, Ахматова и поправляла всегда своих биографов и издателей: «Я не поэтесса, а поэт.» В лексиконе, сформированном ранним серебряным веком, это означало, что она не склонна к «дерзаниям», не ставит своей творческой задачей ниспровержение общежитейских норм и не тяготеет к экстатической мистике оргиазма. Вряд ли первые стихотворные ахматовские тексты пребывали «за пределами добра и зла», однако Андрей Антонович, надо полагать, от души посоветовал дочери избрать иное применение своим способностям. Но ни этому, ни другим не менее мудрым родительским советам Ахматова уже не внимала. Подростковое бунтарство, давно зреющее в ней, вырвалось на свободу в канун завершения школьных занятий. В очередной семейный крымский сезон в Туровке тихая и вялая отроковица, только что с грехом пополам перемогшая вступительные экзамены в третий (пятый) гимназический класс, вдруг обратилась в бодрого бесёнка, совершенно неуправляемого и крайне энергичного:

Ко мне приплывала зелёная рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и весёлой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унёс бродяга,
И уплывала далеко в море,
На тёмных, тёплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»[159]

Ахматова именовала эти годы «языческим» периодом своего детства: «В окрестностях этой дачи <“Отрада”> я получила прозвище “дикая девочка”, потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень». Среди прочих странностей, возникших в ней после «первой смерти», была эта особенная любовь к воде: мало того, что она

плавала, «как щука» (В. А. Горенко), – она ещё слышала подземное движение водных жил и могла безошибочно указать место, где они ближе всего подступают к поверхности земли:

Знали соседи – я чую воду,
И если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.

История умалчивает, как отнеслись домашние к очередной метаморфозе, преобразившей гимназистку Мариинской гимназии в севастопольскую «приморскую девчонку» с ухватками мальчишки-сорванца:

Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И приносила домой в подоле
Осколки ржавые бомб тяжелых.

Вероятно, эти воинственные игры были связаны с доносившимися до России из другого географического полушария громовыми раскатами войны на английском юге Африки, где колонисты-буры (немцы и голландцы), провозгласившие независимую республику Трансвааль, сражались теперь с экспедиционными войсками Великобритании. В России события войны широко освещались в прессе, симпатии были, разумеется, целиком отданы повстанцам, и Ахматова вместе со всей страной распевала песню на стихи журналистки «Живописного обозрения» Галины Галиной:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне!

Песня эта так и осталась в памяти Ахматовой, как последнее эхо уходящего XIX столетия:

Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
«Назад, назад!!»[160]

Вернувшись осенью 1901 года под своды гимназии, Ахматова

внешне остепенилась и опять «делала всё, что полагалось в то время благовоспитанной барышне». Удавалось это, впрочем, всё хуже и хуже: в третьем (пятом) классе за ней уже прочно утверждается роль «вечной отстающей». По всей вероятности, именно тогда в семье Горенко появился домашний учитель-репетитор Иван Селивёрстов, студент-технолог, выпускник Николаевской гимназии и добрый знакомый Инны Горенко. «Подтянуть» нерадивую ученицу по школьным предметам он не смог, зато очень заинтересовал новинками русской и европейской поэзии[161]. По признанию Ахматовой, на пятый класс гимназии приходится её знакомство с поэзией Ш. Бодлера, П. Верлена и «всех прóклятых <поэтов>»: к тринадцати годам (то есть к лету-осени следующего 1903 года) она уже знала их тексты «по-французски» наизусть.

Следует признать, что стихи Шарля Бодлера и «прóклятых» более подходили к её тогдашнему мироощущению, чем пушкинская стихотворная классика, гармонично-сдержанная даже в самых дерзких и рискованных своих проявлениях. В отличие от пушкинского мира, мир поэзии Бодлера, человека странного, неуравновешенного и озлобленного, строился из кричащих противоречий, которые поэт не стремился ни примирить, ни понять, а лишь усиливал своим волшебным мастерством, доводя до чудовищного смешения самого высокого и прекрасного с самым отвратительным и низким. Программным стихотворением Бодлера стал текст, изображающий животную падаль («Une Charogne», 1857), валяющуюся близ романтической вечерней тропы, по которой гуляет влюблённая пара:

> – Et pourtant vous serez semblable à cete ordure,
> À cete horrible infection,
> Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
> Vous, mon ange et ma passion![162]

Бодлер полагал неприятие мира с его несовершенством и пошлостью главной добродетелью истинного поэта и отстаивал это право не только в стихах, но и в жизни. Отчим и мать отправили двадцатилетнего Бодлера в индийскую Калькутту, рассчитывая не столько на успех богемного мечтателя в колониальной торговле, сколько на более здоровый с их точки зрения круг знакомств. Однако он, прервав путешествие, самовольно вернулся во Францию с пустыми карманами и стихотворением о морской птице («L'Albatros», 1841), поразившей его воображение на пути в Индию:

Le Poëte est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l'archer;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher[163].

Получив наследство в 100 000 франков, Бодлер транжирил так скандально и бессмысленно, что был признан невменяемым и взят в опеку. Он избрал в «прекрасные дамы» чернокожую актрису бульварного театра, воспел некрофилическую страсть к расчлененному убийцей трупу светской кокотки, был завсегдатаем опиокурилен и умер в параличе от сифилиса. Французские les poètes maudits, а вслед за ними и русские символисты считали Бодлера учителем «новой красоты», который в безобразии и ужасе материального мира умел находить символические знаки, обещающие вечную гармонию и любовь на небесах:

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symbols
Qui l'observent avec des regards familiers[164].

Знакомство с французскими модернистами было важной вехой, если не в творческом[165], то в человеческом взрослении Ахматовой. Это было первое послание из иного, неведомого мира, нисколько не похожего на «прохладную детскую молодого века». Бодлер и его последователи доносили до Ахматовой и подобных ей юных отечественных интеллектуалов, вступавших в большую жизнь на рубеже столетий, трагические диссонансы европейского fn de siècle[166], практически неуловимые в мирной и благополучной российской «узорной тишине», два десятилетия не знавшей ни внешних войн, ни внутренних мятежных волнений. В этой непрерывно растущей державной мощи возникала иллюзия самодостаточности и полной безопасности Российской империи, нашедшей как будто особый исторический путь, независимый от потрясений и страстей эпохи. Болезненные отголоски от внутренних нестроений – голодных неурожаев, промышленных кризисов, рабочих стачек, студенческих манифестаций, чиновного лихоимства и произвола властей – затухали, не успевая серьёзно задеть свыкшееся с многолетним покоем общество. Лихие 1870-е годы казались фантастическим сном. Газетные известия о зарубежных катастрофах и войнах пролистывались с благодушием. Даже зловещие японские козни вокруг российского

присутствия в Манчжурии[167] на первых порах мало взволновали российские политические и общественные круги: шапками закидаем…

В июне 1902 года Ахматовой, в очередной раз прибывшей с семьёй на отдых в херсонесскую «Отраду», исполнялось тринадцать лет. Языческое детство продолжалось, и на этот раз ахматовское обращение в приморскую девчонку приобрело ещё более причудливые формы, чем в прошлом году:

> Я с рыбаками дружбу водила.
> Под опрокинутой лодкой часто
> Во время ливня с ними сидела,
> Про море слушала, запоминала,
> Каждому слову тайно веря.
> И очень ко мне рыбаки привыкли.
> Если меня на пристани нету,
> Старший за мною слал девчонку,
> И та кричала: «Наши вернулись!
> Нынче мы камбалу жарить будем».[168]

Вряд ли родители Ахматовой были в восторге от этой её новой дружбы: смышлёная отроковица с необыкновенной чуткостью усваивала в рыбацкой среде словечки и манеры, уместные среди крымских скал и волн, однако явно предосудительные в перспективе грядущего гимназического царскосельского уклада[169]. Однажды Инна Эразмовна послала детей на местном баркасе за арбузами на рынок, находившийся близ Херсонеса, в соседней бухте. Во время возвращения Ахматова, разругавшись со спутниками, перемахнула вдруг за борт и… уплыла в открытое море. Вернулась она поздно вечером, когда домашние уже готовились к утренним поискам утопленного тела. Это, судя по всему, и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Андрея Антоновича. Летний сезон 1902 года стал для Ахматовой самым коротким: в августе отец увёз её в Петербург, где сдал под «Подписку при поступлении девицы» на попечение строгим надзирательницам знаменитого Смольного института:

> Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что августа 18 дня 1902 года представил в пятый класс Императорского Воспитательного общества благородных девиц Анну Андреевну Горенко, родную мою дочь.

X

Смольный институт – Вновь в Мариинской гимназии – Новая должность А. А. Горенко в Государственном контроле – Морское ведомство в начале XX века – Великий князь Александр Михайлович – Политический кризис на Дальнем Востоке – Главное управление торгового мореходства и портов – Переход А. А. Горенко в новое ведомство – Последнее лето в «Туровке» – Цыганское пророчество – В пятом классе – Дружба с Валерией Тюльпановой – Поэт Ник. Т-о – Мариинский театр – Рождественская встреча.

Смольный институт, учреждённый Екатериной Великой в 1764 году, был старейшим женским образовательным учреждением России – во время поступления туда Ахматовой его учебный курс приравнивался к курсу женской гимназии. Однако основной функцией Смольного во все времена было воспитание. Именно тут создавался тот тип светской дамы, который считался образцовым для всего российского общества: лучшие «смолянки» становились фрейлинами в свитах дам императорской фамилии. Обучение «образу жизни» было для институтского начальства[170], классных дам, надзирательниц и приходящих педагогов в сущности главным и единственным предметом, подчиняющим своим задачам все прочие учебные курсы – от рукоделия и танцев до математики и токарного дела. Этим объясняется и удивительное единообразие многочисленных воспоминаний, оставленных выпускницами Смольного различных эпох существования института, вплоть до последних предреволюционных лет. Всюду описывается одна и та же поражающая своей суровостью спартанская обстановка: постоянный холод в классах и огромных общих спальнях, организованных по образу военной казармы, хроническое недоедание (овощи, каши, вода, хлеб, изредка – мясо; чай, кофе, конфеты и шоколад полностью исключались как вредные для юного организма), недосыпание (общий подъем в шесть утра, общий отбой – в десять вечера) и практически полное отсутствие свободного времени. Воспитанницы вели затворнический образ жизни, почти не покидая территории института, все внешние влияния жестко контролировались и даже редкие (раз в семестр) встречи с родителями проходили под надзором классной дамы. Спальни периодически подвергались пристрастной «ревизии», и обнаруженная косметика или недозволенная книга были поводом для немедленного позорного исключения нарушительницы. Жестокие наказания влекла за собой и малейшая неправильность или живость речи (шокирующими ругательствами считались

определения «противная» и «зловредная»). Главными добродетелями смолянок в повседневном быту должны были стать дисциплинированность, работоспособность, аккуратность и исключительная опрятность, поэтому вплоть до выпуска каждая из учениц института, входя утром в класс, должна была ежедневно демонстрировать надзирательнице свои ладони, зубы, чистоту передника и гладкость зачёсанных в пучок волос… Нет сомнений, что срочно передавая сюда Ахматову «своекоштною пансионеркою»[171], Андрей Антонович рассчитывал в первую очередь именно на воспитательные традиции Смольного института, не пожалев для того и 200 рублей годовых.

Летний Петербург 1902 года – Смольный институт с садом и примыкающим к нему комплексом монастыря и гранитная набережная Невы, ещё не перестроенная под грандиозный пролёт моста Петра Великого – стал «первым Петербургом» в сознательной жизни Ахматовой, хотя, конечно, наездами из Царского Села, она в детстве и отрочестве бывала в столице часто:

> Петербург я начинаю помнить очень рано – в 90-х годах. Это, в сущности, Петербург Достоевского. Это Петербург до-трамвайный, лошадиный, коночный, грохочущий и скрежещущий, лодочный, завешанный с ног до головы вывесками, которые безжалостно скрывали архитектуру домов. Воспринимался он особенно свежо и остро после тихого и благоуханного Царского Села. Внутри Гостиного двора тучи голубей, в угловых нишах галерей большие иконы в золочёных окладах и неугасимые лампады. Нева – в судах. Много иностранной речи на улицах.
>
> В окраске домов очень много красного (как Зимний), багрового, розового, и совсем не было этих бежевых и серых колеров, которые теперь так уныло сливаются с морозным паром или ленинградскими сумерками.
>
> Тогда ещё было много великолепных деревянных домов (дворянских особняков) на Каменноостровском проспекте и вокруг Царскосельского вокзала. Их разобрали на дрова в 1919 году. Ещё лучше были двухэтажные особняки XVIII века, иногда построенные большими зодчими. «Плохая им досталась доля» – их в 20-х годах надстроили. Зато зелени в Петербурге 90-х годов почти не было. Когда моя мама в 1927 году в последний раз приехала ко мне, то вместе со своими народовольческими воспоминаниями она невольно

припомнила Петербург даже не 90-х, а 70-х годов (её молодость), она не могла надивиться количеству зелени. А это было только начало! В XX веке были гранит и вода.

Однако первое проживание Ахматовой в столице Империи в почётном статусе «смолянки» было очень коротким и завершилось, судя по всему, скандально. Уже 18 сентября 1902 года Андрей Антонович вынужден был «покорнейше просить» Совет Императорского Воспитательного общества благородных девиц «об увольнении дочери моей Анны Андреевны Горенко вовсе из института ввиду изменившихся домашних обстоятельств». Выше уже говорилось, что под «домашними обстоятельствами» в тогдашнем делопроизводстве могло подразумеваться всё что угодно – это был канцелярский эвфемизм, скрывающий, как правило, события, о которых не имелось желания подробно распространяться ни у подателя официальной бумаги, ни у адресата её. Возвращая Андрею Антоновичу несколькими месяцами позже невостребованные «своекоштною пансионеркою» средства (133 руб. 33 коп.), сметная комиссия Воспитательного общества упоминала в сопроводительном письме о некоей «болезни, препятствующей дальнейшему пребыванию её в заведении». Сама же Ахматова, которая впоследствии очень любила при случае упомянуть в разговоре о своём «смольном прошлом», никогда в подробности пребывания в знаменитом институте не вдавалась. Однако из всех этих бесед можно понять, что поводом для её поспешного удаления из среды благородных девиц стал припадок сомнамбулизма, то ли в самом деле приключившийся с ней в начале учебного года из-за переживаний, то ли разыгранный ей специально. Надо полагать, призрачная бледная дева с разметавшимися чёрными волосами, слепо бредущая по бесконечному сводчатому ночному коридору (депрессивно-романтические интерьеры Джакомо Кваренги идеально подходили для подобного зрелища), произвела глубокое впечатление на робких смолянок и их воспитательниц. Ахматова, по её собственному признанию, «без воли не могла жить» и лунатический припадок случился как нельзя кстати. В Мариинской гимназии учебный год уже начался, но по просьбе Андрея Антоновича несостоявшуюся смолянку допустили к занятиям: тут к ней, очевидно, привыкли – как к неизбежному злу.

История со Смольным институтом была последней попыткой активного участия отца в судьбе средней дочери. Со второй половины 1902 года начинаются события, окончательно

отдалившие его – за неимением времени – и от Ахматовой, и от других детей, и от всего царскосельского дома. Служебная карьера в Государственном контроле, описав прихотливую кривую, вроде бы возвращалась к своему юношескому началу – отставному черноморскому каврангу, наконец, вышло место помощника генерал-контролёра Департамента военной и морской отчётности. Однако, принимая эту новую должность, Андрей Антонович и помыслить не мог, насколько неожиданной и странной окажется развязка его давних увлечений российским судоходством и через какие потрясения и испытания суждено ему будет пройти в самом скором времени среди потрясений и испытаний, которые судьба готовила всей стране.

Российское Морское ведомство в начале XX века возглавлял брат Александра III великий князь Алексей Александрович (1850–1908), сменивший в далёком уже 1881 году опального генерал-адмирала Константина Николаевича. Алексей Александрович был четвёртым сыном Александра II и императрицы Марии Александровны. Совершив свою первую морскую кампанию в 10 лет, он был храбрым моряком и великолепным флотским офицером. Все помнили, как в 1868 году восемнадцатилетний вахтенный начальник фрегата «Александр Невский» в шторм и крушение у скал Скагена в Северном море руководил эвакуацией нижних чинов и покинул тонущий корабль только убедившись, что все матросы переправились на берег; как в 1871-м лейтенантом на эскадренном флагмане «Светлана» великий князь хладнокровно отдавал приказы во время китайского тайфуна, когда размахи фрегата достигали 40 градусов и были готовы рухнуть мачты. Однако в руководящем кресле этот прожжённый морской волк, закалённый воин и душа кают-компании выглядел странно, ибо от работы умственной, кабинетной и бумажной он был отвращён, кажется, самой природой. Назначая брата на эту должность, Александр III, едва вступив на престол, руководствовался интересами развернувшейся в 1881 году политической борьбы и видел в новом генерал-адмирале прежде всего преданного сторонника, готового к безоговорочной и безоглядной братской поддержке в самых трудных положениях, подобных памятному китайскому тайфуну.

Став, в свою очередь, генерал-адмиралом, Алексей Александрович мало напоминал выдающегося (хотя и грешного) предшественника. В вопросах военно-морского строительства он разбирался слабо, а о новейших технологиях и подавно имел представление более чем смутное. Но строительство нового флота было запущено до него и шло помимо него, по мощной инерции. Своевольно же вмешиваться в происходящее великий

князь, ко всеобщему удовольствию, не был охотником и предоставлял полную свободу действий специалистам – И. А. Шестакову, Н. М. Чихачеву, П. П. Тыртову. Правда, сам генерал-адмирал при этом оставался идеальной фигурой для всевозможных манипуляций и интриг, однако к такому положению вещей российские моряки привыкли. К тому же великого князя ценили за добрый нрав и необычайно представительную наружность.

Удивительно обаятельный, с открытым прекрасным лицом, сложенный, как Геркулес, Алексей Александрович вызывал безудержный восторг у представительниц слабого пола и был любимцем фотографов и художников-портретистов. Что же касается его непосредственной руководящей работы, то она сводилась к проведению нечастых, но многолюдных совещаний на дому, во время которых генерал-адмирал обычно предавался воспоминаниям о годах боевой молодости.

– И только тогда, друзья мои, узнал этот суровый командир очертания скал Скагена!.. – гремел он и ударял кулаком по столу, причём соседи за миг до того предусмотрительно отодвигались. Большинство из присутствовавших уже знали все его истории наизусть, но на «совещания» всё равно ходили охотно: неукоснительно следуя традициям флотского хлебосольства, Алексей Александрович всегда устраивал для приглашённых роскошное застолье.

Наследуя отцовский престол в 1894 году, Николай II не тронул декоративного генерал-адмирала, к которому по-родственному благоволил. Между тем перевооружение военно-морских сил Империи завершалось, и наступал период принятия стратегических решений, связанных прежде всего с Дальним Востоком. Ещё в 1896 году по просьбе Николая II обстоятельную аналитическую докладную записку «Соображения об усилении Тихоокеанского флота» составил великий князь Александр Михайлович (по-семейному Сандро). Великий князь Александр Михайлович (1866–1933) был сыном младшего из братьев Александра II, великого князя Михаила Николаевича. Таким образом, несмотря на то что Александр Михайлович был (неполным) царским ровесником, он приходился ему двоюродным дядей, а генерал-адмиралу Алексею Александровичу, соответственно, двоюродным братом. Александр Михайлович был другом детства и юности Николая II, поверенным его романа с Алисой Гессенской (будущей императрицей Александрой Фёдоровной), а, женившись сам вопреки романовским брачным традициям на кузине, великой княжне Ксении Александровне, стал ещё и шурином молодого

императора. Не занимая по молодости лет никаких государственных постов, именно Сандро являлся главным домашним собеседником и консультантом нового царя, сразу же поставленного перед необходимостью принимать стратегические решения по тихоокеанским вопросам, не имеющие никаких аналогов во всей предшествующей истории Империи. Александр Михайлович имел основательную военно-морскую подготовку: он окончил Морское училище, в 1885 году был произведён в мичманы. С этого момента и до 1905 года его судьба так или иначе оказалась связана с российским флотом. Однако, в отличие от двоюродного брата, юный Сандро, будучи действующим флотским офицером, был склонен к интенсивной научной работе, глубоко изучил историю и теорию морского дела в России и за рубежом, составив и издав 12 подробных справочников о военных флотах иностранных государств. Эта «Морская справочная книга» выпускалась им периодически с 1892 года с промежутками от года до двух лет. Помимо того, он обладал широкими познаниями в военной промышленности, был талантливым инженером и экономистом. Читать сейчас его «Соображения об усилении Тихоокеанского флота» (тогда же в 1896 году опубликованные и разосланные всем заинтересованным лицам) и странно, и жутко. Сандро ставил вопрос о Тихом Океане с грубой прямотой, достойной великого Никколо Маккиавелли: либо Россия одновременно с началом движения на юго-восток начинает активно и цинично готовиться к большой, жестокой, кровавой и несправедливой наступательной войне за приморскую добычу, либо она должна вовсе оставить в покое китайцев и японцев и мирно наблюдать со стороны, как их будут потрошить такие испытанные асы колониальной экспансии, как англичане и французы. В политические договорённости и экономические соглашения на фоне сумасшедших прибылей Александр Михайлович не верил. Уверенно прогнозируя неизбежную эскалацию конфликта России и Японии в Приморье, автор записки не только точно предсказывает на восемь лет (!) общее течение событий, но и делает заключение о высокой вероятности внезапной японской агрессии в… январе 1904 года! В качестве превентивных мер Александр Михайлович предлагал начать немедленную переброску кораблей Балтийского флота в Тихий Океан, причём небольшими отрядами, по разным маршрутам, с последующей дислокацией как во Владивостоке, так и на незамерзающих базах в самом Приморье, поиском которых нужно также немедленно озаботиться. Что же касается новых кораблей, то их рекомендовалось строить или покупать в небольшом количестве, однако высокого качества и, опять-таки, по

возможности на Тихоокеанском побережье.

Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты! Имея такого конфидента, Николай II располагал неплохими шансами на успех в восточноазиатской политике и без особой оглядки на дядю генерал-адмирала. Однако по характеристике того же Александра Михайловича, его царственный друг и родственник «никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить в себе чисто человеческие чувства…» Алексей Александрович, прочитав «Соображения…», вообразил, что за его спиной зреет некий заговор, горько обиделся, и… незваный пророк удалился в добровольное изгнание по родственному требованию шефа Адмиралтейства[172]. Вновь Александр Михайлович был призван лишь в 1900 году, когда в ходе реализации корейских концессий создавалось «Русское лесопромышленное товарищество». Встав во главе предприятия, Сандро скоро убедился, что события в Приморье развиваются по худшему из всех возможных сценариев. Российские участники лесных концессий, ошалевшие от непривычных колониальных выгод, вели себя так, как будто корейская территория уже аннексирована Россией, японский флот потоплен, а смирившиеся с утратой влияния в регионе англичане зализывают раны на далёких островах туманного Альбиона. Между тем, в отличие от торгово-промышленного, военное присутствие России в Приморье явно не могло обеспечить не только ведение глобальных мировых битв за колонии на тихоокеанском просторе, но и обычного боевого контроля на всех уже заглоченных Империей территориях. Было очевидно, что долго так продолжаться не может.

– Разве мы хотим войны с Японией? – допытывался Александр Михайлович в беседах с царём. – Если мы её действительно хотим, то мы должны немедленно начать постройку второй колеи Сибирского пути, сосредоточить наши войска в Восточной Сибири и построить значительное количество современных военных судов.

Внятного ответа он не получал и в конце концов в 1902 году подал в отставку, «чтобы не иметь ничего общего с планами, которые ставят под угрозу сотни тысяч невинных русских людей». Николай II отставку принял, но, верный себе, дипломатично напомнил другу об их давних совместных планах реорганизации российского торгового судоходства и переустройства портов. И Александр Михайлович на эту утешительную наживку тут же клюнул, разумеется:

> Я предложил, чтобы Государь создал особое управление торгового мореплавания, изъяв эту важную

> отрасль государственной жизни из ведения Министерства финансов. Государь наконец решил, что я буду начальником главного управления торгового мореплавания на правах министра. 6 декабря 1902 г. я был произведен в контр-адмиралы и, по своей новой должности, занял место в совете министров как самый молодой член правительства в истории Империи.

До сих пор это назначение историки трактуют по-разному. Однако нельзя не признать, что император, создавая Главное управление торгового мореплавания, был достаточно логичен: начинать борьбу за выход на трансокеанские линии, имея судоходную систему, ориентированную преимущественно на плавание во внутренних водах и каботажные перевозки, было бессмысленно. И Александр Михайлович в качестве царской креатуры на место «главноуправляющего» также имел в своём активе не только родственную и личную близость к Николаю II, но и деловые качества, вполне отвечающие масштабу и трудности поставленных перед ним задач. Сам профессионал, он делал ставку на профессионалов и принялся формировать штатный состав нового ведомства из морских специалистов, имеющих «вес» в учёных кругах. В частности, едва вступив в должность, Александр Михайлович тут же переманил к себе из Государственного контроля надворного советника Андрея Антоновича Горенко.

По всей вероятности, великий князь Александр Михайлович познакомился с Андреем Антоновичем ещё в начале 1880-х годов, когда был учеником Морского училища, а лейтенант Горенко – одним из самых популярных педагогов, из тех, которые запоминаются потом на всю жизнь. В 1890-е годы великий князь, плотно работавший с морской научной литературой, наверняка натыкался на статьи своего бывшего учителя, а в начале 1900-х, в качестве председателя «Русского лесопромышленного товарищества» вполне мог пересекаться по служебной надобности с помощником генерал-контролёра Департамента военной и морской отчётности. Получив руководящую должность в декабре 1902-го, Александр Михайлович призвал Андрея Антоновича в числе первых сотрудников: 10 января 1903 года тот Высочайшим приказом переводится в Главное управление морского судоходства и портов на должность чиновника особых поручений 4-го класса с производством в следующий чин статского советника. Впрочем, вряд ли этот переход был связан для Андрея Антоновича только с карьерными соображениями. За двенадцать лет сотрудничества с Государственным контролем дела у него,

судя по служебным перемещениям, шли так неплохо, что, не делая никаких резких движений и скачков, он вполне мог рассчитывать в карьерном итоге (который был уже не за горами) и на действительного статского, а то и на тайного советника. К тому же судьба нового морского Управления первое время висела на волоске. Затея Александра Михайловича встретила мощное сопротивление Министерства финансов, которое видело в происходящем ослабление собственных ведомственных позиций. Прежде всего это касалось контроля за деятельностью портовых служб и коммуникаций.

Во главе Министерства финансов стоял Сергей Юльевич Витте, великий политик, дерзкий новатор и коварный царедворец[173]. По иронии судьбы, в далёком уже 1889 году великий князь Александр Михайлович одним из первых в столичных придворных кругах обратил внимание на любопытную брошюру тогдашнего управляющего Обществом юго-западных железных дорог «Национальная экономия и Фридрих Лист» и даже опубликовал рецензию, горячо поддержав идею Витте о решающей роли государственного заказа в развитии российской промышленности. Вскоре Витте был призван Александром III на пост министра путей сообщения, где проявил такие способности, что вскоре взлетел прямо в кресло министра финансов. Некоторое время Александр Михайлович возглавлял у Витте министерский Совет по делам торгового мореплавания, общаясь с «шефом» не только по служебной необходимости, но и запросто, по взаимной дружеской приязни талантливых профессионалов. Теперь же, ввиду конкурентной вражды ведомств, прежнее было позабыто начисто. В правительственных кругах шутили:

– Его императорское высочество изволили стащить у Витте… порты!

Витте, имевший по пятницам регулярный отчёт у государя, желчно и обстоятельно докладывал о «непосильных тяготах, которыми обременяли русский бюджет дорогостоящие начинания начальника главного управления портов и торгового мореплавания». Александр Михайлович нажимал при встречах с «кузеном Ники» на слухи о предосудительных связях министра финансов с либеральными, а то и революционными кругами. Летом 1903 года, когда по югу Империи от Одессы до Баку прокатилась мощная волна забастовок, Александр Михайлович прямо обвинил Витте в заигрывании с профессиональными союзами, повинными в возмутительных призывах и действиях. Слова его попали в унисон с постоянными гневными филиппиками нового главы МВД В. К. Плеве против «красного» министра финансов, ведущего явно порочную линию в фабричной

инспекции, сельхозяйственных комитетах и пр. В очередную пятничную аудиенцию 16 августа 1903 года Николай II, выслушав часовой доклад, тепло поздравил Витте с назначением на высший государственный пост председателя Комитета министров и попросил сдать министерство управляющему Госбанком Э. Д. Плеске. Витте помертвел. Комитет министров в российском абсолютизме, где все министры работали под непосредственным руководством императора, являлся декоративной инстанцией, созданной на случай неких гипотетических неурядиц (вроде конфликта монарха с Государственным Советом) и не имел ни постоянного состава, ни чётко определенных функций. Подобной почётной отставкой без объяснения причин и возможности объясниться Витте был угнетён куда больше, чем открытой опалой. Возможно, дерзкая мысль обратить со временем пустую должность в полноценную «премьерскую» власть тогда же и пришла ему на ум. А Александр Михайлович торжествовал победу: «На мою долю выпадала тяжёлая борьба, – вспоминал он. – Мне пришлось бы вести её одному, если бы не горячая поддержка, оказанная мне теми кругами, которые были заинтересованы в развитии нашей внешней торговли».

Представителем этих кругов и был Андрей Антонович Горенко. «Стремление к морю не покидает А. А-ча, – пишет об этом новом этапе его жизни автор некрологии. – Торговое мореплавание – это его сфера. Он много работал над её вопросами. Он покидает Государственный контроль и назначается членом совета Августейшего Главноуправляющего торговым мореплаванием, причём в его непосредственное ведение поступают порты Юга. Он объезжает эти порты, знакомится с их нуждами и вообще проявляет в этой области бурную деятельность». Легко представить, что чувствовал этот былой фрондёр-забияка при мысли, что все юношеские планы и мечты, уже давно отброшенные, оплаканные, почти позабытые, теперь восстали и на глазах осуществляются его собственным усилием! Триумфатором Андрей Антонович возвращался теперь в Николаев, Севастополь и Одессу и наверняка не жалел ни времени, ни сил. Имея такого сотрудника на юге, Александр Михайлович мог увереннее чувствовать себя в петербургском министерском кресле:

> Мне удалось добиться от нашего тяжёлого на подъём правительства, чтобы была организована новая пароходная линия, соединявшая наши южные порты с Персидским заливом и обеспечена значительная субсидия от правительства четырём русским пароходным

обществам, которые начали успешно конкурировать с немцами и англичанами.

Членом правления одного из этих четырёх упомянутых пароходных обществ – Русского Дунайского пароходства – стал с момента его создания статский советник Горенко. Можно было бы только порадоваться за него, однако неистовая служебная деятельность сделала Андрея Антоновича редким гостем в собственных царскосельских пенатах. Впрочем, лето 1903 года было для его семьи обычным, совместным, херсонесским, «отрадным» и на редкость мирным, ибо даже дикая девочка, к удивлению домашних и соседей по Туровке, несколько угомонилась под впечатлением очередных местных чудес:

Вышла цыганка из пещеры,
Пальцем меня к себе поманила:
«Что ты, красавица, ходишь боса?
Скоро весёлой, богатой станешь.
Знатного гостя жди до Пасхи,
Знатному гостю кланяться будешь;
Ни красотой твоей, ни любовью, —
Песней одною гостя приманишь».
Я отдала цыганке цепочку
И золотой крестильный крестик.
Думала радостно: «Вот он, милый,
Первую весть о себе мне подал».[174]

Четырнадцатилетняя Ахматова пока не знала никакой глубокой сердечной привязанности, и это было естественно, потому что ещё длилось, уже приближаясь к исходу, её отрочество, то есть детство, хотя и взрослое. Гость на Пасху, которого сулила херсонесская цыганка, взволновал её необыкновенно:

…От тревоги я разлюбила
Все мои бухты и пещеры;
Я в камыше гадюк не пугала,
Крабов на ужин не приносила…

То, что «знатный гость» будет очарован в грядущие пасхальные дни некими «песнями», сложенными ею, дало, надо полагать, ощутимый творческий импульс, и летом 1903 года заветная белая тетрадь пополнилась новыми лирическими

откровениями (под соответствующими номерами). Иностранная девушка, уже являвшаяся Ахматовой на этих берегах, снова возникала перед ней на каменных глыбах, скрывавших лаз в каменоломню, где некогда папа Климент, гремя каторжными цепями, проповедовал неофитам истины новый веры. В руках у иностранки вдруг оказывалась дудочка; дудочка бойко высвистывала какую-то весёлую, до смертной жути, мелодию; жизнь, кажется, висела на волоске – словом, всё было уже более-менее привычно:

Девушка стала мне часто сниться
В узких браслетах, в коротком платье,
С дудочкой белой в руках прохладных.
Сядет спокойная, долго смотрит,
И о печали моей не спросит,
И о печали своей не скажет,
Только плечо моё нежно гладит.

Содержание этой (утраченной) детской поэзии Ахматовой в какой-то мере позволяет восстановить поэма «У самого моря», психологическая завязка которой восходит именно к последнему лету херсонесского «языческого детства»:

Трудное время для сердца было.
Так я шептала, на двери глядя:
«Боже, мы мудро царствовать будем,
Строить над морем большие церкви
И маяки высокие строить.
Будем беречь мы воду и землю,
Мы никого обижать не станем».

В делах сердечных в это лето у неё, надо полагать, была заинтересованная конфидентка – старшая сестра Инна, переживавшая тогда же не вымышленный, а вполне реальный, «земной» любовный роман с царскосельским поэтом и журналистом Сергеем Владимировичем фон Штейном. «Инна любила Аню, гордилась ею – высоко ценила её ум, талантливость и особенно её душевные качества… – вспоминала О. А. Рождественская (Федотова), одноклассница Инны Андреевны. – Инна по внешности не похожа была на сестру: очень смуглая, с большими тёмными глазами и с шапкой вьющихся чёрных волос. Напоминала она южанку, причём нерусского типа. В последних классах гимназии я подружилась с ней, она казалась старше меня

и всех нас умнее и талантливее, хорошо рисовала, писала стихи и обладала большим юмором. Училась на золотую медаль, но почему-то получила серебряную». Черты отличницы и умницы Инны Горенко (чья судьба сложится трагически) в поэме «У самого моря» можно угадать в кроткой и рассудительной болезненной «сестре Лене», которой героиня передает по секрету «речи цыганкины у пещеры»:

«Леночка, – я сестре сказала, —
Я ухожу сейчас на берег.
Если царевич за мной приедет,
Ты объясни ему дорогу.
Пусть он меня в степи нагонит:
Хочется на море мне сегодня».
«Где же ты песенку услыхала,
Ту, что царевича приманит? —
Глаза приоткрыв, сестра спросила. —
В городе ты совсем не бываешь,
А здесь поют не такие песни».
К самому уху её склонившись,
Я прошептала: «Знаешь, Лена,
Ведь я сама придумала песню,
Лучше которой нет на свете».

В мемуарах Ольги Рождественской, зачастившей в дом Шухардиной в осенне-зимний сезон 1903 года, отмечена особенная литературная дружба старших сестёр Горенко:

> Я знала, что Инна и Аня пишут стихи «по – новому», как заявила Инна. Тогда же, я помню, попросила Аню прочитать нам что-нибудь из своих произведений, она достала ученическую тетрадь и нараспев начала читать. К сожалению, я не помню содержания стихов осталось только впечатление чего-то туманного, недосказанного, некогда же мы с Инной решили, что Аня будет поэтессой.

По всей вероятности, именно Инна, входившая, как уже говорилось, в возглавляемый фон Штейном кружок царскосельской творческой молодёжи, обратила внимание сестры на скромный стихотворный томик, поступивший осенью 1903 года в книжную лавку Митрофанова в царскосельском Гостином дворе. Книжка, именовавшаяся «Тихие песни», была подписана криптонимом *Ник. Т-о*. Так некогда назвал себя гомеровский Одиссей, чтобы обмануть кровожадного людоеда-циклопа,

заключившего эллинских скитальцев в свою пещеру:

> Я называюсь *Никто*; мне такое название дали
> Мать и отец, и товарищи так все меня величают[175].

Автором книги, скрывшимся за гомеровским псевдонимом, был И. Ф. Анненский (для Инны это, разумеется, не было секретом). Любопытствуя, Ахматова достала творение *Ник. Т-о* – и была наповал сражена стихотворением про царскосельскую статую «Расе», на которую она раньше никогда не обращала внимания. Великое творение итальянского скульптора XVIII века Бартоло Модоло обветшало, почернело и находилось тогда в дальнем, практически непосещаемом углу Екатерининского парка. Лицо мраморной «Богини Мира» было изуродовано: кто-то ударил статую по лицу камнем и раздробил нос:

> Меж золочёных бань и обелисков славы
> Есть дева белая, а вкруг густые травы.
>
> Не тешит тирс её, она не бьёт в тимпан,
> И беломраморный её не любит Пан,
>
> Одни туманы к ней холодные ласкались,
> И раны чёрные от влажных губ остались.
>
> Но дева красотой по-прежнему горда,
> И трав вокруг неё не косят никогда.
>
> Не знаю почему – богини изваянье
> Над сердцем сладкое имеет обаянье…
>
> Люблю обиду в ней, её ужасный нос,
> И ноги сжатые, и грубый узел кос.
>
> Особенно, когда холодный дождик сеет,
> И нагота её беспомощно белеет…
>
> О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам
> За равнодушие к обидам и годам.[176]

«Если отец и выходил когда-нибудь на прогулку… – вспоминал В. И. Анненский (Кривич), – то во всяком случае почти никогда не дальше Екатерининского парка. Этот планированный,

весь строго “сделанный” и полный памятников истории и искусства парк он вообще предпочитал всем другим царскосельским паркам. А здесь наиболее любимым его маршрутом был обход кругом большого озера, а также посещение расположенных близ некоторых сравнительно глухих и малопопулярных, но вместе с тем тоже “скульптурных” уголков, вроде акациевой дорожки мимо озерца с белыми лебедями к “Большому Капризу”, или всегда бессолнечного плоского лабиринта некошеных клумб и подёрнутых копотью дорожек у круглой столовой, где стоит воспетая им статуя “Расе”». Неизвестно, знала ли четырнадцатилетняя Ахматова, что латинское *расе* имеет значение не собственно *мира* (‘рах’), а *умиротворения* прежде всего – *смертного*, по употреблению своему в финале заупокойной католической службы:

Requiescat in pace. Amen[177].

Аллегорию этого стиха и создавал Модоло, ваяя свою печальную деву с траурным опущенным факелом в руке. Поэтому и Анненский, уже чувствуя близость конца, так любил гулять по неприметным дорожкам возле олицетворения Вечного Покоя…

Своим восхищением Ахматова тут же поделилась с новой соседкой по дому Шухардиной Валерией Тюльпановой. Эта Тюльпанова, впервые мелькнувшая в её жизни ещё десять лет тому назад, в Гугенбурге, так же училась в Мариинской гимназии, классом старше. Ахматова регулярно приветствовала её как давнюю знакомую, но от прочих гимназисток не отделяла. Теперь же, после того как Тюльпановы, погорев, въехали осенью 1903 года в меблированную квартиру этажом ниже, Валерия в ближнем рассмотрении виделась Ахматовой существом симпатичным. Была она немногословной, уютной и в общении необременительной, однако, несомненно, умной, отличаясь не по годам тем здравомыслием, которое даётся только натурам глубоким, щедрым и уверенным в себе. Отец её служил по Департаменту народного просвещения, как раз достигал «статского», как и его новый сосед, но, в отличие от Андрея Антоновича, подчёркивал величие нарочитой строгостью к домашним.

Было видно, что заведённые в семье Тюльпановых субординация и светский тон Валерию явно тяготили. Со своими родными она держалась ровно и замкнуто. Навестив же несколько раз «верхних» соседей, напротив, явно прониклась живой симпатией к безалаберной, но искренней и непосредственной семейной какофонии дома «Инны Несуразмовны». Встречаясь с Ахматовой во внутреннем дворике, Валерия Тюльпанова всячески

демонстрировала расположение, весьма тактично избегая при этом восторженного напора, присущего большинству мариинских гимназисток в изъявлении дружеских симпатий.

Прочитав стихи из «Тихих песен», Тюльпанова неожиданно предложила Ахматовой «навестить» отверженную богиню, воспетую Анненским, и подруги тут же, конспиративно покинув дом Шухардиной, сбежали в Екатерининский парк:

> Мы нарочно долго искали эту *Pace* (богиню мира) с Аней – и нашли в заглохшей части парка на маленькой поляне и долго смотрели на её израненное дождями белое в тёмных пятнах лицо и «тяжелый ужас кос». И так странно жутко повторяли (в каком – то проникновении в будущее, что ли?) последнее восклицание этого удивительного стихотворения: «О, дайте вечность мне, – и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам».

Вокруг сгущался уже сумерками холодевший воздух, невесомая сырость висела среди зелени, тронутой осенним тлением. Ахматова ступила на заросшую лужайку и наклонилась над статуей, пытаясь сквозь высокую траву лучше разглядеть черты изуродованного ударом мраморного лица:

> …А там мой мраморный двойник,
> Поверженный под старым клёном,
> Озёрным водам отдал лик,
> Внимает шорохам зелёным.
> И моют светлые дожди
> Его запёкшуюся рану…
> Холодный, белый подожди,
> Я тоже мраморною стану.[178]

Тюльпанова с жадным любопытством наблюдала за ней: в неожиданном зеркальном подобии этих двух сблизившихся матово-бледных лиц, живого и мраморного, было что-то одновременно и жуткое, отталкивающее, – и дерзкое, захватывающее… Вдруг Ахматова резко выпрямилась, и Тюльпанова, обернувшись вслед за ней, едва не выронила «Тихие песни» из рук. На другой стороне лужайки в неизменном цилиндре и щегольском пальмерстоне стоял Иннокентий Фёдорович Анненский, внимательно созерцая двух гимназисток с книжкой над вечерним белеющим мрамором. Ответив на их торопливый реверанс своим обычным рассеянным приветствием, он продолжил неторопливую прогулку. «И странно, – заключает

Тюльпанова, – почти дети, подростки, девочки, как любили мы издали наблюдать за высокой худощавой фигурой поэта, за которой неизменно старый лакей нёс небольшое складное кресло – И. Ф. страдал тогда болезнью сердца…».

По возвращении в дом Шухардиной Тюльпановой предстояло выдержать суровый родительский нагоняй. Дело было не только в неожиданной своевольной отлучке. Перспектива дружеских контактов дочки с соседской отроковицей не вызывала у достойного чиновника никакого энтузиазма. Несмотря на генеральский чин, только что полученный отцом, Ахматова, за которой тянулся неприятный шлейф каких-то странных историй, была малопопулярна среди родителей примерных учениц Мариинской гимназии:

– Она же… лунатичка!

Впрочем, Тюльпановой повезло: её родители не знали об ахматовском стихотворчестве… А когда узнали – было уже поздно.

> Без всякой натяжки могу сказать, что в наших отношениях была та чистейшая, бескорыстная дружба, которую так неохотно приписывают поэты и прозаики женщинам. И всё же она, как видите, бывает, и даже сохраняется на всю жизнь.

Тюльпанова писала эти строки в 1963-м, когда жить ей оставалось меньше года (а Ахматовой – около трех лет), и была она уже не Тюльпанова, а Валерия Сергеевна Срезневская, и не было уже ни Царского Села, ни Российской империи… А осенью 1903-го родителям Валерии Сергеевны не оставалось ничего иного, как, скрепя сердце, примириться с «лунатичкой» в качестве постоянной и неизменной спутницы младшей дочери:

> Наши семьи жили замкнуто. Все интересы отцов были связаны с Петербургом; матери – многодетные, обременённые хлопотами о детях и хозяйстве. Уже дворянского приволья не было нигде и в помине. Прислуга была вольнодумная и небрежная в работе. Жизнь дорогая. Гувернантки, большею частью швейцарки и немки, претенциозные и не ахти как образованные. Растить многочисленную семью было довольно сложно. Отсюда не всегда ровная атмосфера в доме; не всегда и ровные отношения между членами семьи. Не мудрено, что мы отдыхали, удаляясь от бдительных глаз, бродя в садах и гущах прекрасного, заброшенного, меланхолического Царского Села.

К зиме обе подруги уже по-домашнему коротко освоились в обоих семействах, свободно и без церемоний пребывая совместно как в верхних, так и в нижних покоях дома Шухардиной. Как водится, и соседские отношения при такой дружбе детей потеплели: бонна Моника давала уроки немецкого младшим Тюльпановым, гувернантка Тюльпановых m-me Матье занималась с Ией и Виктором Горенко и подтягивала по французскому Ахматову. На последнюю постоянное общение с Тюльпановой, умевшей без видимых усилий прилежно и бесконфликтно следовать гимназической программе и требованиям воспитателей, влияло благотворно. Ахматова существенно прибавила в учёбе, укротила нрав и понемногу превращалась в глазах учителей и одноклассниц из опасной и непредсказуемой ощетинившейся диковины в незаурядную юную особу, хотя своенравную и острую на язык, но в общем терпимую и даже – весьма привлекательную:

> Она выросла, стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой развивающейся девушки, с чёрными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определённо вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне чёрных волос и тёмных бровей и ресниц.

«Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг и очень изменилась внутренне и внешне», – вспоминает Срезневская. К этому следует добавить, что на осень-зиму 1903–1904 годов приходится первое знакомство Ахматовой с «большой» театральной жизнью столицы, связанной прежде всего с блистательными оперными и балетными постановками тогдашнего императорского Мариинского театра. На этот сезон Андрей Антонович, точно исполняянегласные светские правила, присущие образу жизни столичного «гражданского генерала», снял здесь ½ ложи и, если выдавалась возможность, брал с собой старших детей на особо примечательные спектакли. Ахматовой такие вечера выпадали нечасто и появляясь в обязательном гимназическом платье среди бархатно-золотого великолепия, она тушевалась и чувствовала себя крайне неловко. Однако впечатления, вынесенные отсюда, на всю жизнь оставили в ней благородное пристрастие к высокому и сложному искусству хореографии и вокала, представленных в эту зиму на мариинской сцене непревзойденными созданиями Анны Павловой и Фёдора Шаляпина:

Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой prima —
Ты – наш лебедь непостижимый, —
И острит опоздавший сноб.
Звук оркестра, как с того света
(Тень чего-то мелькнула где-то),
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб?
И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома, —
Наша слава и торжество!
Он сердца наполняет дрожью
И несётся по бездорожью
Над страной, вскормившей его.[179]

Год завершался. В сочельник, 24 декабря, в доме Шухардиной, как принято, вовсю суетились, устанавливая ёлки, а Ахматова с Валерией и Сергеем Тюльпановыми отправились в Гостиный двор докупать недостающие до совершенной рождественской красоты гирлянды, игрушки, подсвечники и прочую ёлочную мишуру. День был прекрасный. Бодро проносились санные упряжки. Довольны были все без исключения царскосельские обитатели, предвкушая вечерние разговины. Благовестили храмы и навстречу им открыты были бездонные небеса с незримыми ангельскими хорами. Болтая, Ахматова шла по нарядной Оранжерейной улице. Четырнадцать раз уже после её рождения обернулось небо света, двигаясь вновь к исходному месту, как бы в собственном своём вращении, когда Тюльпанова, прервав подругу, сказала: «Мальчики Гумилёвы», остановилась, поздоровалась и представила Ахматовой встреченных гимназистов.

Я с ними была раньше знакома, – вспоминала Валерия Сергеевна, – у нас была общая учительница музыки – Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!) что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным.

Справедливости ради нужно сказать, что и у младшего из братьев Гумилёвых, Николая, никакого интереса эта встреча не пробудила. Был он печален и рассеян, постоянно хмурясь каким-то своим, должно быть, невесёлым мыслям. Зато Дмитрий Гумилёв, увлечённый Тюльпановой не на шутку, был в восторге от подобного «рождественского подарка» и всю обратную дорогу от Вокзальной площади до угла Оранжерейной и Средней, где в доме Полубояринова квартировали Гумилёвы, донимал брата бурными выражениями своей радости.

А вечером, когда первая рождественская звезда 1903 года просияла над Царским Селом, Ахматова, напрочь позабыв о мимолётном знакомстве, встречала в доме Шухардиной за изобильным семейным столом волшебную праздничную ночь. Горели свечи на ёлке, огни переливались в стеклянных бусах и золочёных шарах, довольный бас Андрея Антоновича перекрывал хохот сестёр и братьев, а детства почему-то не было. Детство уже незаметно кончилось днём, а вместе с детством Ахматовой уходила в небытие целая эпоха патриархального российского благополучия, которая навсегда осталось связанной в её стихах с ранними царскосельскими днями, проведёнными под кровом дома Шухардиной, около старого вокзала, на перекрестке улицы Широкой и Безымянного переулка:

Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя, —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут ещё до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы

Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичьий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая…
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот царственный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.[180]

Первая фотография Ахматовой в 11 месяцев. Май 1890 г.

Преображенский кафедральный собор в Одессе. 1900-е гг.

Император Александр III

Тертий Иванович Филиппов, государственный контролёр

Фасад здания Государственного контроля на набережной Мойки, 76. Фотография 1911 г.

Семья Горенко. Андрей Антонович, Инна Эразмовна с Ириной на руках, Инна, Анна, Андрей. 1894 г.

Инна Эразмовна с сыном Виктором. Севастополь. 1899 г.

Виктор и Анна Горенко. Севастополь. 1890-е гг.

Виктор и Ия Горенко. Севастополь. 1890-е гг.

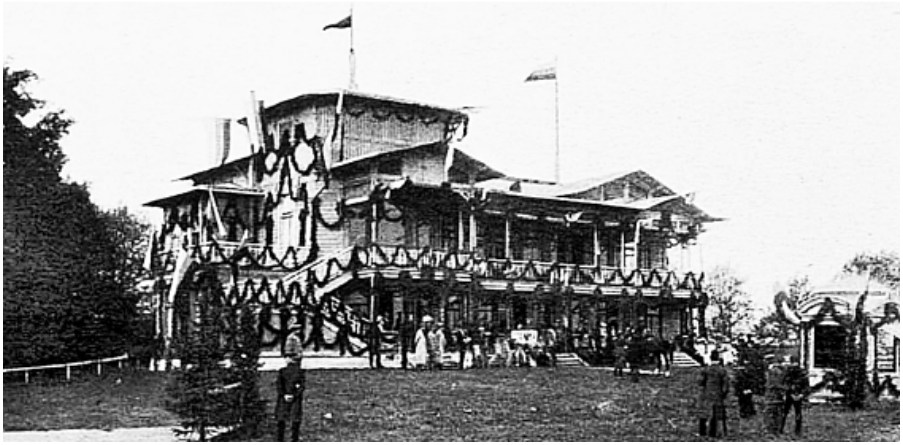
Гугенбург. Кофейня в лесу. Открытка начала XX в.

Царское Село. Фотография 1900-х гг.

Царское Село. Улица Широкая. Дом Шухардиной (?). Открытка начала XX в.

Здание вокзала в Царском Селе, арх. К. Тон. Фотография конца XIX в.

Павловский музыкальный вокзал. Фотография 1900-х гг.



Царскосельский ипподром. Фотография 1911 г.

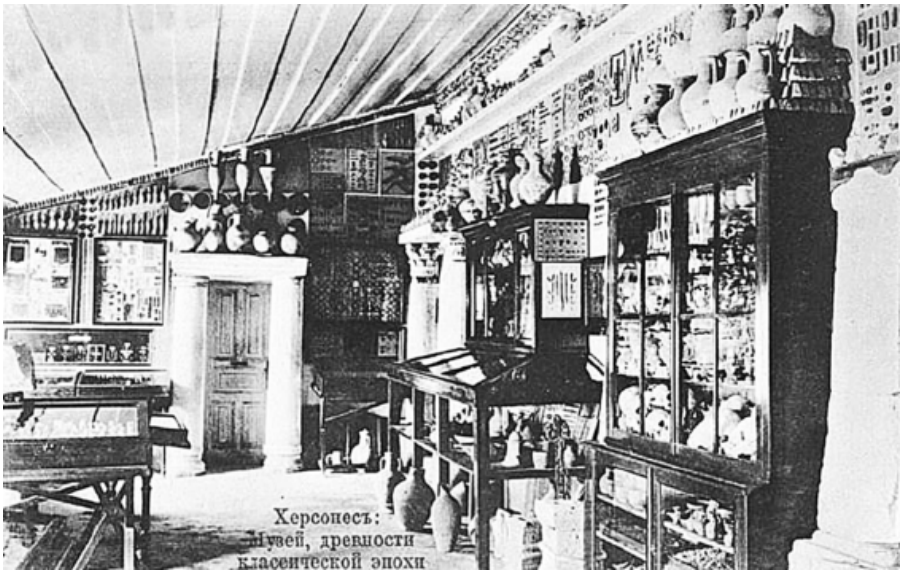
Памятник А. С. Пушкину в Лицейском саду. Ск. Р. Р. Бах. Фотография 1900 г.

Царское Село. Маріинская гимназія. Открытка начала XX в.

Киев. Крещатик. Гостиница «Национальная». Открытка начала XX в.

Севастополь. Дом Горенко на Екатерининской улице (ул. Ленина, 12). Современная фотография

Херсонес. Открытка начала XX в.



Музей древностей в Херсонесе. Открытка начала XX в.

Иннокентий Фёдорович Анненский. 1900-е гг.

Расе. Статуя Богини мира в Царском Селе. Современная фотография

Анна Горенко. Евпатория. 1905 г.

Часть третья
Над чёрною бездной

I

Война с Японией – Бой у Чемульпо – Стратегия А. Н. Куропаткина – Боевые действия на суше – Ведомство великого князя Александра Михайловича и крейсерская война – З. П. Рожественский – Формирование 2-й Тихоокеанской эскадры. – «Мы все умрём, но не сдадимся».

– Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война! – так своеобразно в первые недели нового 1904 года подытожил российско-японский дипломатический конфликт вокруг Манчжурии и Кореи Вячеслав Константинович Плеве, матёрый царедворец, утвердившийся на самом излёте своей блистательной карьеры в кресле главы Министерства внутренних дел. В вопросах российского проникновения в Приморье Плеве слыл «ястребом», полностью придерживаясь – по своим собственным полицейско-охранительным соображениям – стороны непримиримого к воинственным дальневосточным азиатам статс-секретаря Александра Безобразова. Вместе с ними «партию войны» при Николае II составлял и дальневосточный наместник Е. И. Алексеев; в три голоса они уже полгода заклинали царя ни на йоту не уступать японцам ни в манчжурских делах, ни во влиянии на Сеул, – не говоря уж о разрешении контролировать корейские земли с помощью вооруженной силы.

Противоположную сторону представлял военный министр Алексей Николаевич Куропаткин, к которому император весьма благоволил за строгую военную исполнительность, неизменное прямодушие и личную бесчувственность к интригам. Куропаткин, напротив, советовал хранить хрупкий мир, сложившийся в Приморье, тем более что японские верхи, по словам министра, понимая несоизмеримость потенциала своего острова с возможностями огромной материковой России, не могут стремиться к войне иначе, как только до крайности раздражённые дерзкой непредсказуемостью российской дальневосточной политики:

– А в России война с Японией будет сейчас крайне непопулярна, и противоправительственная партия, конечно, воспользуется этой войной, чтобы увеличить смуту…

Что же касается самого Николая II, то, казалось, он всё-таки надеялся, что кризис в Приморье не потребует военных усилий больших, нежели простая демонстрация морской и сухопутной мощи – вслед за политическими демаршами и интенсивной работой дипломатии. Всю вторую половину 1903 года русские и

японские златоусты мучительно пытались утрясти проект Соглашения, определявшего интересы обеих стран в Корее и Манчжурии. К зиме взаимные дипломатические усилия миролюбцев стали ослабевать, а воинственные призывы, напротив, звучали всё громче и громче. 24 декабря наместник Алексеев телеграфировал в Петербург об определённом намерении японцев установить протекторат над Кореей силой оружия и об явных признаках подготовки десанта для захвата Сеула. Однако Петербург категорически запрещал инициировать военную развязку. «Желательно, чтобы японцы, а не мы открыли военные действия. Поэтому если они не начнут действия против нас, то Вы не должны препятствовать их высадке в Южную Корею», – писал Николай II Алексееву. Это пожелание было доведено до чрезвычайного посланника в корейской столице Александра Павлова, который такую позицию полностью разделял и одобрял. Начав дипломатическую карьеру при российской дипломатической миссии в Китае ещё в незапамятном 1891 году, Павлов вполне освоил тонкости восточной дипломатии, имел большое влияние на сеульского владыку Конджона и также полагал вполне возможным разрешить конфликт в Приморье длительной «войною нервов»[181].

Но японцы, опрокинув расчёты российских стратегов, пошли напролом.

24 января (6 февраля) 1904 года дипломатические отношения между Россией и Японией были разорваны, и в тот же день японский флот двинулся с базы в Сасэбо к Порт-Артуру. 26 января отдельная эскадра контр-адмирала С. Уриу окружила сеульскую гавань Чемульпо и высадила десант. Находившийся в гавани отряд русских кораблей – быстроходный крейсер «Варяг», канонерская лодка «Кореец» и пароход «Сунгари» – оказался в западне. Всё же командир «Варяга» Всеволод Федорович Руднев, помня распоряжение Петербурга, хладнокровно выжидал.

За тридцать без малого лет, прошедшие после выпуска Морского училища в 1876-м, этот ученик Андрея Антоновича Горенко дослужился до капитана 1-го ранга, пройдя службу на семнадцати кораблях и совершив три кругосветных плавания. «Варяг» был десятым кораблем, на котором Руднев принял командование, вероятно, самое нелёгкое в своей карьере.

Бронепалубный четырёхтрубный крейсер 1-го ранга, в 1901 году вошедший в 1-ю Тихоокеанскую эскадру, считался очень сложным в эксплуатации, ибо имел в конструкции целый ряд экспериментальных технических новинок, которые предстояло ещё оценить в действии. За год командования Руднев подчинил своей воле строптивый корабль и, несмотря на хроническую

нехватку офицерских кадров, сумел создать образцовую команду, составляющую с орудиями и механизмами как бы единое целое. В качестве действенного аргумента в напряжённой, чреватой всевозможными провокациями дипломатической игре присутствие стационером[182] в портовом пригороде Сеула новейшего русского крейсера с блестящим, вышколенным экипажем было сильным ходом: «Варяг» должен был стоять и пугать. Однако для глобального военного противостояния русских сил в Чемульпо явно недоставало, что также, очевидно, входило в замысел российской стороны, не желавшей провоцировать эскалацию конфликта. Но теперь, когда японцы, не обременяя себя европейскими условностями, в одночасье, без ультимативных нот и назначенных сроков, перешли от дипломатии к боевому развертыванию в Корее, вся эта хитроумная политическая вязь Петербурга и Владивостока превратилась в роковой просчёт, поставивший один из лучших кораблей русского флота и приданные ему суда на грань гибели.

Накануне Руднев побывал в Сеуле, где посланник Павлов, полагая происходящее изощрённой политической провокацией, вновь выразил твёрдую уверенность в скором возобновлении мирных переговоров. Однако утром 27 января на экстренном совете командиров иностранных судов, собранном на английском крейсере «Ищейка» («Talbot»), каперангу вручили ультиматум, полученный от адмирала Уриу: японцы намеревались атаковать русские военные корабли немедленно, даже если для этого эскадре придётся, нарушая все международные договорённости, вести боевые действия непосредственно в нейтральных водах порта, среди кораблей других, непричастных к конфликту, держав. Ситуация, наконец, прояснилась.

– Уриу прислал мне вызов на бой, – лаконично подытожил услышанное Всеволод Фёдорович. – Я принимаю вызов и выйду в открытое море до полудня. Я приму бой с его эскадрой, как бы она велика ни была, но сдаваться никогда не буду, равно как не буду и сражаться на нейтральном рейде…

Вернувшись на «Варяг», Руднев, сообщил команде об открытии боевых действий.

– Мы идём на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была, – повторил он. – Никаких вопросов о сдаче не может быть. Мы не сдадим ни крейсера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый обязанности точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры, помня, что каждый снаряд должен нанести вред неприятелю.

В одиннадцать двадцать утра «Варяг» двинулся к выходу с

рейда; в кильватере шёл «Кореец»:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает…
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают,
Готовьтеся к бою, орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.

Видя, что на всех иностранных судах, стоявших в Чемульпо, команды выстроились во фронт, салютуя отважным русским, Руднев отдал приказ поднять на крейсере флажный сигнал по международному своду: «Не поминайте лихом!». В ответ с итальянской «Эльбы» раздался имперский гимн «Боже, Царя храни!..», подхваченный затем на других кораблях; «Ура!» гремело со всех сторон:

И с пристани верной мы в битву пойдём,
Навстречу грядущей нам смерти.
За родину в море открытом умрём,
Где ждут желтолицые черти.

Японская эскадра расположилась в строе пеленга[183] от видневшегося на горизонте острова Риху. Руднев насчитал четырнадцать кораблей: шесть крейсеров и восемь миноносцев. В 11 часов 45 минут с флагманского крейсера «Асама» был сделан пристрельный выстрел (это был первый выстрел в русско-японской войне) и… началось.

За один час самого знаменитого боя в военно-морской истории с «Варяга» было выпущено 1105 снарядов 152-, 75-и 47-милиметровых калибров. Комендоры крейсера творили невиданное чудо, повинуясь той высшей степени вдохновенного порыва, который вдруг наступает на поле боя, на сцене или в мастерской лишь для избранных и только раз в жизни. Крейсер накрыла лавина огня, однако синхронное волевое усилие, осуществлённое разом всей вступившей в бой командой, на эти десятки минут сообщило каждому эйфорическую нечувствительность к боли и страху, и все моряки действовали потому точно, спокойно, не торопясь, как и желал их командир. Сам каперанг чуть не погиб в разгар сражения, когда пополудни

снаряд, разорвавшийся у фок-мачты, осыпал осколками рубку, поразив наповал находившихся рядом горниста и барабанщика. Раненный в голову, в окровавленном мундире Руднев азартно поднялся на мостик:

– Братцы, я жив! Целься верней!

Управление кораблём он не терял ни на минуту. И японцы дрогнули.

Вся японская эскадра за время боя смогла произвести около полутысячи выстрелов. Суда Уриу не поспевали за молниеносными маневренными эволюциями сумасшедшего русского крейсера (которые с исключительным мастерством прикрывал «Кореец», вступивший в бой чуть позже), и поэтому скоростную артиллерийскую дуэль невиданной ожесточённости вели с «Варягом», в сущности, лишь крейсера «Асама» и «Нанива». Эпизодически их пытались активно поддержать «Чиода» и «Ниитака». Остальные японские корабли реагировали на происходящее беспорядочной редкой стрельбой: всё происходило слишком быстро. В 12. 05. «Варяг», сотрясаемый ударами снарядов, проскочил траверз острова Иодолми и на несколько минут оказался вне зоны огня эскадры. Кормовой мостик и орудийная башня оставшегося позади «Асамы» были разрушены и охвачены пламенем. Путь на Порт-Артур был открыт, но «Варяг» на глазах ужаснувшихся японцев развернулся и вновь пошел на сближение!

Верный «Кореец» совершил оверштаг вслед за своим флагманом.

Второй раз сквозь японский строй «Варяг» прошёл, как раскаленный нож сквозь масло. Горели «Чиода» и «Такачихо», шёл ко дну метнувшийся в атаку миноносец, а русский крейсер начал оседать и крениться на левый борт, словно наскочив в узком фарватере на мель. Затем «Варяг» рванулся к Чемульпо и, оторвавшись от двух выкатывающихся на линию стрельбы японцев, оказался в нейтральных водах. «Кореец», невредимый, беспрепятственно вернулся за ним к месту прежней стоянки.

После этого японские корабли вновь отошли к Иодолми и бой закончился.

Несколько часов, которые понадобились японской эскадре, чтобы прийти в себя после сражения, Руднев использовал для того, чтобы не доставить противнику ни пленных, ни трофеев: «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен. Вместе с «Варягом» был затоплен и «Сунгари», безоружный, но также не спустивший российский флаг перед противником. Все команды до занятия гавани японцами рассредоточились по экипажам иностранных судов. Подводя итог своей миссии в Чемульпо, Руднев мог

констатировать, что в сложившейся ситуации сделал всё, зависящее от него. Он до последней возможности обеспечивал дипломатические манёвры российского МИДа, попытался в условиях внезапно начавшейся войны осуществить прорыв, а убедившись в невозможности такового (когда были перебиты рулевые приводы и крейсер на ручном управлении стал терять скорость), возобновил бой, стремясь нанести противнику максимальный урон:

> По сведениям, полученным в Шанхае, японцы понесли большие потери в людях и имели аварии на судах, особенно пострадал крейсер «Асама», который ушел в док. Также пострадал крейсер «Такачихо», получивший пробоину; крейсер взял 200 раненых и пошел в Сасебо, но дорóгой лопнул пластырь и не выдержали переборки, так что крейсер «Такачихо» затонул в море. Миноносец затонул во время боя. Донося о вышеизложенном, считаю долгом доложить, что суда вверенного мне отряда с достоинством поддержали честь Российского флага, исчерпали все средства к прорыву, не дали возможности японцам одержать победу, нанесли много убытков неприятелю и спасли оставшуюся команду.

Вернувшись в Россию, командир «Варяга» с некоторым удивлением узнал, что оказался главным героем событий, которые, стремительно усвоенные и преображённые народным мнением, стали в один ряд с Куликовым полем, Полтавой и Бородиным. В Одессе, Севастополе и Петербурге прошли торжественные встречи. Руднев получил контр-адмирала, офицеры и нижние чины – боевые награды и премии. И тем не менее привкус тревоги и горечи был в этом торжестве. Результаты великого боя 27 января 1904 года до сих пор вызывают ожесточённые дискуссии историков и публицистов: кто же оказался победителем? «Варяг» не смог прорваться в Порт-Артур, и был в конце концов затоплен. Но и японскую эскадру по итогам схватки четырнадцати кораблей с двумя (или, если угодно, шести крейсеров с одним) назвать победителем, по совести, нельзя. По удивительной формуле, найденной Рудневым, «Варяг» не победил сам, но и «не дал японцам одержать победу». Эти слова, вырвавшиеся случайно и не предназначенные в момент высказывания для большой истории, точно выражали общее переживание современников странного единоборства, впервые наглядно указавшего вступающей в новое столетие Российской Империи какую-то невиданную ещё в её судьбе

провиденциальную миссию: *Не победить, но не позволить одержать победу над собой.*

В этом было что-то очень грозное и мрачное не только для привыкшей к военным и политическим триумфам России, но и для всего европейского мира, мыслившего ещё категориями минувшего века. Это почувствовал в феврале 1904 года, просматривая передовицы австрийских газет с отчётами об открытии боевых действий на Дальнем Востоке, несостоявшийся филолог-классик, этнограф-беллетрист и автор тяжеловесных немецких стихотворных сатир Рудольф Грейнц (Greinz). Переживание было столь сильным и гнетущим, что памяти никогда не виданного им крейсера, покоящегося на грунте Жёлтого моря в девяти тысячах километрах от Тироля, он посвятил стихотворение, которое, в отличие от прочих многочисленных разнообразных сочинений, оставило за Грейнцем право на литературное бессмертие:

Lebt wohl, Kameraden, lebt wohl, hurra!
Hinab in die gurgelnde Tiefe!
Wer haete es gestern noch gedacht,
Dass er heut’ schon da drunten schliefe!

Эти стихи, появившиеся в мюнхенском журнале «Jugend» 12 (25) февраля 1904 года, спустя две недели после боя и гибели русских кораблей, в апреле были переведены Еленой Студенской и, положенные на музыку кларнетистом 12-го гренадерского Астраханского полка Алексеем Турищевым (специально для чествования экипажей «Варяга» и «Корейца» в Петербурге), стали для России XX века национальным гимном и, вероятно, самым главным итогом противостояния под Чемульпо:

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
В кипящее море под нами!
Не думали мы ещё с вами вчера,
Что ныне уснём под волнами!

«Маленькая победоносная война» на далёких восточных рубежах началась не так, как ожидали в Петербурге, и становилась месяц от месяца всё неожиданнее, страшнее, значительнее, как будто какие-то гневные верховные силы стремились как можно больнее уязвить и жестоко смирить самонадеянную Империю, ещё недавно уверенную в своих исторических предначертаниях. Уже в царском «Манифесте»

(помеченном всё тем же трагическим 27 января 1904 года) в обличениях японского вероломства неприятно задевала многословно-суетливая невнятица формулировок:

> Мы изъявили согласие на предложенный Японским Правительством пересмотр существовавших между обеими Империями соглашений в Корейских делах. Возбужденные по сему предмету переговоры не были, однако, приведены к окончанию, и Япония, не выждав даже получения последних ответных предложений Правительства Нашего, известила о прекращении переговоров и разрыве дипломатических сношений с Россиею. Не предуведомив о том, что перерыв таковых сношений знаменует собою открытие военных действий, Японское Правительство отдало приказ своим миноносцам внезапно атаковать Нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артура. По получении о сем донесения Наместника Нашего на Дальнем Востоке, Мы тотчас же повелели вооруженною силою ответить на вызов Японии.

Низвергшаяся на Петербург лавина дальневосточных новостей, неожиданных и неприятных, породила в столичных верхах некоторую растерянность. Мудрый Куропаткин, загодя уверенный в том, что придворные «ястребы», оказавшись перед лицом действительной военной угрозы «наделают ошибок и пошлют поправлять дело», смиренно сложил с себя должность военного министра и отбыл командовать Манчжурской армией. «Поправлять дело» Куропаткин решил «по-кутузовски», завлекая высадившиеся на континент войска противников-островитян в глубину огромного сухопутного театра боевых действий:

– Чем дальше на материк по Манчжурии заберётся к нам Япония, тем поражение её будет решительнее.

Он мыслил навязать Японии длительную войну на истощение. Этот расчёт, несомненно, верный, не учитывал лишь одного: высокомерную неготовность самих россиян долго церемониться с какими-то островными варварами из азиатских дебрей.

– Да шапками их закидать!..

С первых дней Куропаткину противостоял, путая все планы, наместник Алексеев, требовавший быстрых и громких побед русского оружия. Между тем к весне Порт-Артур был осаждён с моря и суши, основные силы 1-й Тихоокеанской эскадры оказались запертыми в гавани и постепенно уничтожались минными атаками и огнём осадной японской артиллерии.

Высадившиеся на континент войска маршала Оямы вели кровопролитные арьергардные бои, демонстрируя невиданную стойкость и волю к победе. Летняя попытка русских перемолоть японские силы в масштабном оборонительном сражении под манчжурским городом Ляояном успеха не имела. Из-за угрозы окружения эту позицию пришлось оставить и, отодвинувшись к северу, занять новую позицию у города Мукден. А время пока работало на японцев: в августе положение блокированного Порт-Артура стало отчаянным.

Из всех российских высших морских руководителей более всего к подобному развитию событий был готов великий князь Александр Михайлович – шеф Главного управления торгового мореходства и портов предсказал происходящее в своей аналитической записке ещё восемь лет назад. Но он старался не терять присутствия духа и энергично подключился со своими сотрудниками к решению вопросов боевого противодействия японцам. Ведомство великого князя уже в феврале 1904 года срочно переориентировалось на организацию крейсерской войны, то есть на перехват судов нейтральных европейских держав, доставляющих (контрабандой) грузы в воюющую Японию. «Получив необходимые данные из нашей контрразведки, – вспоминал Александр Михайлович, – я выработал план крейсерской войны, который был утверждён советом министров и который заключался в том, что русская эскадра из легко вооружённых пассажирских судов должна была иметь наблюдение за путями сообщения в Японию. При помощи своих агентов я приобрёл в Гамбурге у “Гамбург-Американской линии” четыре парохода по 12 000 тонн водоизмещения. Эти суда, соединённые с несколькими пароходами Добровольного Флота, составляли ядро эскадры для крейсерской войны. Они были снабжены артиллерией крупного калибра и были поставлены под начальство опытных и бравых моряков». Следует добавить, что для выполнения боевых задач пароходы Добровольного Флота подготовлялись в черноморских портах, то есть под непосредственным попечением одного из заместителей великого князя – статского советника Андрея Антоновича Горенко.

В двадцатых числах июня 1904 года тайно переоборудованные для крейсерства «добровольцы» «Петербург» и «Смоленск» вышли из Севастополя и, беспрепятственно миновав проливы, подняли военные флаги. За первые десять дней крейсерской охоты им удалось задержать в Красном море три английских парохода и один немецкий транспорт с военной контрабандой. Это был несомненный успех, но… Главноуправляющий торгового мореплавания и портов оказался

призван в Царское Село, где ему и морскому министру Ф. К. Авелану предъявили ноты протеста Германии и Великобритании (англичане особенно возмущались тем, что коварные русские проскользнули из Чёрного моря в Средиземное под торговыми флагами).

Взволнованный Николай II требовал «объяснений».

– Какие же объяснения? – удивился Александр Михайлович. – С каких это пор великая держава должна приносить извинения за то, что контрабанда, адресованная её противнику, не дошла по назначению? Зачем мы послали наши корабли в Красное море, как не с целью ловить контрабанду? Что это, вой – на или обмен любезностями между дипломатическими канцеляриями?

Однако по решению императора все задержанные пароходы пришлось отпустить с миром, а генерал-адмирал Алексей Александрович приказал впредь освободить от каких-либо досмотров и обысков суда Германии (и, заодно, Франции) как заведомо «дружественные». После этого говорить о каких-либо крейсерских операциях уже не приходилось, и Япония могла благополучно получать из Европы все необходимые ей для ведения боевых действий грузы. Александр Михайлович сгоряча хотел было просить об отставке, но воздержался, ибо в петербургском Адмиралтействе вершились такие дела, по сравнению с которыми история с неудавшимся крейсерством казалась безобидным недоразумением. По злой иронии судьбы источником несчастья на этот раз оказались те самые великокняжеские «Соображения об усилении Тихоокеанского флота» (1896 года!), которые в недобрый час попали в руки и. о. начальника Главного морского штаба контр-адмирала Зиновия Рожественского, человека со странностями.

Ещё в Морском училище отличник Рожественский умудрился так настроить против себя и товарищей и всё начальство, что по общему молчаливому соглашению остался без Нахимовской премии. Дальнейшие его назначения поражают своей пестротой, которая объясняется просто: все и всюду при первой возможности стремились перевести образцового офицера куда-нибудь подальше (с повышением, разумеется)[184]. В окружающем мире Рожественский искал несовершенств и, найдя, неистово наслаждался. Русский флот виделся ему собранием тупых уродов на ветхих посудинах, а своё пребывание в его рядах Рожественский мыслил трогательным подвигом патриота, вынужденного, рискуя жизнью, служить на «плавучей груде металлолома». Грядущее возложение собственного живота на алтарь бездарного Отечества было излюбленной темой его разговоров с сослуживцами. Тем, кто пытался уклониться от

смердяковских бесед, Рожественский мстил. Помимо того, он искренно любил преодолевать всевозможные трудности, а в отсутствие таковых – создавал трудности сам, чтобы потом, натурально, преодолеть.

Появление такого человека в Адмиралтействе за десять месяцев до начала русско-японской войны было трагической случайностью, одной из тех фатальных человеческих ошибок Николая II, которыми Господь начинал казнить Россию. На рубеже столетий под руководством Рожественского, командовавшего тогда Учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота, проходил морскую стажировку двоюродный брат императора великий князь Кирилл Владимирович – и остался в восторге от «сурового и прямодушного адмирала, страстно преданного своему долгу и одержимого непреклонным стремлением преодолевать любые препятствия». Николай II прислушался к мнению двоюродного брата (ведь тот изменил только в 1917-м!) и обратил на Рожественского внимание. А в 1902 году во время показательных учебных манёвров в честь визита Вильгельма II, германский кайзер вдруг изрёк:

– Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте служили такие талантливые адмиралы, как ваш Рожественский.

Николай II прислушался к мнению «кузена Вилли» (ведь тот напал только в 1914-м!) и Рожественский стал контрадмиралом свиты и младшим флагманом Балтийского флота. Попав затем в кресло начальника Главного морского штаба, Рожественский прыгнул явно выше головы (по штату тут должен был находиться вице-адмирал или адмирал). Его, конечно, убрали бы, но грянула война, – тут-то незадачливый временщик и вцепился в давний проект императорского конфидента. Сам автор «Соображений об усилении Тихоокеанского флота», вызванный в Главный морской штаб, слушал Рожественского с изумлением: контр-адмирал предлагал немедленно собрать все балтийские силы (включая недостроенные корабли и транспорты) в один плавучий отряд и идти так через три океана на помощь Тихоокеанской эскадре.

Александр Михайлович возразил, что морские силы на Дальнем Востоке следовало, по его мнению, накапливать постепенно, перебрасывая корабли с Балтики в Желтое море ещё до войны, небольшими группами и по разным маршрутам. Идти же полгода гуськом на виду всего мира к заранее объявленной цели – значит заведомо передать противнику инициативу в определении места, времени и тактики грядущего решающего боя.

Рожественский сказал, что понимает самоубийственность плана, но готов лично возглавить это торжественное

жертвоприношение – единственно из любви к Отечеству:

– Общественное мнение должно быть удовлетворено. Я знаю это. Я вполне отдаю себе отчёт в том, что мы не имеем ни малейшего шанса победить в борьбе с японцами. Я готов на самую большую жертву. Это тот максимум, который можно ожидать от человека!

Александр Михайлович заметил, что Отечество вправе ожидать от своих морских начальников чего-нибудь более существенного, чем готовности пойти ко дну – и откланялся. Между тем самоубийственная фантазия Рожественского оказалась неожиданно востребованной в печати: газеты публиковали многочисленные статьи, в которых некие «специалисты» уверенно подсчитывали «морской тоннаж» и «боевой коэффициент» балтийских и тихоокеанских кораблей, доказывая затем, что их соединённая мощь является единственной силой, способной мгновенно сокрушить Японию. В придворных кругах, напуганных дальневосточными неудачами, Рожественского стали сравнивать с адмиралом Нельсоном, полным решимости погибнуть, но устроить «жёлтым макакам» новый Трафальгар. Маниакальная решимость Рожественского подействовала и на Николая II. В апреле 1904 года на базе Балтийского флота была создана 2-я Тихоокеанская эскадра и началась подготовка самого грандиозного морского похода в истории человечества, в которую оказались так или иначе вовлечены властные структуры столицы. Ужас был в том, что большинству профессиональных моряков была очевидна безнадёжная пагубность затеи. Многие отчаянно протестовали. Но все были связаны военной дисциплиной и, донимая начальство и отводя душу в дружеских беседах, в служебные часы день за днём трудолюбиво предуготовляли себе и флоту верную погибель. Рожественский (уже вице-адмирал!) мог торжествовать: любимый им мрачный пафос самоубийства распространился в эти месяцы на всё морское ведомство. В августе во время прощальных торжеств командир броненосца «Александр III» капитан 1-го ранга Н. М. Бухвостов сказал подобающую случаю речь:

– Все вы желаете нам победы. Нужно ли говорить, как мы сами её желаем. Но победы не будет! За одно я ручаюсь: мы все умрём, но не сдадимся!

И три десятка кораблей отправились в бесконечно долгий путь, покорные судьбе…

II

Военная зима в жизни Ахматовой – Кнут Гамсун – Встречи на катке – Семья Гумилёвых – Пасхальный бал у Гумилёвых – Бурная весна – Бал выпускников в Городовой Ратуше – Пятнадцатилетие в Царском Селе – «Императорский букет».

Подвиг «Варяга» и «Корейца» поразил воображение юной Ахматовой, пережившей в военном январе 1904 года общий патриотический порыв. Много лет спустя в поэме «Путём всея земли» она упомянет бой под Чемульпо среди исторических событий, отделивших её царскосельское отрочество от юношеских странствий (совпавших с российскими потрясениями начала XX века). Однако о самой войне в Приморье четырнадцатилетняя мариинская гимназистка имела, разумеется, представление смутное, мало чем отличаясь в этом от большинства взрослых современников. Газеты и журналы в эти первые месяцы склонны были представлять происходящее как агрессию восточного варварства и «дикости» против «цивилизованного мира». В ход бойко шли курьёзы – ведь у японцев всё было «как не у людей»: траурный цвет белый, а не чёрный, лодки вытаскиваются на берег не носом, а кормой, закладка в книгу кладётся не вверху, а внизу. Солидный «Вестник Европы» описывал японцев крохотными безобразными человечками с атрофированными ногами, в общем, – вчерашними лесными дикарями-пигмеями, ещё нетвердыми в искусстве ношения штанов. Более свободный «Русский вестник» прямо намекал на то, что новоявленных соперников Российской империи из-за «малорослости» и «сморщенных физиономий» трудно отличить от обезьян. А издания рангом ниже на все лады смаковали животную безнравственность этих детей джунглей, чьи женщины вместо замужества «ведут весёлую и свободную жизнь» в специальных «чайных домах» (!), а мужчины молятся языческим богам, считают доблестью коварство и органически не способны понять, что значат слова «любовь», «страдание» и «кровь»[185].

Что же касалось русского воинства, то оно, как и полагается, было доблестно. Писали о подвиге полкового священника Стефана Щербаковского, поднявшего бойцов в атаку под Тюренчином, о славном отряде подполковника 4-го Заамурского железнодорожного батальона Фёдора Спиридонова, доставлявшего стратегические грузы в осаждённый Порт-Артур. Страницы периодики пестрели бодрыми портретами военачальников, фотографиями и зарисовками боёв и будней. Правда, мгновенное окружение приморской крепости несколько

обескуражило российских читателей, однако корреспонденты, сообщая об этом казусе, приводили мнение порт-артуровского коменданта: к успешному отражению и скорой победе было готово решительно всё – лишь коварство врага, открывшего боевые действия без объявления войны, спутало карты… Вплоть до осени общий настрой определяла простая формула: «Перестаньте нервничать, сидите себе спокойно, вы за надёжной спиной»[186].

Между тем царскосельские будни обитателей дома Шухардиной шли своим чередом. В «Записных книжках» Ахматовой есть автобиографический набросок, перечисляющий события зимы 1904 года:

> Каток. Мар<иинский> театр – 1/2 ложи. Кнут Гамсун. Пан. Виктория. Ибсен. Выставки. Музеи. Апухтин и рядовые фр<анцузские> романы. Уроки французского языка у m-me Матье. Немецкого – у Fr Шульц.

Имя Кнута Гамсуна тут подчёркнуто. После того, как роман норвежского писателя «Голод» был в 1892 году издан на русском, популярность Гамсуна в России скоро стала конкурировать со славой его соотечественника Генриха Ибсена, чьи пьесы на рубеже веков входили в репертуар всех прославленных театров Петербурга и Москвы. Однако если Ибсен с его грандиозными социально-философскими притчами являлся властителем дум, то Гамсун, обращавшийся прежде всего к молодёжи, стал учителем жизни, точнее – «жизнетворчества». В 1901 году вышел роман «Пан», в 1904 году – «Виктория», и несколько дореволюционных русских поколений интеллигенции прошли в юности через своеобразную игру в гамсуновских героев. Юноши подражали лейтенанту Глану и Юханессу, девушки – Эдварде и Виктории. Это было время, когда гимназист или студент, увидев симпатичную особу, начинал знакомство с вопроса: «Вы любите “Пана”?» – и услышав неизбежное «да», продолжал боевые действия по начертанному Гамсуном сценарию. Ахматова отдала дань этой моде вполне. Своенравные героини Гамсуна, затевавшие со своими возлюбленными изощрённую «любовную войну», пришлись ей по душе, все их приёмы и жесты она запомнила и усвоила, только вот воевать пока было не с кем. Тюльпановой (тоже начитавшейся Гамсуна) повезло больше: Дмитрий Гумилёв был увлечён не на шутку, и та могла практически совершенствовать новейшее искусство сердечного «мучительства», регулярно встречаясь с поклонником на катке. Дмитрий, сохраняя приличия, являлся туда с младшим братом, Тюльпанова – с Ахматовой. Затем Дмитрий увлекал Тюльпанову,

а Ахматова доставалась Николаю, который оказался чрезвычайно учёным. Кружась с Ахматовой на коньках, он вместо обычной в таких случаях болтовни постоянно цитировал по-русски и по-французски какие-то стихи, а провожая подруг, в отличие от брата, налегавшего на комплименты и анекдоты, заговорил вдруг о древнем пророке Заратустре, заповеди которого, судя по всему, неплохо изучил. Был он некрасив, обаятелен, изящен, держался прямо. Толку от него не было никакого: он был влюблён в гимназистку Марианну Полякову.

Между тем заветный день 28 марта 1904 года, напророченный крымской цыганкой, которые, как известно, не ошибаются никогда, приближался:

> Знатного гостя жди до Пасхи,
> Знатному гостю кланяться будешь;
> Ни красотой твоей, ни любовью, —
> Песней одною гостя приманишь.[187]

И вот уже минули медленные и снежные страстные дни, уже святили у царскосельских храмов куличи, пасхи и расписные праздничные яйца в корзинах с рушниками, но, к неописуемому удивлению Ахматовой, ни дерзкий охотник и путешественник Глан, ни, на худой конец, печальный, влюблённый и гениальный поэт Юханнес не возник около неё и близко – только Тюльпанова, забежав перед всенощной, сообщила, что окончательно укрощённый Дмитрий зовет её на бал, который устраивают у себя Гумилёвы. Приглашение распространялось и на подругу, так что верной Ахматовой в очередной раз выпадала почтенная роль дуэньи. Делать было нечего, хотя скрывалось в этом что-то обидное и несправедливое, и Ахматова, безнадёжно опаздывая, как обычно, к пасхальной службе (домашние без особого почтения относились к православному обиходу) даже не замечала, погрузившись в горестные размышления, как прямо к ней навстречу, сквозь весенний мороз и пургу, уже несётся, нарастая в вышине, первый воскресный благовест колоколов собора Св. Екатерины:

> Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,
> И сущим во гробех живот даровав!

О семействе Гумилёвых, появившемся в Царском Селе в прошлом году, все говорили с почтением. Были они тут не чужими: в 1880-х отставной кронштадтский военный врач,

статский советник Степан Яковлевич Гумилёв приобрёл царскосельский особняк на Московской улице, но в середине 1890-х уступил его своему приятелю, старшему врачу Кирасирского полка В. А. Бритневу, а сам с семьёй перебрался в Петербург. Позже несколько лет Гумилёвы жили в Тифлисе – то ли по необходимости гражданской службы Степана Яковлевича, имевшего прибыльную должность в «Северном страховом обществе», то ли по слабости здоровья сына Дмитрия, которому врачи грозили чахоткой. Так или иначе, но в 1903-м Гумилёвы вновь обосновались в Царском Селе. Глава семейства, страдавший ревматизмом, окончательно удалился на покой, а двое его сыновей выросли, окрепли и предуготовлялись для столичной гражданской или военной карьеры. Тогда же с отцовской семьёй воссоединилась и рано овдовевшая дочь Степана Яковлевича от первого его брака – Шурочка Сверчкова с потомством. В Царском Селе Гумилёвы устроилось основательно, сняв, на первое время, целиком большой дом в самом центре города. Сыновья были отданы под крыло И. Ф. Анненского в Николаевскую гимназию, а деловитая и строгая Сверчкова сама стала учительствовать в дорогой частной школе, недавно открытой в Царском Еленой Левицкой, энтузиасткой английской системы совместного обучения детей.

Семейство Степана Яковлевича Гумилёва знало разные времена, но всегда и везде производило впечатление стоявшего на ногах исключительно твёрдо. Сама фамилия, звучащая для знатоков латыни интригующе-странно – то ли «усмирённые», то ли «втоптанные в грязь»[188], – красноречиво намекала на окружавшие род предания, уводившие в незапамятную, ветхую русскую средневековую старину. Шептались, что никакие они не Гумилёвы, а потомки неких несчастливых удельных князей, сокрушённых в жестокой борьбе между Москвой и Тверью и приговорённых московскими победителями носить во все времена новую фамилию как стальное неподвижное забрало[189]. Тогда же пресеклась и родовая знатность Гумилёвых: всё их мужское потомство было призвано идти по стезе духовной. В этом легенда пересекалась с былью. Все обозримые предки Степана Яковлевича, действительно, предстояли у престолов разных храмов Рязанской губернии, только он, взбунтовавшись, отправился в Московский университет, стал медиком, служил на кораблях Балтийского флота. Вторая жена его, Анна Ивановна, урождённая Львова, вела род от тверских и курских помещиков. Тут были сплошь воители, три века сражавшиеся под знамёнами Москвы и Петербурга на суше и море – на Перекопе, под Азовом, Очаковом, Аустерлицем, Варной. Крепкая порода чувствовалась и

в обоих братьях Гумилёвых, хотя Дмитрий был жизнерадостный красавец-атлет, а Николай имел черты неправильные, немного косил, склонялся к мечтательному одиночеству и, кажется, писал стихи. Жили все Гумилёвы дружно, открыто, хлебосольно, зажиточно, старших почитали, посты соблюдали, молились истово за Царя, Отечество и свой день насущный – в душевной простоте. Но простаками не были, знакомства заводили с разбором и знали себе цену.

Книги – вот что поразило Ахматову, явившуюся с Тюльпановой в назначенный срок в дом Полубояринова на улице Средней (неподалёку от памятного дома Дауделя). Книги тут были везде, во всех комнатах, в массивных шкафах, на полках, этажерках, книги переплетённые, с обрезами и тиснением, разрезанные и нетронутые, новые и зачитанные, толстые, тонкие, in folio, in quarto, in octavo[190]:

> Только книги в восемь рядов,
> Молчаливые, грузные томы,
> Сторожат вековые истомы,
> Словно зубы в восемь рядов[191].

В сочетании с множеством икон в окладах, переливавшихся праздничными огнями зажжённых лампад, добротной тёмной мебелью, гардинным плюшем и кистями это обилие книг вызвало в Ахматовой ту инстинктивную робость, которая невольно возникает в первое мгновение в храме, присутствии или парадной общественной зале – представить себе ежедневное домашнее и непринуждённое существование в такой обстановке она не могла. Между тем бойкое движение ощущалось везде: расторопно мелькала прислуга, улыбчивая Анна Ивановна Гумилёва встречала прибывающих в передней, двери растворялись, гостиная была полна народу. Вокруг патриарха, недвижно сидевшего в кресле, стояло несколько почтенных гостей в мундирах; среди молодёжи Ахматова узнала одну из дочерей Бритнева, Петра Сметанникова, Льва Плаксина, с ними были неведомые ей гимназисты и студенты. Сияющий Дмитрий Гумилёв, похристосовавшись с подругами, тут же упорхнул с Тюльпановой к роялю, где уже воцарилась Елизавета Михайловна Баженова. Ахматова осталась неприкаянной. Её заметили: среди множества одновременно звучащих голосов несколько раз отчётливо послышалось «лунатичка». Но тут, наконец, царственно, прозвучала первая фраза польского (все заулыбались и зааплодировали), стали разбиваться пары и танцы начались.

Строгая и неприступная, Ахматова пила свою чашу, свирепо

ненавидя Тюльпанову, которая, как рыбка, плыла среди танцующих, руководимая статным кавалером. Хорошо хоть Николай Гумилёв (как и Ахматова, он почему-то не танцевал) оказался, наконец, рядом и, тактично пошутив: «Что есть музыка? – Большой шум!» – пустился рассуждать о мужчинах, женщинах и танцах, упоминая всё время о каких-то «дифирамбических руках и ногах». Слушая краем уха, Ахматова даже машинально уяснила, что любимый Гумилёвым-младшим Заратустра был изучен по книгам новомодного Нитче (наверное, германца или австрияки). Менее всего интересовала её сейчас вся эта туманная философия древних языческих культов, однако уцепившись за неё, Ахматова могла продержаться пристойный срок и покинуть дурацкий бал, не скандализуя никого своим уходом. И она отвечала весело и живо, стараясь точно попадать в унисон репликам собеседника, так что возле них собралось ещё несколько таких же нетанцующих умников.

Гумилёв был явно польщён. Даже провожая гостью, он никак не мог остыть от беседы, и, аристократически картавя, читал нараспев:

Все люди верили глубоко,
Что надо жить, любить шутя,
И что жена – дитя порока,
Стократ нечистое дитя.
Но вам бегущие годины
Несли иной нездешний звук
И вы возьмете на Вершины
Своих подруг.[192]

Тут-то, в передней, наедине, Ахматова и рассказала ему, что не знает она никакого Нитче, и знать о нём ничего не хочет. Задыхаясь и давясь слезами, она зачем-то рассказывала ещё (Гумилёв так и застыл, смотря во все глаза) и про дудочку, и про светящиеся волны, и про чудную иностранку у берега, и про золотые дворцы и башни над морем, и про то, что она и сама может писать стихи, и получше, и стихотворение № * и № ** и даже № ***…

Очень было стыдно.

Приходилось признать, что и крымские цыганки в своих пророчествах иногда попадают пальцем в небо. Правда, Гумилёв стал теперь почему-то всё время попадаться ей на пути (караулил, что ли?), но Ахматова, раздражённая пасхальной неудачей, в сердцах обрушила на него все, почерпнутые из усиленного чтения Гамсуна, стрелы и язвы:

Мы много гуляли, – вспоминала Срезневская, – и в тех прогулках, особенно когда мы, не торопясь, шли из гимназии домой, нас часто «ловил» поджидавший где-то за углом Николай Степанович. Сознаюсь… мы обе не радовались этому (злые, гадкие девчонки!), и мы его часто принимались изводить. Зная, что Коля терпеть не может немецкий язык, мы начинали вслух вдвоём читать длиннейшие немецкие стихи, вроде «Sängers Fluch» Уланда (или Ленау, уж не помню…). И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу. А бедный Коля терпеливо, стоически слушал его всю дорогу и всё-таки доходил с нами до самого дома! Ну, не гадкие ли это, зловредные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно, и грустно вспоминать об этом.

Весной Ахматова вновь «закусила удила», так что даже Тюльпанова подчас лишь удивлённо качала головой, созерцая выходки подруги. Прочим же гостям дома Шухардиной и вовсе приходилось нелегко:

Жили они тогда недалеко от вокзала, – пишет О. А. Рождественская (Федотова), – в маленьком переулке, выходящем на Широкую улицу. Помню старый дом, каких много было в Царском Селе. Мы поднялись во второй этаж, и из полутёмной прихожей вошли в небольшую комнату. За столом у окна сидели брат Анны Андрей и его товарищ, на столе лежала груда фотографий, мы тоже присели и с интересом стали рассматривать фотографии Крыма (Аня и Инна часто вспоминали Севастополь и вообще Крым, кажется, у них там был не то свой домик, не то дача). Мы долго перебирали снимки, запомнился мне один из них: дом, терраса, лестница, на ступенях которой расположилась небольшая группа, должно быть родственников или гостей, и среди них маленькая девочка с растрёпанными волосами. «А это что за кикимора сидит?» – спросил товарищ Андрея. Аня вызывающе посмотрела на него и сердито сказала: «Дурак, это я!» Меня удивил такой оборот речи, и я вспомнила, как Инна мне говорила, что Аня любит иногда выкинуть что-нибудь несуразное, несвойственное ей, просто из озорства. Когда ушёл товарищ Андрея, мы упрекали Аню за дерзость, она смутилась и заявила, что извинится, обязательно извинится. <…> В один из чудесных весенних дней я

> зашла к ним, по дороге купила букет ландышей, – помню, Аня взяла несколько веточек из букета и презрительно сказала, что они ей не подходят, на мой вопрос «почему?», шутя, ответила: «Мне нужны гиацинты из Патагонии». – «А какие они?» – спросила я. Аня засмеялась, ушла куда-то и вернулась с вазочкой, поставила мой букет в воду и села с нами за стол.

Как на грех, не в лучшем расположении духа оказался и Андрей Антонович, вернувшийся из очередной южной командировки. Из-за какого-то пустяка между ним и дочкой возник громкий скандал, и двумя днями спустя расстроенная Инна Горенко по секрету рассказывала Рождественской, что Аня «выкинула очередной номер» – уехала одна в Петербург к знакомым, ночевала там, дома никого не предупредила:

> Вся семья была в большой тревоге. Обошли всех знакомых, но куда Аня исчезла, никто ничего не знал, и только на второй день она явилась, как ни в чём не бывало.

Есть она прекратила совсем, и заметно осунулась (Инна Эразмовна, исчерпав все доводы и резоны, в конце концов, обещала ей платить за первое и второе блюда – только бы питалась, как следует). Зато неожиданно для всех воспылала страстью к учёбе, сутками сидела за учебниками и продвигалась к финалу 3 (пятого) класса триумфально, хотя к похвалам учителей оставалась столь же бесчувственной, как и к сетованиям родных. Просто ей нужно было куда-то деть себя в этом пустом, холодном мирозданье, где вечная тоска, и нет надежды, и кончена жизнь, и…

И даже Гумилёв уже несколько дней не появляется!!

В 1904 году Инна Горенко завершала Мариинскую гимназию, однако по случаю войны в этом году выпускные балы в городских учебных заведениях не проводились (из патриотических соображений, чтобы не тратить «бешеные деньги, когда оставшиеся без поддержки семьи убитых простирают руки с мольбой к своим братьям за помощью»). Взамен Городовая Ратуша давала специальный публичный бал, куда, в отличие от прочих общественных увеселений подобного рода, вход был разрешён младшей родне выпускников.

С тех пор, как в 1902 году придворный архитектор Александр Бах (брат скульптора) дополнил Ратушу пристройкой с отдельным входом, где разместился Парадный зал, участие царскосельского городского самоуправления в культурной жизни

города существенно возросло. Великолепный зал, украшенный парадными портретами трёх последних императоров и бронзовыми изваяниями обеих Екатерин и Александра Благословенного, использовался, помимо торжественных собраний и приёмов, для проведения спектаклей, концертов и «балов», где, по выражению Н. Н. Пунина, «всё было, как “в свете”, но в которых “свет” ничего не признал бы своим». Последнее, впрочем, нисколько не смущало царскосёлов и, внеся обязательную плату за вход, они мало горевали, что присутствуют на «публичном», а не светском увеселении. Главное сохранялось – атмосфера всеобщего подъёма и радостного возбуждения. Эстетика же была и впрямь своей, особенной – «демонстрация невест под звуки “Тоски по родине”, мокрые правоведы в вихре вальса, шарики мороженого на запотевших блюдечках, отчаянное “гранрон, силь ву плэ!”[193], запах пыли, пудры, violete de Parme и липкая, сладкая теснота, как в коробке с конфетами». (Э. Ф. Голлербах). В обычных обстоятельствах гимназисты и гимназистки сюда, разумеется, не допускались. Ахматова была на публичном балу Городовой Ратуши впервые.

Заметив среди участников бала Гумилёва, она искренне обрадовалась.

> Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr,
> Weit glänzt’ es über die Lande bis an das blaue Meer, —

продекламировал он, коверкая немецкий[194]. Оказалось, что на мотивы Уланда он написал собственную балладу:

> Мой замок стоит на утёсе крутом
> В далёких, туманных горах,
> Его я воздвигнул во мраке ночном
> С проклятьем на бледных устах[195].

Гумилёв был на балу также приглашённым домочадцем. Выпускником Николаевской гимназии в этот год стал Дмитрий, что же касается Николая, то кроме романтической поэмы похвастаться ему было нечем: экзамены по математике и латыни он провалил и был оставлен в VII классе на второй год. Впрочем, к экзаменам он принципиально не готовился никогда, полагая, что подготовка к экзамену сродни краплению карт.

А потом все танцевали: Ахматова с Гумилёвым, Тюльпанова – с Дмитрием, Инна – с Сергеем фон Штейном[196].

В этот год Инна Эразмовна с детьми задержалась летом в

Царском Селе. О семейном отдыхе в «Отраде» пришлось позабыть: Андрей Антонович был в эти недели целиком вовлечён в подготовку кораблей Добровольного Флота к крейсерской охоте и себе не принадлежал. Первый раз в жизни Ахматова встречала день рождения в Царском Селе. Отмечали его, в отсутствии отца семейства, очень скромно, без затей, по-домашнему. Все расселись уже, когда явился Гумилёв, рассчитывавший, очевидно, на раут – расфранченный, в накрахмаленных воротничках и с букетом такой величины, что стены столовой, где незатейливо вечеряли хозяева с приглашёнными гимназистками, сразу сузились и поблекли. Гимназистки окаменели, именинница смутилась, а Инна Эразмовна в своей неизменной для всех случаев кофте-«размахайке», сзади которой вечно висели какие-то тесёмки, прерывая повисшую паузу, благодушно изрекла:

– Ну, вот и последний гость, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте-ка его сюда, в дополнение к остальным!

Гумилёва, явно не рассчитывавшего на роль «свадебного генерала», усадили рядом с негодующей Ахматовой. Сначала он, видимо, порывался что-то сказать, потом затих, а, немного спустя, улучив минуту, исчез вовсе. Вновь он возник уже к шапочному разбору, почему-то запылённый, руки в царапинах – и с охапкой свежих лилий. Все вновь застыли, только Инна Эразмовна смогла сохранить раз уже взятый тон:

– Как это мило с Вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом!

– Простите, но это не восьмой букет, – возразил Гумилёв, – это – цветы императрицы.

И положил влажные стебли перед Ахматовой. Чудак забрался в императорский Собственный сад, обобрал оранжерею… Ахматова скромно потупилась. Следовало признать, что Гумилёв дебютировал в доме Шухардиной неплохо и праздник удался.

А Царское Село получило к своим бесчисленным легендам ещё одну.

III

Лето в Люстдорфе – Семейство Арнольд – А. М. Фёдоров – Литературный дебют Анны Горенко – Ранние стихи – Встречи на «Даче Митрофаныча» – Смерть А. П. Чехова.

Летние месяцы 1904 года Ахматова провела в Одессе: на это время («когда мне было пятнадцать лет») приходится её знаменитое паломничество к приморской избушке на Большом Фонтане. Инна Эразмовна с детьми жила тогда неподалёку от мест своей юности, в немецкой колонии Люстдорф[197], на даче, которую уже много лет снимала в этом одесском пригороде Евгения Антоновна Арнольд (она же – Аспазия Горенко).

Как уже знает читатель, студенческая чета Арнольдов в 1887 году, после последней совместной (непродолжительной) политической отсидки, сочла за благо покинуть Петербург. Около трёх лет они жили в родном Севастополе. Анатолий Максимилианович Арнольд, так и не получивший, в отличие от жены, диплома о высшем образовании, пытался служить на государственном и земском поприще, но успеха не имел. Гораздо лучше шли дела у самой Евгении-Аспазии, открывшей врачебную практику. В 1890 году супруги перебрались в Одессу, где Аспазия Антоновна нашла постоянную клиентуру как домашний педиатр. К детскому врачеванию её, вероятно, подвигла семейная жизнь: в середине 1890-х у Арнольдов было уже три дочери – Надежда, Ирина и Ольга. В Одессе они прожили, по-видимому, до конца 1900-х. В 1910 году семья Аспазии Антоновны вновь, уже окончательно, обосновалась в Севастополе, однако, по свидетельству О. А. Арнольд (†1979), предварительно её родители какое-то (недолгое) время жили ещё и в Петербурге[198]. Об этом «петербургском периоде» никаких определённых сведений нет. Но резонно предположить, что пришёлся он именно на первую половину 1904 года, и семья тётки как раз и была теми «петербургскими знакомыми», у которых нашла приют и утешение сбежавшая из Царского Села после ссоры с отцом Ахматова. А летом 1904-го супруги Арнольд двинулись отдыхать в Одессу, на люстдорфскую дачу – вместе с детьми и петербургской невесткой с племянниками и племянницами.

Об этом одесском лете Ахматовой известно очень мало, но, насколько можно понять, именно здесь, в Одессе, в 1904 году состоялся её поэтический дебют в профессиональной литературной аудитории. Речь идет о летних собраниях творческой интеллигенции (туземной богемы и столичных курортников) на даче у писателя Александра Митрофановича

Фёдорова.

Талант Фёдорова на рубеже столетий вскормили и выпестовали неутомимые братья Попандопуло, превратившие подающего надежды провинциального богемного беллетриста в главного литературного гранда своих «Одесских ведомостей». Переезд на тучные новороссийские хлеба благотворно подействовал на даровитого Фёдорова. Помимо «Одесских новостей» его очерки, фельетоны, рассказы и стихи бойко публиковались в «Русском богатстве», «Русской мысли», «Вестнике Европы» и других именитых изданиях. На страницах популярного «Живописного обозрения» увидели свет первые романы («Степь сказалась» (1897), «Наследство» (1899)), а в Петербурге была принята к постановке пьеса «Бурелом». «Его пафос – творческая влюблённость в красоту», – благосклонно писали о Фёдорове столичные критики.

Фёдоров прочно обосновался в Одессе, стал завсегдатаем местного «Литературно-артистического клуба», входил в «Товарищество южнорусских художников», дружил с Буниным, Куприным, Горьким, Найдёновым, живописцами Титом Дворниковым и Кириаком Костанди. Дачную усадьбу под Большим Фонтаном Фёдоров строил долго, по мере поступления крупных гонораров, закладывая и перезакладывая уже построенное. После появления первых жилых помещений гости тут не переводились. К 1904 году дача Фёдорова была уже известным всей Одессе летним литературно-художественным салоном, где весь сезон общались как наезжавшие с севера знаменитости, так и одесская интеллигенция, поддерживающая культурное реноме «южной Пальмиры»[199].

Дача Фёдорова (для посвящённых – «Дача Митрофаныча») находилась на пути из Одессы в Люстдорф, по направлению уже знакомой читателю Фонтанской паровой узкоколейки (через три года из Люстдорфа до 16-й станции Большого Фонтана пойдёт первый в Одессе трамвай). Однако близким это соседство назвать нельзя, так что встреча Ахматовой с Фёдоровым и его знаменитыми гостями состоялась, наверняка, при содействии каких-то общих одесских знакомых тётки Аспазии или Инны Эразмовны[200]. Соблазнительно, конечно, предположить, что и на дачу Сорокини мать и дочь завернули, возвращаясь в Люстдорф после посещения фёдоровского салона, и что слова Ахматовой о мемориальной доске, имеющей в грядущем возникнуть на стенах пресловутой избушки, вырвались под впечатлением первого пребывания в обществе настоящих писателей и артистов. А совсем уж разыгравшись, воображение тут же рисует картину пёстрого и шумного собрания на Большом Фонтане, радость Инны

Эразмовны при встрече с давними друзьями, смущённую пятнадцатилетнюю Ахматову, поощрительные реплики любезных хозяев и, наконец, само дебютное чтение:

Я лилий нарвала прекрасных и душистых,
Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой,
С их лепестков, дрожащих и росистых,
Пила я аромат и счастье и покой.

И сердце трепетно сжималось, как от боли,
А бледные цветы качали головой,
И вновь мечтала я о той далёкой воле,
О той стране, где я была с тобой…

Стихотворение «Лилии» не было опубликовано при жизни Ахматовой, но, в отличие от прочих ранних стихов, не было и безвозвратно уничтожено ею, а, напротив, дошло до нас в автографе (позднейшем!) с точным указанием времени и места: «1904 г. Одесса. 22 июня». Это наводит, конечно, на размышления как некое своеобразное тайное послание автора потомкам.

Всё действительно нежелательное или несущественное Ахматова умела хоронить для будущего очень надёжно. Она никогда не стала бы тревожить прах сожженной детской тетради шутки ради, воскрешая погребённые стихи и пуская затем странный автограф на волю случая, в непредсказуемый гольфстрим петербургских рукописных коллекций. По крайней мере, это первый по времени из известных нам стихотворных текстов Ахматовой, весьма удачно оформленный для её биографов. Один, взглянув на дату, вспомнит о гумилёвском «императорском» букете, вручённом десять дней назад, другой – о том, что именно в 1904 году Фёдоров, раздражённый нападками символистов, носился с идеей создания собственной поэтической школы[201]. Явление среди фёдоровских дачных гостей Ахматовой с её стихами, явно небесталанными, было весьма кстати для хозяина салона, и Александр Митрофанович тут же заинтересовался возникшим у него на пути юным дарованием.

С очень высокой долей вероятности можно предположить, что Ахматова бывала летом 1904 года на «даче Митрофаныча» неоднократно, а с тридцатишестилетним хозяином дачи её связывали не только творческие, но и романтические отношения:

Посвящ<ается>А. М. Ф<ёдорову>

Над чёрною бездной с тобою я шла,

Мерцая, зарницы сверкали.
В тот вечер я клад неоценный нашла
В загадочно-трепетной дали.
И песня любви нашей чистой была,
Прозрачнее лунного света,
А чёрная бездна, проснувшись, ждала
В молчании страсти обета.
Ты нежно-тревожно меня целовал,
Сверкающей грёзою полный,
Над бездною ветер, шумя, завывал…
И крест над могилой забытой стоял,
Белея, как призрак безмолвный.

24 июля <1904 г.>

Это второе, чудом сохранившееся (или сознательно сохранённое?) стихотворение пятнадцатилетней Ахматовой. Оно так неожиданно-великолепно, что, кажется, одно только благодарное уважение к воле провидения, которое подарило этот маленький шедевр русской лирической поэзии начала XX века нашим дням, требует от современных ахматовских биографов не прочитывать в нём более того, что предстоит взгляду:

И песня любви нашей чистой была…

«Фёдоров не мог жить без романов», – вспоминала В. Н. Муромцева-Бунина. Он был очарован одновременно всеми появлявшимися вокруг него женщинами, постоянно назначал тайные свидания, клялся в вечной любви, «нежно-тревожно целовал», рассыпал комплименты и посвящал стихи. В молодые годы Фёдоров, обладавший эффектными внешними данными, пробовал себя на провинциальной сцене в амплуа первого любовника и хотя не сделал сколь-нибудь заметной театральной карьеры, так и не смог затем выйти из роли вплоть до конца своих дней. Разумеется, были у него и подлинные поклонницы (и даже дуэльные истории), однако в большинстве случаев «романы» разыгрывались Фёдоровым бескорыстно, создавая декоративный фон, в котором протекало любое его общение с женщинами. Эта постоянная «игра в любовь» (которой, разумеется, охотно подыгрывали его богемные конфидентки) не отменяла интеллектуальную и духовную насыщенность подобного общения. Собрания у Фёдорова в Одессе (как и у Волошина в Коктебеле, у Астрова в Москве и на «Башне» Вячеслава Иванова в Петербурге)

напоминали «любовные турниры» в замках средневековых трубадуров в Провансе и Лангедоке в XI–XII веках – куртуазную забаву, из которой рождалась великая поэзия, философия и живопись. В летние месяцы 1904 года пятнадцатилетняя Ахматова нашла (украдкой от матери, старшей сестры и брата, которые всюду, разумеется, сопутствовали ей) не только первого в жизни литературного поклонника и воздыхателя, но и собеседника, способного внушить и развить сознательный интерес к литературному творчеству, образам и идеям, отвлечённым от жизненной повседневности большинства рядовых российских обывателей.

В истории отечественной словесности А. М. Фёдоров остался прежде всего как мастер этнографических зарисовок. Экзотика восточного быта являлась его главной страстью, причём географический диапазон фёдоровских путевых очерков был огромен – от степей Башкирии (которые он «открыл» для русской литературы) до поселений русских паломников в Палестине. Снедаемый вечной жаждой странствий, он в поисках всё новых и новых экзотических впечатлений побывал на Дальнем и Ближнем Востоке, в Китае, Индии и Африке:

Я много странствовал. Я видел океаны,
Высоких снежных гор алмазные хребты,
Пустыни мёртвые, зелёные саванны,
Тропические звёзды и цветы.

Мне гибелью грозили ураганы,
Не раз мой конь скользил над бездной пустоты,
И сквозь летучие миражные обманы
Оскаливала смерть голодные черты.

Но я не уставал. Я с страстью ненасытной
Рвался к опасностям. Я жаждал красоты.
Мне был противен мир предательский и скрытый,

Базар торгашества и будни суеты.
Где люди, там и зло; все гнут пред силой выи.
Не изменяют лишь природа и стихия[202].

«Природа и стихия» стали главными темами его поэзии. Не обладая талантом близкого ему по духу Бунина, Фёдоров часто смешивал поэзию и прозу, был многословен и неуклюж в своих натурфилософских гимнах. Однако (как и Бунин) пристрастием к яркости красок, пластическим деталям и внешним жестам он

воздействовал на формирование поэтических вкусов дебютантки-Ахматовой в совершенно определённом стилистическом направлении. Действенность этого влияния мы ощущаем и в стихах о «чёрной бездне», где картина любовного свидания из условно-символической (обычной для начинающих лириков – вспомним слова Ольги Рождественской о «туманной недосказанности» тогдашних ахматовских стихотворных опытов) вдруг материализуется в картину Карантинной набережной, ночного морского простора далеко внизу и белеющего над кладбищенской оградой братского обелиска героям 1854 года.

Вечером 2 июля 1904 года на террасе фёдоровской дачи, среди постояльцев и съехавшихся, как обычно, визитёров показался взволнованный курьер «Одесских новостей»:

– Умер Чехов!

Стало невыносимо тихо. Потом заголосила Лидия Карловна Фёдорова. Александр Митрофанович изменился в лице, застонал, как от боли, не сдержался, заплакал сам:

Его я часто вспоминаю,
Вот и сейчас передо мной
Стоит он, точно, как живой,
Таким, каким его я так люблю и знаю[203].

Чехов познакомился с супругами Фёдоровыми в Одессе, в феврале 1901 года. Он настойчиво расспрашивал тогда Лидию Карловну, почему она оставила сцену: ведь она была актрисой. Фёдорова, подумав, отвечала, что причиной этому было желание уехать за границу, а муж её шутливо посетовал:

– Вот видите: мне хочется на Восток, а ей – в Рим.

– Не надо было, батенька, жениться на актрисе, – наставительно изрёк Чехов, – это такой народ!..

Через несколько дней Фёдоров получил из Ялты письмо: «Дорогой Александр Митрофанович! Представьте, я женюсь, и представьте – на актрисе…».

Сожжённый чахоткой Чехов умер в германском курортном городке Баденвейлере. «Вся Россия следит за движением праха любимого писателя, – сообщал корреспондент «Русских ведомостей». – Сперва решено было, что тело прибудет через Вержболово в Петербург, откуда немедленно проследует в Москву.

Но из-за оплошности вдовы, которая известила о прибытии тела неточно, гроб Антона Павловича был встречен в Петербурге не многотысячной толпой, которая приготовила речи, венки и цветы, а десятком репортёров… Москве ошибка Петербурга

послужила уроком. Только опять и сюда тело великого русского писателя было доставлено в вагоне, на котором красовалась надпись “Для перевозки свежих устриц”…».

Чехова в эти траурные дни и недели читала и перечитывала вся интеллигентная Россия. Сложно себе представить, что оказавшись в июле-августе 1904 года в кругу людей, большинство из которых так или иначе были непосредственно причастными к жизни Чехова, общались с ним лично, состояли в переписке или, по меньшей мере, имели общих знакомых, юная Ахматова реагировала на скорбную весть из Баденвейлера каким-то иным образом. Чеховские темы неизбежно возникали в её беседах с Фёдоровым, которому, помимо прочего, автор «Чайки» благоволил как человеку, вышедшему из театральной среды и пишущему для театра. Кроме того, Ахматова в начале июля по всей вероятности уже дебютировала с чтением стихов перед искушённой аудиторией дачного «салона» на Большом Фонтане и, появляясь теперь среди гостей Фёдорова, ощущала себя пишущим автором (пусть и начинающим), – а, значит, ощущала и собственную корпоративную принадлежность к литературной среде. Могла ли она, в таком случае, оставаться равнодушной к кончине (и какой!) одного из величайших писателей-современников?! Неизвестно, проявляла ли Ахматова интерес к книгам Чехова до одесского лета 1904 года. Однако теперь, в Люстдорфе, имея к тому же, надо полагать, широкий доступ к библиотеке влюблённого Фёдорова, она читала чеховские повести и пьесы несомненно, и прочитанное тогда произвело впечатление очень глубокое, оставив в ней след (или, скорее, рану) от этого чтения – на всю жизнь:

> – Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли… Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

– Чехов противопоказан поэзии (как, впрочем, и она ему), – поучала Ахматова в начале 1960-х ошеломлённого Анатолия Наймана. – Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть “колониальные товары”,

духота, лавки, с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна: уродливые платья, шляпки, тальмы…

Найман был не единственным пострадавшим от неожиданных и бурных «античеховских» выпадов Ахматовой. Всегда и всюду, чуть только речь заходила о Чехове, Ахматова мгновенно приходила в бешенство и несла какую-то несусветную чушь. Она говорила, что читателями Чехова могут быть исключительно школьные учительницы и фельдшерицы, обвиняла МХАТ в том, что постановкой «Чайки» он способствовал распаду отечественной театральной культуры, утверждала, что чеховские рассказы изображают художников и других людей искусства бездельниками, и т. д., и т. п. Её собеседники, большинство из которых прекрасно видели близость чеховского наследия тому, что делала в стихах и прозе сама Ахматова, пытались найти в этих её монологах некую особую, парадоксальную логику. А логики в них было не больше, чем в возгласах «Чур меня, чур!», которыми испуганный человек пытается отогнать возникающий из тьмы ушедших лет страшный признак. Магическую силу чеховского гения и глубину его прозрений Ахматова оценила в полной мере, когда в её собственной жизни спустя всего несколько месяцев после Люстдорфа стал раскручиваться такой «сюжет для небольшого рассказа», что на два года она как бы перевоплотится в самую знаменитую из героинь чеховских пьес:

> Я – чайка… Нет, не то. О чем я? Да… Тургенев… “И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам…” Ничего… Ничего, мне легче от этого… Я уже два года не плакала… <…> Жила я радостно, по-детски – проснёшься утром и запоёшь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе… с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Впрочем, в Одессе Ахматова, конечно, не подозревала о возможности такого развития событий. Пятнадцатилетняя, она возвышенно переживала смерть Чехова в кругу его друзей и соратников по святому литературному ремеслу. Это был чудный мир, и Ахматовой было теперь совершенно ясно, что жребий людей различен, что одни едва влачат своё скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения. Лучший из этих замечательных людей был теперь её наставником и тайным поклонником, встреч с которым она с

восторгом и страхом ожидала – когда становилось красным небо и уже начинала восходить луна…

IV

Преображение Ахматовой – Великий князь Владимир Александрович – Встречи с Николаем Гумилёвым – Сергей фон Штейн – Замужество Инны Горенко – Новый разлад в семье – А. А. Горенко и Елена Страннолюбская – «Четверги» у Штейнов и «понедельники» у Анненских – Доклад И. Ф. Анненского о К. Бальмонте – Айседора Дункан – Спиритический сеанс у Мейера – Рождество с Гумилёвым.

Вернувшись в Царское Село, Ахматова лишь внешней оболочкою своей обреталась в облике гимназистки шестого класса Мариинской гимназии; дух её витал теперь высоко от земных низин. Тайное предназначение, скрытое в жизни предшествующие годы, прояснилось теперь окончательно, стало светлее солнца, и Ахматовой оставалось лишь искренно жалеть смешных человеков, пытающихся поучать, наставлять и даже стращать гимназическим кондуитом – ту, которая одна только и являлась их грядущим счастьем и первой надеждой. Они явно не ведали, что творили. В силе и славе, уже почти снизошедших на избранницу, можно было и не замечать бессмысленного щебетания их, земнородных, вовсе:

> И с пятнадцатого года
> Началась моя свобода.[204]

«Я маму просила не делать три вещи: “Не говори, что мне 15 лет, что я лунатичка и что я пишу стихи”, – вспоминала Ахматова осенние месяцы 1904 года. – Мама всё-таки говорила. Я её упрашивала. “Ведь я тебя так просила не говорить мне этого!”». Однако не только Инна Эразмовна, но и прочие царскосёлы, слушая теперь Ахматову, как сговорившись, начинали вдруг – прямо и за глаза – сокрушённо рассуждать о том же: о юных летах, лунатизме и всяких странностях. Была, впрочем, Тюльпанова, покорно поглощавшая все ахматовские монологи. Они вновь бродили вдвоём, пристрастившись к глухим, неизведанным закоулкам бесконечных царскосельских и павловских парков. На границе Большой Звезды с тярлевскими рощами тропинка, заведя подруг в заболоченную безлюдную лощинку, потерялась в вянущей осенней траве, и Ахматова, подоткнув юбки, шагнула в холодный ручей. Она уже перешла его, как сверху, с аллеи раздался неподражаемый бас:

– А если Вы простудитесь, барышня?

Это был регент дома Романовых («правитель государства»), президент императорской Академии художеств и Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, совершающий пешком утреннюю прогулку. Кумир гимназисток в молодые годы, сейчас он был величественным стариком, однако сохранил знаменитый голос, по воспоминаниям современников, «доносившийся до самых отдалённых комнат клубов, которые он посещал». Пришлось приседать в поклоне: промокшей Ахматовой – на одном берегу, Тюльпановой – на другом. Все участники пустяковой пастораль ки были, почему-то, очень довольны:

> Посмотришь на русского человека острым глазком… Посмотрит он на тебя острым глазком… И всё понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем….

Афоризмы газетного остроумца Василия Розанова ценил Николай Гумилёв, едва не каждый день делившийся теперь с Ахматовой литературными впечатлениями. Помимо верной Тюльпановой, в эту осень романтический второгодник из Николаевской гимназии стал единственным царскосёлом, с которым обновлённая Ахматова охотно пускалась в разговоры.

> В ремешках пенал и книги были,
> Возвращалась я домой из школы.
> Эти липы, верно, не забыли
> Нашей встречи, мальчик мой весёлый.[205]

Правда, стихи Анны Горенко не нравились и ему. Заинтересованно и внимательно слушая ахматовское чтение, Гумилёв затем долго рассуждал, что дар стихосложения осеняет свыше и потому о нём лучше забыть, а всё внимание обращать на форму выражения в стихах мысли или чувства. Поэту, по его мнению, дано лишь практически изучить форму своего словесного ремесла – всё остальное привносится извне и не зависит от человеческой воли; что же касается популярности или славы, то стоит поэту лишь задуматься о них – и он сразу теряет свою творческую силу, свежесть манеры и всё прочее. Ахматова была не согласна насчёт славы, но слушала Гумилёва с интересом. Летом он прочитал только что вышедший в русском переводе роман входящего в моду английского писателя Киплинга «Свет погас», очень увлёкся и теперь перелагал рассуждения главного героя романа, художника-баталиста Дика

Хелдара, в какую-то собственную теорию. Разумеется, что и Ахматова, с лёгкой руки Гумилёва, тоже прочитала «Свет погас», и тоже не осталась равнодушной к прочитанному. Необыкновенно одарённые мальчик и девочка, Дик и Мейзи, знакомые с детства и с детства же поклявшиеся вечно помнить друг о друге, став оба художниками, встречаются вновь после долгой разлуки. Дик, прошедший неудачную суданскую кампанию 1885 года, вернувшись из Африки, рисует батальные сцены, верит в строгое академическое мастерство и смеётся над живописью Мэйзи с её импрессионистическими лирическими миниатюрами:

> Специфический тёмный колорит в духе старых голландских мастеров мне нравится, но рисуешь ты, по-моему, слабовато. Изображение получается в искаженном ракурсе, словно ты сроду не писала с натуры…

Вспыхнувшая любовь переходит в соперничество. Мэйзи, в гордыне своей, решает написать новую «Меланхолию», чтобы превзойти самого Дюрера, а Дик начинает работать над собственной картиной на ту же тему – чтобы превзойти Мэйзи… Споры героев романа об искусстве мало трогали Ахматову. Гумилёв и так прожжужал ей все уши о том, что надо больше читать и учиться, точь-в-точь как Дик Хелдар: «На других нечего кивать. Будь у них такая же золотая душа, как у тебя, вот тогда иное дело. А так, заруби себе на носу, только твоя собственная работа решит, суждено ли тебе выстоять или пасть, и думать о других – значит лишь попусту тратить время…» и т. д. Зато трогательные сцены свидания героев на пустынном морском берегу, близ хутора, где они провели детство, Ахматова проглатывала залпом:

> – Мейзи, пойдём со мной, и я покажу тебе, как велик мир. Работа всё одно, что хлеб насущный – это ясно само собой. Но постарайся понять, ради чего ты работаешь. Я знаю райские уголки, куда мог бы тебя взять, – хотя бы маленький архипелаг южнее экватора. Плывёшь туда по штормовым волнам много недель, и океанская глубь черна, а ты, словно вперёдсмотрящий, глядишь вдаль изо дня в день, и, когда видишь, как восходит солнце, становится страшно – так пустынен океан.
>
> – Но кому же все-таки становится страшно – тебе или солнцу?
>
> – Солнцу, само собой. А в океанской пучине раздаётся гул, и с небес тоже доносятся какие-то звуки.

На острове растут орхидеи, которые смотрят на тебя так выразительно, разве только сказать ничего не умеют. Там, с высоты трехсот футов, обрушивается водопад, и прозрачно-зеленые его струи увенчаны кружевной серебристой пеной; в скалах роятся миллионы диких пчёл; и с пальм, глухо ударяясь оземь, падают крупные кокосовые орехи; и ты приказываешь служанке с кожей цвета слоновой кости подвесить меж дерев длинный жёлтый гамак, украшенный, словно спелый маис, пышными кистями, и ложишься в него, и слушаешь, как жужжат пчелы и шумит водопад, и засыпаешь под этот шум…

Это показалось красивым, хотя так, конечно, не бывает (после наглого вранья херсонесской гадалки Ахматова научилась более трезво смотреть на подобные жизненные возможности). Что же касается Гумилёва, то Ахматова вскоре с удивлением обнаружила в себе некоторую зависимость от их встреч и литературных бесед. Следовало признать, что только с ним можно было теперь так же долго и увлечённо беседовать о книгах и стихах, как она уже привыкла летом в Одессе беседовать с Фёдоровым и его гостями. Правда, в отличие от Фёдорова, Гумилёв не рассыпался в комплиментах, не клялся поминутно в вечной любви и, чинно шагая рядом по аллеям Екатерининского парка, не обнаруживал ровно никаких признаков страсти – лишь в загадочно-неправильных чертах иконописного лица, мелькало иногда что-то лукавое, азиатское.

Наступал вечер. Позади остались Адмиралтейство и Турецкие бани, в которых никогда не мылись ни турки, ни русские; где-то вдали, за деревьями, вдоль Парковой улицы сияли электрические фонари. Башня чернела перед ними, заслоняя громадой своих живописно обрушенных стен и земляного вала матово-синее чистое осеннее небо:

– Похоже на дворец великанов…

Через циклопическую арку бредового создания Фельтена[206] они проникли в узкий коридор, из которого винтообразный пандус вёл на верхнюю площадку. Весь парк был теперь перед ними; за стрельчатыми арками павильона поднималась дубовая роща, скрывавшая Орловские ворота, а прямо внизу, на дне обрыва, брыкался игрушечный рыжий кирасирский конь, которого умело усмирял крохотный седок:

Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звезды, как горсть виноградин,

Стремительно падали вниз?[207]

На Широкой Ахматова кротко выслушала всё, что Андрей Антонович думал о её «декадентских прогулках». В последнее время, появляясь в Царском Селе, отец семейства общался с домашними исключительно громогласно, срываясь поминутно на крики и ругань. Однако главным возмутителем спокойствия в семье Горенко этой осенью была, всё-таки, не Ахматова, а старшая сестра Инна. Былая смиренница, получив вместе с серебряной медалью Мариинской гимназии аттестат зрелости, вдруг взбунтовалась, твёрдо заявив родителям о своём непреклонном решении немедленно сочетаться узами законного брака с Сергеем Владимировичем фон Штейном.

Её избранник происходил из ополячившихся служилых немцев, приписанных в XVIII веке к дворянам Волынской губернии. Детство и юность Штейна прошли в Харькове, в семье дяди, профессора Харьковского университета, выдающегося лингвиста и теоретика искусства А. А. Потебни, от которого племянник унаследовал любовь к славянской филологии. Штейн поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, изучал языки и литературу западных славян (позднее он издал том «Славянских поэтов» в собственных «переводах и характеристиках»[208]). Отец Штейна служил письмоводителем канцелярии Академии наук и сотрудничал в Центральном комитете иностранной цензуры, сестра Наталья была одноклассницей Инны Горенко по царскосельской Мариинской гимназии. Энергичный и легкомысленный Штейн был заводилой большой студенческой компании, куда входили царскосёлы Валентин Анненский (сын директора Николаевской гимназии), Борис Мейер, Владимир Голенищев-Кутузов, Игнатий Варшавский, Иван Селивёрстов. Как и положено в студенческой bande joyeuse[209], нравы тут царили весьма вольные, а с точки зрения добропорядочных царскосёлов – и вовсе предосудительные:

Быстры, как волны,
Все дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь.
Налей, налей, товарищ,
Заздравную чару,
Бог знает, что с нами
Случится впереди.

Привязанность Штейна к старшей дочери статского советника Андрея Антоновича Горенко не была секретом ни для кого из царскосёлов, за исключением разве что самого Андрея Антоновича. Тот пробудился лишь когда речь зашла о родительском благословлении, а, пробудившись, восстал и решительно возмутился. Возможно, в том повинен был отчасти и Штейн, который в минуты волнения и неуверенности оказывался несколько без царя в голове, смахивая на гоголевского Хлестакова. Однако, думается, что главной причиной раздора стало то печальное во все времена обстоятельство, что двадцатидвухлетний жених был гол как сокол.

Наверное, в иных, менее драматичных жизненных обстоятельствах Андрей Антонович воздержался бы от чрезмерной резкости. Но именно осенью 1904 года несчастья начали обступать статского советника со всех сторон. Крейсерская экспедиция, вызвавшая гнев Государя, пошатнула позиции ведомства великого князя Александра Михайловича. Работа Управления во второй половине 1904 года оказалась фактически парализована, а горячий великий князь срывал гнев на подчинённых. Кроме того, в морских кругах царило теперь гнетущее ожидание развязки в эпопее 2-й Тихоокеанской эскадры, продвигавшейся по Атлантике к африканскому Мысу Доброй Надежды, чтобы, обогнув его, направиться через Индийский Океан в Тихий:

> В моря заклятые родимая армада
> Далече выплыла… – последний наш оплот![210]

Порт-Артур ещё держался, в Манчжурии с переменным успехом шли бои, но предчувствие ужасной катастрофы начало распространяться к концу 1904 года среди всех, так или иначе причастных к руководству войной столичных офицеров и чиновников. К уязвлённому патриотизму тут примешивался и вполне понятный, хотя и низменный, страх за собственную будущность. Проигранная (не дай Бог!) война неизбежно должна будет завершиться поисками виновников поражения. А как ищут таковых в России, и какие щепки при этом летят – было хорошо известно всем…

Вот когда Андрей Антонович, вероятно, и не раз, и не два вздохнул о надёжной и обеспеченной службе в Государственном контроле, которую он так опрометчиво оставил, ринувшись на великокняжеский призыв с юношеским задором: «Aut Ceasar, aut nihil!»[211]. Выходило, судя по всему, «nihil». Между тем, ввиду возможной отставки, собственные дела у Андрея Антоновича

были совсем нехороши: банковский кризис, случившийся в 1901–1902 годах, серьёзно задел его сбережения, а деньги жены к этому времени без следа исчезли в разных приключениях и передрягах, которых много выпало с середины 1880-х годов на долю четы Горенко. Получалось, что на недалёкую старость у статского советника и отставного кавторанга оставались лишь нажитые на службе Отечеству благородные седины. Тут-то старшая дочка и загорелась вдруг желанием непременно навязать Андрею Антоновичу на шею ещё и чудаковатого зятя-студента!

О подробностях замужества Инны Горенко в настоящее время известно мало: по всей вероятности, это знаменательное событие произошло в первые осенние месяцы 1904 года (во всяком случае, до конца ноября), и молодые поселились в съёмной квартире где-то в районе Баболовского парка или в Павловске. Зато совершенно точно известно, что Андрей Антонович запретил младшим детям бывать у молодожёнов – из чего можно сделать неутешительный вывод о скандальных обстоятельствах, сопровождавших возникновение новой четы. Известно и то, что запрет главы семейства детьми не соблюдался, причём Инна Эразмовна активно поощряла подобное неповиновение.

Согласие между супругами в это время было явно нарушено!

Год назад, в ноябре 1903 года скончался давний знакомый Андрея Антоновича, его старший коллега по работе в Морском училище контр-адмирал Александр Николаевич Страннолюбский, пестовавший некогда юного мичмана, только явившегося в столицу из Николаева. С семьёй Страннолюбских Андрей Антонович поддерживал связь в годы своих заграничных и южных скитаний, а, вернувшись в Петербург, возобновил тесное знакомство. Разумеется, во время похоронных хлопот он на правах давнего друга принял самое живое участие в судьбе вдовы покойного адмирала.

Елена Ивановна Страннолюбская была замечательной женщиной. Дочь известного военного и общественного деятеля[212], она, выйдя замуж за одного из основателей Бестужевских курсов, всю жизнь провела в общении с выдающимся представителями российской научной, военной и творческой элиты. Страннолюбская училась в Оксфорде, была талантливой переводчицей и увлекательным собеседником. Неизвестно, насколько она отмечала среди круга своих друзей Андрея Антоновича Горенко во время замужества, однако теперь, овдовев, потянулась к нему в поиске если не любви, то поддержки.

Славная мудрость Мартина Лютера, что wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang[213], была во все

годы жизни не чужда Андрею Антоновичу. Это было известно всем близким статского советника, включая жену и детей, которые давно смирились с такой особенностью натуры главы семейства. Любовные истории иногда прорывались в семейный быт, производили там протуберанцы, но всегда неизменно угасали и расточались без следа, не мешая дальнейшему жизненному течению возвратить всё, поколебленное очередной ссорой, на круги своя[214]. Но Страннолюбская, разменявшая шестой десяток, никак не могла стать объектом необоримого эротического вожделения жизнелюбивого черноморца, умудрённого и, надо полагать, отчасти успокоенного прожитыми годами. К тому же Елена Ивановна была нехороша собой – рядом со статным чиновником особых поручений она казалась горбуньей. Очевидно, речь шла не о бурной страсти, а о возникшей тесной душевной близости двух немолодых людей, проживших жизнь внутренне одинокую и вдруг, на закате её, нашедших полное понимание, сострадание и поддержку друг в друге.

И это явилось совершенной катастрофой для всех прежних родственных связей Андрея Антоновича. Семья Горенко, уже миновавшая, казалось, все подводные рифы и бури житейского плавания, в 1904 году вдруг стала постепенно, но бесповоротно рушится и рассыпаться. Царскосельские сплетники толковали, что статский советник чуть ли ни открыто «живёт на две семьи». По комнатам верхних апартаментов дома Шухардиной вновь часами раздавалась неумолчная дробь: Инна Эразмовна, погрузившись в задумчивую прострацию, как обычно, барабанила пальцами по столешнице. А выросшие дети, сочувствуя матери, с недоумением и неприязнью смотрели на отца во время его редких появлений в родных царскосельских пенатах.

Ахматова навещала опальную Инну при любом удобном случае. У Штейнов постоянно гостили Мейер, Селиверстов, Варшавский и прочие участники студенческой bande joyeuse, а по четвергам устраивались «журфиксы», на которые приезжали петербургские знакомые, читали стихи, пили чай с пряниками, болтали. Под Новый год сестра Штейна Наталья (гимназическая подруга Инны) вышла замуж за Валентина Анненского и та же студенческая компания стала собираться и в их комнатах на нижнем этаже директорских апартаментов в здании Николаевской гимназии. Принимали тут, разумеется, солиднее. Чай пили в общей столовой «наверху», где подавал директорский лакей в белых перчатках, а иногда, на понедельничные «журфиксы», старший Анненский сам спускался к молодёжи. «Папа меня не пускал ни туда, ни сюда, – вспоминала Ахматова, –

так что мама меня по секрету отпускала до 12 часов к Инне и к Анненским, когда папы не было дома».

Обращал ли «поэт Ник. Т-о» внимание на высокую, замкнутую гимназистку во время поэтических вечеринок на половине сына? Ахматова неоднократно рассказывала историю, из которой вроде бы следует, что с сёстрами Горенко Иннокентий Фёдорович был знаком ещё до замужества Инны:

> Когда Инн<окентию> Фёдоров<ичу> Анненскому сказали, что брат его bellefIle Наташи (Штейн) женится на старшей Горенко, он ответил: «Я бы женился на младшей». Этот весьма ограниченный комплимент был одной из лучших драгоценностей Ани.

И. Ф. Анненский вполне мог составить мнение о «младшей Горенко»: у него учились братья Ахматовой Андрей и Виктор Горенко, а будущий ахматовский beaufrère Штейн дружил с его сыном с 1901 года. После одесского лета Ахматова на «журфиксах» наверняка читала какие-то собственные стихи, то есть была заметна вдвойне: и как самая юная во всём собрании, и как выступающий автор. С другой стороны, сложно предположить, что, удостоившись непосредственного внимания старшего поэта, Ахматова впоследствии никак не обмолвилась бы о том, а хранила в памяти как свою «лучшую драгоценность» лишь «весьма ограниченный комплимент», полученный из вторых рук – либо со слов Штейна, либо со слов В. И. Анненского-Кривича. Тем не менее, Ахматова несколько месяцев находилась среди ближайшего анненского окружения, была вхожа в дом – это можно сказать наверняка. И это уже немало.

15 ноября 1904 года Сергей фон Штейн присутствовал на докладе Анненского-старшего о лирике К. Д. Бальмонта в петербургском неофилологическом обществе и был свидетелем ожесточённой полемики докладчика со старой университетской профессурой, не переносившей «декадентства». Защитник Бальмонта был разруган тогда «до последнего предела». Вернувшись в Царское Село, взволнованный Штейн, застав у жены свояченицу, с жаром рассказывал сёстрам об этом поединке, и Ахматова отмечала переживания, испытанные ею во время его рассказа, среди своих первых по-настоящему сильных «литературных впечатлений». Поэзию Бальмонта она потом, по словам Тюльпановой, «прилежно изучала». А вот стихотворения Александра Фёдорова, о котором Ахматова, разумеется, рассказывала своим новым друзьям, особого успеха тут не имели. Большинство участников литературных «журфиксов» склонялись к «новой литературе», хотя читательские пристрастия и были

различны. «Конечно, никто, вероятно, и не ждёт, что у нас был тогда “абсолютный вкус”, – писала Ахматова. – До Надсона и Вербицкой мы, правда, не докатились, но весьма модного среди молодёжи Апухтина прочитывали и проглатывали без особого отвращения тогдашние французские романы, вроде Бурже, Прево, Жип (я имею в виду 900-е годы, в 10-х всё уже было иначе)».

«Новой поэзией» был увлечён и Гумилёв, с которым Ахматова продолжала видеться постоянно. Он подписался на критико-библиографический ежемесячник «Весы», который выходил в Москве под редакцией Валерия Брюсова. Постоянными авторами журнала (под собственными именами и под псевдонимами) были Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Юргис Балтрушайтис, эпизодически выступали Розанов, Александр Блок, Фёдор Сологуб, Алексей Ремизов, Георгий Чулков и модный критик-скандалист Корней Чуковский. Парижским эмиссаром «Весов» являлся некий Максимилиан Волошин, который, как видно, имел обширные связи в среде французских литераторов и художников и стремился привлечь их к сотрудничеству. Отчёты о немецком искусстве присылал из Берлина художник Максимилиан Шик. Таким образом, читатель «Весов» был в курсе всех заметных новинок не только отечественного, но и европейского символизма.

Писатели-символисты, по словам французского поэта Мореаса, должны были прежде всего перенести внимание с внешних форм жизни на её внутренние процессы. Вместо «слова-понятия» они вели поиски «слова-символа», позволяющего обозначить всю сложность изменчивого до непостижимости мироздания. «Отсюда, – заключал Мореас, – непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговорённость…». Начитавшись «Весов», Гумилёв в невероятно туманных стихах (там фигурировали всесожжения на «жертвенных алтарях», «девы-дриады», «Белый Всадник», «Венценосная Богиня» и «мировые волны», сотрясающие «радостный эфир») воспел свой любовный разрыв с гимназисткой Марианной Поляковой. Мировая трагедия заключалась в том, что возмущённая Полякова в эти осенние дни, действительно, постоянно пламенела гневом, видя рядом с Принцем Огня некую Бледную Жену:

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?

Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья,
И меж бровями залегло
Веков тяжёлое томленье?

И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?

Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас больной кошмар,
Иль правда, горестней кошмара.[215]

Обиду Поляковой понять было можно. Встречи Ахматовой с Гумилёвым, регулярно дежурившим в половине третьего на Леонтьевской в ожидании последнего звонка («Пойдёмте в парк, погуляем, поболтаем!»), уже привлекли заинтересованное внимание. Одноклассницы, насмешничая, судачили о «парочке». Ни признаний, ни клятв не было произнесено, и ничто в их бесконечных хождениях вдвоём не напоминало гимназических любовных свиданий. Сторонний взгляд принял бы их, скорее, за почтительного кузена с трогательной кузиной, «витающих», по словам Ахматовой, «в таинственных высях и имеющих некоторые смутные обязательства по отношению друг к другу». Она уже считала само собой разумеющимся, что Гумилёв постоянно находится где-то рядом на правах родственного существа и величала его «названным братцем». Он, действительно, стал своим в семействе Инны Эразмовны – с ним крепко подружился Андрей Горенко. Оба были «николаевскими» гимназистами, бывали друг у друга, и, навещая дом Шухардиной Гумилёв, естественно, запросто встречался там с Ахматовой:

> Н<иколай> Г<умилёв>, – вспоминает Срезневская, – был дружен с Андр<еем> Андр<еевичем> Горенко, который был единственным тонким, чутким, культурным, превосходно образованным человеком на фоне царскосельской молодёжи – грубой, невежественной и снобической. Андрей Андр<еевич> Горенко прекрасно знал античную поэзию, латинский язык. Он понимал стихи модернистов и был одним из немногих слушателей стихов Н. Г. Н. Г. вступал с ним в

обсуждение и своих стихов и всей современной поэзии.

Гумилёв познакомился и со Штейнами и даже был вместе с Ахматовой и всей их студенческой компанией на историческом представлении американской танцовщицы-босоножки Айседоры Дункан, выступавшей в зале петербургского Дворянского собрания (нынешней Филармонии) 13 декабря 1904 года. Посмотреть на новаторскую хореографическую трактовку музыки Шопена пришли тогда великие князья Владимир Александрович и Борис Владимирович, министерские политики, общественные деятели и представители творческой интеллигенции, в том числе – будущие создатели нового русского балета С. П. Дягилев и М. М. Фокин. Двадцатисемилетняя Дункан была в ударе, партер, по сообщениям газетных репортёров, «бурно реагировал», а студенческая и курсисткая толпа, заполнявшая хоры, неистовствовала. «Для Дункан общепринятое понятие “танец” абсолютно не подходит, – писал журнал «Театр и искусство» (1904. № 51). – Это полуобнаженная девушка, появляющаяся на освещённой сцене в полупрозрачной греческой тунике и дающая полную свободу движениям своего тела. Она босая, ничто не стесняет ее движений. Пропорционально сложенная фигура. Её внешность нельзя назвать выдающейся, но у неё очень привлекательное, спокойное лицо. Тем не менее, первое впечатление очень сильное из-за необычности увиденного».

Воскрешая в памяти эти последние месяцы рокового 1904 года, Ахматова обычно вспоминала их совместное с «названным братцем» участие в благотворительном спектакле в клубе на Широкой улице, катание на коньках, посещение литературного вечера, который устраивали Штейн и его университетские друзья в зале Артиллерийского собрания в Софии, а также – «несколько спиритических сеансов у Бор<иса> Мейера (к которым Гумилёв отнёсся весьма иронически)». Дело было, понятно, под Рождество, когда суровая к гадальщикам русская церковь, вспоминая святых царей-волхвов Каспара, Валтасара и Мельхиора, меняет гнев на милость[216]. Можно не сомневаться, что собравшаяся у Мейера молодежь ворожила, как полагается, «на суженого». К их услугам был богатейший арсенал традиционной народной магии: на воске, с башмачком, с зеркалом при свечах, с зеркалом на перекрёстке, с лодочкой и т. д. Впрочем, возможно, вместо этой вульгарной архаики, они действительно прибегали к благородному столоверчению, – но цель действа оставалась все той же:

Суженый-ряженый,
Мне судьбой предсказанный,

Ряженый-суженый!
Приди со мной ужинать…

Как можно понять, на «магическом собрании» в доме Мейеров зеркала или духи нагадали Ахматовой что-то такое, что заставило её впервые по-иному взглянуть на своего «названного братца». Тот был по обыкновению наигранно невозмутим, но это «что-то», явившееся вдруг путем нехоженым, лугом некошеным, было настолько невероятным и значительным, что обычная светская маска показалась суеверной Ахматовой «весьма иронической». Гумилёв же только кривил улыбкой губы. А на следующий день неожиданно явился в Безымянный переулок с целым коробом рождественских подарков. «Я купил у Александра на Невском, – вспоминал он, – большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил её доверху, положил в неё шесть пар шёлковых чулок, флакон духов “Коти”, два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – я знал, что она о нём давно мечтает – и томик Тристана Корбьера “Жёлтая любовь”. Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у неё в семье её не особенно-то баловали».

В коробку был положен листок с аккуратной записью нового гумилёвского стихотворения «Русалка»:

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.
……
Я люблю её, деву-ундину,
Озарённую тайной ночной,
Я люблю её взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.[217]

Как сокрушённо признавалась Ахматова, «с этого стихотворения всё и началось».

V

Падение Порт-Артура – Японская агентура и русские революционеры – Священник Георгий Гапон – «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» – Инцидент на Путиловском заводе – «Петиция» Гапона – 9 января 1905 года.

21 декабря 1904 года император Николай II, испугавший накануне своей ледяной флегмой придворных, записал в дневнике: «Получил ночью потрясающее известие от <генерала> Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!».

Обстановка внутри страны накалилась до предела. Волна панических слухов, с лихвой восполняющих угрюмые недомолвки газет, обрушилась на россиян сразу после летней неудачи под Ляояном – и с этого момента, как по мановению насмешливого чародея, в публичных залах и домашних гостиных вместо велеречивых патриотических здравиц вдруг зазвучали злорадные шуточки невесть откуда повыскакивавших вольнодумцев. К концу года общественные настроения переменились целиком. Особенно свирепствовали столичные университетские либералы, стремительно доводя градус своих пророчеств до полного пораженчества. «В университете что-то не все ещё ладно, – свидетельствует современник трагических зимних событий 1904–1905 годов. – Уверяют, что среди студентов и курсисток отыскался кружок лиц, решивших выразить свое сочувствие микадо и японцам посылкой ему приветственной телеграммы и сбором денег в его пользу. Телеграмма эта – передают дальше – была подана на телеграф, но конечно доставлена совсем другому микадо: градоначальнику, а тот поскакал с нею к Государю. Всему этому, зная мудрых наших будущих людей, ещё можно поверить; несомненно, они знали, куда и кому попадет их телеграмма вместо Японии, и подали ее нарочно с этой целью. Но дальнейшее пахнет выдумкой; просмотрев смехотворный, в сущности, документ, Государь заявил: “ничего не имею против депеши и сбора денег со стороны этих гг., только пусть они то и другое отправятся лично вручить микадо”»[218].

Вдруг разом зашевелилось позабытое за два десятилетия покоя революционное подполье. В июле в имперской столице опять громыхнуло: на площади перед Варшавским вокзалом

бомба метальщика (им был отставной студент-медик Егор Созонов) настигла одного из трёх главных «ястребов» японской авантюры – министра внутренних дел Плеве. На историческую сцену выходили наследники «Народной Воли» – социалисты-революционеры. За два года существования эсеровской «Боевой организации» террористы успели «поохотиться» в Петербурге, Харькове и Уфе, но только взрыв экипажа Плеве произвёл, наконец, в обществе искомое новоявленными революционными вождями Григорием Гершуни и Евно Азефом сокрушительное действие. Это был момент ужасного дежавю: вновь, как и в 1881-м, набережная канала (на этот раз – Обводного), пламенный столб взрыва, обезумевшие лошади, волочившие сквозь клубы дыма оторванный передок кареты, груда изуродованных трупов вперемешку с ранеными на кровавой мостовой… Однако – и это было самым мрачным – теперь шла война, превращающая в глазах вражеской агентуры любые революционные акции в мощный диверсионный инструмент. На «борцов за свободу» пролился золотой дождь. Хватило на всех: помимо эсеров, свою долю от щедрот посланников микадо получили и сепаратисты в Польше и Финляндии, и небольшая хищная группа «социал-демократов», ведущая пропаганду среди заводского пролетариата в промышленных центрах. Ставка делалась на то, что в результате всеобщего внутреннего разрушительного напора – где-нибудь, непременно, рванёт… Расчёт был мудрым, хотя спасительным для многомиллионной Российской империи могла, конечно, стать её традиционная массовая нечувствительность к исступленным призывам смутьянов-общественников.

Но тут случилось самое страшное: появился пророк.

Тонкий, в поношенной чёрной рясе, он не ходил – летал по имперской столице, успевая повсюду. Экзальтированные аристократки, щедро откликаясь на призывы поддержать то каких-то босяков из Галерной гавани, то заводских голодранцев с Нарвской заставы, умилялись неземной красоте вдохновенного лика и твёрдо верили, что о. Георгий Гапон призван возвестить миру новые истины.

– Ведь он так похож на Христа!

Молчаливые хозяйки из рабочих предместий, завидев о. Георгия, брали на руки своих малышей, подносили – Благослови, батюшка! – а сами тихо плакали от счастья:

– Слава Богу, появился и у нас заступник!

«Названный священник, – сообщал министру юстиции прокурор Петербургской судебной палаты, – приобрёл чрезвычайное значение в глазах народа. Большинство считает его пророком, явившимся от Бога для защиты рабочего люда. К этому

уже прибавляются легенды о его неуязвимости, неуловимости и т. п. Женщины говорят о нём со слезами на глазах. Опираясь на религиозность огромного большинства рабочих, Гапон увлёк всю массу фабричных и ремесленников, так что в настоящее время в движении участвует около 200 000 человек».

Никто не представлял толком, откуда он возник. Говор выдавал ядрёного малоросса, облик – то ли цыгана, то ли грека, то ли казака, но явно из самых «простых». Книг никаких не жаловал, всё смеялся: мертвит де буква живое слово, ах, мертвит! Оказываясь в учёном обществе, мямлил несусветное, так что собеседники лишь озадаченно пожимали плечами: хорош златоуст хохляцкий… Впрочем, постояв хоть раз на гапоновских проповедях, они переменяли мнение. «Не было более косноязычного человека, чем Гапон, когда он говорил в кругу немногих, – описывает свои впечатления журналист Петр Пильский. – С интеллигентами он говорить не умел совсем. Слова вязли, мысли путались, язык был чужой и смешной. Но никогда я ещё не слышал такого истинно блещущего, волнующегося, красивого, нежданного, горевшего оратора, оратора-князя, оратора-бога, оратора-музыки, как он, в те немногие минуты, когда он выступал пред тысячной аудиторией заворожённых, возбуждённых, околдованных людей-детей, которыми становились они под покоряющим и негасимым обаянием гапоновских речей. И весь приподнятый этим общим возбуждением, и этой верой, и этим общим, будто молитвенным, настроением, преображался и сам Гапон».

– То не я говорю, православные, то – Бог с вами говорит! Вот теперь и смекайте…

Народ вокруг рыдал, все клялись жизни отдать, кто-то валился в обморок, кто-то исступлённо бил себя в грудь:

– Батюшка, батюшка!.. Отец святой!..

И точно – был он не от мира сего. Ютился в каких-то каморках, надевал, что придётся, денег же вовсе не признавал. Ворох пожертвований рассовывал по карманам, а подойдёт пропившийся бедолага – тут же вытягивал, не глядя, сколько вышло:

– Прими, голубчик, ради Христа…

Или вдруг, вдобавок, окинет взглядом пристально:

– Постой, постой… Вот ещё, на-ко…

Новенькие штиблеты скинет с себя, протянет убогому, влезет сам в какие-то бабские опорки, да так и пойдёт восвояси, посмеиваясь.

– Отец святой!..

Главное – вовсе не был он новинкой в столичном мире. Уже

несколько лет подряд мелькал он своей рясой среди людей нешуточных в таких приемных и гостиных, о которых принято было говорить шёпотом. Появлялся и в модных салонах, на громких дебатах скандальных «Религиозно-философских собраний», даже кое-как защитил дипломное сочинение в Духовной Академии. Два последних года Гапон горячо увлёкся проектом отечественных Trade-Unions, с которым носился экстравагантный начальник Особого отдела Департамента полиции Сергей Зубатов. Взаимодействуя со столь странным «профсоюзным активом», о. Георгий смог собрать вокруг себя небольшую сплочённую группу «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Зубатов, поссорившись с Плеве, канул в отставку, а «Собрание» потихоньку всё росло, перевалив к лету 1904-го за две тысячи участников.

Тут-то и произошло чудесное: весь Петербург вдруг разом уверовал в Гапона. Вроде бы и нового-то ничего он не говорил, но в каждом слове его мерещились теперь особые, вещие смыслы.

– Не сомневайтесь, православные, я за вас – до царя дойду!

И замирали сердца: а ведь и впрямь дойдёт!.. «Союз рабочих» рос как на дрожжах, прибавив за полгода в десять (!) раз: теперь его самочинные «отделы» (робкие реплики полицейских властей о нарушении устава организации Гапон демонстративно игнорировал) были распространены по столице, подобно сети, накрывшей к Рождеству все рабочие предместья. Торжествующий Гапон распорядился устроить одновременно 11 праздничных «ёлок», собравших несметные толпы фабричной детворы в сопровождении принарядившихся чинных родителей.

Дети веселились, а ожидающие их за скромной праздничной трапезой взрослые взволнованно толковали о приключившей на Путиловском заводе «истории». Была она немудрящей: трём рабочим мастер пригрозил расчётом за прогулы, да ещё один получил отставку за малое усердие[219]. Однако тут присутствовал неприметный непосвящённым нюанс. Все четверо пострадавших являлись участниками гапоновского «Собрания рабочих», а их гонитель, мастер Тетявкин, сочувствовал «Обществу взаимопомощи рабочих в механическом производстве» Михаила Ушакова[220]. Потому-то, возмущённые выпадом со стороны «ушаковцев» «гапоновцы», не обращая внимания на резвящихся вокруг сияющих ёлок счастливых детей, на все лады повторяли, распаляя друг друга, только одно:

– Так и сказал: идите, мол, в ваше «Собрание», пусть оно вас поддержит и прокормит?! Это так-то он про наших?!!

Это азартное «наших бьют!» и решало всё. Не прозвучи роковая фраза мастера – дело, вероятно, было бы если не улажено

вчистую полюбовно, то уж точно не вызвало внезапно такого всеобщего и обоюдного раздражения и озлобления.

Тремя днями позже на заседании разгорячённого актива «Собрания рабочих» было решено: стачка на Путиловском (!), а если не поможет – бастовать всем вообще заводам и фабрикам, где имеются «гапоновские» ячейки (!!). Мало того, заговорили об особой челобитной бумаге («петиции») к самому государю (!!!). Гапон реагировал на громы и молнии разбушевавшихся соратников добродушно-снисходительно:

– Ладно, ладно… Хотите сорвать ставку – срывайте!

По всей вероятности, он был уверен, что его собственного влияния на городское и заводское начальство будет вполне достаточно, и мыслил грандиозные планы своих активистов лишь в умозрительном ключе – как эффектное сопровождение для грядущей беседы. Всё-таки, речь шла об увольнении одного рабочего… Но вышло наоборот. Городские и прочие власти, обычно податливые, выказали на этот раз перед «пророком» исключительную твёрдость. Гапон же, раздражённый неудачей, воспламенился. Идея с «петицией» вдруг захватила его. Он взялся за текст:

> Государь! Мы, рабочие города С.-Петербурга, наши жёны, дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты… Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнёт чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой…

– Упаду перед Ним на колени, – пояснял Гапон «союзникам», – умолю его сейчас же, при мне, написать указ об… об амнистии всех. С Ним на балкон выйду, прочту указ. И возликует народ. Первым советником Его буду. И начнем-то мы с Ним строить – Царство Божие на земле… Вместе… Вдвоём…

В первых числах января, действительно, начались забастовки. В эти дни всеобщая народная вера в «заступника» достигла немыслимых высот: все видели, как легко, по единому слову о. Георгия останавливаются и послушно замирают огромные заводы и фабрики:

– Вот она, сила-то…

А на собраниях «Союза рабочих», где вовсю обсуждалось грядущее шествие рабочих с «петицей» к царю, уже звучали иные речи:

– Коли царь примет петицию, я тут же потребую клятву

немедленно подписать указ о всеобщей амнистии и о созыве всенародного Земского собора. А вы запоминайте. Ежели я выйду затем на балкон и махну платком белым – то начнется всенародный праздник. А вот ежели выйду и махну платком красным – то тогда, значит…

– Что «тогда», о. Георгий?

– Ничего, так… Да что там: все средства хороши… Слышали: цель оправдывает средства. А цель-то у нас святая – вывести народ страждущий из тупика, избавить от гнёта. Попробуем идти с Богом… С Богом… А коли не получится с Богом, то… всё равно пойдем… И своего добьёмся!

В нём явно начинало бродить безумие. «Чем династия Готторпов (Романовых) лучше династии Гапонов? – вспоминал гапоновские откровения литератор Владимир Поссе. – Готторпы – династия гольштинская, Гапоны – хохлацкая. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течёт кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая».

Накануне шествия Гапон и руководители «Собрания рабочих» решили сфотографироваться вместе – «на прощание». Все уже знали, что в городе подняты войска. Наступал великий день в российской истории – воскресное девятое января тысяча девятьсот пятого года. Ранним утром над морозным Петербургом нависла сплошная густая туманная дымка. Деревья покрылись пушисто-белым инеем. Заря упрямо росла, пробиваясь красно-кровавыми сполохами к улицам, на которых повсюду замёрзшие за ночь солдаты топтались вокруг дымящихся походных кухонь. Вдруг плотная холстина тумана как будто лопнула трижды, и в образовавшиеся прорехи хлынул вниз ослепительный свет:

> В багряных свитках зимнего тумана
> Нам солнце гневное явило лик втройне,
> И каждый диск сочился точно рана…
> И выступила кровь на снежной пелене.[221]

Солдаты в строящихся шеренгах и редкие прохожие на тротуарах задирали голову и, оробев, осеняли себя крестным знамением.

Над городом яростно сияли… ТРИ СОЛНЦА!

VI

Кровавое воскресенье – «Потрясение на всю жизнь» – Объяснение в Регулярном парке – «Дафнис и Хлоя» – Любовная история Николая Гумилёва – Революционные беспорядки и Мукденское сражение.

В жизни каждого человека великие исторические рубежи предстают, в подавляющем большинстве, в окружении тех незначительных, камерных деталей повседневности, которые, будучи взяты сами по себе, вскоре стёрлись бы из памяти. Однако оказавшись бытовым фоном свершающейся катастрофы, все эти детали и подробности укореняются в сознании: к ним возвращаются вновь и вновь в поисках роковой символики, в поисках того тайного сигнала опасности и тревоги, который, наверное, посылала судьба, и который *тогда* не был распознан в должной мере. «Я вспоминала, – пишет Ахматова, – как дрожали руки у студента-репетитора <И. В. Селивёрстова>, когда он приехал зимой в Царское Село и рассказывал о 9 января». Чтó рассказывал Селивёрстов она не передает.

А рассказывали разное. Поскольку само грандиозное кровавое действо, исполненное на петербургских улицах и площадях, подобно дьявольской фуге, изначально распадалось на несколько совершенно отдельных друг от друга движущих сил, которые сплелись в итоге в ужасающую коду.

Был злосчастный путиловский мастер Тетявкин, в сердцах отправивший четырёх проштрафившихся подопечных искать поддержку и «прокорм» в нелюбимое Тетявкиным «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга».

Были оскорблённые этим жестом Тетявкина активисты «Собрания», которые, начав с брюзжания на конкурентов из «Общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве», по русской душевной широте очень скоро дошли до гневного желания остановить – в пику «ушаковским» оппортунистам! – городские заводы и донести челобитную о заводских безобразиях самому государю.

Был экзальтированный «пророк» и «заступник» Георгий Гапон, который по ходу разгорающейся профсоюзной склоки среди настойчивых разговоров о верховной «петиции» вдруг загорелся идеей непременно и немедленно достичь государя, разметать вокруг него неправедных советников и приступить к построению Царства Божиего на земле как на небе. Как это будет возможно на деле, вдохновенный Гапон даже не задумывался, полагая, как и все лидеры подобного рода, что главное ввязаться

в драку, а там будет видно[222].

Были 300 000 простых душ, которые истово верили в чудесные способности и добродетели и о. Георгия, и государя, и которые охотно откликнулись на призыв Гапона идти к государю «во сретение», не видя в том ничего дурного или мятежного. Если сам Гапон плохо понимал, желает ли он утверждения правящей династии, монархического переворота или революционного установления республики, то эти «малые» и подавно не задумывались ни о какой политической борьбе. Всё мыслилось как некий особый праздничный акт, то ли духовный, то ли светский, так что главная («путиловская») колонна во главе с о. Георгием утром 9-го стихийно приобрела вид пасхального крестного хода – с пением «Спаси, Господи, люди твоя…» и позаимствованными из ближайшей часовни иконами, хоругвями и церковными облачениями.

Был государь, который слыхом не слыхивал ни о Гапоне, ни о гапоновском «Собрании рабочих», ни о «петиции», но только что пережил нечто вроде покушения: во время салюта по поводу Крещенского водосвятия на Неве, одна из пушек вдруг выстрелила боевым зарядом в сторону помоста у Иордани, где в полном составе находилось августейшее семейство[223]. Николай II, склонный видеть в случившемся простое недоразумение, пробовал шутить («Моя же батарея меня и расстреливает! Только плохо стреляет!»), но высшие чины его охраны категорически настояли на том, чтобы он до выяснения обстоятельств неотлучно находился с семьей в Царском Селе[224]. Там-то, буквально в самый канун рокового дня (в 23 ч. 30 мин.), удивлённый царь Николай и узнал, что «какой-то священник-социалист Гапон» в ходе верноподданнической манифестации имеет назавтра намеренье разделить с ним бремя государственной ноши (глава Министерства внутренних дел заверил, что «рабочие до сих пор вели себя спокойно», что «из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона» и что все меры по недопущению беспорядков из-за этого странного поползновения приняты вполне).

Но это не всё.

Были городские, полицейские и военные власти, узнавшие о готовящемся 120-ти тысячном (на деле оказалось вдвое больше) шествии немногим ранее царя. Ведь первую запальчивую реплику о «петиции» в «Собрания рабочих» от начала движения «путиловской» колонны к Нарвским воротам отделяют всего ДВЕ НЕДЕЛИ (пришедшиеся к тому же на новогодние торжества), сама «петиция» была произведена участниками «Собрания» за ТРИ ДНЯ до шествия, а за СУТКИ Гапон объявил градоначальнику И. А.

Фуллону и министру юстиции Н. В. Муравьёву, что «рабочие и жители Петербурга разных сословий желают и должны видеть Царя 9-го сего января, в воскресенье, в 2 часа дня на Дворцовой площади». Эту любопытную новость Гапон подавал в своем обычном выскокопарно-косноязычном стиле, что ещё более усиливало впечатление фантастического бреда[225]. Но заводы накануне, действительно, без видимой причины, встали, и в этой ситуации просто неизбежным было обращение властей к войскам с одной лишь задачей: не пускать самочинные толпы в городской центр российской столицы, чтобы не допустить давки среди народа (Фуллон сразу заголосил про московскую катастрофу на Ходынском поле во время коронационных торжеств 1896 года). Помимо того, все понимали, что в городе активно действуют японские агенты и революционные террористы, которые легко могут устроить в людском скоплении любые возмущения и панику.

Были эти самые японские агенты и революционеры, которые, натурально, горели желанием устроить возмущения и панику, чтобы максимально досадить властям. Неожиданная экзальтация, охватившая «пророка» Гапона (с которым всё это подполье было давно накоротке), стала для них радостным новогодним подарком: о подобной массовой акции никакая из этих групп в самостоятельном действии не могла даже помыслить. В большинстве колонн орудовали как хотели вооружённые боевики, были заранее заготовлены красные революционные знамёна и транспаранты с лозунгами «Долой самодержавие!», «К оружию, товарищи!», активно распространялись листовки, призывающие «идти вместе за свободу» и т. п.

И, наконец, были начальники военных частей и подразделений, внезапно поднятые по тревоге, и их рядовые, оказавшиеся вдруг лицом к лицу с несметными толпами, рвущимися со всех городских окраин к Дворцовой площади. От Главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа ночью поступил приказ непременно остановить движение манифестантов, действуя при неповиновении силой, – и этот приказ войска выполняли как умели. У Московских ворот и у Александро-Невской лавры полицейским и военным чинам удалось уговорить собравшихся разойтись, но в большинстве повторялась картина, описанная в докладе директора департамента полиции: «Наэлектризованные агитацией толпы рабочих, не поддаваясь воздействию обычных общеполицейских мер и даже атакам кавалерии, упорно стремились к Зимнему дворцу, а затем, раздражённые сопротивлением, стали нападать на воинские части. Такое положение вещей привело к

необходимости принятия чрезвычайных мер для водворения порядка, и воинским частям пришлось действовать против огромных скопищ рабочих огнестрельным оружием…».

Но и это ещё не всё.

Было русское общество, озлобленное военными неудачами и готовое при случае припомнить Николаю II и его правительству свои несбывшиеся надежды на превращение российского абсолютизма в конституционное правление если не по английскому, то хотя бы по германскому образцу. А случай выдался редкий: жуткие, душераздирающие сцены стрельбы и избиений петербуржцы созерцали повсюду весь воскресный день. Немедленно в общественном мнении возник и укрепился разрушительный МИФ О «КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНИИ» (авторство термина приписывают русскому англичанину Э. М. Диллону, корреспонденту «Daily Telegraph»). «На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом и этим царём, – писал тогдашний лидер столичных либералов Пётр Струве. – Всё равно, кто он, надменный деспот, не желающий снизойти до народа, или презренный трус, боящийся стать лицом к лицу с той стихией, из которой он почерпал силу, – после событий 9/22 января 1905 г. царь Николай стал открыто врагом и палачом народа. Больше этого мы о нём не скажем. После этого мы не будем с ним говорить. Он сам себя уничтожил в наших глазах – и возврата к прошлому нет»[226].

Был, увы, и русский народ, который под воздействием ползущих из столицы жутких слухов о заваленной трупами Дворцовой площади и тысячах убитых на подступах к ней[227], под вопли общественников и агитаторов так или иначе усвоил, что «царь, стоящий во главе министров, жандармов, шпионов, попов и других чиновников, грабящих и угнетающих народ, обманул доверие рабочих» и «приказал через генералов и офицеров солдатам <…> действовать оружием и стрелять в мирную, безоружную толпу за то, что она хотела говорить с царём о своих нуждах»[228]. Особо поражал всех рассказ о расстреле у Нарвских ворот крестного хода во главе с уважаемым народом батюшкой[229], что окружало облик Николая II жутким мраком какого-то безысходно-зверского демонизма и иррациональной жестокости:

– Зверь-царь!

Вот эта-то иррациональная необъяснимость Кровавого воскресенья действовала на простого российского обывателя разрушительнее всего, и сделать тут ничего было нельзя. Ведь самый осведомлённый и добросовестный рассказчик мог лишь заключить, что великое потрясение основ русского самодержавия

вызвала… случайная перебранка мастера Тетявкина с прогульщиками Субботиным и Уколовым. А у менее осведомлённых рассказчиков от безумных петербургских ужасов просто «тряслись руки», как у впечатлительного студента Селиванова, который, по всей вероятности, так и не смог провести запланированный на понедельник в Царском Селе урок.

Для Ахматовой абсурдность происходящего, вероятно, усиливалась тем, что непосредственным виновником кровопролития молва именовала великого князя Владимира Александровича, которого Ахматова недавно запомнила анекдотически милым и добродушным стариком. Главнокомандующему войсками гвардии приписывали людоедские призывы: «Народ недоволен! Народ страдает? – я знаю хорошее лекарство от народных бедствий: стоит повесить сотню зачинщиков перед глазами остальных, и всё как рукой снимет! Устройте им хорошенькое кровопусканьице, чтобы надолго запомнили» и т. п. Знаменитые живописцы Валентин Серов и Виктор Поленов даже выступили с призывом бойкотировать великого князя в качестве главы Академии художеств. «Мы, художники, – писали они, – глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии, назначение которой – вносить в жизнь идеи гуманизма и высших идеалов».

Девятое января стало для Ахматовой «потрясением на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное». И всё же несчастный для России 1905-й год начинался для неё, ещё не осознавшей таинственную связь собственной судьбы с судьбами страны, полным надежд. Многообещающие перемены сулил даже домашний быт: в связи с начинавшейся реконструкцией привокзального квартала семейство Горенко готовилось к скорому переезду из дома Шухардиной (уже проданного наследниками покойной хозяйки). По такому случаю, Андрей Антонович твёрдо вознамерился, наконец, снять жильё, соответствующее его «генеральскому» статусу, так что расставание с Безымянным переулком мыслилось, в целом, приятным. Помещения угасающей семейной твердыни, ещё благоухающие ёлочной хвоей, корицей и апельсинами, постепенно заполнялись уложенным и запакованным для погрузки домашним скарбом. На этих обломках нехитрого уюта детских и отроческих лет теперь регулярно появлялся Гумилёв, сияющий, в оснеженной щегольской шинели, с цветами, забавными безделушками, книгами или новыми стихами:

Я конквиста́дор в панцире железном,
Я весело преследую звезду…

Зимние месяцы 1904/1905 года – безоблачное и счастливое время их первых любовных клятв и признаний. Впоследствии Ахматова укажет некую скамью в Екатерининском парке, «где Н<иколай> С<тепанович> впервые сказал мне, что любит меня, когда он был гимназистом 7-го класса (февраль)». Сохранилась фотография Ахматовой на этой скамье, сделанная Н. Н. Пуниным осенью 1926 года в районе Полулунных (ныне Зеркальных) прудов Регулярного парка, на фоне водной статуи Тесея. Во время немецкой оккупации Царского Села статуя была утрачена, а разрушенный в военные годы парковый ландшафт во время реконструкции подвергся значительной перепланировке. Так что, к огромному сожалению, «скамья Ахматовой и Гумилёва», которую в наши дни царскосельские старожилы непременно демонстрируют неофитам, как и одесский «домик Ахматовой» не более чем легендарные артефакты. Впрочем, символическим артефактом является и сам указанный Ахматовой срок. Можно не сомневаться, что задолго до «окончательного» февральского объяснения в Регулярном парке Гумилёв вёл любовную осаду по всем правилам тогдашней декадентской куртуазности. И можно не сомневаться, что его превращение из сдержанно-иронического «названного братца» в пылкого влюблённого имело поводом вполне определённые знаки приязни со стороны предмета страсти.

Этот любовный роман, один из самых знаменитых как в истории отечественной словесности, так и в истории мировой культуры, изобилует не только огромным количеством самых невероятных художественных версий (что вполне приемлемо и даже неизбежно), но и версий биографических. Справедливости ради нужно сказать, что начало этой путанице положила сама Ахматова, которой на старости лет очень хотелось, чтобы Гумилёв под пером грядущих биографов влюблялся в неё, как положено, с первого взгляда. Поэтому год (!), прошедший с момента их случайной встречи в рождественский сочельник 1903-го в царскосельском Гостином дворе до ворожбы «на суженого» у Бориса Мейера в рождественский сочельник 1904-го, в ахматовских рассказах сознательно «заретуширован».

Семнадцатилетний Гумилёв никак не мог моментально и беззаботно влюбиться в четырнадцатилетнюю Ахматову в декабре 1903-го, хотя бы потому, что ещё не отошёл от сороковин по трагически погибшей от тифа девушке-ровеснице, в которую

влюбился в Тифлисе и с которой переписывался всё минувшее лето, нетерпеливо ожидая новой встречи. О трагедии, омрачившей первые «взрослые» месяцы пребывания Гумилёва в Царском Селе, сохранилось немного. Известно, что героиней была дочь юриста Воробьёва, переносившего практику из Тифлиса в Петербург, что осенью 1903 года избранница появилась с семьёй в столице, но очень скоро слегла. Для Гумилёва это был первый в его жизни *взаимный* любовный роман, неизвестно, насколько далеко зашедший, но пережитый, несомненно, очень глубоко. Помимо того, это была первая смерть, разразившаяся в непосредственной близости от него, да ещё при каких потрясающих обстоятельствах! По собственному стихотворному признанию, «выше этого» он «не видел в мире ничего».

Вот в таком состоянии он и встречает Ахматову, – в качестве младшей компаньонки Валерии Тюльпановой. Последняя в своих мемуарах (написанных по просьбе и под строгим контролем подруги) витиевато сообщает, что «Аня» этой встречей «ничуть не была заинтересована», тогда как «Николай Степанович» отнёсся к происшедшему «не так». О том, какими глазами Гумилёв впервые смотрел на малолетнюю царскосельскую «лунатичку», можно, конечно, только гадать, но… «первый портрет» Ахматовой в гумилёвских стихах возникает (по её собственному свидетельству) только осенью следующего 1904-го года. Можно, опять-таки, предположить, что потрясённый Гумилёв хранил всё это время благоговейное молчание, но это совершенно не вяжется с его творческим темпераментом:

> …Я не могу, как Пушкин, сказать о себе: «Но я любя был глух и нем». Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений.
>
> А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьём. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно[230].

К тому же Гумилёв вовсе не молчал. В первую половину 1904 года он в стихах продолжал оплакивать Воробьёву («Песня о певце и короле») и… воспевал новую возлюбленную, «Марианну Дмитриевну Полякову», которой посвящена великолепная ранняя поэма «Дева Солнца», навеянная чтением Г – Р. Хаггарда и символистов:

> Явилась юность – праздник мира,
> В моей груди кипела кровь
> И в блеске солнечного пира
> Я увидал мою любовь.

Она во сне ко мне слетала,
И наклонялася ко мне,
И речи дивные шептала
О золотом, лазурном дне.

Она впёред меня манила,
Роняла белые цветы,
Она мне двери отворила
К восторгам сладостной мечты.[231]

О Поляковой, как и Воробьёвой, сейчас почти ничего не известно. Возможно, её сестрой была незаурядная балерина и педагог Е. Д. Полякова[232]. Сохранился подаренный «многоуважаемой Марианне Дмитриевне» томик стихов Константина Бальмонта, с дарственной надписью «от искреннего преданного друга, конкурента Бальмонта, Н. Гумилёва» и с мадригалом, вновь славящим «Деву Солнца». Как антитеза этому образу в поэзии Гумилёва и возникает затем «ахматовская» тема «Девы Луны» (на этом противопоставлении, собственно, и построена поэма «Осенняя песня»).

Вот, пожалуй, и всё.

Разумеется, современному читателю непонятно, как мог Гумилёв в 1903–1904 годы столько времени носиться с неведомыми Воробьёвой и Поляковой, когда рядом с ним уже обреталась САМА АХМАТОВА. Но Гумилёву-то как раз неведомой оставалась именно Ахматова со всеми её талантами и добродетелями. В начале декабря 1903 года старший брат познакомил его с Тюльпановой. Он знал, что прямодушный Дмитрий серьёзно увлечён Тюльпановой (которая была, напомним, на год старше Ахматовой и происходила, в отличие от той, из чинного и уважаемого царскосельского семейства). Но Тюльпанова, на беду, всюду появлялась со своей непонятной подругой – вот Гумилёв и решил, по-братски, пособить, взяв эту досадную помеху «на себя». Так возникли знаменитые «встречи на катке», о которых Ахматова неоднократно упоминала («приблизительно 10 встреч») и которые совершенно непонятны при полном её равнодушии к «мальчикам Гумилёвым». Получается, что, «ничуть не заинтересовавшись», она затем, в январе-феврале 1904 года, провела в компании с ними практически все праздничные и воскресные дни – недурно для едва знакомых, да ещё и неинтересных кавалеров!

Отношения Дмитрия и Тюльпановой никак не складывались.

«С Митей мне было скучно, – признавалась она, – я считала (а было мне тогда уже пятнадцать), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным». Их роман постепенно шёл на убыль, плавно истаяв через несколько месяцев.

А вот Николай, напротив, весной вдруг заинтересовался Ахматовой (тут не обойти вниманием мартовский пасхальный бал у Гумилёвых – единственный её визит в их семью в качестве «гостьи»). Описанные Тюльпановой встречи у Мариинской гимназии могут приходиться только на март-апрель 1904 года, других сроков при внимательном перечислении событий придумать нельзя. Так Ахматовой выпал, наконец, шанс побыть в роли гамсуновской Эдварды и помучить объявившегося поклонника. Впрочем, долго тот не продержался, – в общем, понятно почему. В апреле Гумилёву исполнилось восемнадцать, роман с Поляковой (вероятно, ровесницей) у него неукоснительно продолжался, «отворяя двери к восторгам сладостной мечты». Зачем была нужна ещё и взбалмошная пятиклассница, пусть даже и необыкновенная, он, конечно, при здравом размышлении, представить себе не мог. Ахматова же немедленно (апрель-май) впала в меланхолию, перестала есть, измучила домашних, сбежала из дома… По-видимому, в отличие от Тюльпановой с Дмитрием, ей с Николаем всё-таки особенно скучно не было и некоторые достоинства в нём она обнаружила. Но и Гумилёв, как можно понять, во время возникшей паузы не оставлял воспоминаний. Встретившись в июне на «объединённом» выпускном балу в Городовой Ратуше, оба единодушно возобновляют знакомство, несколькими днями позже Ахматова получает именинный «императорский букет». На этом они и расстались на летний перерыв.

А осенью перед Гумилёвым предстала самая настоящая «литературная дева», манерная, но очень дружелюбная. Двухмесячное пребывание на богемных раутах у Фёдорова сообщило Ахматовой неколебимую уверенность в собственном поэтическом призвании. Она побывала среди избранных, – и мир поделился в её глазах на неравные сферы «своих» и «чужих». В этой новой системе координат Гумилёв был, безусловно, «свой». Поэтому вся гимназическая гамсуновщина была отставлена: поэт общался с поэтом. Кроме того, существовал ещё один деликатный нюанс, побуждавший Ахматову ценить осенние прогулки с Гумилёвым: «литературная дева» была… не очень начитана. Надо думать, присматриваясь к блестящей россыпи словесных перлов среди говорливых завсегдатаев «дачи Митрофаныча», она смогла прочувствовать свой досадный ущерб вполне. А Гумилёв с раннего отрочества читал много и охотно, забираясь в такие

дебри, о которых Ахматова, освоившая из мировых имён лишь Пушкина (что вовсе неплохо, но, разумеется, недостаточно), даже не подозревала. Достаточно сказать, что в четвёртом классе гимназии, помимо книг Пушкина и Лермонтова (романы Жюля Верна, Купера и Хаггарда не в счёт), он зачитывался «Потерянным и возвращённым раем» Дж. Мильтона, «Неистовым Роландом» Л. Ариосто и «Гайаватой» Лонгфелло. С собой в Царское Село он привёз целую философскую библиотеку – от Канта и Карла Маркса до Шопенгауэра, Ницше и Владимира Соловьёва. Получив «Весы» – с увлечением погрузился в новейшую словесность. К тому же рассказчиком он был великолепным, ничуть не хуже Фёдорова и его дачных знатоков. Стоит ли удивляться, что в сентябре-ноябре 1904-го Ахматова, на редкость внимательная и послушная, исходила с Гумилёвым все аллеи Царского Села и Павловска?

Подобная метаморфоза, в свою очередь, не могла не произвести весьма сильного действия на Гумилёва. Рядом с ним возникла чуткая к его речам, умная и тонкая собеседница. По сохранившемуся эпистолярному признанию, он скоро осознал, что в отсутствие Ахматовой, ему ни с кем не удавалось «поговорить так, как… хотелось бы». Собственно, одно это могло само по себе пробудить незаурядную симпатию. Но как сообщают едва ли не дословно повторяя друг друга многочисленные мемуаристы, обаяние интеллектуальное и духовное причудливо переплеталось в ней с особым эротическим обаянием: она в са́мом буквальном смысле слова влюбляла в себя собеседника. Тот попадал в странную, чувственную зависимость от бесед с Ахматовой, испытывал едва ли не физическое страдание в отдалении от неё и по любому, даже самому незначительному поводу, стремился возобновить прерванный диалог, наслаждаясь уже не глубиной её суждений, а одним лишь созерцанием, простым ощущением её близости. И пусть в 1904 году она ещё не могла владеть в совершенстве всем арсеналом подобных очарований: живая непосредственность ранней юности искупала промахи. К тому же на одесских собраниях у Фёдорова она, наверняка, хотя бы вчерне, освоила куртуазные приёмы актерской и литературной богемы и теперь имела неограниченную возможность их применять и совершенствовать. Если лихие попытки ряда биографов навязать Ахматовой и Фёдорову бурную сексуальную интригу не могут выдержать никакого здравого рассуждения (об этом позже), то всеобщая влюблённость с неуловимыми намёками, волнующими комплиментами и «тайно-тревожными поцелуями», как уже говорилось, действительно, была непременным галантным фоном дачного салона на Большом

Фонтане.

Поэтому нет ничего удивительного, что в осенней символической поэме Гумилёва печальная лунная дева «тихими чарами» (!!) постепенно затмевает солнечную летнюю дриаду. А в декабрьской «Русалке», преподнесённой Ахматовой в качестве рождественского подарка, признание автора звучит, в сущности, без всяких художественных недомолвок:

> Я люблю её, деву-ундину…

И чувство это было взаимным и искренним! И Гумилёв, и Ахматова, вспоминая обаятельные подробности возникновения их любовного романа, рисуют полудетскую идиллию, единодушно обращаясь к трогательным образам наивных античных пастушков, созданных некогда фантазией Лонга:

> И делали всё они вместе, стада свои пася друг от друга неподалеку. И часто Дафнис пригонял овец, отбившихся от стада, часто и Хлоя сгоняла с крутых утёсов слишком смелых коз. Бывало и так, что один из них сторожил оба стада, когда другой чересчур увлечется игрою. А игры были у них пастушьи, детские. Хлоя на болоте сбирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. А Дафнис, нарезав тонких тростинок, узлы их колен проколов, одну с другою склеив мягким воском, до ночи учился играть на свирели. И вместе, порою, они пили молоко и вино, а еду, что с собой приносили из дома, делили друг с другом. И можно б скорее увидеть, что овцы и козы врозь пасутся, чем встретить порознь Дафниса с Хлоей. <…> Он учил её играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель у неё и сам своими губами скользил по всем тростинкам. С виду казалось, что учил он её, ошибку её поправляя, на самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал[233].

«Мальчик мой весёлый», пишет, обращаясь к прошлому, Ахматова («В ремешках пенал и книги были», 1912), а Гумилёв говорит о ней, тогдашней, как о «девочке милой и скромной, наклонённой над книгой Мюссе» («Временами, не справясь с тоскою…», 1917).

> Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в деревне и ни разу ни от кого не слыхала

даже слова «любовь». Томилась её душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она, что о Дафнисе. Есть перестала, по ночам не спала, о стаде своём не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала; лицо у неё, то бледнело, то вспыхивало огнём («Дафнис и Хлоя»).

Разумеется, эпоха декадентства вносила свои стилистические коррективы в эту пастораль. Понятно, что после «тайно-тревожных поцелуев» у ночного Карантинного кладбища Ахматова полагала, что знает о роковых страстях решительно всё, а Гумилёв хотел видеть свою подругу не иначе, как «радостною Евой для грядущих поколений» («Разговор»). Повинуясь куртуазным правилам символистов, он сочинял для зимних вечеров в доме Шухардиной волшебные истории. Он рассказывал, как некий гениальный скульптор изваял для знатного флорентийского вельможи статую дамы, любовь к которой стала единственной властительницей души могучего владыки. С раннего утра до поздней ночи с рыданиями и вздохами склонялся несчастный влюблённый перед недвижной статуей, и великая любовь сотворила великое чудо:

– Однажды, когда особенно чёрной тоской сжималось сердце вельможи и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя…

Провожая гостя в тёмных сенях, заставленных ящиками и мешками для переезда, Ахматова вдруг спохватилась:

– Кажется, я потеряла кольцо… Посмотрите там, на полу, не видите?

Гумилёв едва наклонился, как её кисть, скользнув ему по лицу, на миг задержалась у губ.

– Нет, верно кольцо закатилось куда-то… Но чем же кончилась история вашего флорентийца?

– Лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, – отвечал Гумилёв, – и он стал сильным, смелым и готовым для новой жизни. А статуя так навечно и осталась с протянутой рукой[234].

По всему Царскому Селу насмешливо судачили, что младший сын почтенного Степана Яковлевича Гумилёва превратил одну из комнат дома на Средней улице в какое-то морское дно, изобразив при помощи гимназического приятеля-художника (В. Н. Дешевова) на всех стенах водоросли, лилии, раковины и – бледную ундину, имевшую несомненное портретное сходство[235] … Все эти забавные «декадентские» детали никак не нарушают общую картину полного благополучия влюблённых в первые

месяцы 1905-го года.

Проблема в том, что для авторов многих современных жизнеописаний эта нехитрая истина остаётся тайной за семью печатями.

Тут сложились свои стойкие традиции, согласно которым Гумилёв должен непременно, всегда и всюду, выступать в качестве несчастного влюблённого, Ахматова же – оставаться неприступно-равнодушной. Сомневающихся отсылают к автобиографическим записям Ахматовой о том, как Гумилёв предлагал ей руку и сердце, как она отказывалась etcet:

> Бесконечное жениховство Н<иколая> С<тепановича> и мои столь же бесконечные отказы наконец утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упрёком: «Невеста неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж.

Никого почему-то не смущает, что речь и тут, и в нескольких других подобных репликах идёт о возможности (или невозможности) заключения брака, то есть к первым годам знакомства Ахматовой с Гумилёвым они никакого отношения не имеют. В миг любовного объяснения на пресловутой скамье в Регулярном парке даже Гумилёв, достигший по возрасту совершеннолетия, не завершил ещё гимназического курса. Об Ахматовой и вовсе говорить нечего. А это значит, что и само объяснение было иным, чем в грядущие «взрослые» годы, и Ахматову мы вовсе не обязаны видеть в роли жестокой упрямицы с достоевским «надрывом».

Для подобной роли ей ещё следовало ожесточиться.

Пока же события – пусть с поправкой на декадентские фантазии – не покидали, в общем, границ допустимого для царскосельских гимназических «парочек», и не вызывали, насколько можно судить, никаких особых переживаний ни у школьных наставников, ни у домашних в обеих семьях. Возможно, Андрей Антонович был, как обычно, недоволен новыми причудами «декадентской поэтессы», а родители Гумилёва, наверняка, без всякого энтузиазма отнеслись к постоянным визитам младшего сына в подозрительное семейство Горенко. Но от резкостей все воздерживались именно потому, что ни о каких «брачных партиях» никто и помыслить не мог. Если между самими «Дафнисом и Хлоей» возникали речи о грядущем любовном союзе (на той же романтической скамье близ «Тесея»), то лишь как грёзы о возможном, но достаточно удалённом будущем. И тут вновь, в который раз, в судьбе ранней Ахматовой

неизбежно возникают классические литературные параллели:

> – Как ни тяжёл мне будет этот год, отсрочивающий моё счастье, – продолжал князь Андрей, – в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать моё счастье; но вы свободны: помолвка наша останется тайной и, ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы… – сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.

Речь даже не о том, что объяснение Гумилёва с родителями вышло бы, наверняка, не менее трудным, чем у толстовского героя со стариком Болконским. По действующим на тот момент законам, брачный возраст для женщин начинался с 16-ти лет, поэтому даже de jure «бесконечное жениховство» Гумилёва могло начаться лишь полугодом позже. Фактически же подобный брак был возможен только после гимназического выпускного бала – последний тогда считался «ярмаркой невест»[236]. Так что Гумилёву и Ахматовой зимой 1905 года было вполне позволительно беззаботно мечтать о чём угодно и разыгрывать влюблённость в своё удовольствие. Чем, надо полагать, они и были поглощены всецело, мало обращая внимание на окружающие новости, которые, день ото дня, становились всё фантастичнее, тревожнее и мрачнее.

Беспорядки, возникшие в столице вслед за уличной бойней 9-го января, были подавлены, но известие о Кровавом воскресенье прозвучало в разных уголках огромной страны как единый сигнал к действию для всех противоправительственных сил. В январе забунтовали Москва, Варшава, Лодзь, Рига, Киев, Харьков, Одесса, Екатеринослав, Саратов, Томск. С февраля забастовки и рабочие митинги, манифестации прибалтийских, польских и финских сепаратистов с вооружёнными стычками, поджоги и крестьянские возмущения пошли, нарастая, повсюду и уже не унимались. Вновь торжествовали эсеры-террористы: 4 февраля в самом сердце Первопрестольной, у Никольской башни Кремля (!), был в клочья разорван бомбой великий князь Сергей Александрович, командующий войсками Московского военного округа и бывший генерал-губернатор[237]. Кошмарные подробности этого злодеяния внезапно стали… источником весёлых анекдотов, циркулировавших в студенческой и чиновничьей среде. На все лады повторялась острота о том, что «Его императорскому высочеству пришлось пораскинуть мозгами».

Об убийце – Иване Каляеве – газеты писали с почти не скрываемым восхищением. По свидетельству очевидцев, в Москве царило тогда чуть ли не праздничное настроение, и «лишь в

отдельных случаях слышалось озлобление и негодование, но это исходило из самой тёмной и некультурной среды».

Возможно, разбушевавшееся общество могли бы как-то утихомирить победные сводки из Манчжурии, где с начала февраля разворачивалось грандиозное сухопутное сражение у занятого русскими Шэньяна (Мукдена). Но военные корреспонденции были странны и уклончивы: «Японцы за последние бои постарались усиленно раздуть несуществующую победу на нашем правом фланге» (24 января); «Маршал Ояма доносит, что японские войска после занятия Цинхечен идут по пути русских на север» (17 февраля); «Десятидневный кровопролитный бой не только не утихает, но и становится упорнее. Количество снарядов, выпускаемых обеими сторонами, громадно. После того как наш левый фланг завернулся к северу, переменив фронт против обходной японской колонны, оба противника упорно держаться на своих позициях. Отдельные пункты на западе переходят из рук в руки ценою больших потерь» (22 февраля, 5 ч. 30 м. дня). Наконец 24 февраля мир облетели две «молнии» агентства «Рейтер», перепечатанные, без комментариев, русскими газетами:

> ТОКИО, 24,II-9,III. («Рейтер»). Вчера сражение шло по всему фронту успешно для японцев, вытеснивших русских с важных позиций. Ночью генералу Куропаткину явилась необходимость отойти. В районе армии Оку осталось 8 000 русских убитых; остальной армии причинен втрое больший урон.

> ТОКИО, 24,II-9,III. Хотя размер успеха японцев ещё не известен, но Токио уже празднует победу. Город украшен флагами, толпы народа на улицах раскупают специальные издания газет, поздравления приносят военному министерству и главному штабу…

Итоги Мукденской битвы вызывали и вызывают до сих пор большие споры. Японцы наступали и, в итоге, заняли Мукден, но эта эффектная победа досталась дорогой ценой (15 892 убитых и 59 612 раненных) и носила тактический характер. Русские, потеряв убитыми всего 8 705 человек, отошли к заранее подготовленным позициям в двух сотнях верст севернее Мукдена и, закрепившись, быстро пополняли убыль. Маршалу Ивао Ояме пополнять армию было нечем. Все его людские и материальные ресурсы были исчерпаны под Мукденом сполна, и пополнений с островов ждать не приходилось. Как и мыслил мудрый Куропаткин, грандиозное сражение на истощение сил грозило

обернуться для сухопутных войск микадо подобием Бородина, а занятие Мукдена – гибельным московским триумфом, окончательно парализовавшим обескровленную армию Наполеона I в 1812 году.

Однако в эти безупречные военно-стратегические расчёты вмешалась политика. Смута, внезапно обрушившаяся на Россию в самый канун схватки, сделала «кутузовскую» стратегию неудобопонятной для потрясённого изнутри общества. Всюду разом заговорили о военной «катастрофе» на Дальнем Востоке. Газеты были наполнены паническими известиями о «бесчисленном множестве» повозок с провиантом и боеприпасами, захваченных противником, о доставшемся японцам в числе трофеев знамени Виленского полка, о страшных зверствах, учинённых победителями над русскими ранеными и медицинским персоналом в оставленном Мукдене. Масляная седмица оказалась насквозь отравлена газетной желчью, страхами, гневом и не предвещала ничего хорошего ни стране, ни двум трогательным царскосельским влюблённым, затерявшимся в своём романтическом мире волшебных грёз и фантазий.

VII

Масляничные гуляния – Семья Голенищевых – Кутузовых – Сотрудник «Красного Креста» – Роковое катание на «вейках» – Переезд в дом Соколовского – Болезнь Инны фон Штейн – Любовные страсти в великопостные дни – Дуэль на Светлой седмице – Разрыв с Гумилёвым – Отъезд Штейнов в Евпаторию – Ахматова остаётся одна.

Наступление масленицы, по обыкновению, возвещалось в столичных газетах и журналах всевозможными рассказами, анекдотами, рисунками. В воздухе носился аромат горячих блинов. На бесконечных «гостевых» застольях с раскалёнными блинными стопами чередовались сёмга, балык, икра, снетки и всевозможные подливки; пили же в эти дни, преимущественно, акцизную водку, «себе и отечеству на пользу». Впрочем, в гостях заседало заслуженное старшее поколение. Для детей и простого люда устраивались балаганы, горки, снежные забавы, а молодёжь предпочитала катание на «вейках». С «широкого четвертка» эти разукрашенные открытые сани с нарядной пёстрой полостью и такими же плетёными сиденьями-подушками были видны повсюду. Лошадей щедро украшали разноцветными лентами, на шеи надевали «шаркуны» с колокольчиком и бубенцами. По улицам с утра до вечера стоял лихой звон. Извозчики красовались друг перед другом, на тротуарах шпалерами выстраивались зрители. Многие, веселясь, дурачились, «рядились», надевали маски, раскрашивали лица сажей или жжёной пробкой. Холостяков и молодожёнов со смехом и шутками забрасывали снежками.

Обычаям этим царскосёлы не изменили и в 1905-м, хотя веселье, воцарившееся в городе с 21 по 27 февраля, как никогда напоминало пир во время чумы. Известие об отступлении под Мукденом подоспело как раз 24-го, к «широкому» четвергу, когда гуляния, накопив трёхдневную инерцию, достигают того градуса, за которым под христианской «сырной седмицей» начинает мерещиться прародительная демоническая тьма безумного и блудного языческого карнавала:

А слепые-то подглядывали,
А глухие-то подслушивали,
А безногие побегли догонять,
А безрукие побегли отбирать.
Маслена, маслена, белый сыр,
А кто не оженился – тот сукин сын!

Понятно, что Ахматова и Гумилёв встречали «широкую масленицу» вместе со Штейнами и с Валентином и Натальей Анненскими. Им, наверняка, сопутствовал Андрей Горенко, превратившийся за зимние недели в ближайшего конфидента Гумилёва и поверенного сестры в её любовной интриге. Из прочих участников царскосельской bande joyeuse в биографических материалах, относящихся к началу 1905 года, возникает только имя «Голенищева-Кутузова, который был другом Николая Степановича» и запомнился девятилетнему Виктору Горенко в компании со старшим братом и с воздыхателем сестры[238].

Из биографического письма В. А. Горенко неясно, о ком из двух братьев Голенищевых-Кутузовых идет речь. Младший, Георгий, на несколько месяцев старше Гумилёва, в минувшем учебном году был его одноклассником в Николаевской гимназии. Как раз в эти дни Георгий Голенищев-Кутузов, требуя отслужить в гимназической церкви панихиду по «жертвам уличных беспорядков 9-го января», попал в поле зрения помощника попечителя петербургского учебного округа, отчего в гимназию последовал соответствующий запрос. Отвечая на него, директор И. Ф. Анненский характеризовал своего подопечного как «мальчика доброго и благородного, но ветряного»: «Очень любит удовольствия, особенно танцы. Шалить способен очень, смутьянить нет. Вожаком никогда не был и по натуре не может сделаться – двух мнений о нём между его руководителями нет».

Но «другом Гумилёва», несмотря на изрядную разницу в возрасте, вполне мог оказаться и старший брат, Владимир Голенищев-Кутузов. Гумилёвы и Голенищевы-Кутузовы приятельствовали семьями, нанося и возвращая визиты с улицы Средней на улицу Малую, где со всеми детьми проживала вдовая Елизавета Васильевна, мать Владимира и Георгия. Семья была почтенной. Елизавета Васильевна состояла в родстве с грозным жандармским генералом Дмитрием Треповым, взошедшим после недавнего Кровавого воскресенья на пост петербургского генерал-губернатора[239]. Покойный муж Елизаветы Васильевны, отставной поручик Виктор Фёдорович Голенищев-Кутузов (1840–1887) был уездным предводителем дворянства в Люцине и «непременным членом Дриссенского уездного по крестьянским делам присутствия». Помимо двух сыновей Виктор Фёдорович произвёл на свет дочь Ольгу[240]. Через несколько лет после его безвременной кончины, в 1895-м, осиротевшее семейство покинуло насиженную Витебскую губернию и обосновалось в Царском Селе, без особого блеска, но очень достойно («семья

очень хорошая, средств очень мало», лаконично обрисовывает ситуацию Анненский).

Владимир Викторович Голенищев-Кутузов родился в Режице 22 июня 1879 года и до пятнадцати лет рос в этой латышской провинции, где и начал гимназический курс. В Царском Селе он попал под крыло Анненского, дружил с его сыном и был вхож в дом, однако в Николаевской гимназии (по второгодничеству, как позднее Гумилёв) задержался сверх срока[241]. Как и многие другие питомцы Анненского, он был склонен к стихотворчеству, но никакого непосредственного следа в отечественной словесности эта его склонность не оставила. По завершению гимназии, в 1900 году Владимир Голенищев-Кутузов поступил на Арабо-персидско-турецко-татарский разряд факультета восточных языков Петербургского университета. Явно незаурядный выбор рода деятельности мог привлечь к нему Гумилёва (также обнаруживавшего тогда определённую склонность к восточной экзотике) в плане «дружбы». Да и с чего им стало не дружить? Судя по всему, Кутузов-старший был совсем открытый человек и добрый товарищ на вечеринках, возможно, несколько даже и «без царя в голове», как его закадычный приятель фон Штейн. Притом, вместе с сестрой Ольгой, Владимир Викторович сохранял самое выдержанное направление мыслей, коль скоро дело касалось политики. «Студент из самых умеренных», свидетельствует Анненский. Как видно, в семействе Голенищевых-Кутузовых были представлены в 1905 году все настроения российской общественности.

В конце концов, не очень важно, кого из братьев Голенищевых-Кутузовых имел в виду в 1974 году Виктор Горенко. Важно, что в дни «широкой масленицы» 1905 года, как представляется, все молодые Голенищевы-Кутузовы гоняли на «вейках» по Царскому Селу в компании молодых Горенко, Штейнов, Анненских и Гумилёвых. И в один из таких лихих разъездов Ахматова оказалась в разукрашенных санях вместе с Владимиром Викторовичем. О дальнейшем рассказывает её знаменитое стихотворение 1936 года:

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твоё несу я бремя
Тяжёлое, ты знаешь, сколько лет».
Но для неё не существует время,

И для неё пространства в мире нет.

И снова чёрный масленичный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня.
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель… о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мёртвая вода.[242]

«По въезде в Царское дорога проходила под обоими так называемыми Капризами, то есть арками с фантастическими башенками в китайском вкусе, соединяющими два обширные царские сада. По обе стороны дороги величественно тянулись покрытые снегом деревья и аллеи с изящными беседками и мостиками», – так описывал упомянутую Ахматовой местность между Екатерининским и Александровским парками Я. К. Грот.

Однако нельзя не заметить, что этот реальный маршрут масляничных «веек» 1905 года под пером сорокасемилетней Ахматовой мыслится дорогою в смерть[243]. «Чёрным вечером» по «зловещему парку» ведёт она к «мёртвой воде» и «лебедям», которые со времен Жуковского в царскосельской поэзии всегда считались существами более поту– чем посюсторонними:

Лебедь белогрудый, лебедь белокрылый,
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!..[244]

Существенная деталь: гибельной «древнюю подкапризовую дорогу» делают для Ахматовой невероятно сильные, экстатические эмоции, «счастье и веселье», возникшие внезапно и как бы извне, подобно «ветру, летящему с небесных круч». Этот традиционный образ внешнего наития, одержимости или вдохновения знает Библия (вспомним, хотя бы истомленного и мятежного страдальца, которому разгневанный Господь «отвечал из бури» (Иов. 38. 1)), знает Данте, описывая волшебный ураган в адской пропасти сладострастия (Ад, песнь V) знают бесчисленные народные маги, о чём ярко писал досконально знакомый с предметом Александр Блок:

В этом ветре, который крутится на дорогах, завивая

> снежные столбы, водится нечистая сила. Человек, застигнутый вихрем в дороге, садится, крестясь, на землю. В вихревых столбах ведьмы и черти устраивают поганые пляски и свадьбы; их можно разогнать, если бросить нож в середину вихря: он втыкается в землю, – и поднявший его увидит, что нож окровавлен. Такой нож, «окровавленный вихрем», необходим для чар и заклятий любви, его широким лезвием осторожно вырезают следы, оставленные молодицей на снегу. Так, обходя круг сказаний о вихре, мы возвращаемся к исходной точке и видим, что в зачарованном кольце жизни народной души, которая до сих пор осталась первобытной, необычайно близко стоят мор, смерть, любовь – тёмные, дьявольские силы («Поэзия заговоров и заклинаний»).

Действие подобного «ветра с небес» и обуяло Ахматову в миг, когда она в «чёрный масленичный вечер» 1905 года скользила в разукрашенной «вейке» под Большим и Малым капризами бок-о-бок с элегантным и равнодушно-холодным двадцатишестилетним универсантом, устремлявшим на соседку спокойный взор близоруких светлых глаз. Как и Блок, Ахматова видела в этом внезапном вихре нашествие «тёмных, дьявольских сил», искалечивших всю дальнейшую жизнь:

> Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, – с мукой в голосе:
>
> «И путешествия, и литература, и война, и подъём, и слава – всё, всё, всё – только не любовь… Как проклятье! Как… И потом эта, одна-единственная – как огнём сожгла всё, и опять ничего, ничего…»[245]

Античные язычники недаром видели источником зарождения и развития эротической страсти (ἔρως), в отличие от естественных проявлений духовной или сексуальной любовной привязанности (ἀγάπη, στοργή), не человеческое чувство, а вид самостоятельно существующей безличной космической силы, вроде прародительной Φιλία Эмпедокла, «соединяющей разнородные формы в единый порядок»[246]. Поэтому возникновение такой любви считалось столкновением с роком, жизненной катастрофой, σκάνδαλον[247]. А христиане, не мудрствуя, прямо говорили о стра́стной любви как о бесовском прельщении (прелести), соблазне сотворения кумира и подмены истины «Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 8) извращенной ересью «Любовь есть бог». Позднее, прагматики-рационалисты объявили стра́стную эротическую одержимость особым видом нервного

расстройства, близким к истерии, а мечтатели-романтики, напротив, подняли на щит, почитая болезненную обострённость чувств исключительным признаком одарённой творческой натуры. Но все сходились, что опыт стра́стного эроса является, в общем, трагическим и ущербным, родственным алкогольному или наркотическому угару.

У Ахматовой, пережившей в 1905 году подобный опыт сполна, наваждение страсти прежде всего противно совести. Собственно, с этого она и начинает:

> А я всю ночь веду переговоры
> С неукротимой совестью своей…

Страстный эротический порыв, едва зародившись, меняет мышление, не просто заставляя (как естественное любовное чувство) считаться с присутствием другого существа в собственной жизни, но делает это присутствие главным смыслом, болезненно «сужает» картину мира до единственного желанного образа. В своём развитии он парализует волю и разум, побуждая существовать как бы в особой системе координат, поминутно совершая поступки против обычной жизненной логики, часто вопреки выгоде, достоинству, репутации, а то и простому приличию. Одухотворённое страстью половое влечение возносится до рода фанатической религиозности, вдохновляющей на любые усилия, преступления и жертвы, непредставимые в ходе обычного порядка вещей. И если всё не обрывается подлинным безумием и гибелью, то оставляет глубокие и необратимые последствия, подобные уродствам от перенесённой травмы. Болезнь уходит, но «болезненность» остаётся, продолжая задевать и тех, кто не имел отношения к пережитой трагедии.

Памяти одной из таких нечаянных жертв (Н. В. Недоброво) и посвящено стихотворение 1936 года[248]. А первой жертвой рокового «чёрного масленичного вечера» стал, конечно, Гумилёв, который, по выражению Ахматовой, впал в настоящее отчаяние «от её нежелания всерьёз отнестись к его чувству». То есть «милая и скромная девочка» вдруг обратилась неприступной и язвительной фурией и потешалась над «названным братцем» как могла. Где-то, вероятно, в середине марта он пробовал осторожно недоумевать, и вышла ссора. В позднейшей автобиографической стилизации Гумилёва «Радости земной любви» (под дантовскую «La Vita Nuova») читаем:

> Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не

знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи?

И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома.

К чести Ахматовой, следует сказать, что безумствуя в своей новой любви, она – по крайней мере, первое время – находила силы трезветь и тогда, сострадая и, вероятно, ужасаясь происходящему, отправляла Гумилёву некие извинительные и успокоительные послания, из которых тот мог видеть, что не утратил её благосклонность, и «утешать себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех» («Радости земной любви»). Бедная Хлоя, одурманенная тёмными чарами, почти потерявшая рассудок и захваченная в плен, она всё-таки машинально продолжала любить своего Дафниса! Или, если переместиться с литературными параллелями ближе во времени:

Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную её воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем.

«Отчего же бы это не могло быть вместе? – иногда в совершенном затмении думала она. – Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбирать, и ни без одного из обоих я не могу быть счастлива».

Элемент воспалённого бреда со всеми его противоречиями и абсурдами, очевидно, присутствовал в её жизни в течение всего наступившего за масленичным февральским карнавалом Великого поста. Десятилетием позже, в одном из стихотворных набросков, Ахматова, пытаясь на холодную голову осмыслить тогдашние переживания, вновь, как и в случае со стихотворчеством, рисует подобие «клинической картины»:

Угадаешь ты её не сразу
[Жуткую и тёмную] заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.

Первый признак – странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье,

А второй – печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая,

Только третий – самый настоящий:
Если сердце замирает чаще
И горят в туманном взоре свечи,
Это значит – вечер новой встречи…[249]

А что же Владимир Викторович Голенищев-Кутузов, обнаруживший во время масленичных гуляний столь приятную покладистость в обхождении у средней из сестёр Горенко?

Он был, по-видимому… очень рад.

Гумилёв, описывая соперника во второй новелле «Радостей земной любви» (где Ахматова именуется Примаверой, а alter ego – Гвидо Кавальканти[250]), называет Кутузова «заезжим венецианским синьором», о чьём «скорее влюблённом, чем почтительном преклонении перед красотой Примаверы» «говорила вся Флоренция»:

> Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугаев; ломаясь, пел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попоек; и хвастливо рассказывал о путешествиях своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Кавальканти видел, что Примавера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспевалась её красота в выражениях напыщенных и смешных <…> вдобавок размер часто пропадал, и рифмы были расставлены неверно.

Тюльпанова-Срезневская, гораздо более осведомлённая и менее пристрастная, чем Гумилёв, скупо говорит о том же в своих мемуарах, тщательно подбирая слова:

> …Вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом.

Можно делать выводы. Очень похоже, что Ахматова впервые увидела Голенищева-Кутузова на масленичных гуляниях 1905 года, хотя тот, вроде бы, приятельствовал и со Штейном, и с Гумилёвым, и был своим в доме Анненских. Это возможно (за

исключением обычной воли случая), если с осени 1904 года Кутузов отсутствовал в Царском Селе. Судя по университетскому «Делу…», так оно и было, ибо вся сопутствующая студенческой жизни документация (ежегодные свидетельства о свободном проживании в столице и окрестностях, отпускные билеты, прошения о проездных льготах, справки по болезни) обрывается вдруг 23 августа 1904 года и возобновляется лишь с 19 сентября 1906 года[251]. Получается, что в эти два с лишним года фигурант «Дела…» был занят чем-то, никак не связанным с пребыванием в Петербурге и Царском Селе, а побывка Великим Постом 1905-го в родных пенатах – лишь кратковременный отпуск.

В том же студенческом «Деле…» имеются документы, позволяющие заключить, что в годы русско-японской войны Голенищев-Кутузов был тесно связан с Главным управлением «Российского общества Красного Креста» и (с высокой долей вероятности) участвовал в неких ответственных командировках по этой линии. Недаром Гумилёв в своей новелле именует его «заезжим синьором», упоминает «грубые солдатские песни» (которые «синьор» с успехом исполнял, надо полагать, преимущественно, в дамском обществе) и «хвастливые рассказы» о героических деяниях соотечественников. Весь арсенал преимуществ, которым наделяет причастность, пусть даже отдалённая, к военной страде, Владимир Викторович при знакомстве с Ахматовой использовал сполна. Это вполне сочетается с желанием щегольнуть нарядами, высокомерным видом и, увы, некоторой природной глупостью. По крайней мере, держать язык за зубами Кутузов явно не умел, и о своём победном приключении с мариинской гимназисткой очень скоро растрепал «на всю Флоренцию», то бишь на всё родное Царское Село.

Не исключено также, что в «гимназистке» и была заключена вся соль интриги. Ведь, по словам Тюльпановой-Срезневской, к своим 26-ти Кутузов не только вполне насытился «запретными плодами», но даже «пресытился», т. е. бабником был матёрым и прожженным. «Гимназистка» тут подвернулась как раз кстати (в определенных кругах такая качественная перемена вкуса имеет точный диагноз: «потянуло на свежачка»). К тому же, сохраняя всю возбуждающую пикантность растления несовершеннолетней, интрига с Ахматовой не грозила никакими особыми юридическими строгостями: ей вскоре исполнялось шестнадцать, и поле для любых оборонительных манёвров было, на крайний случай, открыто. Впрочем, подобно своему литературному двойнику, Кутузов, по всей вероятности, просто «был не в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отзываться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его

поступка».

Есть странная тенденция биографов видеть в Голенищеве-Кутузове предмет не только «несчастной» (что бесспорно), но и «безответной», и даже чуть ли ни «выдуманной» влюбленности юной Ахматовой. Но она сама, томимая «неукротимой совестью», называет «свидетелями» любовных свиданий с Кутузовым вполне реальные ориентиры. В уже знакомом стихотворении «Одни глядятся в ласковые взоры…» – это Большой и Малый Капризы, над которыми в вечерних небесах обретается некто «спокойный и двурогий» (в первом приближении предполагается, что месяц), а в стихотворении «Пятнадцатилетние руки…» – Павловский музыкальный вокзал и Баболовский дворец:

> Свидетелей знаю твоих:
> То Павловского вокзала
> Накалённый музыкой купол
> И водопад белогривый
> У Баболовского дворца.[252]

Тут есть определённая топонимическая локализация: где-то между Павловским и Баболовским парками снимали жилье Сергей и Инна фон Штейны. И, как раз после Масляной седмицы туда пришла беда: у Инны открылось кровохаркание. Возможно, причиной стали как раз всё те же роковые гуляния: молодожёнов (а Сергей и Инна не прожили семейно и полгода) на масленицу, по обычаю, валяли в снегу. Состояние духа старшей сестры было ужасно, и Ахматова, разумеется, могла теперь с полным правом отпрашиваться к Штейнам ежедневно и бывать подолгу.

Там, переплетаясь с мучительными заботами о больной, одолеваемой кровавым кашлем, и развивался… «роман»!

От этого несчастного одра Ахматова тайно сбегала гулять с Голенищевым-Кутузовым по Баурскому каналу у Таицкого водопада или на концерт в Павловский вокзал, хотя последнее было совсем уж против всех правил. И, главное, – шли великопостные дни! Завязка «романа», судя по всему, вообще пришлась на первую, особо строгую, великопостную неделю. Первобытные эротические страсти бушевали в жизни Ахматовой прямо под назидательное чтение покаянного канона Андрея Критского на великих повечериях:

> Увы мне, окаянная душе, что уподобилася еси первей Еве? Видела бо еси зле, и уязвилася еси горце, и коснулася еси древа, и вкусила еси дерзостно безсловесныя снеди.

Можно легко предположить, что повидавший виды Голенищев-Кутузов мало стеснялся бытовыми неурядицами и, соблюдая внешнее благочестие, был равнодушен, по большому счету, и к Богу, и к дьяволу. Но Ахматова?! Она явно «потеряла берега», так что грандиозный скандал, неминуемый при обнаружении своевольной гимназистки шестого класса в сопровождении испытанного двадцатишестилетнего кавалера на публике под «накалённым куполом» музыкального вокзала, был для неё уже самым меньшим из возможных зол. («Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю», – от цитаты вновь удержаться невозможно).

Уже говорилось, что Владимир Викторович не считал нужным делать из своих занимательных похождений секрет. Слухи поползли почти сразу, и родители Ахматовой не забили тогда же тревогу, вероятно, лишь потому, что все были заняты переездом (вторым пожаром). «Весной 1905 года, – вспоминала она, – шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского)…» Вряд ли к новым хоромам подходила мебель и прочий скарб, уместный в скромных комнатках покинутого жилья в Безымянном переулке. Так что Инне Эразмовне, расстроенной внезапной болезнью старшей дочери, приходилось, сверх всех забот, вести большие закупки и, вероятно, нанимать дополнительную прислугу. В этой ситуации самоотверженное дежурство Ахматовой у Штейнов сутками напролёт было и уместным, и даже необходимым. А задушевных царскосельских подруг-соседок, разносящих городские сплетни на хвосте, у Инны Эразмовны никогда не было – ни на старом месте, ни тем более на новом. Что же касается Андрея Антоновича, то он, устраивая, как умел, внешнюю сторону семейного быта, никогда особенно не интересовался, чем живут домашние. Да и вся столичная морская администрация, сверху донизу, позабыв про семейные и прочие заботы, была занята сейчас только одним – известиями от 2-й Тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского, которая, перезимовав на Мадагаскаре, 3 (16) марта 1905 года взяла курс на Владивосток.

Дом Соколовского на углу Госпитальной и Бульварной улиц был куда ближе к дому Полубояринова на углу Оранжерейной и Средней, но ежедневные встречи царскосельских Дафниса и Хлои остались в прошлом. Однако, получив упомянутые приветные весточки, Гумилёв, тяготясь разлукой и, конечно, «томясь безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как

благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов»[253], всё же, вплоть до Пасхи, никак не выказывал беспокойства. Разумеется, он знал о болезни Инны, и, подобно домашним Ахматовой, не видел ничего странного в том, что забота о любимой сестре на время затмила для неё всё на свете. Опустевшие дни он коротал у однокашника по гимназии Курта Вульфиуса, сына смотрителя царскосельских уделов. Дом Вульфиусов на Малой улице был симпатичным, литературным – мать семейства являлась родной дочерью прославленного писателя графа Соллогуба, друга Пушкина и Белинского. По субботам были журфиксы, но часто и запросто Екатерина Владимировна и её многочисленное потомство – Анатолий, Александр, Николай, Михаил, Нина и Нелли Вульфиусы – просили гостя прочесть, «что написали нового». Гумилёв, не жеманясь, читал стихи с удовольствием, срывая аплодисменты. В прочее время он пристрастился играть с картёжным виртуозом Куртом в «винт». «Они играли запоем, как говорится, до потери сознания, – вспоминал Анатолий Вульфиус. – Если не было партнёров, они играли вдвоём в так называемый гусарский винт».

У Вульфиусов на Малой Гумилёв проводил первый день пасхальных каникул, 18 апреля, когда разговор за карточным столом вдруг съехал на фривольные слухи, идущие по городу об одной примечательной мариинской гимназистке.

О мотивах, подвигнувших Курта Вульфиуса к подобной беседе, можно лишь гадать.

Возможно, он не был осведомлён о личной заинтересованности своего приятеля в судьбе Ахматовой и просто пересказывал животрепещущую сплетню, о которой говорили все.

Возможно, напротив, он был очень хорошо посвящён в дела Гумилёва, а новость была такова, что Вульфиус посчитал за благо донести её до друга сам.

Возможно, имело место желание «раскрыть глаза» Гумилёву на подлинное положение вещей.

Высказывалось даже мнение, что Вульфиус тоже был влюблён в Ахматову и потому видел в Гумилёве «товарища по несчастью».

Гумилёв вспылил так, что вслед возникло решение о немедленном поединке.

Постановили встретиться через час у Николаевской гимназии и ехать затем по Виндавской дороге в местечко Вырицу для сведения окончательных счётов. Гумилёв, не теряя времени, вызвал с Бульварной Андрея Горенко. Тот, очень расстроенный, согласился быть секундантом. У гимназии обоих поджидали Курт Вульфиус и ассистирующий ему какой-то хмельной студент,

начинавший трезветь и проявлять явные признаки беспокойства. В руках у Вульфиуса были рапиры, тайно изъятые из спортивного гимназического зала. Свернув в ближайший двор оба врага вместе с помощниками сбили булыжниками защиту наконечников и принялись ожесточённо оттачивать острия. Студент, всё время пытавшийся подшучивать то над одним, то над другим, совсем потерялся и запросился в отлучку. На него не обращали внимания, кое-как обернули орудия убийства в тряпки и газеты и направились к вокзалу. Поезд уже подходил, когда на перрон выскочил Дмитрий Гумилёв. Заметив среди отъезжающих пассажиров брата и его спутников, он со всех ног побежал к ним, маша руками и призывая:

– Стойте! Стойте!! Директор зовёт вас к себе! Директор зовёт вас к себе!..

После свирепой головомойки у Иннокентия Анненского Андрей Горенко привёл Гумилёва на Бульварную. Там были Ахматова с Инной Эразмовной и состоялось объяснение, сразившее Гумилёва, куда хуже дуэльной рапиры. «Потрясённая и напуганная» Ахматова «рассорилась с ним, и они перестали встречаться», а её «встревоженная» мать вдогонку тут же отказала от дома. Помимо того, из разрозненных ахматовских заметок можно понять, что Гумилёв «задыхался от чёрной ревности, сводившей его с ума», припомнил роман Киплинга («“она Мейзи, ей всё можно” – говорил из “Свет погас”») и заявил о своём решении «больше не жить, если я не уеду с ним (на Пасхе 1905)».

Вернувшись затем к себе на Среднюю, он в сердцах действительно схватился за какое-то домашнее оружие, ружьё или пистолет, но брат Дмитрий был начеку, да и весь дом находился в тревоге. По крайней мере, если бы «попытка самоубийства», о которой говорит Ахматова, была как-то осуществлена практически – Гумилёв точно решением срочно созванного Педагогического совета вылетел бы из Николаевской гимназии, несмотря на заступничество директора. А так, терпеливо выслушав разгневанных учителей, Иннокентий Фёдорович, сокрушенно покивав головой, веско произнёс:

– Всё это так, господа, но ведь он же пишет стихи!

Анненский взял Гумилёва на поруки, под собственную ответственность. Куда меньше повезло Курту Вульфиусу, которого директор считал главным виновником прискорбного происшествия («Вульфиус, какая же Вы дрянь!»), и которому, пришлось покинуть гимназические стены[254]. А в Царском Селе, по свидетельству его младшего брата, «долго смеялись, вспоминая рапиры»[255].

Вспоминали, разумеется, не только рапиры. Все участники

несостоявшейся дуэли единодушно утверждали, что единственной причиной поединка явилась карточная ссора, но их упрямое запирательство было секретом Полишинеля. О скандальной связи малолетней «луначики» с записным сердцеедом и любезником уже несколько недель толковала «вся Флоренция». И очень вероятно, что как раз на Пасху «средняя Горенко» устроила некую недвусмысленную публичную выходку, доведя градус пересудов до самого высшего уровня. Ничем иным нельзя объяснить категоричную резкость суждений, прозвучавших в дружественном Гумилёву доме Вульфиусов. А резкость была такой, что он был вынужден вызывать приятеля на поединок немедленно, без объяснений, в оскорбительной форме. Вряд ли Гумилёв, обычно хладнокровный, ироничный и явно не склонный к публичным скандалам в гостях, стал бы сразу так горячиться, сморозь закадычный партнёр по висту нечаянную глупость или двусмысленность за карточным столом. К друзьям он относился с «огромной нежностью и трогательностью» (С. А. Ауслендер), и, наверняка, смог бы тактично поправить оплошность, не прибегая к немедленной угрозе смертью.

Но в апреле 1905 года по адресу Ахматовой в царскосельских разговорах уже свободно употреблялись такие слова и выражения, которые среди приличного общества смываются только кровью. Однако кроме Гумилёва (которому также досталось от местных сплетников) охотников вступиться «за честь дамы» не находилось. А что же Голенищев-Кутузов? В разразившийся на Светлой седмице скандал, как в разверзшийся водоворот, оказались вовлечены: Ахматова, её мать и брат, оба брата Гумилёвы с домочадцами, Иннокентий Анненский со всеми членами Педагогического совета Николаевской гимназии и даже (пострадавший, в какой-то мере, больше всех) Курт Вульфиус, фигура совсем посторонняя и случайная. Но главный-то герой, из-за которого, собственно, водоворот и возник, как… в воду канул. Возможно, «заезжий венецианец» перед Пасхой вновь убыл по делам? Тогда вполне уместно предположить, что во время проводов Ахматова, не помня себя от волнения, и выкинула на людях какой-то такой «номер», который всколыхнул всех царскосельских сплетников и дал импульс последующей катастрофе…

В Царском Селе уже не было и Штейнов: Сергей Владимирович повёз жену к родственникам в Евпаторию. В этом захолустном городке на западе Крыма с конца прошлого века бурно рос водный курорт на берегу древнего караимского Мойнакголю, лимана с целебными грязями, обладающими, по слухам, волшебными свойствами. Да и черноморский юг был,

разумеется, куда более пригоден для чахоточной больной, чем северное Царское Село.

Наваждение минувшего месяца рассеялось, оставив Ахматову в полном одиночестве осмыслять весь ужас сложившегося положения. Тут, кстати, можно вспомнить версии некоторых биографов, убеждённых в том, что, восемь месяцев назад, едва отпраздновав пятнадцатилетие, Ахматова в Люстдорфе закрутила на всё лето сексуальную интригу с Александром Фёдоровым прямо на глазах матери, сестры и братьев, да так ловко, что никто из них даже не заподозрил подвоха. Когда же она успела поглупеть настолько, что, влюбившись в Голенищева-Кутузова, за несколько недель разрушила все ближние связи, безнадёжно загубила репутацию и своими руками превратила собственную жизнь в подобие выжженной пустыни? Более того, имея за плечами хоть какой-нибудь пережитой, а не вычитанный из книг опыт эротической чувственности и любовного кокетства, она, по крайней мере, не спешила бы в марте-апреле 1905 года громоздить нелепость на нелепость, как будто бы торопя неизбежное крушение. Но никакого подобного опыта у неё не было, и удар пришёлся прямо по ней, не ожидавшей и не приготовившейся:

Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь Серафима.
А лицо его тебе знакомо…
И накинет душная истома

На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог…
А наутро встанешь с новою загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточною кровью
То, что люди назвали любовью.[256]

VIII

«Бденья у позорного столба» и пророческий транс – Ссора с отцом – Цусимская катастрофа – Завершение шестого класса и отъезд в Евпаторию – Совершеннолетие и «потёмкинские дни».

О том, что́ переживала Ахматова в последние недели «царскосельской» юности, мы можем судить по очень странному, стоящему особняком в её ранней лирике стихотворению 1913 года, обращённому к Валерии Тюльпановой-Срезневской:

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю – нам зачислятся
Бденья у позорного столба.

И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал…
Посмотри туда – он начинается,
Наш кроваво-чёрный карнавал.

«Жрицы божественной бессмыслицы» – это пифии или «вещие гадины» (змея-прорицательница, πῡθία), прозвище жриц храма бога Аполлона в греческих Дельфах, где некогда действовал самый знаменитый в древнем мире оракул («прорицалище»). Пифий выбирали из юных простолюдинок-кликуш, которых, готовя к служению, посвящали Аполлону Мусагету (т. е. «предводителю муз», ибо Дельфийский оракул был расположен на склоне священной горы Парнас). Перед пророчеством пифия омывалась на Парнасе в Кастальском источнике, воды которого сообщали поэтическое вдохновение. Затем девушка поднималась на золотой треножник, стоявший над узкой расщелиной, из которой вырывались ядовитые серные пары. Одурманиваясь ими, пифия в экстатическом беспамятстве начинала выкликивать бессмысленные фразы, часто облечённые в стихотворную форму гекзаметра. Это и была «божественная бессмыслица», в которой содержалось предсказание.

В стихотворении Ахматовой роль золотого дельфийского треножника, орудия пророческого вдохновения, выполняет позорный столб, колодка на деревянной подставке, средневековое приспособление для гражданской казни (часто превращавшейся в казнь физическую, ибо прикованная жертва становилась предметом глумлений разъярённой толпы). Исступлённая пифия,

прикрученная к позорному столбу – вот образ, выбранный Ахматовой для автопортрета времён весны 1905 года. Униженная и поруганная, орущая страшные и бессвязные прорицания сквозь встречные вопли и насмешки гнусной площадной черни, не желающей знать грядущей судьбы…[257] Подобный образ неотвратимо ведёт к воспоминанию о Кассандре, отверженной троянской сивилле древности[258], любимой героине трагических поэтов всех времён, от Эсхилла и Еврипида до литературного крестника Ахматовой Владимира Высоцкого:

> Без умолку безумная девица
> Кричала: «Ясно вижу Трою павшей в прах!»
> Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев —
> Во все века сжигали люди на кострах.[259]

Кассандра, дочь троянского царя Приама, была возлюбленной бога Аполлона, который наделил её пророческим даром. Но когда насмешливая троянка перестала отвечать на страстные призывы, разгневанный Аполлон повелел, чтобы Кассандре никто не верил. Родной отец объявил её безумной и держал взаперти. Между тем все страшные пророчества сбылись, гордая Троя была разрушена, а сама пророчица оказалась наложницей в плену, где вскоре погибла.

Кассандрой-пророчицей Ахматову именовали впоследствии бесчисленное множество раз. Но это сопоставление повелось только со времён Мировой войны и Великой революции, когда в её стихах стали отчётливо являться исторические темы, поражавшие современников глубиной провидения. До 1913 года в ней видели (не без основания) исключительно лирическую поэтессу, очень талантливую и популярную, но обращённую исключительно к миру камерных, любовных переживаний:

> Я – тишайшая, я – простая…

А широкое признание «пророческого дара» Ахматовой состоялось только в начале 1920-х годов, когда практически одновременно Корней Чуковский, Виктор Жирмунский, Борис Эйхенбаум, Виктор Виноградов заговорили об её поэзии, как явлении историческом и национальном. Тогда же и возник в соединении с ней облик скорбной древней пророчицы, оплакавшей перед своим концом гибель родной Трои.

Но самый первый, краткий, хотя, по-видимому, очень страстный и яростный всплеск профетического вдохновения,

случился в её жизни в страшные царскосельские дни апреля-мая 1905 года. «Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слёз… – писала Ахматова в 1907 году, подытоживая всю эту историю. – Или помните вещую Кассандру. Я одной гранью души примыкаю к тёмному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко». Поэтому и «свиданье с тем, кто издевается» и «любовь к тому, кто не позвал» (в 1913 году она уже имела силы назвать точными словами свой опыт общения с Голенищевым-Кутузовым) именуются «дивной судьбою». Неиспытанная ещё душевная боль, унижение и поругание, подобно погружению в струи Кастальских вод, явились для неё внезапной инициацией пророческого дара, а пригвождение к позорному столбу – пифийским треножником, инструментом для возглашения «божественной бессмыслицы».

Стихотворение 1913 года посвящено Валерии Тюльпановой-Срезневской, единственному, по-видимому, человеку, сохранившем в 1905 году для неё связь с прежним, детским и юношеским миром. Прочие отвернулись все. Вероятно, первые дни, пережидая начальную горячность огласки, она вообще оказалась запертой в «барской квартире» в доме Соколовского, точно как троянская Кассандра – по воле разгневанного отца. Это было самым горьким потрясением в произошедшем несчастье. Андрей Антонович не явил никакого христианского великодушия, и постоянно, являясь на Бульварную, побивал грешницу какими только есть словесными каменьями. Неистребимо привязанная к отцу, верная ему до его кончины и принявшая его последний вздох, Ахматова за десятилетия не могла ни позабыть, ни простить Андрею Антоновичу этой обиды. «– Вас любил отец?» – спрашивал её Павел Лукницкий в 1925 году. После долгой паузы ответила: «Думаю, что любил всё-таки…»[260]

День за днём она выслушивала самые ужасные, непредставимые в родительских устах обвинения, – и вдруг стала отвечать, да так, что потом пришлось долго специально мириться (в ноябре 1906-го (!) она вышлет фотокарточку с робкой надписью: «Дорогому папе от его строптивой Ани» (!!), но окончательное примирение произошло лишь в августе 1908 года (!!!)). Словно обезумев, с искажённым лицом, она кликушески вопила, что всё погибнет, и рухнет, и провалится в тартарары, что сроки все вышли, что ничего уже не осталось не только у неё, но и у самого Андрея Антоновича, у его семьи и дома, у проклятого Царского Села и у всей страны – всё рухнет, сгорит, пропадёт, уйдёт под воду, расточиться, сгинет…

– Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и

наг!..[261]

Так и пошло дальше. Натыкаясь на улице или в гимназии на очередную ухмылку, смешок или повёрнутую спину, она принималась вдруг шептать или визжать: «Сгинешь! Сгинешь! Сгинешь!..» – как будто на неё постоянно обрушивалось какое-то невероятное прозрение, точное знание того, что её собственная крохотная и смешная для всех любовная «катастрофка» («…до величия мне далеко») как-то связана со стоящей при дверях великой всеобщей катастрофой, в которую входит вся страна.

Можно, конечно, сказать, что любому, окажись он на месте Ахматовой, померещилось бы, что мир рушится вместе с ним, однако в случае с Ахматовой он действительно рухнул. И по всей вероятности – прямо посреди очередной перепалки с отцом в роскошных апартаментах дома Соколовского, утопающего в белом буйстве майской благоухающей черёмухи:

> Черёмуха мимо
> Прокралась, как сон.
> И кто-то: Цусима!
> Сказал в телефон.[262]

14 (27) мая 1905 года в Цусимском проливе 2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского после восьмимесячного (!) похода по трём океанам встретилась, наконец, с Императорским флотом Японии, которым командовал адмирал Хэйхатиро Того. Перед сражением Рожественский, как некогда легендарный флотоводец Фёдор Ушаков, разделил эскадру опережающим «уступом» на две параллельные колонны, намереваясь в самом начале боя уничтожить одновременным огнём всех своих главных калибров либо авангард, либо арьергард маневрирующего корабельного строя японцев. Это удалось, и первые 10–15 минут флагманы Того оказались сплошь накрыты русскими залпами[263]. Однако – главная загадка Цусимской битвы! – большинство снарядов не взрывались, а… пробивали мёртвым грузом японские корабли (или пронзали их навылет, падая в море). Японцам удалось завершить маневр, построив новую линию наперерез кильватерной колонне противника[264]. Теперь уже русские флагманы оказались накрыты согласным огнём главных орудий японского флота, фугасные заряды которого (знаменитая «шимоза») сработали безупречно. Уже на 43-й минуте боя два броненосца («Князь Суворов» и «Бородино») были подожжены и частично разрушены, а третий («Ослябя») под градом прямых попаданий перевернулся и затонул. Рожественский получил два ранения и оказался, по

официальной формулировке, «неспособен осознавать происходящее». Но даже если бы сознание в адмирале и сохранилось, руководить боем всё равно было нельзя. На «Суворове» оказались перебиты и сожжены все фалы, так что передавать команды не представлялось возможным. А сам головной корабль, охваченный пламенем, без одной трубы, начал судорожно циркулировать вправо, явно потеряв управление. Эскадру возглавил следующий за «Суворовым» броненосец «Император Александр III» капитана 1-го ранга Николая Бухвостова («За одно я ручаюсь: мы все умрём, но не сдадимся!»). Тут следует передать слово участнику и летописцу Цусимской битвы:

> Эскадра, никем не управляемая, была предоставлена самой себе. И вот тогда-то на смену «Суворову» явился броненосец «Александр III», с именем которого навсегда останутся связаны наиболее жуткие воспоминания об ужасах Цусимы. После того как эскадра лишилась адмирала, он стал во главе боевой колонны и повел ее дальше. На этот броненосец обрушился весь огонь двенадцати японских кораблей. А он, приняв на себя всю тяжесть артиллерийского удара, ценою своей гибели спасал остальные наши суда. В безвыходной обстановке сражения он иногда даже проявлял инициативу, на какую только был способен, не раз прикрывал собою «Суворова» и пытался прорваться на север под хвостом неприятельской колонны. Однажды ему удалось воспользоваться туманом и временно вывести эскадру из-под огня. В продолжение нескольких часов он с выдающимся мужеством вел бой против подавляющих сил врага. <…> Что происходило во время боя на его мостиках, в боевой рубке, в башнях и на палубах? Кто же именно был тем фактическим командующим, который так талантливо маневрировал в железных тисках японцев? Был ли это командир корабля, капитан 1-го ранга Бухвостов, его старший офицер Племянников или под конец последний уцелевший в строю младший из мичманов? А может быть, когда никого из офицеров не осталось, корабль, а за ним и всю эскадру вел старший боцман или простой рулевой? Это навсегда останется тайной. <…> И никто и никогда не расскажет, какие муки пережили люди на этом броненосце: из девятисот человек его экипажа не осталось в живых ни одного[265].

После выхода из строя изувеченного «Александра III» (с

пожарами и сильным креном на правый борт он, безнадёжно отстав от основных сил эскадры, к вечеру был добит японскими крейсерами) эскадру на втором часу боя повёл справившийся с повреждениями броненосец «Бородино». Впрочем, бой был уже проигран, начинался разгром. Японские корабли набрасывались на русские, как охотничьи собаки на раненных медведей, и к вечеру вся противостоящая им сторона как единое целое перестала существовать. Разрозненные группы и отдельные суда, утратив всякую способность к взаимодействию, самостоятельно (и, большей частью, тщетно) искали пути к спасению. В итоге из 38 кораблей, которых вёл в поход Рожественский, лишь 5 крейсеров, 3 миноносца и вспомогательное судно смогли преодолеть цусимский ад. Все остальные были потоплены или захвачены в плен. На рассвете 15-го мая 1905 года сдались окруженные основными силами победоносного Того броненосцы «Орёл», «Император Николай I», «Генерал-адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин». Сдался и настигнутый японскими «истребителями» эскадренный миноносец «Бедовый», на котором находился снятый с погибшего «Князя Суворова» Зиновий Рожественский.

То, что вопреки громовым прошлогодним заявлениям Рожественский не пошёл ко дну в Цусимском проливе вместе с расстрелянным «Суворовым» и 935 моряками его экипажа, вряд ли можно было поставить в вину вице-адмиралу. В начале боя он был тяжело ранен, так что решения об эвакуации и сдаче в плен принимались помимо его воли. Однако, придя в себя после ранения, он действовал явно вопреки ожиданиям. Нет ни малейшего сомнения, что и цусимский триумфатор Хэйхатиро Того, равно как и главный русский герой Цусимы Николай Михайлович Бухвостов, окажись они, волею судьбы, на месте Рожественского, действовали бы иначе. В конце концов, даже матросы, с которыми Рожественский возвращался из японского плена, попытались подсказать своему бывшему командующему: неплохо бы застрелиться!

Оскорблённый Рожественский… обратился за защитой к японским властям (и защиту получил). Воистину он был непотопляем! Добравшись до Петербурга в январе 1906 года, он даже попытался восстановиться в должности начальника Главного морского штаба, но тут уж воем взвыли все русские газеты, и флотоводцу, во избежание общественных волнений, убедительно порекомендовали подать в отставку. Тогда он написал рапорт, но обратился теперь уже к правосудию российскому, требуя судебного разбирательства. На суде Рожественский с пафосом заявил о желании подвергнуться казни

расстрелянием, однако судьи, разумеется, вынесли очевидный (из-за невменяемости по ранению) оправдательный вердикт. Всё же общественное мнение оставалось непреклонным, и раздосадованный вице-адмирал затворился дома. По слухам, он собирался планировать некоторый новый победоносный морской поход (!), но помер от удара в новогоднюю ночь 1909-го, любезно освободив от своего присутствия как дальнейшую российскую историю, так и настоящее повествование.

После известий о Цусиме в отставку подал и генерал-адмирал Алексей Александрович, и управляющий морским министерством Ф. К. Авелан (оба покинули свои посты в июне 1905 года). Масштаб бедствия оказался столь велик, что потрясение грозило всем воинским или чиновным карьерам, так или иначе соприкасавшимся в 1904–1905 годы с военно-морскими делами. До поры ведомство торгового мореплавания, никак не повинное в грехах генерал-адмирала и морского министра, находилось в удалении от рассекающего меча яростной в своей слепоте российской фемиды, но нервы в эти дни везде были взвинчены до предела. А для Андрея Антоновича Горенко, близкому к великому князю Александру Михайловичу и посвящённому, наверняка, во все возмутительные подробности авантюры Рожественского, это было ещё и тяжёлое личное горе. Позорно и страшно, с капитуляцией и спуском Андреевских флагов, был загублен весь «константиновский» броненосный флот, главное свершение и гордость его поколения военных моряков. Освоиться с подобной потерей бывшему прапорщику 1-го Черноморского флотского Его Императорского высочества генерал-адмирала Великого Князя Константина Николаевича экипажа являлось делом столь же мучительным, как для ветерана наполеоновской гвардии – смириться с итогами битвы при Ватерлоо.

Но для Ахматовой буря, рождённая в русском обществе газетными передовицами и слухами о невиданном разгроме и посрамлении российского оружия, парадоксальным образом сослужила хорошую службу. Разумеется, глобальные майские цусимские кошмары враз вытеснили из царскосельских умов любовный апрельский скандальчик местного значения. Это позволило Ахматовой без особых моральных заушений[266] и нравственных пыток дотянуть до конца учебного года и завершить в Мариинской гимназии VI класс. Конечно, рано или поздно о ней бы вспомнили, но уже был решён отъезд к сестре Инне, в Евпаторию. Впоследствии Ахматова утверждала, что только это поспешное бегство из Царского в 1905 году спасло её от «более или менее явной травли со стороны озверелых царскосёлов»:

– В этом страшном месте всё, что было выше какого-то уровня – подлежало уничтожению.

Последние дни в Царском, ещё горя пророческим энтузиазмом, она созерцала уличных прохожих под каким-то странным углом зрения – как бесконечную карнавальную вереницу живых мертвецов, не имеющих будущего. Отворившееся внутреннее озарение не давало никакой радости, было печальным и тягостно-мрачным. В ней крепло убеждение, что всё, случившееся Великим Постом, оказалось ритуальной сделкой с тем «спокойным и двурогим», который в первый миг любовного восторга казался всего лишь месяцем, торжественно сияющим над накатанной санной колеёй:

Пятнадцатилетние руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
А на закат наложен
Был белый траур черёмух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем…
И облака сквозили
Кровавой Цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов…[267]

Безумие начинало бродить в самом воздухе несчастных российских дней 1905 года, поднимая новую волну революции, неизмеримо страшней и безнадежней, чем зимние стачки и уличные манифестации. Сразу по прибытию в Евпаторию Ахматова услышала о невероятном военном мятеже, поднятом на новейшем броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический». Там случилось нечто, плохо укладывающееся в сознание: командир броненосца приказал расстрелять с десяток матросов за… претензии к готовке на камбузе![268] Несчастные, которых уже накрывали смертным брезентом, в отчаянии бросились на палачей, и произошла бойня, достойная морских преданий пиратской старины (изверг-капитан, по слухам, визжа в агонии, целовал руки и лизал прогарные ботинки[269], крушащие ему рёбра). Распалясь, в свою очередь, пролитой кровью[270], матросы захватили приданный «Потёмкину» миноносец и повели оба корабля бунтовать Одессу, где беспорядки зрели с мая. В

знаменитом одесском порту случилась вторая бойня, горше прежней, сгорели склады, мастерские, баржи, несколько пароходов, эстакада и церковь Св. Николая Чудотворца. Счет убитым пошёл на сотни; город, объявленный находящимся на военном положении, погрузился в хаос. В двух эскадрах, срочно присланных усмирять обезумевший броненосец, тоже вспыхнул мятеж, и один из кораблей присоединился к «Потёмкину»[271]… Дурно приготовленный флотский борщ (как полгода назад забубённая ругань заводского мастера) потрясал основы Российской империи! «Я бродила по пустынному пляжу и первый раз слушала “взаправдашные”, а не учебные выстрелы с “Потёмкина”», – вспоминала Ахматова первые евпаторийские впечатления. По-видимому, это случилось вечером 21 июня, когда роковой корабль, побывав у берегов Румынии, шёл, угрожая новыми бедами, на Феодосию[272]. Через два дня «Потёмкин» покинул Крым, и вокруг Ахматовой, разгорячённой невероятными событиями весны-лета 1905 года, внезапно воцарилась непроницаемая тишина древнего караимского захолустья.

IX

Ахматова в Евпатории – Летние паломничества на почту – Дом Пасхалиди – Чахоточное проклятие семейства Горенко – Встречи с Мешковым – Мирные переговоры и Портсмутский мир – С. Ю. Витте – Великая забастовка – Манифест 17 октября.

От лета 1905 до лета 1906 года в жизни Ахматовой тянется вереница дней, едва заметная для биографов по крайней скудости внешних событий. «Мы целый год прожили в Евпатории, – писала она в «канонической» версии автобиографии («Коротко о себе», 1965), – где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов». В доверительных же беседах упоминалось главное из этого времени: «…Каждый день, по жаре, за несколько вёрст ходила на почту, и письма так и не получила»[273]. «Ожидание письма» останется у неё с тех пор неизжитым кошмаром, постоянно восстающим из болезненных глубин памяти и накладывающимся на новые имена и новые адреса. Кажется иногда, что она и сама уже толком не разбирала: от кого, когда и куда это роковое письмо должно было прийти: в Евпаторию? в Херсонес? в Слепнёво? в Ташкент?

> Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну…

Сюжетная интрига с исступлённым ожиданием некоего чудодейственного послания, растянувшаяся на весь «евпаторийский» год, дает ключ к пониманию многих нюансов в любовной трагедии Ахматовой. Так, например, практически непреложным фактом видится отъезд Голенищева-Кутузова (а в том, что именно Кутузов должен был быть отправителем волшебной депеши, двух мнений быть не может) из Царского Села *до* пика скандальной огласки. В противном случае, исчерпывающее объяснение любовников, наверняка, случилось бы «очно» ещё во второй половине апреля, и Ахматовой, окажись она всё-таки затем в Евпатории, либо было вовсе нечего ждать, либо не нужно было бы придавать ожиданию такой драматизм. С другой стороны, понятно, что Кутузов находился в двадцатых числах апреля 1905 года не просто вне ближней (включая Петербург) досягаемости, но там, где скорый доступ писем был затруднён, равно как и быстрый ответ не предполагался. Вывод в

таком случае напрашивается сам собой: Дальний Восток, театр боевых действий. И тогда складывается вполне связная картина.

С 1904 года студент четвёртого курса факультета восточных языков Владимир Викторович Голенищев-Кутузов был вовлечён в некую работу «Красного Креста» – в Манчжурии или в Приморье. Университет, разумеется, был осведомлён, но, вероятно, негласно, поэтому никак формально и не реагировал на его отсутствие. С масляной по страстную седмицы 1905-го у Кутузова вышла побывка в Царское Село – в отпуск или с деловым поручением (во главе русского отделения «Красного Креста» стояла вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, помощниками которой были сотрудники придворного ведомства). В родных пенатах, как понятно, дальневосточного героя ожидала восторженная встреча, и тщеславный и хвастливый Кутузов оказался в центре всеобщего внимания, уподобляясь «заезжему венецианцу» из новеллы Гумилёва. Впрочем, тогда Гумилёв (не имея пока, разумеется, ничего против Кутузова) сам поспешил продемонстрировать ставшего знаменитым приятеля своей «Примавере». Шли дни «широкой масленицы» (24, 25, 26 февраля), все катались на «вейках», и одно из вечерних катаний по «древней подкапризовой дороге» оказалось для Ахматовой, по воле «спокойного и двурогого», роковым. Начались встречи, имевшие в силу рокового же стечения обстоятельств (внезапная болезнь Инны Штейн, явившаяся для младшей сестры предлогом отсутствовать дома сутками) самый свободный и скандальный характер. На страстно́й (10–16 апреля) Голенищев-Кутузов убыл вновь по месту назначения, а пятнадцатилетняя гимназистка окончательно поразила всех поведением на проводах, допустимым, разве что, для убитой горем солдатки-жены. Прогремевшая на светлой седмице «дуэльная история» Гумилёва и Вульфиуса окончательно скомпрометировала «лунатичку», которая и без того «не очень импонировала “добродетельным” обывательницам затхлого и очень дурно и глупо воспитанного Царского Села – имевшего все недостатки близкой столицы, без её достоинств» (Срезневская). На месяц (17 апреля – 17 мая) Ахматова оказалась в роли средневековой блудницы у позорного столба. Происходящим она была глубоко потрясена, впав внезапно от нервных эмоций в некий профетический транс. А потом грянула Цусима, ошеломившая саму новоявленную пифию скорым исполнением всех гибельных пророчеств (надо полагать, реакция Андрея Антоновича на телефонное известие о морском разгроме весьма убедительно продемонстрировала Ахматовой, что её безумные угрозы обидчикам сбылись прямо-таки буквально). Общее смятение парализовало разгоравшуюся

травлю. Поэтому выпускные экзамены за VI класс (приходившиеся на май) прошли относительно спокойно. Тут-то удручённый ударами судьбы Андрей Антонович и принял соломоново решение отправить «детей с бонной Моникой» на юг, к Инне Штейн, и Ахматова оказалась в Евпатории как раз в «потёмкинские дни» (14–25 июня), празднуя совершеннолетие (11 июня), так сказать, под канонаду орудий мятежного броненосца.

Всё это время она, среди жестоких обид, разочарований и потрясений, не теряла присутствия духа. Нет сомнений, что обо всех своих случившихся невзгодах она ещё в Царском Селе известила письмом Голенищева-Кутузова, и, в таком случае, от его ответа, действительно, зависела ни много ни мало вся её дальнейшая жизнь. Однако полевая почта во все времена остаётся полевой почтой, тем более что речь шла о приграничных пустынях Дальнего Востока, которые и без всякой войны были не очень-то досягаемы даже для такой безупречной службы, как тогдашнее российское почтовое ведомство. На скорую ответную весточку рассчитывать заведомо не приходилось (надо полагать, о дальневосточной миссии Кутузова в «Красном Кресте» она имела достаточно подробное представление), и оставалось только с избытком запастись терпением, аккуратно нанося ежедневные визиты почтарям – сначала в Царском Селе, а затем и в Евпатории.

От современного евпаторийского почтамта до добротного каменного дома, украшенного мемориальной доской —

> Здесь, в доме А. С. Пасхалиди, в 1905–1906 гг. жила Анна Ахматова (Горенко)[274]

– буквально два шага. Но в начале XX столетия от купеческого особнячка на улице Новой (прославленного ныне евпаторийского прибежища Ахматовой) до тогдашней городской почты было, действительно, около двух вёрст – по Александровской улице к Земской площади и управе и потом по Лазаревской, направо, немного не доходя до стен древней мечети Хан-Джами. Приблизительно столько же, только в противоположном направлении, – мимо городского театра по проспекту Александра III-го и проходом к Северной улице – было до туберкулёзной больницы. Поблизости раскинулся тенистый Шаклеевский сад, выходящий прямо на набережную с пляжами и купальнями. А через квартал на той же Новой улице находились недавно возникшие из местных прогимназий «полные» мужская и женская гимназии, соседствующие друг с другом в едином комплексе зданий[275].

В 1905 году далёкая от царскосельских широт Евпатория

возникала в судьбе семейства Горенко постепенно, с какой-то фатальной неотвратимостью. Впервые городок на западе Крыма возникает в апреле, в прошении Сергея Штейна об оказании ему денежной помощи в связи с болезнью жены и необходимостью переезда в Евпаторию «к родственникам»[276]. О каких родственных связях – самого С. В. Штейна или заболевшей Инны Антоновны – идёт речь, не сказано, но версии (правда, в равной степени зыбкие) у биографов имеются.

В 1879–1888 годы в Евпаторийском уездном училище начинал свою педагогическую карьеру дядя Инны, Владимир Антонович Горенко (1858–?). В Евпатории он женился на дочери местного купца Надежде Дмитриевне Корсика (1861–?), родил здесь двух сыновей, Евгения (1885–?) и Константина (1886–1891), дослужился до титулярного советника, стал заседателем Симферопольского окружного суда и был представлен к первой награде. Но в 1888 году В. А. Горенко был «перемещён» из евпаторийского учительского круга куда-то «в другое ведомство», вероятно, в родной Севастополь. Что же касается взаимоотношений его семейства с семьёй старшего брата, то тут можно строить одни догадки.

Непосредственным евпаторийским начальником и кумом, крестившим второго сына Владимира Антоновича, был смотритель уездного училища коллежский асессор Владимир Андреевич Штейн (1830 или 1831–?). Из города он никуда не уезжал, поднялся в 1899 году до должности «учителя-инспектора Евпатории» и имел в начале XX века два дома «с двором» на Полицейской улице. Однако его родственные связи со столичными однофамильцами Владимиром Ивановичем и Сергеем Владимировичем Штейнами в настоящий момент не прослеживаются.

Так или иначе, но какие-то родственники у Инны и Сергея Штейнов в Евпатории точно были. К тому же начальник евпаторийского порта Н. И. Иванов с середины 1890-х годов был добрым знакомым Андрея Антоновича Горенко и активно участвовал в проектах Главного управления торгового мореплавания. Один из таких проектов предусматривал реконструкцию портовых коммуникаций, за которую взялся известный в крымских деловых кругах купец Ананий Степанович Пасхалиди. В итоге, Пасхалиди и уступил (надо полагать, по вполне сходной цене) часть своего каменного дома на Новой улице под временное жильё дочери и зятю Андрея Антоновича.

Таким образом, к лету 1905 года на крымском побережье у семейства Горенко имелся вполне «обжитой» евпаторийский домашний очаг, куда в июне и направляются семнадцатилетний

Андрей, пятнадцатилетняя (или уже шестнадцатилетняя?) Анна, одиннадцатилетняя Ия и восьмилетний Виктор. Понятно, что для Ахматовой эта летняя поездка на юг – род ссылки. Позорный скандал, едва утихший, мог вспыхнуть вновь в любую секунду, пока она оставалась в Царском Селе. Даже в глазах собственного отца средняя дочь – «продажная женщина», превратившая семейное гнездо в «публичный дом». Правда, сама-то Ахматова была уверена, что вот-вот на её призыв придёт ответ Голенищева-Кутузова, – и всё будет замечательно! Однако суровый родитель этой уверенности не разделял.

Да и Кутузов почему-то с ответом не спешил.

Для Ахматовой Евпатория – заколдованный замок, куда должен прискакать волшебный рыцарь на белом коне и увести её за леса, за моря… Что́ будет, если рыцарь не прискачет, она евпаторийским летом 1905 года, надо полагать, предпочитала не думать.

Но и для остальных это был не просто обычный летний отдых на черноморском берегу!

Несколько лет назад в Государственном архиве республики Крым был обнаружен целый пакет документов, связанных с переводом Андрея Горенко-младшего в Евпаторийскую мужскую гимназию. Это ходатайство упомянутого выше начальника евпаторийского порта Иванова, отправленное на имя директора гимназии А. П. Богдановича письмом из Петербурга 30 июня 1905 года (!), текст телеграммы Андрея Антоновича с разъяснением причин срочного перевода сына «по климатическому благорасположению» (!!) и стандартный набор вступительных документов гимназиста (родительское прошение, метрическое свидетельство и копия формулярного списка о службе отца), отправленный из Царского Села 2 августа 1905 года. Помимо того, имеется официальный запрос А. П. Богдановича в Николаевскую гимназию от 11 августа 1905 года и ответ И.Ф. Анненского на официальных бланках, датированных 16 августа 1905 года.

Упоминание о «климатическом благорасположении» Евпаторийской гимназии в сравнении с Царскосельской не оставляет никаких сомнений: у Андрея Горенко, вслед за Инной, в июне 1905 года был обнаружен процесс в легких! Или, по крайней мере, возникло подозрение на чахотку. Тогда понятна спешная эвакуация всех детей «с бонной Моникой» на юг, в крымский город, уже «обжитой» молодыми Штейнами за два предшествующих месяца и, главное, располагающий лечебницей для туберкулёзных больных. И это никак не было связано тогда с «распадом семьи», о которой, путая события, говорит Ахматова в

автобиографической заметке!

В прошении на имя директора Евпаторийской гимназии («Желая дать образование моему сыну Андрею 18 лет во вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был помещен в VIII класс соответственно выдержанному им весною сего года испытанию при Императорской Николаевской Царскосельской гимназии») Андрей Антонович, как и положено, перечисляет родительские «обязательства», указывая, между прочим, что новый ученик «жительство будет иметь у матери, которая будет иметь наблюдение за поведением вне гимназии»[277]. То есть предполагалось, что Инна Эразмовна ввиду возникшей необходимости «климатического благорасположения» на 1905/1906 учебный год временно переедет из Царского Села в Евпаторию – «наблюдать» за Андреем и, разумеется, помогать Инне, которая на зимний сезон оказывалась одна (муж учился и работал в Петербурге). Понятно, что Ия и малолетний Виктор оставались при матери (в августе второклассницу Ию также без особых проблем перевели из царскосельской Мариинской в Евпаторийскую женскую гимназию, помещавшуюся, как уже говорилось, в одном комплексе зданий с мужской). Что касается Ахматовой, то на неё, как на невменяемую, родители, по-видимому, просто махнули рукой.

Так в стенах дома Пасхалиди в июне 1905-го оказалось всё младшее поколение и Моника Шульц, осуществлявшая, в отсутствие обоих родителей, старший надзор. Возможно, пришлось снять ещё несколько комнат. Впрочем, Инна к этому времени, очевидно, лечилась в больнице, появляясь тут нечасто, а её муж, связанный делами с Петербургом, все летние месяцы был в разъездах. Вплоть до августа протекала обычная «южная» жизнь, привычная для всех, включая Ахматову, которая разнообразила курортные привычки только ежедневными паломничествами на почтамт.

Ответа от Кутузова всё не было, но она терпеливо надеялась, по-видимому, невольно расслабляя нервы в провинциальном приморском покое и успокаиваясь после чудовищного душевного усилия последних царскосельских недель. Возникает даже (как можно понять – с подачи Штейна) новое интересное литературное знакомство – некто Мешков, большой ценитель стихов, в котором биографы Ахматовой иногда склонны видеть московского поэта Николая Михайловича Мешкова (1885–1947).

В наши дни имя Н. М. Мешкова говорит немного, но он был достаточно заметен в литературной жизни Москвы серебряного века, состоял действительным членом Московского литературно-

художественного кружка и выступал с чтением стихов на знаменитых домашних литературно-художественных «средах» у писателя-мецената Телешова:

Окончив исповедь, идёт к себе домой
По дворику церковному усталый
Священник старичок, качает головой
И смотрит старчески на палисадник талый.
Как будто на плечах тяжёлый груз грехов
Всех прихожан его к земле склоняет, —
Но всё же грустный взор таинственно пленяет
Весенняя лазурь в просветах облаков.
Идёт по дворику, по тоненьким доскам,
На лужи кинутым – и, нехотя вздыхая,
Походкой шаткою плетётся к воротам,
Где шепчутся ручьи, на улицу стекая[278].

Стихотворение посвящено Бунину, неизменно благосклонному к автору (тут у исследователей раннего творчества Ахматовой может возникнуть любопытная параллель с прошлогодним ученичеством у Фёдорова, также причисляемого критикой к поэтам «бунинской школы»). Помимо Бунина, Мешков был хорошо знаком с Шаляпиным, Вересаевым, Борисом Зайцевым, входил в эстетский салон поэтессы Любови Столицы «Золотая гроздь», в «Жатву» А. Альвинга и – вместе с Борисом Пастернаком и Борисом Садовским – в молодёжную группу «Сердарда». Его охотно печатали самые разные издания: «Весы», «Путь», «Вокруг света», «Свободный журнал», «Новая жизнь», «Вестник Европы». Правда, активно публиковаться он начал только с 1906 года, но в стихию литературной жизни окунулся с головой ещё в гимназические годы и в 1905-м был, наверняка, очень осведомлён.

Если постоянным спутником Ахматовой в первых евпаторийских прогулках, в самом деле, был Николай Михайлович Мешков, то их беседы смело можно числить вехой в её литературном становлении. Ахматова азартно спорила с собеседником и даже заключила некое «пари», предметом которого стали обсуждаемые стихи (через год, в письме Штейну, она признает себя побеждённой, из чего можно заключить, что речь шла о грядущих публикациях и, вероятно, литературной известности). Под впечатлением от этих споров Ахматова даже написала «маленькую поэму» (до нас не дошедшую). Впрочем, Мешков мог делиться с ней не только эстетическими впечатлениями: совсем недавно, в январе, он принимал участие в

московских уличных волнениях и некоторое время провёл в легендарной Таганской тюрьме… К сожалению, то был не последний опыт тюремного заключения в жизни этого яркого человека, чья судьба, возможно, ещё пересекалась с судьбой Ахматовой, не оставив, правда, на сей раз никаких заметных следов[279].

На излёте августа Евпатория, и без того малолюдная, казалась совсем пустынной. Ахматова, так и не получившая за лето никакой весточки от Голенищева-Кутузова, рвалась в Царское Село. Молчание Владимира Викторовича она, разумеется, воспринимала, как указание на некую беду, свершившуюся на полях дальневосточных сражений. Разузнать тут что-нибудь было возможно только в столице, и евпаторийские дни не могли не напоминать ей пребывание на гвоздях или углях.

Между тем как раз в этом плане волноваться было нечего. После Мукденского сражения обе враждующие сухопутные армии вплоть до лета не выказывали желания наступать. Русские, прочно расположившись на новых позициях эшелонами в глубину, постоянно принимали пополнения, доведя к лету численность своих сил до полумиллиона бойцов, вооружённых, помимо прочего, новейшими образцами скорострельного оружия и гаубичной артиллерией. А японцы, продемонстрировавшие под Ляояном и Мукденом чудеса храбрости и самопожертвования, были вместе с тем обескровлены огромными потерями, уступали противнику в численности чуть не вдвое и не имели ни подходящих коммуникаций, ни, главное, средств, чтобы выправить положение. Даже отставка Куропаткина – в марте Алексей Николаевич был уволен от должности главнокомандующего и назначен (с понижением) командующим 1-й Манчжурской армией – ничего не изменила. Место его занял генерал от инфантерии Николай Петрович Линевич (ранее командовавший этой самой 1-й армией), недавний покоритель Пекина[280] и здравомыслящий патриот, продолживший линию на истощение Японии, взятую предшественником. Это была политическая «рокировка», никак не менявшая общей стратегии боевых действий. Понимая объективную безысходность положения, японцы уже в апреле 1905 года обратились к посредничеству США, предлагая мир. Линевич и Куропаткин заклинали Петербург помедлить с переговорами и, вероятно, окончательно переломили бы весь ход событий, не случись Цусимы. 24 мая собранное Николаем II в Царском Селе Особое совещание под впечатлением от морского разгрома вынесло решение о прекращении войны[281].

Но и во время мирных переговоров в американском

Портсмуте любой намёк на возможность возобновления боевых действий мгновенно парализовал усилия японских дипломатов, рассчитывавших на значительную контрибуцию (уплату военных издержек) и существенные территориальные уступки противной стороны. Более того, огромные силы, накопленные Куропаткиным и Линевичем в Манчжурии и готовые в любой момент нанести удар, позволили главе русской делегации С. Ю. Витте (весьма неприязненному к обоим генералам[282]) объявить на первом же заседании, что, поскольку война не закончилась, на собравшейся конференции «нет ни победителей, ни побежденных»!

В результате заключенный 23 августа (5 сентября) 1905 года между Японией и Россией Портсмутский договор заставил весь мир говорить о «первой русской победе после более нежели годовой войны и сплошных поражений» (Витте). В Токио вместо ожидаемых победных торжеств немедленно вспыхнула кровавая народная смута, открывшая собой в японской истории т. н. «эру народного насилия» (постоянную череду локальных беспорядков и массовых протестов), затянувшуюся на тринадцать лет и вылившуюся в 1918 году в охватившие всю страну «рисовые бунты». Но и для России внезапная «ничья», возникшая в итоге после стольких потрясений и тревог, уже мало что решала. Маховик «эры народного насилия» был раскручен здесь ещё в военные месяцы, и остановить его не мог даже хитроумный Витте, получивший после возвращения из Портсмута графский титул. Оставалось лишь использовать высвобождающуюся энергию, вогнав её в какую-нибудь искусную конструкцию, подобную ходовой части парового локомотива.

Профессиональный железнодорожник Витте хорошо представлял, как неистовое дурное пламя из паровозной топки, готовое пожрать всё и вся, совместными интеллектуальными, волевыми и физическими усилиями инженера, машиниста и кочегара укрощается и преобразует свою хаотическую ярость в направленное действие водяного пара, движущее поршень и шатуны, вращающие колёса. Сразу после триумфального прибытия председателя Комитета министров в Петербург (16 сентября) стихийные протесты, митинги и стачки, повсюду сотрясавшие страну с лета, вдруг превратились в стройную систему действий, вдохновлённую непонятно откуда взявшейся единой творческой волей. А началось всё, действительно, с любимых Витте – и не без взаимности! – железнодорожников, собравшихся 20 сентября в столице на свой всероссийский профессиональный съезд. Этот не слишком приметный форум, созванный по инициативе главы Министерства путей сообщения князя Хилкова для решения вопросов внутренних, вдруг

преобразился в гневный конвент, открыто призвавший всё русское общество к переменам. Невероятная смелость делегатов заставила встрепенуться журналистов, а за ними всю читающую Россию, ибо в официальных газетных отчётах замелькали вещи немыслимые! 7 октября в Москву, и без того взбудораженную забастовками печатников Сытина и булочников Филиппова, просочились некие петербургские слухи, что очередное заседание железнодорожного съезда готовится разогнать полиция. Это была беспочвенная сплетня, но… на следующий день забастовали все дороги Московского железнодорожного узла и появились на редкость чётко сформулированные требования «свободы собраний, сходок, союзов, организаций, совести, печати и стачек, неприкосновенности личности и жилища», а также «созыва народных представителей с законодательной властью, выбранных всем населением страны всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, без различия национальности, пола и вероисповедания, для выработки новых основных законов страны в интересах трудящихся классов». 9 ноября эту удивительную «инициативу снизу» в качестве программы действий принял в Петербурге Железнодорожный съезд (который никто и не думал разгонять!), а 12 ноября тот же съезд объявил о проведении ВСЕРОССИЙСКОЙ ЗАБАСТОВКИ. Двумя днями позже движение ВСЕХ поездов на ВСЕХ магистралях России замерло.

Действия железнодорожников, представлявших на тот момент самую сплочённую и массовую группу высококвалифицированных работников всех уровней, оказались побудительным примером и ориентиром для остального множества профессиональных союзов и стачечных комитетов. Более того, к протестам присоединились… владельцы крупнейших заводов и фабрик, отдавшие указания остановить работу. Прекратили работу суды и банки. Забастовало в полном составе даже Министерство финансов (бывшая вотчина Витте в российском правительстве). К 15 октября ВСЯ страна замерла, словно по единой команде, торжественно ожидая финала столь невиданной политической демонстрации, первой и последней за всю тысячелетнюю историю России. Бездействовала полиция, ибо их «подопечные» революционеры не имели к происходящему никакого отношения. Бездействовали и революционеры, которых Великая забастовка застала врасплох, в бегах или за границей. Бездействовали двор и администрация Николая II, чьи усилия последних месяцев по созданию «карманного парламента» (так называемая «булыгинская дума») для успокоения растревоженной вой ной российской общественности теперь шли прахом…

Государь вызвал в Петергоф Витте.

Ещё 9 ноября, в самом начале событий, тот представил доклад о том, что «Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». Теперь, явившись в приморскую резиденцию на специально нанятом пароходе (другого транспорта в эти дни сюда из Петербурга не было), Витте привёз проект «Высочайшего Манифеста», странно повторяющий формулировки программы безвестных железнодорожных забастовщиков:

> 1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
>
> 2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
>
> 3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей…

Выполнение царской воли поручалось «объединенному высшему правительству» (то есть создаваемому кабинету министров), во главе которого становился…

Николай II изъявил желание изучить столь важный документ в одиночестве, не спеша.

Он надеялся ещё уговорить своего дядю, популярного в армейских кругах великого князя Николая Николаевича младшего[283], взять диктаторские полномочия и навести порядок силой, без окончательного потрясения самых основ российского абсолютизма. У императора имелись веские резоны: в глубинах простого народа, верных идее священного единовластия, весь год зрело глухое недовольство просвещёнными «верхами». На эти бесчисленные людские массы можно было опереться в борьбе со смутой. Однако прежде встречи с царственным племянником к великому князю на Благовещенскую площадь явился Михаил Ушаков, рабочий мудрец.

Это был тот самый Ушаков, что в начале года конкурировал с

о. Георгием Гапоном в борьбе за фабричные умы. Тогда верх остался за о. Георгием, однако Ушаков, сохранивший после 9 января свою профсоюзную группу и (потихоньку) прикормленный доверенными лицами Витте, своего звёздного часа всё-таки дождался! Уступая Гапону в ораторском задоре перед многотысячными толпами, Ушаков был дивно хорош в задушевной беседе. Умилённый великий князь, склонный к мистицизму[284], немедленно вообразил, что у него в дворцовой приемной прозвучал вещий голос народных масс, на которые так рассчитывали защитники династии Романовых. Особенно Николая Николаевича поразило, что всё происходило в канун 17-й годовщины чудесного спасения царской семьи при железнодорожном крушении на станции Борки 17 октября 1888 года[285]. Экзальтированный, он прибыл в Петергоф и бросился на колени перед Николаем II, приставив к виску револьвер с взведённым курком:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Если всё, сказанное тут Сергеем Юльевичем Витте, не будет немедленно утверждено Высочайшей Волей, я застрелюсь прямо сейчас! Во имя…

17 октября 1905 года потрясённый государь подписал оставленный Витте текст «Высочайшего Манифеста». Сам Витте из бутафорского председателя Комитета министров превращался в главу Совета министров, получая вместе с портфелем «премьера» невиданную в истории романовской монархии гражданскую исполнительную власть. В дневнике Николая II появилась запись:

> 17-го октября. Понедельник. Годовщина крушения! В 10 час. поехали в казармы Сводно-Гвардейского батальона. По случаю его праздника отец Иоанн отслужил молебен в столовой… Сидели и разговаривали, ожидая, приезда Витте. Подписал манифест в 5 час. После такого дня голова сделалась тяжелою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию!

X

Дарование «свобод» – Протесты великого князя Александра Михайловича – Ликвидация Главного управления торгового мореплавания – Несчастья А. А. Горенко и его конфликт с великим князем – Разорение – Ссора и разрыв между супругами Горенко.

«Высочайший Манифест» о даровании свобод, зачитанный, как принято, с амвонов всех храмов России, прозвучал громом, изумив казалось бы уже свыкшуюся за минувший год со всякими диковинами страну. История Семнадцатого октября (эта дата, как раньше Девятое января, немедленно стала нарицательной), полная фатальных и мистических мотивов, сыграла роковую роль и в судьбе члена Совета Августейшего Главноуправляющего Главного управления торгового мореплавания и портов Андрея Антоновича Горенко.

Его начальник, великий князь Александр Михайлович, в 1905 году был, как уже известно, злейшим врагом Витте и последовательным идейным противником любого ограничения самодержавной власти. «Если Никки собирался сделаться полковником Романовым, то путь к этому был чрезвычайно прост, – рассуждал он. – Но если он хотел выполнить присягу и остаться монархом, он не должен был отступать ни на шаг пред болтунами революции. Таким образом, было два исхода: или белый флаг капитуляции, или же победный взлёт императорского штандарта». Даже робкие шаги в сторону конституционной реформы, сделанные Николаем II после таинственной морской встречи с Вильгельмом II на балтийском рейде в Бьёрках (германский император посоветовал тогда «кузену Ники» самому объявить сразу все необходимые политические изменения и жёстко придерживаться потом только этой заданной линии)[286], немедленно вызвали у Сандро ожесточение:

– Не было ещё примеров в истории, чтобы революции останавливались бы на полдороге!

Государь, болезненно относившийся к конфликтам в своём ближнем кругу, прибегнул к испытанному в таких случаях средству: отослал горячего великого князя под благовидным предлогом подальше от раздираемого политическими страстями Царского Села. В забастовочном октябре тот был в крымском Ай-Тодоре, занимаясь по личному поручению царя подготовкой к постройке эскадры минных катеров. Тут Александра Михайловича и настигла весть о подписанном за «тысячу пятьсот вёрст» от Крыма «Манифесте»: «Русский Царь стал отныне пародией на английского короля, и это в стране, бывшей под

татарским игом в годы великой хартии вольностей. Сын императора Александра III соглашался разделить свою власть с бандой заговорщиков, политических убийц и провокаторов департамента полиции. Это был – конец! Конец династии, конец империи!.. Как только телеграфное сообщение с Петербургом восстановилось, я немедленно телеграфировал Никки, прося об отставке от должности начальника Управления портов и торгового мореплавания. Я не хотел иметь ничего общего с правительством, идущим на трусливые компромиссы, и менее всего с группой бюрократов, во главе которой стал Витте, назначенный Российским премьер-министром».

Сергей Юльевич, хорошо помнящий как доброе, так и злое, также не склонен был тянуть с развязкой этой истории. 27 октября 1905 года Главное управление торгового мореплавания и портов оказалось поглощено созданным тогда же Министерством торговли и промышленности, а чуть позже, 19 ноября, всё руководство бывшего ведомства подверглось полной реорганизации. Однако статского советника Горенко эти драматические отставки бывших великокняжеских фаворитов не коснулись: он был уволен из канцелярии Главного управления торгового мореплавания (а заодно и с должности члена правления Русского Дунайского пароходства) «согласно прошению» 23 сентября 1905 года, то есть полуторами месяцами раньше.

Увольнение по «прошению» являлось эквивалентом увольнения «по собственному желанию» в наши дни, и, как и в наши дни, могло означать что угодно. Но в случае с увольнением Андреем Антоновича можно точно сказать: оно было внезапным и скандальным и напрямую не связанным с печальной историей авральной реорганизации Управления, каковую (реорганизацию) не мог тогда предвидеть никто! Хотя обстановка в ведомстве великого князя уже со второй половины 1904 года складывалась и не самым благоприятным образом, родственное благоволение самого императора к Главноуправляющему не могло не обнадёжить любого, хотя бы поверхностно знакомого с обычаями отечественного ведения дел. Сам Александр Михайлович ещё в сентябре – начале октября 1905 года был абсолютно уверен в продолжении деятельности своего Управления в послевоенный период и строил планы в этом направлении, работая в Крыму над закладкой новых кораблей. Его пикирование с августейшим племянником вокруг «победного взлёта императорского штандарта» и пр. – касалось парламентского проекта, представленного главой Министерства внутренних дел А. Г. Булыгиным, проекта вполне охранительного и безобидного. Что

же касается таких ударов судьбы как 17-е октября и премьерство Витте, то вплоть до Великой забастовки о подобных головокружительных поворотах никто в России всерьёз и помыслить не мог!

Поэтому и у сотрудников великого князя, несмотря на все очевидные тревоги, были и планы на будущее, и соответствующие амбиции: торжественный весенний переезд Андрея Антоновича с семейством в барские хоромы в доме Соколовского говорит сам за себя. Так что крах карьеры, несомненно, возник для него внезапно, как будто по известной поговорке «Анчутка под руку толкнул». Ахматова тоже видела здесь некую утончённую мистическую иронию, дескать, не успели поселиться в раю, как сатана, разумеется, «позавидовал блаженству человеков»:

> Отец «не сошёлся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. <…> Семья распалась. <…> Все мы больше никогда не жили вместе.

Как известно, «не сходятся характерами» разводящиеся супруги. Так что причина подачи Андреем Антоновичем прошения об отставке – внезапная и личная ссора с «шефом». Понятны и мстительные мотивы, движущие великим князем: мог бы и не утверждать прошение, написанное под горячую руку, но, «разумеется», утвердил. Утвердил, зная, вероятно, о совершенной неготовности своего ближайшего сотрудника (и бывшего учителя!) к потере жалованья, зная об ожидающей того неминуемой катастрофе. Именно так действует оскорблённая сторона при внезапном расторжении ещё вчера счастливого брака: нарочно старается максимально осложнить изменнику грядущие холостые дни. А что Андрей Антонович был явно не готов к отставке, счёл нужным подчеркнуть даже автор некрологической заметки в «Одесском листке» (1915, 7 сент., подп. «В. П.»):

> …Стремление к морю не покидает А. А-ча. Торговое мореплавание – это его сфера. <…> Однако «ничто не вечно под луною», и эту деятельность он должен был оставить. Он вышел в отставку и занял скромное амплуа заведующего статистическим отделом Петербургского городского общественного управления.

Амплуа статистика в городской думе после былых постов генерала-контролёра и ответственного министерского чиновника,

действительно, очень скромное и к тому же наверняка возникшее не сразу. А ведь особых накоплений за всеми жизненными приключениями у Андрея Антоновича как-то не случилось. Что же вызвало такое моментальное и разрушительное фиаско?

Обращает на себя дата увольнения: 23 сентября. Если учитывать специфику событий, то всё должно было происходить очень быстро, одно за другим: бурная ссора, прошение об отставке на стол и, без промедления, соответствующая резолюция наискосок. То есть конфликт между великим князем и его сотрудником произошёл в тот же день, 23-го (либо вечером 22-го).

Но как раз накануне размолвки, 20 сентября, когда между Андреем Горенко и Александром Романовым ещё царило полное согласие, в Петербурге открылся Железнодорожный съезд.

Вот и повод для ссоры!

Разрушительные речи (равно как и зажигательные) с трибуны съезда зазвучали сразу. На следующий день, 21-го, в газетах появились сенсационные отчёты, и активно распространялась молва о необычной новости. А 22 и 23 сентября события на съезде железнодорожников обсуждал со знанием дела весь Петербург. Вряд ли сотрудники Главного управления торгового мореплавания были исключением. Позиция их «шефа», великого князя Александра Михайловича – нужно объявить беспощадную войну революционерам! (см. «Воспоминания»). Позиция Андрея Антоновича – …

Нет, жениться фиктивно на протестующих девицах он, наверное, уже не призывал, и дружбой с динамитчиками, как в молодости, не бравировал. Но нигилистическая «шестидесятническая» закваска никуда не делась, а радикальной переоценки ценностей, насколько можно судить, в нём не прозошло. Достаточно было просто выразить сочувствие «революционерам», чтобы горячий великий князь взвился на дыбы. И понять Александра Михайловича можно, ведь возникала прямая угроза его семье, угроза всем высшим ценностям его жизни. В мирной обстановке он, глубокий человек и блестящий профессионал, мог быть, наверное, терпим к инакомыслящим ценным сотрудникам. Но тут-то речь шла о жизни и смерти! Поэтому и ссора с его стороны вышла мгновенной, личной и непримиримой: с глаз долой, да и делу конец!

Так сказать, «не сошлись характерами»!

Но был ли Андрей Антонович таким яростным общественником, чтобы не задумываясь не только о карьерных последствиях, но и об элементарном такте, резать правду прямо в глаза великому князю? Сказать сложно. С уверенностью можно

утверждать лишь одно: состояние его в эти дни определяла не только политика. Скандал, учинённый им в казённом ведомстве, явился печальным психологическим финалом затяжной жизненной драмы. Попытаемся представить ход её событий.

1905 год открывается в жизни Андрея Антоновича Горенко Девятым января. Нетрудно представить, как потрясли и возмутили его не только расстрел рабочего шествия, но и последующие полицейские бесчинства нового военного губернатора Дмитрия Трепова, сынка незабвенного генерала Фёдора Фёдоровича Трепова, недостреленного в своё время чтимой Андреем Антоновичем Верой Засулич[287]. Он не мог не ощутить знакомую по молодости сгустившуюся атмосферу ожесточённой общественной борьбы, атмосферу петербургских 1870-х годов. Можно гадать, возникло ли в нём уже тогда, в январе, чувство личной угрозы: ведь ему самому те годы принесли одни несчастья, из которых потом пришлось выпутываться, как из вязкой смертной паутины, едва ли не десяток лет.

А несчастья и сейчас не заставили себя ждать.

В марте, в самый разгар хлопот по переезду из Безымянного переулка на Бульварную улицу, свалилось несчастье первое – заболела старшая дочь. Их отношения после прошлогоднего своевольного замужества Инны на голодранце-студенте были плохи, но отчасти уже выправлялись. Андрей Антонович, сменив гнев на милость, пристроил зятя в канцелярию Русско-Дунайского пароходства и, видимо, собрался всерьёз руководить его карьерой. Болезнь смешала планы: выхлопотав кредит (в том же пароходстве), пришлось отправлять молодую чету на юг.

В апреле пришло горе новое: дочь средняя опозорила фамилию на всё Царское Село. К «декадентской поэтессе» и «лунатичке» Андрей Антонович относился особо: то невозможно раздражался её дурацкими шалостями, то жалел, больную, до слёз, то таскал с собой в мариинскую ложу, любуясь исподволь её восторженно-застывшей физиономией. Проще говоря – это была любимая дочь. К его приятному удивлению, от долговязой скандалистки в последние месяцы не отходил генеральский сын, по общему приговору – первый жених в Царском, а по личному впечатлению – не без будущего и, кажется, с душой и сердцем (отец Ахматовой был единственным в семье, чья приязнь к Гумилёву оставалась всегда неизменной). И вот как ушат помоев – в 15 лет спуталась самым скандальным и подлым образом с двадцатишестилетним хлюстом, родственничком Треповых, который, попользовавшись, исчез без следа! В этом мерзком анекдоте больше всего удручала бодрая уверенность дурочки в

каком-то продолжении «романа»! И от тоскливой досады, от тупой безнадёжности и боли, Андрей Антонович крыл её, съёжившуюся, по-флотски, выражениями, подзабытыми со времён вахтенных бдений на «Казбеке». Та бледнела до обморочной белизны и начинала истерически блажить. Добро бы просто плакала, а то выкликала, давясь слезами, угрожающую чушь. И он крыл её, загубившую ни за грош всю свою жизнь, ещё страшнее. Что с ней теперь делать, Андрей Антонович не представлял.

А в мае грянула Цусима (без комментариев)! А в июне у старшего сына заподозрили туберкулёз! Теперь, с помощью знакомого директора евпаторийского порта, к счастью, оказавшегося в столице, Андрея пришлось срочно пристраивать в местную гимназию, а всех детей в пожарном порядке отправлять в Евпаторию, где у Инны и Сергея Штейнов уже было снято жильё. В этой спешке для Андрея Антоновича была одна лишь горькая радость: с глаз долой убиралась и дочь-пророчица, над которой уже в открытую потешались все вокруг и которую Андрей Антонович перестал выносить вовсе. Дети уезжали с Моникой Шульц: Инна Эразмовна задержалась в Царском улаживать перед неожиданным долгим отъездом обычные в подобных случаях хозяйственные и прочие дела.

В августе уехала и она, очевидно вместе с зятем. Штейн перемещал жену, здоровье которой всё это время только ухудшалось, из Крыма на Кавказ, в Сухумскую санаторию для чахоточных (это ещё один кредит и полная безнадёжность). Андрей Антонович остаётся в роскошной «барской квартире» совсем один, но едва ли он проводит в Царском Селе много времени. И надо признать: великое счастье, что рядом с ним Елена Стран-нолюбская, ибо, представляя вот так, шаг за шагом, всё разрушительное действие, которое постоянно производили в нём мытарства 1905 года, испытываешь просто суеверный страх. А ведь надо ещё добавить раздражающий общественный фон, то самое, разлитое в воздухе безумие. Тем более, что главной ареной летних кровавых возмущений становятся родные Андрею Антоновичу Одесса и Севастополь, к известиям откуда он не может быть равнодушным…

Таков был жизненный путь к роковому сентябрю. С начала года всевозможные беды одолевали члена совета главноуправляющего торговым мореплаванием и портами, статского советника Горенко, месяц за месяцем, как ветхозаветного Иова, наверняка развив, в конце концов, как и у библейского страдальца, мятежную нетерпимость, недопустимую в его положении. И в момент очередного накала общественных страстей нервы в нужный момент не выдержали, хотя

предпринятый демарш вышел нелепостью чистой воды. А последствия этой нелепой ссоры с великим князем, покровителем и меценатом, были ужасны! Если всякое великое историческое событие народная мудрость сравнивает с рубкой леса, во время которой щепки летят, то Андрей Антонович в разворачивающейся грандиозной эпопее Великой забастовки и «дарования свобод» был одной из таких несчастных щепок, нечаянно отлетевшей весьма и весьма далеко. Конечно, в любом случае, в качестве чиновника управления морской торговли ему оставалось пребывать вместе со всеми сотрудниками Александра Михайловича чуть более месяца, но служебные зигзаги вроде реорганизации всегда оставляют время и возможности для различных карьерных манёвров. А так в будущем была полная неопределённость.

В Евпаторию, разумеется, немедленно была отправлена телеграмма. Инна Эразмовна срочно вернулась в Царское Село и… «семья распалась».

Как уже говорилось, переезд Инны Эразмовны на осенне-зимний сезон 1905/1906 годов из Царского Села в Евпаторию был вызван пошатнувшимся здоровьем старшего сына и болезнью старшей дочери, а вовсе не разрывом с мужем. И, конечно, речь не шла об оставлении Царского Села навсегда. В семье Горенко, над которой тяготело чахоточное проклятье, вынужденные временные разъезды супругов уже случались, но к «распаду» не привели.

Безусловно, в 1905 году в отношениях Андрея Антоновича и Инны Эразмовны присутствовал весомый деструктивный фактор: Елена Страннолюбская. Но Андрей Антонович и раньше не блистал семейными добродетелями. К тому же эта его связь тянулась уже больше года и острота переживаний у всех участников любовного треугольника (55-летнего Андрея Антоновича, 49-летней Инны Эразмовны и 44-летней Елены Ивановны) не могла не притупиться. По крайней мере, без вмешательства внешних потрясений жизнь Андрея Антоновича «на два дома» почти наверняка длилась бы вплоть до отбытия какой-либо из сторон в иной мир.

Ведь он до конца дней так и не озаботился разводом с женой!

И понятно, почему: третий церковный брак даже в случае вдовства, по слову св. Василия Великого, «не составляется по закону» («На таковые дела взираем как на нечистоты в Церкви, но всенародному осуждению оных не подвергаем, как лучшие, нежели распутное любодеяние»). А вздумай он затеять официальный развод, на него как на сторону заведомо и очевидно виновную (ибо у Инны Эразмовны зримых любовников не

водилось) просто наложили бы вечное прещение на брак со строгой епитимией впридачу. Так что иного, нежели «распутное прелюбодеяние» (то есть внебрачная связь), варианта сожительства со Страннолюбской у Андрея Антоновича de jure просто не было – вне зависимости от того, жила ли его законная жена совместно в Царском Селе или отдельно от мужа в Евпатории.

«Семья распалась», как пишет и Ахматова, не из-за Страннолюбской, не из-за возникшей у Инны Эразмовны необходимости провести с детьми осень и зиму в Крыму, не из-за цусимских потрясений или потрясений домашних, в которых она, Ахматова, сама же и была повинна. «Семья распалась» из-за того, что «отец “не сошелся характером” с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку». То есть до конца сентября 1905 года «семья», при всех невзгодах, конфликтах и переездах, всё-таки была, а уже с октября никакой «семьи» не было: «Все мы больше никогда не жили вместе».

Понятно, что имеется в виду необратимый «распад» личных отношений между матерью и отцом из-за какой-то страшной ссоры в канун карьерной катастрофы, настигшей Андрея Антоновича. Формально, повторим, брачный союз родителей Ахматовой оставался незыблем вплоть до кончины отца в 1915 году. Такое несовпадение буквы закона с реальным положением вещей будет постоянной причиной разных драматических коллизий, как в её собственной жизни, так и в жизни братьев и сестёр, возобновивших вскоре общение с отцом. Но сами супруги Горенко после сентябрьского объяснения в доме Соколовского не встречались (насколько можно судить по биографическим материалам) никогда в жизни! Подробностей этой печальной сцены не сохранилось (и, думается, к лучшему!) Известно только, что Андрей Антонович был моментально разорён внезапной отставкой дотла. Это доказывает откровенно бедственное состояние его детей в евпаторийскую зиму и весну 1905–1906 годов. Ведь, по словам младшего сына, Андрей Антонович был «плохой муж, но хороший отец». О дуре-жене после скандала и разрыва можно знать не хотеть: пусть живёт, как умеет, хоть с голоду помрёт! Но «хороший отец» не может подобным образом «позабыть» и о детях. Ссоры ссорами, но регулярные денежные вспомоществования «хороший отец» всегда найдёт способ своим детям передать: живите пока вдоволь, а уж потом разберёмся… А дети статского советника Горенко бедствовали так, что жили вместе с матерью «впроголодь» (Виктор Горенко). Ахматова же, излагая своему первому биографу Аманде Хейт обстоятельства переезда из Царского Села в Крым, формулировала:

> …Отец, выйдя в отставку, собирался поселиться в Петербурге, а мать с детьми уехала на юг, в Евпаторию. Теперь стала остро ощущаться нехватка денег.

Другое свидетельство Ахматовой, пытавшейся оправдать отца, разъяснив неизбежность его действий в 1905 году, вышло ещё страшнее:

> Папа вышел в отставку, стал получать только пенсию и потому решил отправить семью в провинцию.

Всё это значит, что дела самого статского советника в это время были ужасны. Ему оставалось только в тоске и позоре затаиться от всех под надёжным крылом беззаветно преданной ему Елены Страннолюбской, зализывать раны и понемногу осваиваться в своей новой, третьей по счёту, жизни. А Инна Эразмовна, вернувшись в Евпаторию, объявила приступившей к ней Ахматовой, что «семья распалась», что «барская квартира» в доме Соколовского на Бульварной ликвидирована и возвращаться в Царское Село уже некуда.

XI

Евпаторийский плен – «Дни свобод» – Революция 1905–1906 годов – В мире грёз – Стихотворчество – Разрушение иллюзий – Занятия с репетитором – Анна Вакар – Возвращение Инны Штейн – Из Евпатории в Киев – Награда В. В. Голенищева-Кутузова.

Полгода, с октября 1905-го по май 1906-го, слились в жизни Ахматовой в один и тот же день. Ближе к полудню она отправлялась в путь: вверх по Александровской, мимо Земской управы направо, по Лазаревской, почти до мечети, и там налево… Впрочем, иногда она спускалась вниз и шла по набережной, вдоль моря, в сторону старой городской пристани (там тоже надо было налево, пересекая бульвары). На почте Ахматова спрашивала письмо от Голенищева-Кутузова. Письма почему-то не оказывалось, и она отправлялась восвояси, недоумённо размышляя о таком странном происшествии. Размышлениям отводилась вторая половина дня, которую она проводила, гуляя по Шаклеевскому саду, или вдоль пляжей с другой стороны маяка: от купальни Дюльбера до купальни Таласса. Пляжи были пустынны, купальни постепенно подмерзали (несильно, впрочем, по-южному), затем так же постепенно оттаяли.

Собственно, гулять в Евпатории больше было и негде.

Город был невелик.

«Там не было железной дороги, а пароходы не могли подходить к берегу. О событиях 1905 года мы узнавали только по слухам». Про революцию, конечно, не совсем так: что-то творилось и в Евпатории, подбираясь подчас почти вплотную к дому Пасхалиди. В дни объявления «свобод» Андрей Горенко, быстро оглядевшийся в своём новом классе и завязавший знакомства, рассказывал про «беспорядки», заключавшиеся в том, что некая «депутация» гимназистов и гимназисток из обоих гимназических корпусов принесла в учительский кабинет составленную хартию вольности. Только что назначенный новый директор Зельницкий свирепствовал, взявшись за увольнения неблагонадежных учеников: безбожно занижал оценки сам и требовал того же от подопечных учителей. Но, в общем, Андрей был доволен Евпаторийской гимназией, и древними языками, и историей, и собирался подавать, как хотел и в Царском Селе, заявку на поступление на историко-филологический факультет Петербургского университета. Слушая его, Инна Эразмовна монотонно тарабанила пальцами по столу. Тарабанила она так все полгода. Однажды на непрерывный стук пришли с обыском. По всему городу, усеянному прокламациями, искали подпольный

типографский станок, а кто-то из соседей проявил бдительность…

Было понятно, что повсюду творились страсти, страна шла вразнос. Сразу вслед за «вольностями» революционеры, прозевавшие Великую забастовку, стали лихорадочно навёрстывать упущенное, пытаясь создать мятежные народные «Советы». В ответ вспыхивали погромы, то тут, то там пытались бить евреев и тех, «кто в очках», главных смутьянов. Но смута не переводилась – и в эшелонах, идущих из Манчжурии, и на Чёрном море. В ноябре в Севастополе некий ненормальный капитан 2 ранга попытался именем «Советов» взять на себя командование флотом, и был морской бой. В декабре в Москве дошло до уличных баррикад, захвата вокзалов и заводов. Была большая стрельба на Пресне, в Симоновской слободе, Бутырках, Замоскворечье – с пушками, пулемётами, при участии регулярных гвардейских частей, штурмовавших Первопрестольную как враждебный город. По всей необъятной стране полыхали большие и малые помещичьи усадьбы. Как и предполагал Николай II, колеблясь скреплять августейшей подписью виттевский «Манифест», дарованные «свободы» в российском преломлении немедленно приняли самые причудливые формы. В апреле 1906 года Витте ушёл в отставку, удержавшись в премьерском кресле всего 185 дней!

Обрывки всего этого, конечно, доносились до Ахматовой постоянно, но все внешние события были отодвинуты теперь так далеко, что даже заботы и новости ближнего мира, семьи и соседей, принимались отстранённо и приглушённо, словно сквозь некий прозрачный экран, неясно пропускающий очертания и звуки. Прочее же было почти неразличимо и чуждо до полного равнодушия. Вплоть до октября надежда достигнуть вскоре Царского Села, возбуждая раздражённую злость нетерпения, удерживала её вовне, заставляла метаться, доказывать, негодовать и оскорблять. Но наткнувшись после октябрьского возвращения матери на непреодолимую стену сошедшихся обстоятельств, Ахматова затихла и сосредоточилась исключительно в себе.

От Штейна она получила в августе уверенность, что Кутузов жив. Этого было достаточно. Ещё летом, начиная мечтательные паломничества на евпаторийскую почту, она очень скоро выстроила собственное мироздание, средоточием которого являлось обретённое наконец письмо от Голенищева-Кутузова и, далее, встреча с ним. Теперь же иного мира у неё просто не было. Следуя логике этого мира, она, несмотря на просьбы матери и уговоры брата, наотрез отказалась от поступления в местную

гимназию. Это было невозможно: ведь теперь, шестнадцатилетней и свободной, ей ничего не мешало венчаться с Кутузовым в самый день его прибытия в Евпаторию. А зачисление в гимназию влекло бы неизбежную казённую волокиту, несколько дней, а может, даже целую неделю ожидания, которую она не перенесла бы точно. В мире внешнем важными были почта и прибрежные прогулки, во время которых ей хорошо думалось.

Всё остальное, – включая пищу и сон, – выходило как придётся. Зато внутренняя жизнь шла на пределе возможностей, реагируя на малейшие нюансы мыслей и переживаний, и затем бесконечное количество раз возвращаясь к ним. Десятилетием позже она сможет переосмыслить свой необычайно богатый опыт, создав целую красочную и многоплановую поэму об одном лишь только постоянном ожидании «царевича»:

> Тихо пошла я вдоль бухты к мысу,
> К чёрным, разломанным, острым скалам,
> Пеной покрытым в часы прибоя,
> И повторяла новую песню.
> Знала я: с кем бы царевич не был,
> Слышит он голос мой, смутившись, —
> И оттого мне каждое слово,
> Как божий подарок, было мило.[288]

Сложение стихов стало одной из главных составляющих яркой, динамичной и насыщенной переменами жизни этого внутреннего мира, полгода бушевавшего в ней, истончившейся за это же время в жизни внешней до полупризрачного, немыслимо однообразного и незаметного бытия. По словам Ахматовой, стихов было «великое множество» и они все были «беспомощными»[289]. Её главный корреспондент, Тюльпанова, которая получала в письмах подруги какие-то из стихотворных текстов («Этот короткий промежуток наших жизней держался только на переписке, к сожалению, затерянной нами»), мыслит несколько иначе:

> Анна свои ранние стихи, к сожалению, не сохранила, и потому для исследователей её творчества навеки утеряны истоки прекрасного таланта.

Но кое-что всё-таки осталось. Во-первых, на том же листе, где записано посвящённое «А. М. Ф<ёдорову>» стихотворение «Над чёрною бездной…» (с датой *24 июля [1904]*) с ним соседствует список стихотворного «Посвящ<ения> ***», обычно датируемого

биографами и издателями 1904–1905 годами:

О, молчи! от волнующих страстных речей
Я в огне и дрожу,
И испуганно нежных очей,
Я с тебя не свожу.

О, молчи! в сердце юном моём
Пробудил что-то странное ты.
Жизнь мне кажется дивным загадочным сном
Где лобзанья – цветы.

Отчего ты так низко нагнулся ко мне,
Что во взоре моём ты прочёл,
Отчего я дрожу? отчего я в огне?
Уходи! О, зачем ты пришёл.

Уже говорилось, что этот странный рукописный документ, сохранившийся в архиве художника Н. Э. Радлова, очевидно, представляет собой авторскую «антологию ранней лирики». Можно предположить, что трём стихотворениям (третье, напомним, «Лилии», с точной датой 22 июня 1904 года) воскрешённым Ахматовой, так сказать, из праха сожжённой тетради ранних стихов, соответствуют три главных «лирических» сюжета юности. «Лилии» напоминают об «императорском букете»

Гумилёва, посвящение «А. М. Ф» определённо указывает на Фёдорова, а *** в третьем посвящении, в таком случае, могут скрывать только одно имя – Голенищева-Кутузова.

Это, конечно, догадка. Но нельзя не заметить, что стихотворение о «волнующих странных речах» заметно перекликается с «евпаторийским» стихотворением «Я умею любить…», приложенном Ахматовой 11 февраля 1907 года к письму С. В. Штейну, и обращённым, несомненно, к Голенищеву-Кутузову:

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Умею заглядывать в очи с улыбкой
Манящей, призывной и зыбкой.
И гибкий мой стан так воздушен и строен,
И нежит кудрей аромат.
О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен
И негой объят…
Я умею любить. Я обманно-стыдлива.

Я так робко нежна и всегда молчалива,
Только очи мои говорят.
Они ясны и чисты,
Так прозрачно-лучисты.
Они счастье сулят.
Ты поверишь – обманут,
Лишь лазурнее станут
И нежнее и ярче они,
Голубого сиянья огни.
И в устах моих – алая нега.
Грудь белее нагорного снега.
Голос – лепет лазоревых струй.
Я умею любить. Тебя ждёт
поцелуй.
Евпатория 1906 г.

Наконец, к «великому множеству беспомощных стихов» 1905–1906 годов относится ещё одно «кутузовское» стихотворение, которое, правда, «беспомощным» никак не назовёшь, и которое, – уже в совершенно другой жизни, в феврале 1907 года, – станет печатным дебютом:

На руке его много блестящих колец —
Покорённых им девичьих нежных сердец.

Там ликует алмаз, и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.

Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никогда не отдам я его.

Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:

«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам никому, никогда.

В соединении три стихотворения точно передают всю историю любовной страсти, поразившей Ахматову. С первым можно связать дни Масленицы и Великого поста 1905 года в Царском Селе. Второе напоминает о стихах-заклинаниях, слагаемых зимой 1905–1906 годов на пустынном евпаторийском пляже в надежде приворожить далёкого «царевича»:

Знала я: с кем бы царевич не был,
Слышит он голос мой, смутившись…

Третье… С третьим сложнее. В публикации оно будет подписано «Анна Г<оренко>» и это станет единственным альтернативным случаем подписи во всей прижизненной истории публикаций. Следующие стихи увидят свет лишь через четыре года («Старый портрет» в № 3 «Всеобщего журнала литературы, искусства, науки и общественности» за 1911 год) и, как положено, будут подписаны **«Анной Ахматовой»**. И никаких сбоев тут уже не будет вплоть до последней книги переводов лирики древнего Египта, ушедшей в печать в ноябре 1965-го, за полгода до смерти. И слава имени поэта Анны Ахматовой оказалась так велика, что в этих ослепительных лучах скромное имя юной поэтессы Анны Г., разумеется, бесследно затерялось. А между тем на семнадцатый год жизни у Анны Г. накопилось не менее сотни стихотворений, одно из которых, весьма звонкое, она даже сумела опубликовать. Правда, публикация стала первой и единственной. Стихотворение «На руке его много блестящих колец…» подводит итоговую черту под такими переживаниями, совладать с которыми у Анны Г. никаких шансов не было.

Некогда, античный мудрец Платон писал о двух видах любви, двух Афродитах – Всенародной, Πάνδημο, и Небесной, Ουρανία. Первая, ведая продолжением рода, направляет страсти на служение вещам земным, часто грубым и недалёким, но всегда полным жизненной силы. Вторая же причудлива и эгоистична, нисколько не заботясь о приложении своих чар к насущной жизни. Поэтому Афродита Пандемос, знакомая каждому, связывает страстью очередную влюбленную пару и царит над ней, а Афродита Урания, нисходящая лишь к редким избранникам, загорается страстью сама и, вожделея очередную жертву, ни с кем её не делит. И если всякий влюблённый под действием ἔρως производит впечатление безумца, то избранники Любви Небесной кажутся безумцами вдвойне, ибо страстно влюбляются в миражи: в свои или чужие фантазии, в пережитые сновидения, в живописные холсты, в скульптуры, в покойников, в растения, в животных или подобных себе по полу, с которыми невозможны ни потомство, ни семья, ни, главное, понимание окружающих. Несчастных подвергают насмешкам, хуле и гонениям, объявляют чудаками и изгоями. В действительности же под всеми странными и чудовищными личинами с ними сливается в яростной страсти сама Небесная Афродита, в нечеловеческом исступлении восторгов и мук (ἔκστᾰσις) приобщая своих

избранников к высшим истинам бытия.

То, что её несчастная любовная история 1905–1906 годов является ПОЭМОЙ БЕЗ ГЕРОЯ, и уже год она имеет дело не с царскосельским «покорителем девичьих нежных сердец», а с силами бесплотными, как «месяца луч золотой» (он же «спокойный и двурогий» и проч.), – пришло в голову Ахматовой, вероятно, в годовщину прошлогодних масленичных веселий. В этот печальный юбилей очень сложно было не допустить (пусть даже против воли) нехитрую мысль, что упорное молчание «царевича» объясняется всего-навсего обычным забвением. Ведь за год, как не мудри, можно было изыскать возможность обнаружить себя не только в Российской империи, но куда в более диких краях – было бы желание. Но это-то желание у Голенищева-Кутузова, наверняка связанного всё минувшее время с общими знакомыми по Царскому Селу (с тем же Штейном), отсутствовало напрочь. Пикантная интрижка с податливой гимназисткой, оживившая несколько недель царскосельской побывки, никак не задев, канула в Лету, по всей вероятности, сразу по убытию на место службы. И, честно говоря, сложно найти искренние укоры для самого Владимира Викторовича, лишь добросовестно исполнившего стандартную роль второго плана в обычном бравом сюжете всех времен и народов:

Будь здорова, дорогая,
Я надолго уезжаю
И, когда вернусь, не знаю,
А пока прощай!
Прощай и друга не забудь, не забудь.
Твой друг уходит в дальний путь, в дальний путь.
К тебе я постараюсь завернуть
Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь!

Но стоящие за этим обаятельным исполнителем-статистом «лунные силы», к которым «лунатичка» и обращала, на деле, весь год страстные мольбы и призывы, обошлись с романтичной юной Ахматовой очень жестоко! «Небесная любовь», о которой говорил Платон, знает разные сюжеты, часто безупречно прекрасные (хотя и печальные), как Дон Кихот с его воображаемой Дульсинеей, умирающий король-поэт Джофруа Рюдель с портретом прекрасной Мелисинды, или героиня великой феерии, ещё не написанной во времена безумных странствий шестнадцатилетней Ахматовой по евпаторийскому побережью (и, вероятно, ими и вдохновлённой):

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

– Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря.

Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки.

Вздохнув, девочка побежала домой.

Но та же «платноническая» Афродита Урания ведает и чудовищным, отвратительным: Пасифаей, влюбленной в быка, Федрой, погибающей от страсти к мальчику-пасынку, или Миррой-Смирной, преступно вожделеющей собственного отца:

Страшное буду я петь. Прочь, дочери, прочь удалитесь
Вы все, отцы! А коль песни мои вам сладостны будут,
Песням не верьте моим, о, не верьте ужасному делу![290]

«Евпаторийская» Ахматова, претворённая через два десятилетия Александром Грином в воспламенённую ликующей мечтой Ассоль, виделась современникам 1905–1906 годов иначе: соблазнённой дурой-гимназисткой, забавляющей публику чудачествами. Роль была безнадёжно позорной и, ужаснее всего, комической, не вызывающей ни малейшего сочувствия, ибо падшая девица являлась вдобавок только что разорившейся бесприданницей из столичных генеральских дочек. Пнуть такую лишний раз, по доброй отечественной традиции, велел сам Бог. А для Ахматовой, пережившей мгновения чувственной близости, добавлялась ко всему постоянная боль от внезапного физического расторжения связи, знакомая в той или иной степени каждому, пережившему разрыв. «Это вообще несказанно ужасно», как говорит герой одного из откровенных рассказов Ивана Бунина («В ночном море»):

Ну, отбил человек, например, невесту – это ещё туда-сюда. Но любовницу или, как в нашем случае, жену! Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души которой знаешь как свои пять пальцев!.. Всё это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого

преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня всё равно уже не было, да и не могло быть.

И вот, «переломанной пополам», ей теперь приходилось корчиться от стыдной этой боли и лютой тоски прямо на глазах прохожих людей, от которых некуда деться даже на ветреной набережной над грязным зимним евпаторийским пляжем. Всё становилось безнадёжно страшным и она потихоньку сдавалась очевидной судьбе.

Вероятно, в феврале или даже в январе в доме Пасхалиди появился одноклассник Андрея Горенко Миша (Мишуэль) Масарский, нанятый заниматься с Ахматовой по предметам программы седьмого класса – ввиду несостоявшегося замужества приходилось вновь задуматься над получением аттестата. Изыскания евпаторийских краеведов показывают, что сын местного зажиточного торговца-еврея был личностью одарённой, завершил гимназию с серебряной медалью и подал заявление на поступление в Харьковский университет по математическому факультету (дальнейшая его судьба теряется). Ахматова же рассказывала Аманде Хейт о «влюблённости» Миши-репетитора в свою ученицу, что «скрашивало занятия». Более эта тема не развивается: возможно, что под «влюблённостью» она подразумевала просто деликатность и то самое доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно.

К весне Инна Эразмовна достигла той степени унижения внезапной нищетой, когда во имя будущего детей следует кланяться богатым родственникам. Благодетельствовать взялась Анна Вакар. Человек очень энергичный, она явилась в Евпаторию и живо увлекла равнодушно-вялую племянницу-тёзку сдавать экстерны за минувший класс в киевскую Фундуклеевскую гимназию. Весной Евпаторию покидал и Андрей Горенко, Путь его пролегал через Севастополь, откуда он должен был доставить в Царское Село Инну фон Штейн. За зиму Сухумская санатория (как раньше Евпаторийская больница) не произвела в больной ни малейшего улучшения. Как можно догадаться, позабытая легкомысленным мужем Инна, потратив все средства, покинула Кавказ, морем добравшись до крымских родных, и в Севастополе слегла.

Неизвестно, сопутствовали ли Андрею Ахматова с тётушкой и смогли ли повидаться сёстры, так любившие друг друга в счастливой прошлой жизни. Встреча, впрочем, выходила очень печальной. Отдыхавшая летом 1906 года в Крыму Ольга Рождественская вспоминала: «…Я жила в Балаклаве и случайно

узнала, что в Севастополе умирает Инна от туберкулёза. Я поехала к ней, застала её в постели, уже совсем слабой. Она мне жаловалась на свою несчастливую семейную жизнь, на мужа и на тяжёлую болезнь. Поинтересовалась, как я живу. Я боялась утомить её, недолго побыла и ушла с тяжёлым чувством».

А на самом излёте весны в приёмную попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, товарища министра народного просвещения и действительного статского советника П. П. Извольского на гербовом бланке Российского общества Красного Креста, состоящего под Высочайшим покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны, поступил следующий запрос:

> 31 мая 1906 г.
> № 7236
> Главное Управление Российского общества Красного Креста имеет честь покорнейше просить Ваше Сиятельство не отказать уведомить, не встречается ли с Вашей стороны каких-либо препятствий к ходатайству о Высочайшем награждении студента Императорского С-Петербургского Университета, Потомственного Дворянина Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова.
> *Председатель Главного Управления*
> *Шталмейстер Двора Его Величества*
> *А. Д. Оболенский*

Разумеется, ни Извольский, ни запрошенный тогда же ректор Университета проф. И. И. Боргман не нашли никаких препятствий на искомое ходатайство о Высочайшем награждении и герой получил награду, наверняка целиком и полностью заслуженную. Ведь Владимир Викторович Голенищев-Кутузов был, что бы там ни говорили, отважным человеком и горячим патриотом (как и его двойник в литературе, герой Бородинской битвы князь Курагин-младший). Надо думать, речь шла о вызволении военопленных, которых в японских лагерях после Мукдена и Цусимы накопилось предостаточно. Именно по этой линии после Портсмута прилагал основные усилия русский Красный Крест, и Владимир Викторович оказался тут явно на высоте. В следующем 1907 году он завершит университетский курс и будет принят в Министерство иностранных дел. Он представлял интересы России в Турции, Индии, Персии, на Балканах. По-видимому, принимал участие в Белом движении, защищал врангелевский Крым. Потом, уже эмигрантом, пошёл по духовной части, работая в секретариате митрополита Евлогия, и, наконец, нашёл упокоение

на кладбище Тюэ в Париже († 28 апреля 1934 г.). В общем, ни от пуль не бегал, ни имя не замарал.

Ну а что касается Ахматовой, так с ней – бес попутал.

Не с первой.

Да и не с последней…

XII

В Киеве – Семья Вакаров – Поступление в Фундуклеевскую гимназию – Гумилёв в Евпатории – В Одессе у Арнольдов – Возвращение в Евпаторию – Конец Инны Штейн – Вторая смерть.

В Киеве Ахматова, успевшая позабыть в «отрезанной от мира Евпатории» о тревогах внешней жизни, неожиданно попала в вихрь политических страстей. Муж тётки Анны, действительный статский советник Виктор Модестович Вакар слыл одним из «отцов города». Матёрый чиновник Министерства юстиции, поднимавшийся в Тамбовской провинции, он попал судьёй в Киев в знаменательном начале 1880-х и утвердился тут во времена Царя-Миротворца очень прочно. Любопытные сведения об этих временах киевской жизни Вакаров и их родственников имеются в воспоминаниях племянника В. М. Вакара А. П. Беклемишева «Потонувшая Атлантида». О семействе дядюшки там, в частности, говориться следующее:

> Виктор Модестович был человек среднего роста с бородкой. В лице у него имелась какая-то асимметрия. В то время ему было лет пятьдесят. Одевался он аккуратно, в выглаженный серый костюм и в чёрные полуботинки, которые служили ему не меньше пяти лет. <…> Был он интересным рассказчиком о прошлых временах, когда из города в город ездили на лошадях и зимой отстреливались от волков. Рассказывал, что в его молодости была только одна железная дорога, Николаевская, между Петербургом и Москвой, и вначале поезда её обслуживались кондукторской бригадой из студентов-путейцев, носивших тогда особую форму с кортиками. Паровоз после свистка долго раскачивал вагоны, прежде чем взять их с места. Если какой-нибудь генерал пил на станции кофе, поезд ожидал с отправлением. Рассказывал Виктор Модестович, как в его детстве император Александр II свободно ходил по улицам Петербурга. Раз он остановил няньку, с которой шёл дядя, и спросил. чей это мальчик, потрепав его по щеке. <…> Сейчас живёт он тихо и спокойно. Дом – полная чаша. Два сына-студента, один будет доктором, другой юристом. Анна держит дом в порядке. Сам он, правда, вспыльчив, кипятится из-за пустяков, но отходчив, скоро успокаивается. В молодости он учился в лицее, но за год до окончания лицей пришлось оставить.

> Когда неожиданно умер отец, у него оказалось много долгов, главным образом карточных, и мать, чтобы расплатиться с долгами (вопрос чести), всё продала. Мать и его братья остались без средств. Сам он оставил лицей, брат Платон должен был бросить гвардейский полк. В то время в таких полках на офицерское жалованье нельзя было прожить. В это время были учреждены должности мировых посредников в юго-западных губерниях. И он, и Платон поступили в мировые посредники, он в Литин, Платон – в Васильков. Всё это было не так просто, у него имелась невеста, подруга сестры Маши, француженка. Она была без средств, он стал тоже беден. Все планы переменились. Вскоре он женился на одной из дочерей в большом и состоятельном семействе. Потом купил имение, пахотную землю продал, оставил усадьбу, лес, пруд. В пяти верстах было имение одной сестры Анны, Гоголи, в двенадцати верстах – имение другой сестры Анны, Литки. Сам он был уважаемым мировым судьёй и помещиком. Всё было правильно, хотя могло быть иначе».

Ко времени появления в доме Вакаров на Круглоуниверситетской[291] бедной жениной родственницы из Евпатории пятидесятитрехлетний Виктор Модестович успел получить действительного статского, носил на шее Станислава и Анну[292], был постоянным членом Киевского съезда мировых судей, почётным мировым судьей, а также членом совета Киевского благотворительного общества и попечителем городских медицинских заведений. И сам патриарх, и его младший сын Владимир, пробивавший, вслед родителю, карьеру юриста, оказались азартными общественниками: отец придерживался умеренного свободомыслия, а сын тяготел к радикалам, участвовал в гражданских массовках и наводнял киевскую печать зажигательными статьями[293].

О политике в доме Вакаров говорили много и громко. И, нужно сказать, время способствовало подобным разговорам.

На днях, 27 апреля, в Петербурге открыла работу избранная наконец после полугода волнений и мятежей Государственная Дума. Собрание законодателей, поделенное на фракции «кадетов» (конституционных демократов), «эсдеков» («социал-демократов»), «трудовиков» («Трудового союза»), а также «октябристов», «прогрессистов» и «автономистов», оказалось на редкость горячим. Немедленно в Кабинет министров, где стремительного и

дерзкого Витте сменил осторожный сановник-правовед Иван Логгинович Горемыкин, были направлены требования о всеобщей политической амнистии, упразднении Государственного Совета и о подчинении самого́ горемыкинского кабинета… Думе. Последовал отказ, и страсти на улицах и в салонах немедленно накалились до предела. Вполголоса передавали даже слова входившего в моду профессора Милюкова (лидера думских «кадетов») о назревшей необходимости расставлять уже по городским площадям гильотины…

В бесконечных спорах «кто кого» проводили время и сами Вакары, и их многочисленные гости. Дом был поставлен на широкую ногу. Но Ахматовой он был не по душе уже потому, что впервые приходилось выступать под этими сводами в роли нахлебницы. Что там дом: весь прекрасный город казался ей пыльным, грязным, отвратительно шумным и грубым в какой-то животной, сальной жизнерадостности: «…Я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жёны… Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приёмной у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая Угодника: “Сделай, чтобы хорошо сидело”».

О какой кузине идёт речь – непонятно, ибо в Киеве родни было предостаточно. Помимо Вакаров – Демьяновские, Змунчиллы, Тимофеевичи, точно так же прочно и уверенно пустившие корни на этой благодатной земле. «Ко мне здесь все очень хорошо относятся, – подытожила, чуть позднее, Ахматова впечатления от киевских родственников, – но я их не люблю. Слишком мы разные люди». Больше всего её раздражали громкие голоса, бесконечная политика и нелюбимая рыба, которую подавали к столу регулярно. К тому же она так и продолжала жить в мире фантазий, раздражая, в свою очередь, хлебосольных киевлян отсутствующим видом и неловкими пробуждениями невпопад во время застольной беседы.

Но выбирать не приходилось. Все необходимые экзамены в Фундуклеевской гимназии она сдала за несколько майских недель без задоринки и сучка (Масарский оказался прекрасным репетитором) и в конце месяца вновь оказалась в Евпатории, спешно погружаясь в привычный приморский покой, уже порядком нарушенный начинающимся курортным сезоном. Ей приходилось искать укромные уголки. Несомненно, её психика за минувший год была серьёзно нарушена. Киев, понуждая несколько недель жить интересами жизни внешней, очень измучил. Утихомиривая постоянное нервное волнение, она

пристрастилась курить и теперь, размышляя, постоянно дымила пахитосками. Табак успокаивал, мечты вновь текли плавно, как зимой. И Гумилёв совершенно зря обронил что-то о «вредной привычке». Он мог бы держать это при себе, поскольку и сам теперь, по его же словам, курил и папиросы, и трубку…

Она смотрела во все глаза. Гумилёв, точно, был здесь, в парке перед пляжем, рядом с ней, и говорил теперь так, как Дик Хелдар из романа Киплинга:

> – Пойдём со мной, и я покажу тебе, как велик мир. Мы увидим райские уголки, где в скалах роятся миллионы диких пчёл; и с пальм, глухо ударяясь оземь, падают крупные кокосовые орехи; и ты приказываешь подвесить меж дерев длинный жёлтый гамак, украшенный, словно спелый маис, пышными кистями, и ложишься в него, и слушаешь, как жужжат пчелы и шумит водопад, и засыпаешь под этот шум…

Не понимая до конца, явь это или бред, она счастливо смеялась, мотала головой – «Не надо, не надо!» – и, наконец, собрав весь здравый смысл, ответила как можно рассудительнее:

> Подумай, я буду царицей,
> На что мне такого мужа?

Гумилёв очень расстроился. От Андрея, подробно рассказавшего ему в Царском Селе обо всех несчастьях, постигших сестру, он знал, что Ахматова стала заговариваться, но, услышав сам, на миг растерялся. К тому же задуманное им на горячую голову, второпях, предприятие – уехать вместе с ней в Рязань, в отцовское имение, и там венчаться, поставив затем всех родных перед свершившимся фактом – было, конечно, скандальным. Но вместе с огромным счастьем, свалившимся на него после разговора с Андреем, пришло и тревожное понимание, что нужно что-то предпринимать немедленно, пусть даже этот первый шаг выйдет нелепым. Более того, возможно, в этой заведомой нелепости, которую никак не могли предвидеть ни люди, уже произнесшие над Ахматовой окончательные приговоры, ни даже роковые силы, играющие с ней, смирившейся, безвольной и покорной, как счастливый ребёнок с доставшейся, наконец, игрушкой – в этой самой благословенной нелепости, право на которую сохраняется за каждым человеком до смертного часа, только и хранится единственный шанс и для неё, да и для него тоже. Великие слова о том, что когда дают линованную

бумагу следует писать поперёк, ещё не были произнесены, но он, разумеется, знал эту глубочайшую истину, определяющую, в конечном счете, любое творческое усилие человека.

Жизнь Гумилёва, в отличие от Ахматовой, весь минувший год складывалась счастливо. Иннокентий Анненский, поручившись за скандального поэта-гимназиста перед Педагогическим советом, строго придерживался взятых обязательств.

> Я помню дни: я, робкий, торопливый,
> Входил в высокий кабинет,
> Где ждал меня спокойный и учтивый,
> Слегка седеющий поэт[294].

Влияние Анненского на девятнадцатилетнего выпускника оказалось огромным и во всех отношениях благотворным. Впервые в жизни Гумилёв принялся за учение всерьёз, уверенно продвигаясь к итоговым экзаменам. Но дело было не только в учёбе. Директор и гимназист имели общие профессиональные интересы в художественной словесности. Анненский не терпел интеллектуальный провинциализм отечественных литераторов. От своей сестры, вышедшей замуж за главного хранителя Muséum national d'histoire naturelle[295] в Париже, он получал новейшие французские журналы и книги, собрав в Царском Селе уникальную иностранную библиотеку. Анненский склонялся в своих творческих пристрастиях к поэзии французских «парнасцев»[296], совершенно неведомых в России. Гумилёву пришлось налечь на французский, но результат оправдал все потраченные усилия. С этого времени французская поэзия XIX века стала его вторым «литературным отечеством». А под воздействием *l'art robuste*, «мощного искусства» таких поэтов как Теофиль Готье и Леконт де Лиль поменялся поэтический язык: подобно им, Гумилёв начал сознательно стремиться к изобразительной точности и «вводить реалистические описания в самые фантастические сюжеты»:

> Чеканить, гнуть, бороться, —
> И зыбкий сон мечты
> Вольётся
> В бессмертные черты[297].

Домашние Гумилёва не могли нарадоваться, видя сына не только избавленным от «лунатички», не только сохранившим место в гимназии, но и взявшимся, наконец, за ум. Степан

Яковлевич Гумилёв уже прикидывал про себя: гуманитарий, должно быть, филолог или историк, возможно в недалёком будущем приват-доцент, а там и профессор. Почувствовав Францию литературной родиной, Гумилёв оповестил родителей, что желает ехать учиться в Парижский университет. Нельзя сказать, что идея сомнительного французского образования вместо надёжного отечественного так уж вдохновила Степана Яковлевича. Но было обстоятельство, существенно повлиявшее на его решимость. Старший сын Дмитрий, завершивший гимназический курс год назад, пошёл, уступая отцовскому настоянию, в петербургский Морской кадетский корпус. Ничем хорошим это не кончилось. Совершенно неспособный к морскому делу Дмитрий Гумилёв после первого плавания так затосковал, что был отчислен и вернулся (с трудом, окольными путями, его удалось устроить в царскосельское Николаевское кавалерийское училище). Ввиду неудачного дебюта старшего сына Степан Яковлевич не стал проявлять непреклонное своеволие в выборе пути для сына младшего. К тому же в Париже жила сестра Иннокентия Анненского, который охотно согласился снабдить любимого ученика рекомендательным письмом.

Воодушевлённые родители даже согласились оплатить Гумилёву расходы по изданию собрания стихов, названного, по полюбившемуся всем звонкому стихотворению – «Путь конквиста́доров». Книжку заметили, её приветствовал в «Весах» Валерий Брюсов, предложив затем в приватном послании войти в постоянный авторский состав любимого «конквиста́дором» журнала. Завязалась переписка, и двадцатилетний Гумилёв, получая 30 мая 1906 года гимназический аттестат зрелости, чувствовал себя на пороге литературной славы.

В этот самый канун он и повстречал Андрея Горенко (точная датировка невозможна, но 5 июня Андрей уже точно был в Евпаторийской гимназии, где, в свою очередь, получал аттестат[298]).

Какое-то время после прошлогоднего объяснения в доме Соколовского, Гумилёв вместе с домашними и друзьями полагал, что с Ахматовой покончено. Он немедленно завёл романы (в биографических материалах П. Н. Лукницкого упоминаются «встречи с Ольгой Глушковой и Фрамус», приходящиеся на это время), а на домашнем рождественском маскараде, парил над приглашенными барышнями чёрным Демоном. Но к весне 1906-го он полностью открыл, что второй Ахматовой нет, и что если хочешь быть с Анной Горенко можно иметь дело только с Анной Горенко. И, потому, все дикие её скандалы, капризы, и причуды не имели уже никакого значения. Другого всё равно не было, и

ему нужно было думать не о том, каковы достоинства или недостатки Анны Горенко, а нужен ли Анне Горенко – он. В своей непонятной Евпатории она виделась ему теперь призрачно-невесомой, желанной и недоступной, как дантовская Беатриче в далёких небесных высотах:

> И в терновом венке, под которым сочилася кровь,
> Вышла тонкая девушка, нежная в синем сияньи…[299]

Тут-то и подоспел Андрей.

Слушая его, Гумилёв и ужасался, и радовался вместе. Тогда же возникла мысль о пустующем в это лето отцовском рязанском доме[300]. План, конечно, как уже говорилось, изначально был шит белыми нитками, однако медлить с его выполнением Гумилёв не стал. В конце концов, в сумятице смертельного пожара всё решает единственный миг, когда кто-то, вырвав себя из толпы, входит в огонь. Именно в этот миг события, по воле вошедшего, начинают развиваться иначе, может счастливее, а может несчастнее, чем было предначертано вначале. Если же вокруг все так и продолжают оставаться шумными свидетелями – судьба довершает начатое ровно так, как и можно было предугадать, едва увидев занимающееся пламя.

И вот теперь он взял себя в руки, и, присев рядом со смеющейся Ахматовой, очень терпеливо, переспрашивая и намеренно повторяясь, начал втолковывать главное. Он говорил, что едет учиться в Париж, в Сорбонну, объяснял, как нужно адресовать письмо, чтобы наверняка дошло, заклинал не тянуть, не рисковать долго. Убедившись, наконец, что она понимает его речи, поднялся, попрощался, сказал, что очень любит. И ждёт письма.

Она кивнула, и тут же позабыла, конечно. Всё прошлое, такое большое и яркое, не имело теперь к ней никакого отношения. А Гумилёв был частью этого прошлого. Давно, ещё в прошлом году, брат Андрей показывал его книжицу, пришедшую из Царского Села, но она лишь пролистала страницы, никак не связывая напечатанные буквы со звонкими стихами, когда-то услышанными в доме Шухардиной. Сейчас же и памяти уже не оставалось вовсе.

В эти начальные дни лета жизнь принялась уходить неотвратимо: начиналась вторая её смерть. Признаки тяжёлого нервного истощения, по-видимому, уже в июне были настолько заметны, что Ахматова оказалась в Люстдорфе, у тетки Аспазии, которая со своим врачебным опытом, по-видимому, как-то пользовала племянницу, пытаясь поставить на ноги. Об этих

одесских днях известно только, что Ахматова, как и год назад, побывала на Большом Фонтане у Александра Фёдорова, и что этот визит явно не задался:

> Летом Фёдоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.

От обаяния прежних летних дней, прошедших в совместном чтении стихов и разговорах о пьесах Чехова, не осталось и следа! Оказавшись сама в роли героини «сюжета для небольшого рассказа», Ахматова возненавидела и стихи, и Фёдорова, и, увы, Чехова. Окружающий мир виделся ей абсолютно враждебным. Очевидно, какая-то ссора произошла и между ней и Арнольдами, поскольку в конце месяца племянницу срочно отправили домой с первым же пароходом, возобновившем рейсы после длительной забастовки рабочих одесского порта.

Но в Евпатории, где Инна Эразмовна переехала с детьми из дома Пасхалиди на загородную дачу, принадлежащую любезному хозяину, Ахматова задержалась недолго.

15 июля 1906 года в последнем градусе чахотки в санатории «Липицы» близ Царского Села скончалась Инна фон Штейн.

В тот же день в правление Русского Дунайского пароходства поступило последнее прошение о кредитовании: «по случаю кончины жены моей, и не имея средств схоронить её» (!!) Сергей Владимирович фон Штейн просил выдать в счёт жалованья 300 рублей.

И тут мрак, всюду присутствующий при описании этого лета в жизни Ахматовой, смыкается окончательно. Никакой информации нет нигде. Можно только задавать вопросы.

Могла ли Инна Эразмовна не приехать на похороны старшей дочери, сгоревшей так страшно всего лишь за полтора года?

Могла ли Ахматова не приехать на похороны любимой сестры?

Насколько удались похороны на кредитные 300 рублей от Русского Дунайского пароходства?

И, главное, какие там были встречи, какие последние, невероятные унижения достались Ахматовой во время этого немого, жуткого и беспросветного погребального визита в Царское Село?

Ответов на эти вопросы нет. Но известен финал чёрной летней полосы в жизни несчастной юной поэтессы Анны Г. Легко догадаться, что финал оказался нехорош. Она была заведомо обречена на гибель, причём не только литературную, но и окончательную, личную.

Дача Пасхалиди на лимане в Евпатории, наверняка, очень

напоминала приморскую избушку на Большом Фонтане в Одессе, где семнадцать лет назад начиналась её история. В белые глинобитные стенки были вмазаны железные крюки и корабельные гвозди для удилищ и прочей рыболовной снасти, а также для разной хозяйственной надобности. Один из таких гвоздей, повыше, она и облюбовала.

Нацепила удавку, забралась на принесённый стул или ящик.

Поэтесса Анна Г. повесилась.

Заключение

«Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная, – писала Ахматова Сергею Штейну из Киева двумя месяцами позже. – Главное не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно».

«Жалкая», «скверно» – слова в данном случае пустые. Осенью 1906 года бонна Моника доставила в Киев существо, утратившее жизненную волю: «Мой кузен Шутка называет мое настроение “неземным равнодушием”… Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в тёмной гостиной… Я всё молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением».

«Общее расположение» к «неземной» Ахматовой иссякло в доме на Круглоуниверситетской очень быстро. Евпаторийская гостья оказалась не только подверженной постоянным припадкам чёрной меланхолии, но и обнаруживала явные симптомы какого-то нешуточного физического недуга. У неё повышалась температура, мучили мигрени, резко учащалось сердцебиение («У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слёз»). Таким образом, вслед за весенними хлопотами по устроению непутёвой племянницы в Фундуклеевскую гимназию, на долю Вакаров выпали и осенние заботы по её лечению, сопряжённые, наверняка, с некими заметными расходами. Между тем даже условленная сумма на содержание нахлебницы, достигнутая Анной Эразмовной по майским переговорам с сестрой, из Евпатории безнадёжно запаздывала. «Денег нет. Тётя пилит», – вот лаконичный итог первых киевских недель, подведённый Ахматовой в письме, отправленном уже с Меринговской улицы, 7, из квартиры-студии кузины Марии Змунчиллы (по-домашнему «Нани», или «Нанички»).

Мария Александровна Змунчилла была последним, очень поздним ребёнком в долгом и счастливом браке Ии Стоговой и отставного ротмистра Александра Змунчиллы, владевшего имением Литки в той же Деражнянской волости, где в патриархальной Снитовке доживал некогда свой век Эразм Иванович Стогов. В 1863-м Ия Эразмовна утешила любимого отца внуком Эразмом[301], затем (точная дата неизвестна) – внучкой Анной[302]. А до рождения Марии-Нани старик, по-видимому, не дотянул: по расчетам нынешних биографов, она появилась на

свет лишь в середине 1880-х, когда супругам Змунчиллам (оба 1836 года рождения) самим переваливало за полсотни. К моменту появления в 1906-м у неё на Меринговской несчастной евпаторийской кузины Мария Александровна, точно, разменяла третий десяток и была вполне самостоятельной особой. Живы ли были её семидесятилетние родители – неизвестно, тут сбивчивая хронология вновь продолжает хромать.

Наника Змунчилла, смуглая брюнетка, с приятной улыбкой и большими кольцами в ушах, была художницей, входила в дружеское окружение Александры (Ади) Григорович-Экстер, державшей вместе с мужем, известным киевским юристом и меценатом Н. Е. Экстером, домашний эстетический салон. Будущее Александры Александровны оказалось феерическим, включая славу одной из главных застрельщиц кубо-футуризма, вдохновительницы уличных вакханалий революционных лет и соратницы неистового режиссера Таирова, отвергавшего все границы допустимого в театральном зрелище. В 1906 году до голых акций под лозунгом «Долой стыд!» и живописной раскраски актрис, щеголявших в костюме Евы, разумеется, ещё не доходило. Однако «левая» богемная вольность в салоне на Фундуклеевской улице ощущалась и тогда. Для всех чудаков, бунтарей и мечтателей, которых беспокойная судьба заносила в Киев, это была и трибуна, и галерея, и театральные подмостки, а часто и убежище от докучливых обстоятельств быта, претензий общества или строгостей российского государства. Вряд ли в приюте подруги Ади Экстер на Меринговской нравы были строже. К тому же весь жизненный уклад подобных художественных мастерских естественно тяготел к особому общинному братству, особо привечая неприхотливых гостей, склонных проводить в мечтах и беседах ночи напролёт. Легко потому представить, что и Ахматова, однажды загостившись у занятной кузины, так и прибилась затем к странноприимной обители. Разумеется, для гимназистки-выпускницы одной из лучших городских гимназий это было сверх всяких правил. Но Вакары, вкусившие забот с бедной родственницей, деликатно закрыли глаза. А Наника, усвоив приёмы богемы, отнеслась к Ахматовой как к симпатичной приблудной собачке: живёт себе и живёт!

В отличие от распорядка в доме Вакаров, заведённого для всех обитателей раз и навсегда с неумолимостью часового механизма, у Наники Змунчиллы торжествовала анархическая свобода. Предоставив кузине кров и возможность столоваться (чем Бог послал), Мария Александровна препоручила остальное естественному ходу событий, нисколько не обременяя младшую компаньонку ни надзором, ни даже присутствием. «Кузина моя, –

жаловалась Ахматова, – уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковёр, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица». Её невроз теперь развивался беспрепятственно, и с наступлением зимы с сердцем стало «совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается». И всё же, в её тогдашнем положении, неприметное существование в богемном пристанище на Меринговской было, возможно, лучшим выходом.

В Фундуклеевской гимназии со всеми своими болезнями она появлялась редко, вызывая всеобщее любопытство обличием и поведением совершенной «белой вороны». «Даже в мелочах Горенко отличалась от нас, – вспоминает одноклассница. – Все мы, гимназистки, носили одинаковую форму – коричневое платье и чёрный передник определённого фасона. У всех слева на широкой грудке передника вышито стандартного размера красными крестиками обозначение класса и отделения. Но у Горенко материал какой-то особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях у неё нет заплаток. А безобразие форменной шляпки-“пирожка” на ней незаметно». На уроках «столичная штучка» вела себя непонятно, отпуская вдруг реплики «как во сне», не вставая, «не то ленивым, не то монотонным голосом». Однако странные репризы звучали всегда уместно, обнаруживая незаурядные познания (вновь спасибо Мише Масарскому!), и потому её постоянная больная прострация принималась простодушными киевлянками за особо изысканный подход, сразу выдающий насельницу волшебной и далёкой Северной Пальмиры. Что же касается самой Ахматовой, то она вряд ли могла по достоинству оценить новую гимназию, равно как и приветливую любезность, встречавшую её в школьных классах. Мысли постоянно возвращались к летним дням, заставляя вновь и вновь переживать минувшие кошмары.

Из затеянной ею переписки с Сергеем фон Штейном можно понять, что в июле, на царскосельских похоронах сестры Инны, произошла некая «глупая история», в которой Ахматова горько винилась теперь перед своим корреспондентом. Очевидно также, что пресловутая *«история»* была как-то связана с именем Голенищева-Кутузова, о чём Ахматова говорит без всяких обиняков. «Мой милый Штейн, – пишет она, – если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г-К. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства… Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете, Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то

пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не “зажилю”, как говорят на юге».

Документально известно, что самого Кутузова в июле-августе в Царском Селе (и, по всей вероятности, в России) ещё не было. На учёт по месту учёбы он встал лишь 19 сентября 1906 года, а днем позже, 20 сентября, возобновляет прописку по месту жительства (оба документа, как положено, явлены в его студенческом «Деле»). Так что источником происшедшего между Ахматовой и Штейном конфликта могли стать только некие слухи, касающиеся доблестного сотрудника «Красного Креста». А с появлением Кутузова в Царском слухи эти, очевидно, полностью подтвердились («После Валиных писем я переношу такие <сердечные> припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь»), и Ахматовой оставалось только признать себя «в тысячу раз более виновной» в летней размолвке, чем осведомлённый доброжелатель-Штейн. О прибытии «королевича» речи больше нет: «Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рожество[303] в Петербург. Это невозможно, во-первых, потому, что денег нет, а во-вторых, потому, что папа не захочет этого. Ни в том, ни в другом Вы помочь мне не можете, но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получению этого письма, будет ли Кутузов на Рождестве в Петербурге. Если нет, то я остаюсь со спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели».

Между тем, несмотря на болезнь и слёзы, утонченно-невесомый облик былой царскосёлки – в сочетании с недоброй молвой, бегущей, как известно, по пятам, – возымел действие не только на одноклассниц Ахматовой. «Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые пять минут…, – приписывает она. – Что мне делать?» Из сказанного можно заключить, что предложения руки и сердца в объяснении пылкого кузена отнюдь не содержалось. Перемерявшая за свою короткую и несчастливую юность, кажется, все скандальные женские роли, созданные классической отечественной словесностью, Ахматова стремительно приближалась к новому амплуа:

> Вещь… да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя… я вещь! Наконец слово для меня найдено, вы нашли его…

Ближе к Рождеству (на которое она, конечно, никуда из Киева не поехала), действительно, разыгралась история, заставляющая вспомнить соответствующие сцены «Бесприданницы». «Есть у меня кузен Саша, – в отчаянии сообщает она в очередном письме Штейну. – Он был товарищем прокурора, теперь вышел в отставку и живёт в эту зиму в Ницце. Ко мне этот человек относится дивно, так что я сама была поражена, но дядя Вакар его ненавидит, и я была, право, мученицей из-за Саши». Сочувствие в этой странной родственной сцене, по-видимому, должно быть всё-таки на стороне деспотичного дядюшки Вакара. Ибо если «дивный» товарищ прокурора в отставке внезапно предложил едва встреченной им шестнадцатилетней племяннице прокатиться в Ниццу (а, судя по реакции «поражённой» Ахматовой, дело было именно так), то очень трудно не заподозрить здесь специфическую интонацию Мокия Пармёныча Кнурова, также большого любителя путешествий вдвоём:

> Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку?.. Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит: я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления. Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат. Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте! Если вам будет угодно благосклонно принять моё предложение, известите меня, и с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были.

Возмущённый Виктор Модестович с одобрения не менее возмущённой супруги без долгих разговоров выхватил племянницу к себе на Круглоуниверситетскую и закатил грандиозную головомойку, растянувшуюся на все праздничные дни. «Все праздники я провела у тёти Вакар, которая меня не выносит, – сообщала Ахматова в новогоднем письме. – Все посильно издевались надо мной, дядя умеет кричать не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день за обедом и после вечернего чая… Слова “публичный дом” и “продажные женщины” мерно чередовались в речах моего дядюшки. Но я была так равнодушна, что и ему надоело, наконец,

кричать, и последний вечер мы провели в мирной беседе. Кроме того, меня угнетали разговоры о политике и рыбный стол. Вообще скверно!»

Уж куда скверней! Если по существу Вакар и был, вероятно, совершенно прав, то описанные сцены всё равно ужасны. Ведь было Рождество, в конце концов, и хотя бы отдавая дань всеобщей духовной традиции можно было бы не топтать так страшно и без того затоптанную уже безмолвную и беззащитную Ахматову. Или, по крайней мере, не топтать публично, при всех домашних, собравшихся за праздничным столом! Возможно, причины такой хамской бесчувственности Вакара следует искать в «политике», о которой даже больше обычного говорилось в эти дни на Кругло университетской и которая (политика), действительно, всю вторую половину года являла для прекраснодушно-либеральной части российского общества одни горькие разочарования.

Летом, в начале июля, была насильственно распущена Первая Дума, успевшая вдогонку призвать «граждан всей России» до нового «созыва народного представительства не давать ни копейки в казну, ни одного солдата в армию»[304]. У власти встал бывший саратовский губернатор Пётр Аркадьевич Столыпин, о котором говорили разное, но все сходились, что этот «церемониться не будет». Все помнили, как едва появившись под сводами мятежной Думы, он, гипнотизируя зал пронзительным взглядом, сказал с трибуны, как отрезал:

– Власть не может считаться целью. Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безвластие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведёт к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающейся на законы… Я предвижу возражения, что существующие законы настолько несовершенны, что всякое их применение может вызвать только ропот. Мне рисуется волшебный круг, из которого выход, по-моему, такой: применять существующие законы до создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружьё; употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружьё. На это честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старым…

Начинались репрессии. Да и как иначе возможно было разрешить общественное противостояние, достигшее, кажется, наивысшего ожесточения! Столыпин принимал петербургские дела, когда под ударами революционеров-террористов и красных

погромщиков пали уже 8 губернаторов, генерал-губернаторов и градоначальников, 21 полицмейстер и уездный начальник, 4 военных генерала, 8 жандармских офицеров, 79 приставов, 57 урядников. А среди городовых, околоточных надзирателей и стражников счёт шёл вовсе на многие сотни – там кого-то убивали каждый день. В ответ нарастал террор монархический, «чёрный». В Киеве боевики «Союза русского народа» появились даже в университетских аудиториях, вооружённые до зубов, поблёскивая никелированными кастетами, с браунингами и дубинками, налитыми свинцом. Смута прошлась и по семье Виктора Модестовича Вакара – в самые рождественские дни завершалось длительное до изнурения дело сына Владимира, обвинённого в газетных призывах к ниспровержению строя. Завершалось нехорошо: сыну грозила тюрьма[305].

И всё равно, поведение Виктора Модестовича Вакара было недопустимым и в какой-то мере убийственным! Многократное публичное величание проституткой Ахматова осмысляла затем все новогодние дни. В середине января она вдруг принялась бомбардировать письмами фон Штейна, умоляя и заклиная прислать ей фотокарточку Кутузова – до раздирающе-истошного униженного вопля: «Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов. Я так устала ждать! Ведь я жду ни больше, ни меньше как пять месяцев. Серёжа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.»

Ответом было молчание. Тогда свет для неё сошёлся клином.

Взяла и располосовала себе накрест вены на левой руке.

> – Кухонным, грязным ножом, чтоб заражение крови… – сдержанно поясняла она много лет спустя. – Мне шестнадцать лет было… У нас у всех в гимназии – у всех, решительно – было… Я думала, что это привилегия моего времени, и теперь не случается.

Вены перетянули, дело замяли. Можно было жить дальше, осваиваясь с перспективами то ли бесприданницы-содержанки, то ли обычной проститутки, живущей «от себя». Дядюшка-то, что говорить, был прав… Окончательно поваленная, с трудом соображая от потери крови, она, откликаясь на мелькнувшую откуда-то стремительную мысль, вдруг принялась вспоминать, что-то, что даже и сейчас позарез требовалось вспомнить. Так уж ведь заведено: победить – это как получится, но нельзя позволить одержать победу над собой!

Когда валят лицом в самую грязь: гордость одна несусветная, русская, поднимает, даже и «через не хочу».

…И вспомнила!

Постоянно повторяя чудесно воскрешённый памятью парижский адрес, она неловко устроилась за письменным столом, прилаживая горящую под повязками руку. Потом в недоумении застыла с занесённым пером: что, собственно, писать? Потом написала просто: у меня всё хорошо! Совсем бодро, как под знакомую диктовку, вывела на конверте нужные строки и, не тревожа никого в доме, кое-как, морщась от боли, оделась. По улице шла с рукой-плетью, удерживая головокружение (это было главным). В другой руке – конверт.

А вокруг и в самом деле ходило ходуном. Рушились и рассыпались все заботливо уже налаженные и подведённые для неё пути, вой и визг стоял страшный – не приведи, Господи! Она морщилась и упрямо шагала, закинув голову, стараясь держаться прямо, как обычно, не отвлекаясь по сторонам. Сквозь гул в ушах, она различила, как что-то треснуло и двинулось, как будто невидимый громоздкий механизм разворачивался весь для работы в совершенном ином, противоположном направлении. В морозных облаках, заполонивших рассветное небо, вдруг замелькали непонятные видения – то ли белые фигуры отшатывались от залпов пламени в каком-то диком подвале, то ли знамя взвивалось над осевшими в прахе руинами разрушенного города. Всё это было непонятно. Зато потом шли и шли корабли, знакомые с детских лет, ворочая броневыми боками в тумане или боевом дыму. Здание почты уже виднелось впереди, и она всё зорче вглядывалась в небесные картины. Солнце тянулось в зенит, начинало немилосердно слепить, взрываясь в облачных прорехах разлетающимися во все стороны лучами. И когда до конца юности оставалось несколько шагов, Ахматова, улыбнувшись, различила, наконец, стремительный силуэт лёгкого бронепалубного крейсера, входящего в оверштаг так круто, что кипящее вокруг море почти захлёстывало волнами его клонящийся в яростном усилии к самой водной поверхности стальной борт.

Император Николай II

Великий князь Алексей Александрович

Зиновий Петрович Рожественский

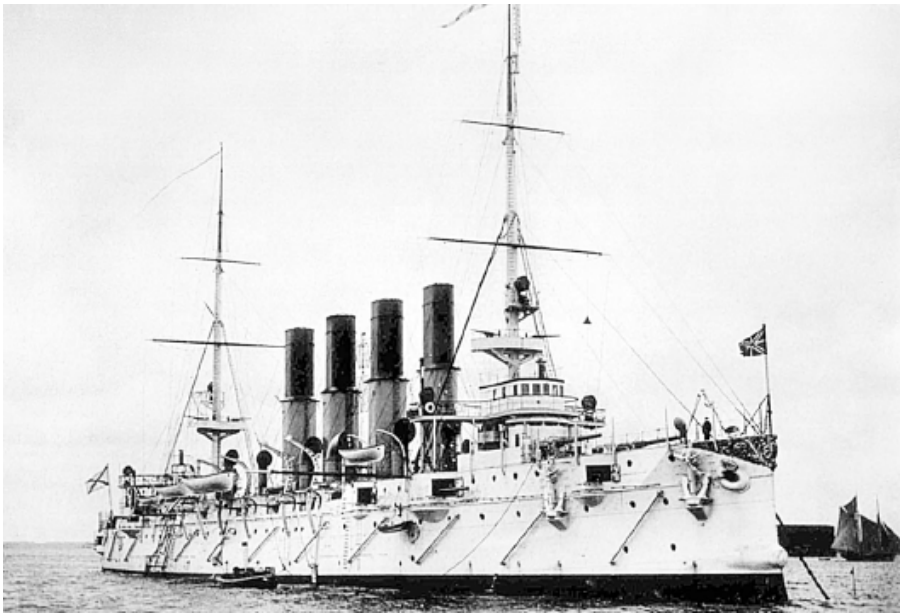
Алексей Николаевич Куропаткин, военный министр

Николай Михайлович Бухвостов, капитан 1 ранга

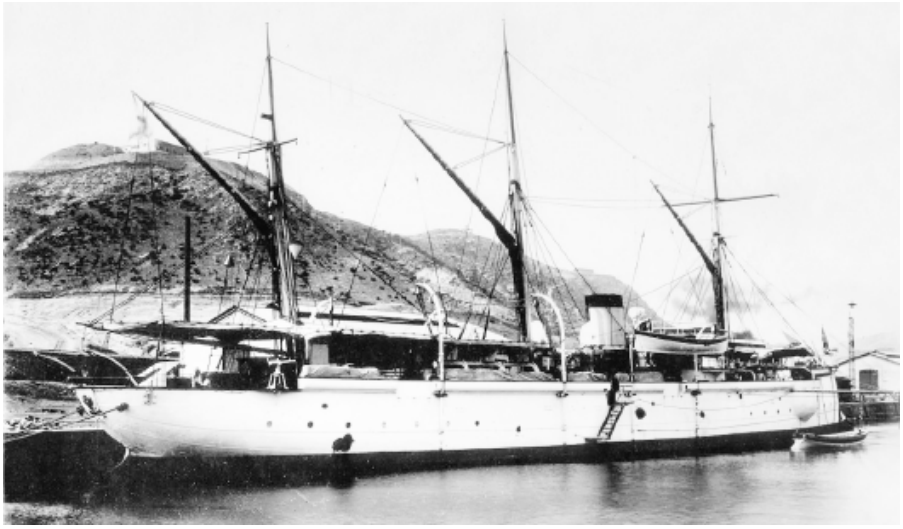
Всеволод Федорович Руднев, капитан 1 ранга

Ояма Ивао (1842–1916), министр армии, главнокомандующий японскими войсками в Манчжурии и на Ляодунском полуострове

Того Хэйхатиро (1848–1934), командующий Объединенным флотом Японии

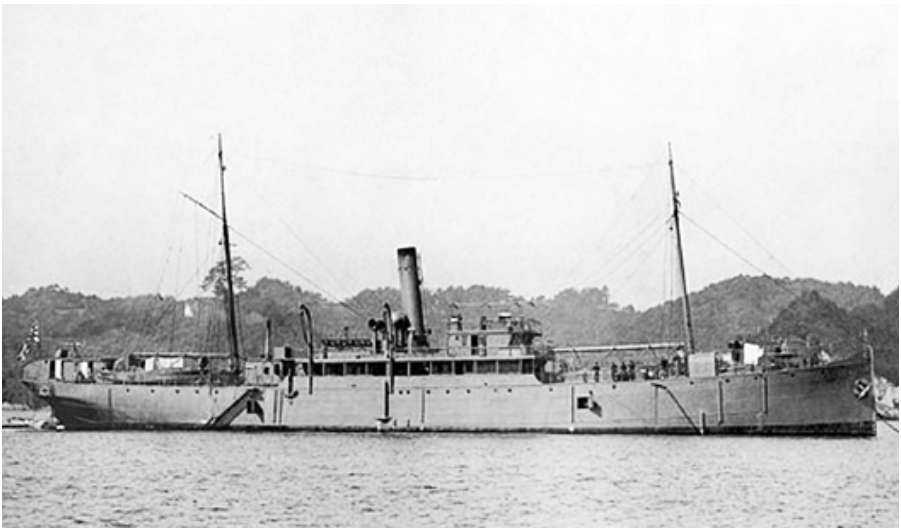


Крейсер «Варяг»

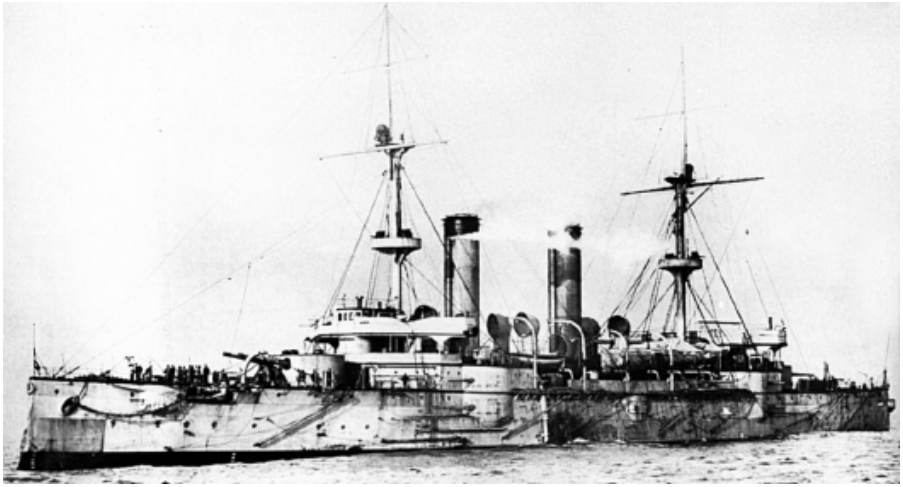


Канонерская лодка «Кореец»

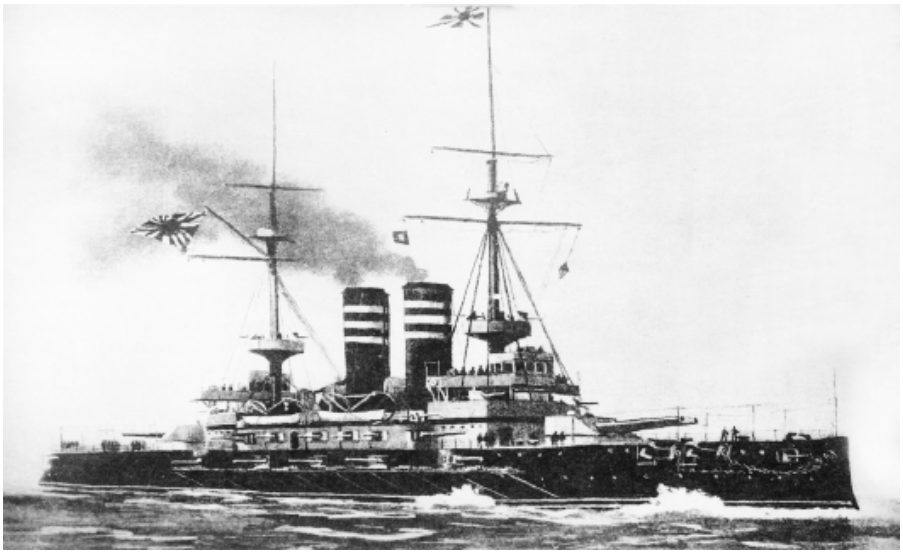
Эскадренный броненосец «Александр III»



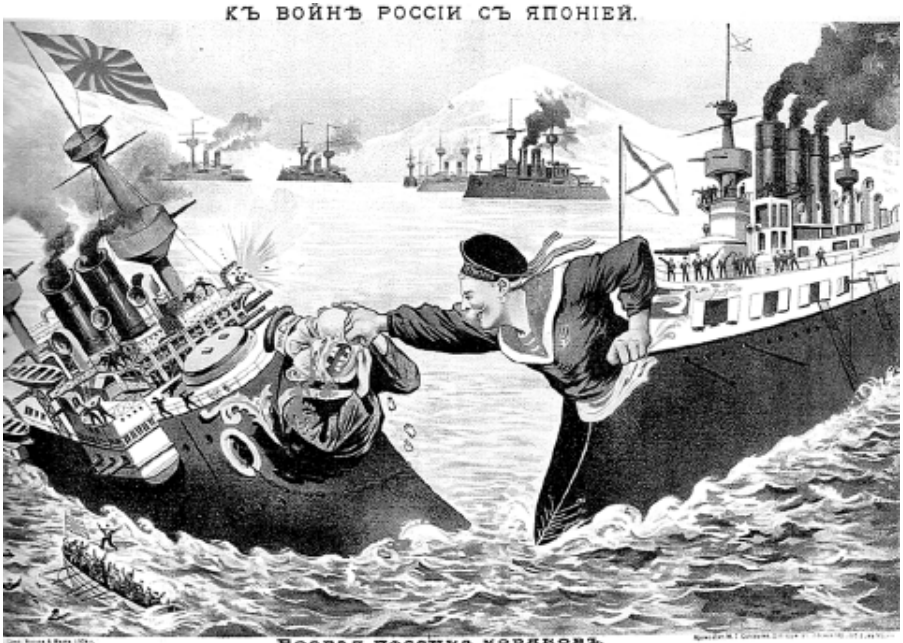
Пароход «Сунгари»



Броненосный крейсер «Асама»



Эскадренный броненосец «Микаса»



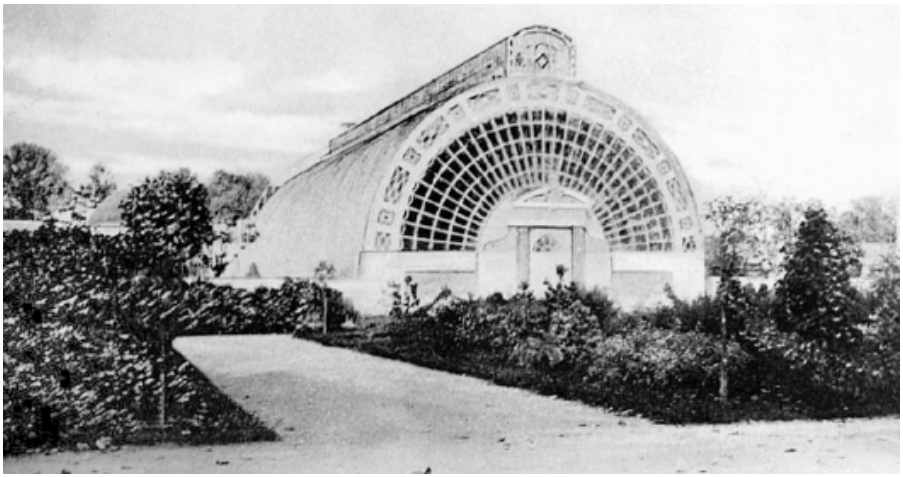
Карикатуры времен Русско-японской войны

«Цусимский обелиск» (Санкт-Петербург). Обелиск, воздвигнутый в честь подвига экипажа броненосца «Александр III». Круглая бронзовая табличка на памятнике цитирует Евангелие: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя»

Николай Гумилёв в старших классах гимназии

Царское Село. Николаевская мужская гимназия. 1900-е гг.

Царское Село. Собственный садик. 1900-е гг.



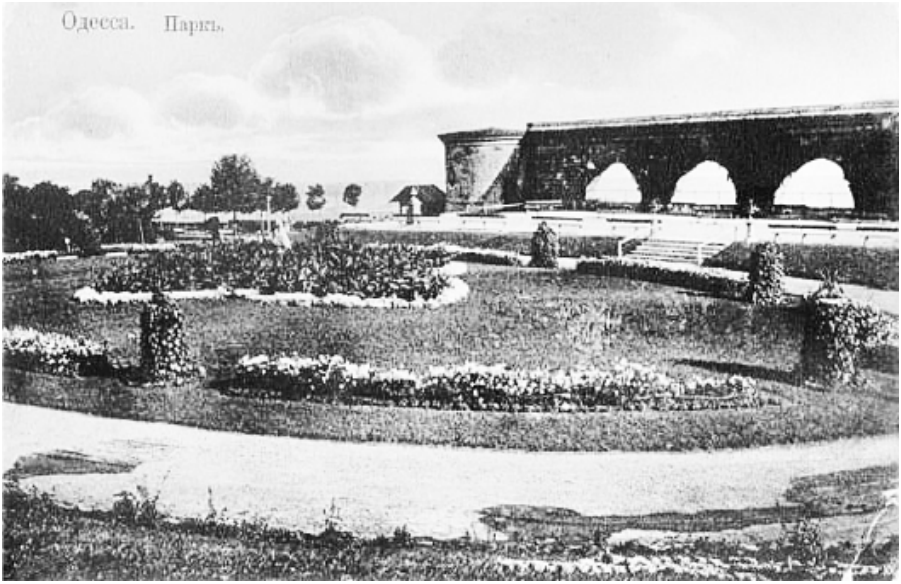
Царское Село. Оранжерея. 1900-е гг.

Царское Село. Большой каприз. 1900-е гг.

Царское Село. Баболовский дворец. 1900-е гг.

Ахматова (вторая слева во втором ряду) среди учениц Маршинской гимназии. 1904–1905 учебный год

Царскосельская городовая ратуша. Открытка начала XX в.



Одесса. Стена Карантина в парке. Открытка начала XX в.

Александр Митрофанович Фёдоров

Сергей Юльевич Витте

Георгий Аполлонович Гапон

У проходной Путиловского завода. 1905 г.

Уличные столкновения 9 января 1905 г. Санкт-Петербург

9 января. Гапон у Нарвской заставы. Картина неизвестного художника

Евпатория. Открытка начала XX в.

Евпатория. Дом Пасхалиди. Современная фотография

Киев. Фундуклеевская гимназия. Фотография начала XX в.

Киев. Меринговская, 7 (ул. М. Заньковецкой, 1). Современная фотография

Андрей Антонович Горенко

Великий князь Александр Михайлович

Библиография

Александр Михайлович [Романов]. Мемуары великого князя. М., 2001.

Ахматова А. А. Десятые годы: В 5 кн. М., 1989.

Ахматова А.А. Сочинения. В 2-х т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1990.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник: Вып. 3. Симферополь, 2005.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 4. Симферополь, 2006.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 5. Симферополь, 2007.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 7. Симферополь, 2009.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник: Вып. 8. Симферополь, 2010.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 9. Симферополь, 2011.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 10. Симферополь: Крымский Архив, 2012.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 11. Симферополь: Крымский Архив, 2013.

Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 12. Симферополь: Крымский Архив, 2014.

Берков П. Н. Из материалов Пушкинского юбилея 1899 г. // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. Т. 3. М.; Л., 1937. С. 401–414.

Воспоминания об Анне Ахматовой: Сборник. М., 1991.

Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы (1902–1910) – М., 1998.

Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. Художественная проза (1907–1918). М., 2005.

Жизнь Николая Гумилева (Воспоминания современников). Л., 1991.

История Царскосельской Николаевской гимназии (ресурс htp://kfnkel-shteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/NG_hist.htm).

Лавров А. В., Тименчик Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые

открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 61–146.

Лобыцын В., Дядичев В. Три поколения Горенко // Морской сборник. 1995. № 3. С.87–90.

Лукницкая В. К. Любовник. Рыцарь. Летописец. Три сенсации из Серебряного века. СПб., 2005.

Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой, 1924–1925 гг. Т. 1. Paris, 1991; 1926–27 гг. Т. 2. М., 1997.

Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. СПб., 2010.

Лущик С. З. Крёстная мать // Вечерняя Одесса. 1989. 19 июня.

Мир Иннокентия Анненского (ресурс http://annensky.lib.ru).

Н. Гумилев, А. Ахматова: по материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005.

Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М, 2009 (личный архив).

Народная воля (ресурс http://narodnaya-volya.ru).

Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Репринтное издание. М., 1990.

Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма. Л., 1990.

Одоевцева И. На берегах Невы. М., 2005.

Ольшанская Е. Анна Ахматова в Киеве // Серебряный век. Киев, 1994. С. 5–27.

Тименчик Р. Д. Ранние поэтические опыты Анны Ахматовой // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1979. Л., 1980. С. 140–144.

Тименчик Р. Д. Анна Ахматова и Сергей Штейн // Балтийско-русский сборник. Кн. I. Stanford. Stanford Slavic Studies. Vol. 27. 2004. С. 102–110.

Ты выдумал меня. Анна Ахматова (ресурс http://www.akhmatova.org/).

Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие (пер. с англ.) // Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой. М., 1991.

Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 2008.

Черных В. А. Родословная Анны Андреевны Ахматовой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1992. М., 1993. С. 71–84.

Черных В. А. Эразм Стогов и его «Записки» // Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 331–336.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М., 2007.

Шевченко С. М., Ляшук П. М. Род Горенко в Севастополе: Новые данные к родословной Анны Ахматовой // Севастополь:

взгляд в прошлое: сборник научных статей сотрудников Государственного архива г. Севастополя. Севастополь, 2006. С.302–306.

Шувалов Р. Отец поэта // Вечерняя Одесса. 1989. 14 июня.

Энциклопедия Царского Села (ресурс http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela#.Vx6x6DCLTIU).

notes

Примечания

1

Ия Эразмовна Змунчилла владела имением Литки, расположенным в нескольких километрах от Снитовки; Алла Эразмовна Тимофиевич стала владелицей села Погорело Остоженской волости Винницкого уезда; у Зои Эразмовны Демяновской были имения около станции Деражня – в Гоголях Летичевского уезда Женишковецкой волости и в Михалковецкой слободке Михалпольской волости; Анна Эразмовна Вакар получила в браке имение Слободка Шелеховская, также неподалеку от Снитовки. Как и столичные и московские помещики, помещики киевские проводили в своих имениях летние месяцы, а остальное время жили в городе, где у них также были квартиры.

2

«Очерки, рассказы и воспоминания Э** **ва» вышли в №№ 6–12 журнале «Русская старина» за 1878 г.; после кончины Эразма Ивановича в № 10 «Русской старины» за 1886 г. Ия Эразмовна Змунчилла опубликовала «Посмертные записки» отца, а в 1903 году тот же журнал ретроспективно издал полный свод стоговских мемуаров (Стогов Э. И. Записки // Русская старина. 1903. №№ 1–8). Неизвестно, насколько подробно была знакома Ахматова с беллетристическим наследием своего деда, однако литературный талант, несомненно, передался ей, в первую очередь, от него. В незаурядных достоинствах мемуарной прозы Эразма Ивановича читатель может теперь убедиться лично, обратившись к недавнему переизданию, подготовленному Е. Н. Мухиной (*Стогов Э. И.* Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М.: Индрик, 2003).

3

Пересечение рода Стоговых с родом Буниных, из которого веком позже вышел первый отечественный нобелевский лауреат по литературе, произошло благодаря женитьбе Михаила Петровича Бунина (брата Варвары, Ивана и Анны Буниных) на одной из сестер Ивана Дмитриевича. Таким образом, Эраст Иванович приходился всем им племянником, хотя и не единокровным.

4

Сафо (Сапфо, Σαπφώ) по прозвищу «страстная» – великая греческая поэтесса VII–VI вв. до Р.Х., жившая на о. Лесбос.

5

Анна Петровна Бунина (1774–1829) была одной из первых русских женщин-писательниц, слава которой распространилась на всю страну. Она писала стихи и прозу, переводила, была участником «Бесед любителей русского слова». В стихотворном диалоге «Разговор между мною и женщинами» А. П. Бунина, в частности, так определяет свои лирические пристрастия: «Пою природы я красы, / Рогами месяц в воду ставлю, / Считаю капельки росы, /Восход светила славлю, /Лелею паствы по лугам, / Даю свирели пастушкам, /Подругам их цветы вплетаю в косы, / Как лён светловолосы…» В одном из автобиографических набросков Ахматова не без гордости упоминает о том, что «первая русская поэтесса Анна Бунина была тёткой моего деда Эразма Ивановича Стогова».

6

Веселаго Ф. Ф. Очерк истории морского кадетского корпуса. СПб., 1852. С. 184.

Там же. С. 175–176.

8

Впечатления от пребывания на восточных рубежах Империи вдохновили Э. И. Стогова на целый ряд ярких исторических и этнографических очерков, см.: Записки Эразма Стогова о Камчатке 20-х гг. XIX в. (Публикация В. А. Черных) // Люди великого долга: материалы междунар. ист. XXVI Крашенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский, 2009. С. 94–103.

9

Легендарную историю знаменитого деда, бытовавшую среди многочисленных потомков Эразма Ивановича, излагает его внук Виктор Горенко в письме к литературоведу М. М. Кралину (1974): «…Эразм Иванович Стогов <…> по окончании Морского Корпуса был назначен на деревянный корабль, который пошёл в кругосветное плавание под парусами. Суэцкого и Панамского тогда не было, они шли вокруг Африки и Южной Америки. Через несколько лет, проходя по Светланской улице во Владивостоке, он зашёл в кафе и присел за столик, желая выпить чашку кофе, за столиком рядом сидели два еврея, и один говорил другому: “Я получил письмо от моего брата из Лондона – он пишет, в Лондоне пушнинники за шкуру камчатского соболя платят 50 золотых соверенов…” Это произвело на него такое впечатление, что, когда он услышал, что морское командование хочет открыть в Петропавловске-на-Камчатке временный военный порт, он вызвался поехать туда и жил там около 20 лет. Отправлял пушнину на 3 адреса в Петербург почтовыми посылками. Выслуживши пенсию, он вернулся в Петербург. Из 3 доверенных один оказался вором, и товар пропал, два другие оказались честными коммерсантами, и он получил большие деньги. Выйдя в отставку, с крупными деньгами приехал на Украину и начал покупать землю». Разумеется, это именно легенда, так что допущенные В. А. Горенко исторические и биографические неувязки оставляются без комментариев (см.: *Кралин М.* Победившее смерть слово. Младший брат (http://www.akhmatova.org/bio/kralin/kralin12.htm)).

10

Если проводить понятные современным читателям «советские» исторические аналогии, то николаевские жандармы напоминали не агентов КГБ, а сотрудников ОБХСС (отдел борьбы с хищением социалистической собственности), точнее – совмещали обе ипостаси, но с явным преимуществом последней. Это становится понятней, если учесть, что гражданское общество в России 1820-х – 1840-х гг. не было развито, и политическая крамола существовала только среди крайне узкого круга дворянских интеллектуалов, большей частью столичных. Между тем коррупция, как сейчас, так и тогда, оставалась одним из главных деструктивных факторов административной и экономической жизни России на всей её огромной территории. Так что в шефе жандармов А. Х. Бенкендорфе следует, по справедливости, видеть не столько душителя гражданских свобод, сколько родоначальника отечественной антикоррупционной политики.

11

Бог из машины (лат.) – приём античных драматургов, вводивших в финале театрального представления неожиданное для героев пьесы разрешение трудной ситуации с помощью внешней силы (воли богов); вестник этой воли обычно «спускался с небес», для чего театральная механика того времени использовала специальный подвесной механизм.

12

Анна Ахматова, зная, вероятно, по рассказам домашних, о своем происхождении от чингизидов, ошибочно полагала, что в родстве с основателем Золотой Орды были симбирские Ахматовы: «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем». В других автобиографических фрагментах Ахматова говорит о происхождении этих симбирских дворян (один из которых упоминается и в «Записках» Э. И. Стогова) от ордынского хана Ахмата, героя т. н. «великого стояния» на реке Угре в 1480 г. (когда татарские войска, не приняв боя с московскими полками Ивана III, уступили власть над российскими землями). В действительности, симбирские Ахматовы, к которым принадлежала мать Анны Егоровны, Прасковья Федосеевна Мотовилова (урожденная Ахматова, †1837) не были ни чингизидами, ни князьями – их прародителем был Степан Данилович Ахматов, упоминаемый в источниках XVII в. Зато бабушка Анны Егоровны – Анна Яковлевна Ахматова, урожденная Чегодаева, вероятно, являлась подлинным биографическим аналогом легендарного образа «бабушки-татарки», столь заметного в ахматовском «биографическом мифе». Её предок Чагатай (1185–1242) был талантливым военачальником и администратором, но прославился как главный знаток и «хранитель» закона монголов (ясы). Принципы, сформулированные в ясе, он проводил среди подданных столь свирепо и бескомпромиссно, что уважение к его неподкупности и высоким моральным качествам оборачивалось ужасом и ненавистью. Ходили слухи, что Чагатай – тайный христианин и, действительно, он заметно благоволил православным и с неприязнью относился к исламу. Единственный из сыновей Великого хана (Чингисхана) Чагатай основал «именную» династию, а народы тех земель, где он княжил после смерти отца (тюркские племена джалаиров, барласов, каучинов, арлатов и др.), стали именоваться «чагатаи».

13

Огарёв Н.А. «Студент» (1868).

14

Достоевский Ф. М. «Светлая личность»; пародия на «Студента» Н. А. Огарёва («Бесы», 1871).

15

Салиа́с-де-Турнемир Евгений Андреевич, граф (1840–1908) – писатель и журналист, автор патриотических историко-приключенческих романов, получивший у современников прозвище «русского Александра Дюма». Крестовский Всеволод Владимирович (1840–1895) – поэт, прозаик, литературный критик, автор популярных детективных и антинигилистических романов.

16

«В семидесятых годах коммунами назывались общие квартиры, где поселялись студенты или курсистки, вблизи своего учебного заведения. Так, медики жили преимущественно на Петербургской и Выборгской сторонах, студенты университета – на Васильевском острове, технологи – в ротах Измайловского полка, медички – на Песках и т. д. Материальное положение живущих в коммунах было неодинаково, но все получаемые средства поступали в общее пользование; делились также и всяким имуществом: так, например, платье, пальто или сапоги переходили от одного к другому, смотря по надобности идти на урок или на лекции. Главным принципом такой жизни была взаимопомощь, как того требовала этика нашего поколения» (*А. И. Корнилова-Мороз*).

17

Ахматова А. «Северные элегии. Первая. Предыстория» (1921–1955).

18

Высшие женские курсы в С.-Петербурге. Краткая историческая записка. 1878–1903. 3-е изд. СПб., 1903. С. 6.

Там же. С. 9.

20

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) – историк, профессор Петербургского университета, академик (с 1890 г.); директором Высших женских курсов он являлся до 1882 г., когда его сменил на этом посту А. Н. Бекетов. Первый год занятия шли на Гороховой, затем переместились в дом Боткиной на Сергиевской, а в 1885 г. для Бестужевских курсов был возведён собственный учебный комплекс на 10-й линии Васильевского острова.

21

Щербина Н. Ф. Избранные произведения Л., 1970. С. 301 (Б-ка поэта. Большая сер. 2-е изд.). Теруань де Мерикур Анна-Жозефа (Téroigne de Méricourt, наст. фамилия Тервань [Terwagne], 1762–1817) – парижская куртизанка, ставшая одним из вождей Великой Французской революции.

22

Это была одна из самых отвратительных авантюр «Народной воли», ибо Панютина ещё и шантажировали, грозя убить вместо него тяжелобольную дочь, находящуюся на излечении в Крыму.

23

Софья Львовна Перовская (1853–1881, казнена) происходила из знатной петербургской фамилии, состоящей в родстве с фаворитом императрицы Елизаветы I, гетманом Украины графом Алексеем Кирилловичем Разумовским. Её отец Л. Н. Перовский был военным губернатором Петербурга, затем членом совета Министерства внутренних дел России. На курсах Перовская увлеклась идеями народнического социализма, в 1870 году, восемнадцатилетней, из-за конфликта с отцом ушла из семьи, жила в петербургских «коммунах», участвовала в «хождении в народ», в январе 1874 была подвергнута аресту в Петропавловской крепости, но вскоре оказалась оправдана и выпущена на волю. Здесь она продолжала участвовать в народническом революционном подполье, была в 1878 году арестована вновь, сослана, но по дороге в ссылку бежала. В 1879 году Перовская вошла в Исполнительный Комитет «Народной воли», созданной её гражданским мужем Андреем Желябовым.

24

Вся народовольческая элита была весьма «креативна». Чего стоит один Н. И. Кибальчич, гениальный учёный-механик: изготовленные им метательные снаряды были, по оценке специалистов, чудесами пиротехнического искусства, а теоретические изыскания, которые он продолжал и в камере смертников, легли в основу современного ракетостроения. Выдающимся историком, богословом и социологом был Л. А. Тихомиров. Создатель «Народной воли» А. И. Желябов обладал, по воспоминаниям современников, выдающимся даром политика и организатора.

25

И. И. Горенко (урождённая Воронина, 1818–1898), была дочерью прапорщика 2-го севастопольского военно-рабочего арестантского батальона. Она обвенчалась с А. А. Горенко-отцом 8 ноября 1844 года.

О прабабке Ахматовой по этой линии Марианне Горенко, кроме имени, известно только то, что 7 августа 1818 года она произвела от законного мужа, унтер-офицера Андрея Яковлевича Горенко, «сына Антония».

26

Пётр Антонович Горенко (1850–1894) дослужился до титулярного советника и безвременно скончался в Севастополе от туберкулёза лёгких. Владимир Антонович Горенко (1858–?) преподавал математику в Евпаторийской гимназии. Ничего неизвестно о роде занятий и жизненной судьбе их братьев Леонида (1852–1891) и Михаила (1856–?).

27

Мария Антоновна Тягина (урождённая Горенко, 1846–?) в 1902 году, похоронив обоих родителей, вышла замуж за капитана 1 ранга Алексея Алексеевича Тягина, который был моложе пятидесятишестилетней невесты на 10 лет; венчание состоялась в Николаеве.

28

Имя Евгения, согласно требованиям консистории, стоит во всех метрических документах Аспазии Антоновны, что нередко порождает путаницу среди биографов Ахматовой. Впрочем, путаница эта началась ещё в начале 1880-х годов – в бумагах петербургского Охранного отделения.

29

Некрасов Н.А. «Поэт и гражданин» (1855).

30

Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849–1916) – журналист, писатель, этнограф; один из организаторов «хождения в народ», а затем – активный участник «Народной воли».

31

Третья из «младших» сестер Горенко – Надежда Антоновна (1861–1921 или 1922) из Севастополя не уезжала. Она работала здесь учительницей начальной школы, однако, в полном согласии с настроениями двух «петербургских» сестер, была связана с местным террористическим революционным подпольем. О ней оставил воспоминания один из руководителей севастопольской организации партии эсеров (социалистов-революционеров) С. А. Никонов: «…У нас были ещё многочисленные помощники из севастопольцев. Из них особенно выделялась учительница начальной школы Надежда Антоновна Горенко из семьи севастопольских старожилов… Надежда Антоновна принадлежала к типу очень скромных, но в высшей степени полезных сотрудников, готовых исполнять всякое поручение. Кроме революционной деятельности, она давно уже принимала участие в местной культурной работе, преимущественно по части просвещения (библиотека, воскресная школа и т. п.) и вела в индивидуальном порядке революционную пропаганду среди рабочих».

32

Великий князь Константин Николаевич (1827–1892) – второй сын императора Николая I, брат императора Александра II, отец выдающегося поэта, драматурга и переводчика, президента Санкт-Петербургской Академии Наук, великого князя Константина Константиновича Романова (псевдоним К. Р.).

33

Согласно парижскому мирному договору 1856 г. Россия, потерпевшая поражение в Крымской войне, имела право держать на Чёрном море лишь небольшую военную флотилию – не больше шести винтовых корветов, водоизмещением до 800 тонн и четыре судна водоизмещением до 200 тонн. Штаты Черноморского флота были сокращены до двух рот (30 офицеров, 577 нижних чинов) и одного рабочего экипажа из четырёх рот (16 офицеров, 1088 рядовых). Из разрушенного Севастополя, утратившего статус главной военно-морской базы, русские военные корабли переместились в Николаев, защищенный от нападения с моря мелководьем лиманов. Никакого самостоятельного военного значения николаевская флотилия не имела и использовалась для крейсерства у восточных берегов Кавказа, перевозок грузов и войск. В сущности, это было прекращением существования страны как черноморской державы.

34

См. *Илловайский С. И.* Исторический очерк пятидесятилетия РОПиТ. Одесса, 1907; *Степанов Д. А.* Учреждение русского общества пароходства и торговли (1856–1857 годы) // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 22 (237). История. Вып. 46. С. 30–38.

35

Это был тот самый Морской кадетский корпус, где в патриархальные дореформенные времена проходил многотрудную офицерскую науку хитроумный Эразм Иванович Стогов. Училищем корпус именовался с 1867 по 1891, (затем прежнее название было восстановлено). В эпоху реформ школу возглавляли выдающиеся теоретики военно-морского дела и военной педагогики В. А. Римский-Корсаков (1822–1871) и А. П. Епанчин (1823–1913).

36

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

37

Виктор Горенко, передавая (со слов отца, разумеется) этот диалог, именует боцмана Логовенко «лейтенантом Никитенко». Далее он сообщает, что «Лейтенант Никитенко, минный офицер, был повешен во внутреннем дворе Петропавловской крепости после того как сознался, что сделал динамитную бомбу для террористического акта». На самом деле И. И. Логовенко был казнён по приговору суда 11 августа 1879 г. в Николаеве, в районе Поповой Балки. Вместе с ним был повешен другой руководитель группы, студент С. Я. Виттенберг. Нельзя не заметить, что ошибки мемуариста в целом подтверждают достоверность сообщаемой им информации. Правда, из рассказа Горенко-сына нельзя понять, был ли этот эпизод частью дознания, производимого над самим Горенко-отцом в 1881 г., или же тот проходил свидетелем по готовящемуся в 1878–1879 гг. «процессу двадцати восьми».

38

Крылов А. Н., академик. Мои воспоминания. СПб., 2003. С. 389–390.

39

Главные герои романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», вступившие в фиктивный брак в целях вызволения героини из отвратительной мещанской родительской семьи. И опять-таки, вспомним Лебезятникова: «Вы коснулись детей? – вздрогнул Андрей Семёнович, как боевой конь, заслышавший военную трубу. – Дети – вопрос социальный и вопрос первой важности, я согласен; но вопрос о детях разрешится иначе. Некоторые даже совершенно отрицают детей, как всякий намёк на семью. Мы поговорим о детях после…»

40

Виктор Горенко упоминает, что к отцу в начале 1900-х приезжал какой-то «незаконный сын», но имя упоминает другое: Леонид Галахов.

41

Николаев, наряду с Одессой и Севастополем, являлся центральной черноморской базой РОПиТ-а. С 1862 года здесь начал действовать торговый порт, открытый для иностранных судов. В ходе строительства нового порта фарватер от Очакова до Николаева был углублён до 25 футов, что позволяло принимать большие суда с глубокой осадкой. Строительство железнодорожной ветки превращало, таким образом, прежде исключительно военный город («тыловую базу» Севастополя) в стратегический торговый порт, ориентированный прежде всего на вывоз пшеницы, являвшейся в те времена в российском экспорте эквивалентом нынешних нефти и газа. К началу 1880-х годов отсюда вывозилось более 23 000 000 пудов зерна. В Николаеве была введена таможня, и появились иностранные консульства и представительства.

42

Акции РОПиТ-а с момента его создания пользовались исключительной популярностью и распространялись среди самых влиятельных придворных и деловых кругов. 3300 акций было зарезервировано для членов императорской семьи, прежде всего – для великого князя Константина Николаевича, которой был владельцем 1000 акций. Акционерами РОПиТа были такие предприниматели, как нефтепромышленник В. А. Кокорев и крупнейший одесский купец Ф. И. Родоконаки.

43

Мирабо́ Оноре Габриэль Рикетти де, граф (Mirabeau, 1749–1791) и Дантон Жорж Жак (Danton, 1759–1794) – деятели Великой французской революции, знаменитые ораторы. Русское слово «присутствие» в наши дни заменено иноязычным словом «офис».

44

30 декабря 1825 г. (11 января 1826 г.) взбунтовавшийся Черниговский полк, которым командовал один из руководителей Южного общества декабристов подполковник С. И. Муравьёв-Апостол, захватил казну и арсенал украинского г. Василькова и двинулся походом на Житомир. Декабристы рассчитывали на поддержку других южных частей и совместный с ними марш на Петербург, однако, после неудачных манёвров, под Белой Церковью были в сражении разбиты превосходящими силами войск, сохранявших верность Николаю I.

45

Торквемада Томмазо де (Torquemada, 1420–1498) – основатель инквизиции в Испании.

46

Братья Герасим Григорьевич и Степан Григорьевич Романенко в студенческие годы принадлежали к «Народной воле», но к покушению на Стрельникова прямого отношения не имели. С. Г. Романенко был учеником И. И. Мечникова, дружил с микробиологом В. А. Хавкиным (открывшим впоследствии вакцины против чумы). Весной 1881 года (уже после истории с «Кобзарём») он уехал в Италию для лечения туберкулеза. За границей он поддерживал связь с «Народной волей», ездил встречаться с политическими эмигрантами в Берн. Вернувшись в Одессу во второй половине 1880-х гг., он отошёл от политики и занимался научной работой. Г. Г. Романенко, юрист по образованию, в 1879–1881 гг. тоже побывал за границей (где под псевдонимом Г. Тарновский опубликовал брошюру «Террористическая борьба») и вернулся в Россию, короткое время побыл даже в Исполнительном комитете «Народной воли», но и в октябре 1881 г. был арестован в Москве и сослан в Среднюю Азию. Впоследствии он примыкал к крайним националистам и был редактором газеты «Бессарабец», которой руководил известный публицист-юдофоб П. А. Крушеван.

47

РГАОР. Ф. 102 (Департамент полиции), 3 д-во, 1882, д. 983, л. 5–5 об. Цит. по: *Желвакова И.* Он успел стать только героем // Факел. Историко-революционный альманах. М., 1990. С. 97–98. «Часто ему [Стрельникову] в руки попадали данные, которые могли бы его привести к раскрытию целых организаций… Он пользовался исключительно сведениями шпиков и предателей, и его внимание часто, благодаря этому, отвлекалось от существенного к маловажному. Психологии нашей он не понимал, она была ему чужда. В наше бескорыстие он не верил. Нас, тогдашних революционеров, он считал обезумевшими честолюбцами, чем-то вроде новых Геростратов. Революционной литературы он не знал и, по-видимому, считал ниже своего достоинства знакомиться с нею. Будь он знаком с программой и организацией партии “Народная воля”, ему не трудно было догадаться, что в Одессе была не одна только рабочая подгруппа» (*Дрей М. И.* Стрельниковский процесс в Одессе в 1883 г. М., 1928. С. 6–7).

48

Чугунная «скамья Стрельникова» была перенесена с Николаевского бульвара на его могилу на Христианском кладбище Одессы. В советское время она хранилась в запасниках одесских музеев, а в 1989 году была установлена на площадке… созданного в Одессе мемориала Ахматовой.

Кулябко-Корецкий Н. Подполковник Судейкин и генерал Стрельников // Каторга и ссылка. 1923. № 6. С. 66–67. Цит по.: *Желвакова И.* Указ. соч.

Там же особо было отмечено, что «не усматривается также никаких неблагоприятных для Андрея Горенко указаний об отношениях его к сёстрам Анне и Евгении, проживающим в Севастополе и обратившим внимание своей неблагонадежностью, первая как привлекавшаяся к дознанию в 1874 и 1878 годах по поводу сношений её с известными государственными преступниками Соловьевым и Иванчиным-Писаревым, а вторая – как состоявшая, по свидетельству отца казнённого государственного преступника Желвакова, в письменных сношениях с его сыном».

51

И-В. Гёте. «Коринфская невеста» (1797).

52

Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание». Слова Порфирия Петровича из его разговора с Раскольниковым.

53

На самом деле побег С. П. Дегаева был инсценировкой, организованной Судейкиным. С охранкой заигрывал и брат Дегаева Владимир, а жена Дегаева существенно облегчила Судейкину задачу, уговорив арестованного мужа «спасти самого себя».

54

«Нужно заметить, что отношения выскочки-сыщика к верхним правительственным сферам вообще не отличались особенным дружелюбием. Он и пугал их и внушал им отвращение. Судейкин – плебей; он происхождения дворянского, но из семьи бедной, совершенно захудалой. Образование получил самое скудное, а воспитание и того хуже. Его невежество, не прикрытое никаким светским лоском, его казарменные манеры, самый, наконец, род службы, на которой он прославился, всё шокировало верхние сферы и заставляло их с отвращением отталкивать от себя мысль, что этот человек может когда-нибудь сделаться “особой”. А между тем перспектива казалась неизбежной. В сравнении с массой наших государственных людей, Судейкин производил впечатление блестящего таланта» (*Л А. Тихомиров*).

55

«Что касается Дегаева, то он во время этой бойни выскочил на лестницу и удрал, даже не затворивши за собой двери, и прямо отправился на Варшавский вокзал» (*Л.А. Тихомиров*).

56

Завершая о Судейкине. Нельзя всё-таки не сказать, что практически все возводимые на него обвинения, во-первых, посмертны и безответны, во-вторых, голословны, и, в-третьих, исходят от лиц, явно заинтересованных во лжи. «Все эти планы Судейкина, – свидетельствовал Л. А. Тихомиров, – я знаю, конечно, только от Дегаева. Во всей полноте он их рассказал уже после убийства. А до убийства сообщил только, что при помощи Судейкина может убить <Д. А.> Толстого и ещё какое-либо высокопоставленное лицо, а потом уже покончить и с Судейкиным. Не помню, через кого он сообщил эти планы. Кажется, через жену, которую выслал за границу (кажется, с братом Володей) и которую мы отправили в Лондон, не желая иметь над душой, так сказать, вернопреданную дегаевскую шпионку. Я ему всё время не верил…». И если, выражая мнение придворных политиков, император Александр III осторожничал с оценкой покойного, замечая, что «Судейкин последнее время был странен», то мнение бóльшей части населения России выразила его жена, императрица Мария Федоровна, прислав на гроб Судейкина венок с надписью: «Исполнившему свой долг до конца».

57

Одесский листок. 1915. 7 сент., подп. В. Л.

Следует учесть, что для оставшегося в России лица, чьи документы были использованы при нелегальном выезде за рубеж, никакой ответственности за пропажу было не предусмотрено: нужно было просто заявить об этой пропаже явочным порядком в соответствующее присутственное место и, затем, получить новое удостоверение личности.

59

Перевод этой брошюры был опубликован в газете «Московские ведомости» (1888. 6 апреля (№ 106)).

Баркова А. «Вера Фигнер» (1950).

61

Общее число так называемых «цензовых» (то есть провёденных в плавании) дней равнялось у него на тот момент 2165, тогда как для производства ему необходимо было всего 2940 дней плавания. Таким образом для получения чина капитана 2-го ранга лейтенант Горенко должен был ещё находиться в плавании два года (разумеется, в пересчёте на «чистые» цензовые дни, без учёта льгот, связанных с условиями службы). Согласно «Положению о морском цензе» 1885 года, эти 2940 дней лейтенант должен был исполнить до вхождения в возраст 47 лет; если этого не происходило, он по достижении указанного возраста отправлялся в отставку.

62

Дом Немировского был разрушен во время оккупации; место его сейчас застроено.

Ахматова А. «Будка».

Кирсанов С. «Песня об Одессе» (1951).

65

Саша Черный. «В Одессе» (1923).

«Здесь, в статьях, подписанных криптограммой “А.Г.” или “Инженер-механик”, впервые начал складываться интерес Горенко к нуждам мореплаванья на Чёрном море и проблемам его развития. Он первым поднял вопрос о применении нефти для отопления судовых котлов вместо дров и угля» (*Шувалов Роман.* Отец поэта // Вечерняя Одесса. 1989. 14 июня (№ 137 (4772)). С. 3).

67

Пальмин Лиодор Иванович (1841–1891) – русский поэт-сатирик и переводчик. Самым знаменитым его стихотворением является «Requiem» (1865), ставший гимном русских народников.

Петровский В. «Татарская песня» (Одесские новости. 1888. 23 января (№ 906). С. 3).

Их брат Н. С. Попандопуло был связан с петербургским молодёжным народовольческим кружком, собиравшимся в 1884 г. на квартире Аспазии Горенко в доме № 28 по 8-й Рождественской улице. Нужно добавить, что формальным редактором-издателем «Одесских новостей» был А. И. Черепенников, которого сменил журналист и военный историк А. П. Старков, также постоянный сотрудник газеты.

70

«В период 1887–1890 гг. в “Одесских новостях” систематически появлялись без подписи передовые статьи, освещающие те же вопросы, что и выступления Горенко на заседаниях “Общества содействия русской промышленности и торговли” в Петербурге. Это обстоятельство и совпадение времени появления первой и последней подобных передовиц с периодом пребывания Горенко в Одессе является косвенным подтверждением авторства Горенко» (*Шувалов Роман.* Отец поэта // Вечерняя Одесса. 1989. 14 июня (№ 137 (4772). С. 3).

71

В подшивке «Одесских новостей» за 1888 и 1889 годы кроме как для подписи данных материалов летроним «А. Г.» больше никогда и нигде не использовался.

72

А. Г. Мемуары Гарибальди // Одесские новости. 1888. 19 февр. (№ 928) С. 2. Мемуары героя Рисорджименто (освободительной борьбы за независимость и единство Италии) Джузеппе Гарибальди были изданы в 1888 году и вызвали большой интерес в русских народнических кругах. «Обыкновенно составители мемуаров, прежде чем явиться перед публикой, тщательно приводят в порядок свой туалет, – пишет автор статьи. – Иначе поступил Гарибальди: не руководясь такими посторонними соображениями, он заносил в свой дневник заметки о событиях личной жизни и политической жизни своего отечества и, умирая, оставил собранные материалы в их первоначальном тексте. Чувство благоговения к памяти великого патриота удержало и г. Барберá от смелой и, во всяком случае, дерзкой попытки исправлять написанные Гарибальди воспоминания. Поэтому недавно изданную г. Барбера книгу, под заглавием «Memorie autobiografche di Giuseppe Garibaldi» (1888 г.) можно назвать действительными мемуарами Гарибальди». К моменту появления публикации русский перевод книги Дж. Гарибальди ещё не появился, и в статье приводятся её фрагменты в собственном переводе автора.

73

А. Г. Философ Секундус // Одесские новости. 1888. 7 сент. (№ 1087). С. 2. Книга «Жизнеописание и изречения философа Секундуса, переложенные по второму берлинскому Антиохийскому кодексу с латинского языка д-ром Дж. Бахманом, 1888» (лат.) Точные выходные данные: Secundi philosophi Taciturni vita ac sententiae secundum codicem Aethiopicum Berolinesem, quem in linguam latinam vertin nec non indroductione instruxit. dr. Joannes Bachmann». Berolini, 1887. 44 с.

О прочих материалах А. Г. в фельетонном подвале «Одесских новостей» можно судить по следующим отрывкам: «Доде слишком много говорит о влиянии женщин на выборы в академию и даже рассказывает чудовищную историю, что Астье Регю сделался академиком только вследствие позора своей жены. Конечно, подобные факты возможны, – но дело в том, что даже и поклонники, и сторонники романиста, решительно утверждают, что такие прегрешения не могут быть записаны в число обвинений против академиков. Без сомнения, часто случается, что жёны и дочери надоедают академикам своими просьбами о «голосах» в пользу того или другого кандидата, но кто же придает серьёзное значение этим мольбам!» (*А. Г.* «Бессмертный». Роман Альфонса Додэ // Одесские новости. 1888. 24 авг. (№ 1076). С. 2); «В сущности, исторические события и личности являются в «Noblèsse oblige» только театральными кулисами, за которыми разыгрывается вполне современная драма – борьба страстей, борьба самоотверженной женщины против всемогущества набитого кошелька, соперничества наций, и тех именно наций, которые и теперь считаются непримиримыми врагами» (*А. Г.* «Noblèsse oblige». Роман Ф. Шпильгагена // Одесские новости. 1888. 14 июля (№ 1045). С. 2). Шпильгаген Фридрих (Spielhagen, 1829–1911) – немецкий писатель-романист, популярный среди российских народников. Noblèsse oblige (фр.) – благородное происхождение обязывает, французский фразеологизм, ставший названием его романа.

75

В марте 1889 г. состав редакции «Одесских новостей» поменялся: место редактора занял Е. С. Попандопуло, а издателя – А. П. Старков. Полностью поменялся (дважды за оставшиеся месяцы) и формат газеты: она увеличилась в объёме, но утратила прежнюю рубрикацию и, главное, стала практически анонимной, так что установить авторство материалов в этот период не представляется возможным. Несколько обзоров иностранных новинок появлялись и там, но это были статьи, приближающиеся к жанру краткой газетной рецензии.

76

Возглас «Аксиос!» (ἄξιος – «достоин», *греч.*) в христианской церкви завершает таинство рукоположения в диаконы, иереи и епископы. В переносном смысле – обозначение достижения окончательного успеха, безусловной победы, перехода в новый жизненный статус.

77

Ахматова А. «Северные элегии. Вторая» (1942).

См.: Одесские новости. 1889. 11 июня (№ 1308). С. 10.

Впоследствии Ахматова исправит этот недочёт отечественного летоисчисления и будет с чистой совестью праздновать свой день рождения именно по европейскому, григорианскому календарю, ибо коммунистическая календарная реформа 1918 года добросовестно запутает вопрос с историческими российскими датами до хронологических гротесков, вроде рождений и смертей, «растянувшихся» на два года, упразднив тем самым незыблемость календарных сроков.

80

Великий поэт Томас Стернз Элиот родился в Сент-Луисе (Миссури, США) 26 сентября 1888 г., он был на девять месяцев старше Ахматовой.

81

Как уже говорилось, «татарской княжной» и чингизидкой Анна Яковлевна Чегодаева, бабушка Анны Егоровны Мотовиловой, была не потому, что породнилась с симбирскими дворянами Ахматовыми, а, так сказать, сама по себе – как потомок золотоордынского князя и законника Чагатая.

В Царском Селе (Пушкине) и Киеве улицы Ахматовой появились двумя годами позже, а в 2007 г. имя Ахматовой получила одна из улиц в Калининграде.

83

«От дореволюционного района между 11-й, 12-й и 13-й станциями не осталось почти ничего, даже в сущности берега. Прежние дачи, за редким исключением не сохранились. Уцелело, правда, несколько больших, капитальных дач, но Ахматова называла дачу Саракини “дачкой”, “избушкой”.

Один из авторов этих строк Р. А. Шувалов <…> разыскал в старом, изданном в 1894 году справочнике В. Коханского “Одесса за 100 лет” описание дач по Фонтану, среди них упоминалась и дача Сорокини (у Ахматовой <…> Саракини – очевидно, она привела фамилию по памяти).

На старом плане дач Р. А. Шувалов перевел дюймы в метры и составил, таким образом, новый план, который он приложил к замерам нынешнего района между 11-й и 12-й станциями. И когда границы бывших дач совпали с нынешними, выяснилось, что ДСК “Солнечный” – это бывшая дача Сорокини, а ДСК мясокомбината – это бывшая дача Манес. Между ними осталась узкая полоска земли. Этот участок – единственный узкий, а ведь Ахматова пишет: “Дачка… стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой”» (*Сауленко Людмила, Шувалов Роман*. Задача сошлась с ответом // Вечерняя Одесса. 1973. 9 июля (№ 159 (2994)). С. 4).

По воспоминаниям старожилов, имевшихся у Л. Сауленко, почта тут располагалась «возле дачи Даля-Орсо», которая также находилась на территории ДСК мясокомбината. «Итак, два пути поиска <…> привели к одной точке <…> Это нынешняя улица Хрустальная, приблизительно, напротив дома № 2. Здесь не так давно рыли траншею, натолкнулись на фундамент какой-то постройки, по всем приметам дореволюционной (такие большие камни клали в фундамент в прошлом [XIX] веке). Это, как видно, и был домик семьи Горенко, родителей Ахматовой» (Там же).

84

Автор – Т. Судьина. Интересно, что даже надпись на горельефе, в общем курьёзная (смышленые дети, попавшие сюда впервые, обычно осведомляются у родителей: действительно ли Анна Андреевна прожила 100 лет?), почему-то настолько органично входит деталью в гармонию целого, что не может уже быть, без ощутимого ущерба для него, поправлена.

85

Ещё государь Николай Павлович, натыкаясь на очередные миллионные хищения в армии и флоте, имел обыкновение приговаривать: «Рылеев и его сообщники, конечно, не сделали бы со мной этого!» Казнённый в 1826 году руководитель Северного общества декабристов Кондратий Фёдорович Рылеев, великий поэт и гражданин, служил, как известно, заседателем Петербургской уголовной палаты и правителем канцелярии Российско-американской компании.

86

Меблированный дом «Пале-Рояль» (Пушкинская ул., 20) был постоянным пристанищем петербургской литературно-художественной богемы; быт его многократно описан в различных мемуарах и хрониках конца XIX – начала XX вв.

87

Арнольдов Евлампий Ксенофонтович (1841–1905) – кафедральный протоиерей Одесского собора, проповедник и духовный писатель.

Ахматова А. «Отрывок из поэмы» (1913).

89

На этот визит может указывать пометка в «Записных книжках»: «В Севастополе. С мамой в детстве до дачи [Тура] Hôtel Кидонис на Екатерининской (Grand Hôtel)…».

По крылатому заключению начальника управления по делам печати в правительстве Александра II Е. М. Феоктистова: «И велика ведь Россия, но во всей стране нашёлся всего один честный и исполнительный человек, да и тот немец, Балтазар фон Кампенгаузен! А как он помер, упав с лошади, так и вовсе замены ему не нашлось. Только спустя несколько лет назначили на его место контролёра, да и тот оказался – Хитрово, да и надолго Хитрово». Сменивший Кампенгаузена Алексей Захарович Хитрово́ просидел в этом кресле двадцать семь лет, вплоть до своей кончины в 1854 г., и погрузил вверенное ему ведомство ревизий в глубокую стагнацию.

Но и Шувалов был не всесилен, поскольку нити коррупции вели к Е. М. Долгоруковой, невенчанной жене самого Александра II. Именно вокруг Долгоруковой и её родственников роились все теневые «олигархи» Империи, проникающие в самые тучные области российского бюджета. «В то время как, с одной стороны, заботятся об установлении контроля за каждой копейкой, – с возмущением отмечал в дневнике военный министр Д. А. Милютин, – когда с негодованием указывают на бедного чиновника, обвиняемого или подозреваемого в обращении в свою пользу нескольких сотен или десятков казённых или чужих рублей, с другой стороны, с ведома высших властей и даже по высочайшей воле раздаются концессии на железные дороги фаворитам и фавориткам прямо для поправления их финансового положения, для того именно, чтобы несколько миллионов достались в виде барыша тем или иным личностям». В конце концов Шувалов, человек честный до бесстрашия и к тому же личный друг императора, взял и не мудрствуя лукаво высказал Александру в лицо накопившиеся сомнения относительно Долгоруковой. Долголетняя дружба сыграла свою роль: после этой чистосердечной беседы Шувалов оказался послом не где-нибудь, а в Великобритании, стране европейской и имеющей принципиальное значение во внешней политике России. Как дипломат Пётр Андреевич смог ещё оказать своему отечеству существенные услуги, но путь во внутреннюю политику ему был заказан навсегда.

92

Дузе Элеонора (Duse, 1858–1924) – итальянская драматическая актриса, с огромным успехом гастролировавшая в России в 1891–1892 гг.

93

La lumiere russe («русский свет», *фр.*) – идеоматическое выражение, обозначавшее в последней четверти XIX века в европейских странах городское электрическое освещение; оно возникло после парижской Всемирной выставки 1878 года, во время которой на улицах французской столицы были установлены светильники П. Н. Яблочкова. Газеты Старого Света выходили в эти дни с заголовками: «Россия – родина электричества!» (см.: Успехи электрического освещения и заслуги П. Н. Яблочкова // Наука и жизнь. 1890. № 39. С. 617–622).

Тютчев Ф.И. «Осенней позднею порою…» (1858).

95

В Царском Селе традиционно квартировали Лейб-Гвардии Кирасирский Его Величества, Лейб-Гвардии Гусарский и Образцовый пехотный полки, Образцовые пешая и конная батареи, инвалидские роты, а также Офицерская артиллерийская школа; однако в ходе военного строительства в Санкт-Петербургской губернии этому «ядру» царскосельского гарнизона постоянно придавались новые части.

Мандельштам О. «Царское Село» (1912).

97

«Девятичасовой поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже даёт повестку длинным протяжным свистком из Павловска, – описывал утренний Царскосельский вокзал конца XIX столетия Н. Г. Гарин-Михайловский. – На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра… Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки. Поезд подошёл, с размаху остановился, выпустил пар, – зашумел и зашипел, – а в вагоны торопливо стали входить, один за другим, пассажиры. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты, и надо прочесть её всю… Есть, впрочем, и серьёзные любители чтения, и нет-нет да какой-нибудь господин третьего класса в очках, с внимательным серьёзным взглядом вынет из кармана номер более серьёзной газеты и погрузится в него. Ещё реже попадаются люди с журналами в руках: для получасового чтения журнал слишком тяжелая вещь, да ещё летом, да ещё с утра, перед департаментской работой, где и обязательного, серьёзного столько предстоит… На площадке третьего класса счастливая, ветром растрёпанная парочка: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он – мало думающий о своём туалете студент, у них обязательных дел нет, и они счастливы».

«Родители А. А. рассказывали ей, что, когда она была совсем маленькой, её однажды угостил конфетами К. П. Победоносцев в парке Царского Села. А. А. видела его позже – он был очень страшный, с жёлтой пергаментной кожей и большими ушами» (*М. И. Будыко*).

99

В мемуарных записях Ахматовой, обращённых к детским и юношеским годам, упоминается некая Моника, которую в семье на французский манер именовали «бонной» (bonne, *фр.* – воспитательница детей, живущая в доме на правах компаньонки). Неизвестно точно, когда и где она появилась в окружении Инны Эразмовны, но, по всей вероятности, это была швейцарская немка «фрау Шульц» (также упомянутая в «Записных книжках»), которая приехала с ней в Россию из Женевы.

100

Ахматова А. «В Царском Селе» (1911).

101

В то время на этой улице располагались второклассные гостиницы «Москва» и «Люнивер», в которых, как сообщает путеводитель начала XX века, обычно останавливались командировочные чиновники и заводские служащие.

102

Фурнье Луи-Эдуард (Fournier, 1857–1917) – французский живописец, иллюстратор и график, автор полотен на историческую тематику. Упомянутое полотно Теодора Жерико (Géricault, 1791–1824) «Плот “Медузы”» создано на сюжет, связанный с историей кораблекрушения фрегата «Медуза» в 1816 г., и является одним из ярких образцов романтической живописи.

103

Шелли П.-Б. «К Жаворонку» («To a Skylark», 1820, перевод К. Д. Бальмонта).

104

Об истории создания этих автобиографических строф «Поэмы без героя» Ахматова в 1964 г. рассказывала Л. К. Чуковской.

«Оказывается, – записывала та в своём дневнике, – строфа, где на песке мёртвый Шелли, а над ним Байрон с факелом, – это не описание самих похорон, а описание картины, изображающей похороны. Она была создана в год рождения Ахматовой – в 1889 г. В дни её молодости репродукции картины были распространены в журналах, висели в гостиных». Следует учесть, что за годы детства и отрочества Ахматова жила в гостинице только в киевские месяцы 1893–1894 гг., а обитатели тех квартир (и её собственные родители в том числе), где она проживала ребёнком, были не настолько проникнуты духом декадентства, чтобы повесить в гостиной репродукцию «Похорон Шелли». Подробно об этих живописных реминисценциях в «Поэме без героя» см.: *Рубинчик О. Е.* Шелли и Байрон в «Поэме без героя»: изобразительный подтекст // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 6. Симферополь, 2008. С. 158–191.

105

Тютчев Ф. И. «Она сидела на полу…» (1858?).

106

А. К. Кривошеин после отставки жил в своём имении под Шкловом, в Могилёвской губернии, где посвятил остаток дней благоустройству как собственных земель, так и шкловского городского хозяйства. Действовал он тут не в пример удачливее, чем на государственном поприще, и оставил после себя (†1902) на шкловщине очень добрую память. Так что В. П. Мещерский не был совсем неправ, рекомендуя своего протеже Александру III как талантливого и энергичного человека (хотя к государственной службе таланты Кривошеина были трудно приложимы).

107

Об этимологии слова «вокзал», которое в применении к железнодорожному делу было впервые введено в оборот Герстнером (до строительства Царскосельской дороги понятие станции подразумевало платформу, куда подходили поезда, и небольшие служебные сооружения вокруг, не имевшие общего имени) до сих пор идут споры. Петр I, побывав в Англии и посетив развлекательный парк с летней эстрадой Воксхолл Бридж в лондонском пригороде Ламбет, использовал понятие «воксал» при устроении культурной жизни Петербурга для обозначения загородной или парковой территории, предназначенной для развлечения посетителей (в современном русском языке это петровское заимствование является эквивалентом современным «Луна-парку» и «Диснейленду»). Такие «воксалы» (парки аттракционов) были устроены в XVIII–XIX вв. на Каменном острове, в Демидовом саду, Екатерингофе, Полюстровском парке, Озерках. Помимо того, как уже говорилось, были и «курзалы» (буквально – ‘дворовые залы’, эстрады под открытым небом), сооружения собственно музыкальные. Надо думать, Герстнер для обозначения собственной идеи использовал игру слов, ассоциировав в собственном понятии «вокзала» все существующие на данный момент смысловые и исторические коннотации. Однако как железнодорожный термин (т. е. в главном на настоящий момент значении) слово «вокзал» возникло в 1836 г. в России, а Павловский Вокзал стал образцом для всех последующих европейских и американских павильонов на железнодорожных станциях для отдыха и развлечения пассажиров. Ти-воли (итал. Tivoli) – пригород Рима, место отдыха горожан, известное великолепными античными и ренессансными виллами и садами.

108

«Вообрази себе огромное здание, расположенное в полукруге, с открытыми галереями, великолепными залами, – писал М. И. Глинке 25 мая 1838 г., через три дня после открытия павловского чуда поэт Нестор Кукольник. – Большая зала с большим искусством расположена архитектором <…> украшена множеством четырехгранных колонн, с обширными хорами и весьма затейливым фонтаном, вся уставлена столами и снабжена двумя роскошными буфетами. Направо две биллиардные залы, налево залы для желающих за обедом некоторого удаления от прочих посетителей. На хорах музыка, внизу песни тирольцев. Что если бы московские цыгане полюбопытствовали прокатиться по железной дороге и испытать счастье в нашей столице и в этом воксале? Что если бы на хоры возместился Штраус с своим магическим оркестром?» Так оно в общем вскоре и произойдёт. Солистки цыганского хора Ильи Соколова будут здесь своими песнями сводить с ума слушателей, а Иоганн Штраус-сын в 1856 г. станет постоянным дирижёром концертов на Павловском Вокзале.

109

Мандельштам О. Э. «Шум времени» (1925).

110

Ахматова А. «Ива» (1940).

111

Доде А. Малыш («Le Petit Chose», 1868, перевод В. Барбашева).

Тургенев И.С. «Бежин луг».

113

Державин Г. Р. «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779).

114

Раннее, 7 января 1891 г. в Севастополе безвременно скончался и другой брат Андрея Антоновича – тридцативосьмилетний Леонид, однако причина его смерти неизвестна. Смерть Петра Антоновича – первая документально подтвержденная «чахоточная» смерть в роду Горенко.

115

Анненский И. «У гроба».

116

Ахматова А. «Всю ночь не давали заснуть» (1909).

117

Художник И. А. Белицкий, скульптор С. А. Чиж, мастер И. И. Степанов. Мемориальная доска с барельефом была установлена в 1989 г. В 1990 г. имя Ахматовой было присвоено севастопольскому скверу у пляжа «Солнечный», а двумя годами спустя – одной из новых улиц Балаклавского района. Помимо того, имя Ахматовой носит одна из севастопольских библиотек. Современный адрес севастопольского «дома Горенко» – улица Ленина, 8; тут расположено кафе-бар «Искринка» (во время Второй мировой войны здание было частично разрушено и перестроено).

118

В очерке Евгении Кричевской «Тайна склепа семьи Горенко на Афинском кладбище», опубликованном в популярном журнале «Шире круг» (2011. № 4 (26)), со ссылкой на данные, переданные автору очерка К. Финкельштейном и Ж. и Ф. Рюд, упоминается, что «прадедом Анны Ахматовой и Андрея Горенко был грек, критянин Эммануил Героспатьяс» (с. 27).

119

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй ([Дóкса Патрú ке Иó, ке Агúо Пнéвмати, ке нúн ке аú, ке ис тýс эóнас тон эóнон, амин. Кúрие элéисон; Кúрие элéисон; Кúрие элéисон], греч.).

120

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

121

Это было время радикальных политических реформ императора Муцухито (1852–1912), прозванного Мэйдзи (буквально – «Просвещённая Власть»). Япония в начале «эпохи Мэйдзи» прервала многовековую самоизоляцию и теперь, подобно европейским державам, с настойчивой целеустремленностью искала материковые колонии как испытанное стартовое средство в мировой конкурентной борьбе.

122

Китайская восточная железная дорога (КВЖД) была построена в 1897–1901 гг. и соединила напрямую Читу с Владивостоком.

123

Ахматова А. «Мурка, не ходи, там сыч…» (1911).

124

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

125

Ахматова А. «Эпические мотивы», 1913.

126

См.: *Тургенев И. С.* «Отцы и дети» (1859).

127

Писарев Д. И. «Пушкин и Белинский» (1865).

128

С 1889 г. великий князь Константин Константинович (1858–1915) занимал пост президента Академии наук, был председателем Русского археологического общества, Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, членом Русского музыкального общества, Русского астрономического общества, Русского исторического общества и Общества поощрения художеств.

129

Пушкин А.С. «В начале жизни школу помню я…» (1830).

130

См.: *Антоний (Храповицкий), митрополит*. Пушкин как нравственная личность и православный христианин // А. С. Пушкин: путь к Православию. М., 1996. С. 145–147 (Православная Церковь и русская литература).

131

Только самое необходимое (*фр.*).

132

Второй этаж в доме Шухардиной в 1899–1903 гг. занимало семейство Юлия Михайловича Антоновского (1853–1913), чиновника Министерства путей сообщения, публициста и переводчика. Писательница А. В. Тыркова-Вильямс (1869–1962) приходилась Антоновскому свояченицей, подолгу гостила в Царском Селе и около года сама снимала там жильё.

133

Некрасов Н. «Элегия» (1874).

Сам бунт четырнадцати академических медалистов-конкурсантов во главе с И. Н. Крамским возник из-за их желания избрать для конкурсных работ острые социальные темы, а не мифологические сюжеты, предложенные начальством Академии.

135

«Национальное искусство» казалось Александру III важной составляющей его общей политики, направленной на укрепление патриотических идей самодержавия и православия. Император взял в обыкновение посещать петербургские передвижные выставки, проходившие, в отличие он осенних, академических, во время Великого поста. «На первой неделе поста царь говел, в субботу причащался и после завтрака с семьей ехал на выставку, накануне её открытия для публики. Здесь он беседовал с художниками и приобретал их вещи» (см.: *Минченков Я. Д.* Воспоминания о передвижниках. Л., 1965. С. 311).

136

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898), Мясоедов Григорий Григорьевич (1934–1911), Левитан Исаак Ильич (1860–1900) – живописцы, одни из самых ярких лидеров «Товарищества передвижных художественных выставок».

137

Брюсов В. «Я действительности нашей не вижу…» (1896).

138

Пушкин А. «В начале жизни школу помню я…» (1830).

139

Ахматова А. «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911).

140

Парни Эварист Дезире де Форж, виконт де (de Parny, 1753–1814) – французский поэт, последователь Вольтера и просветителей, один из создателей новой европейской лирики, оказавший большое влияние на творчество старших современников Пушкина – К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, Д. В. Давыдова. Для Пушкина-лицеиста усиленное чтение модной, фривольной и остроумной «легкой поэзии» Парни было как школой литературного мастерства, так и характерным для того времени жестом аристократического свободолюбия.

141

«В Царскосельском парке. Девяностые годы». Публикация данной (первой) строфы этого фрагмента в журнале «Звезда» (1946. № 1) сопровождалась заглавием «В парке (Девяностые годы»), а публикация следующих строф в журнале «Ленинград» (1946. № 1/2) была обозначена как «Отрывки из поэмы “Русский Трианон” (Воспоминания о войне 1914–1917 гг.)». Упоминания о работе Ахматовой над «Русским Трианоном» имеются в записках П. Н. Лукницкого, относящихся к середине 1920-х гг. *Жип* (Gyp, наст. имя Сибиль Габриэль Мари Антуанет де Рикети де Мирабо, графиня, 1849–1932) – автор популярных «семейных» и «женских» романов, описывающих преимущественно типы и нравы французской аристократии. *Бурже Поль* (Bourget, 1852–1935) – популярный французский критик и романист, мастер психологической прозы.

142

Пушкин А. С. «Пир во время чумы» (1830).

143

Баратынский Е. «Мой дар убог и голос мой не громок…» (1828).

144

Шарль де Морни (de Morny, 1811–1865) – французский политический деятель, единоутробный брат и доверенное лицо Наполеона III.

145

Национальный музей естественной истории (*фр.*) – влиятельная научная организация во Франции, объединяющая несколько исследовательских институтов, лабораторий, хранилищ и экспозиций в Париже и провинциях.

146

Парнасцы (*фр.*) – писатели, группировавшиеся вокруг французской поэтической антологии «Современный Парнас» (1866–1876), сторонники «чистого искусства».

147

Про́клятые поэты (*фр.*) – так именовались ранние французские поэты-символисты, лидерами которых были Поль Верлен и Артюр Рембо.

148

Анненский И. «О нет, не стан…» (1906).

149

Буквально: «словами учителя» (*лат.*); клятвенная формула (полный текст: «Jurare in verba magistri»).

150

Ольга Николаевна Даудель была заведующей царскосельского детского приюта, расположенного на той же Леонтьевской улице; ранее домовладельцем был её отец (обрусевший швед) и поэтому в речи царскосёлов фамилия в названии дома иногда сохраняла склонение.

151

В автобиографических записях Ахматовой есть помета: «Два года в 6-м классе», хотя второгодницей она ни разу не была; очевидно, имеется в виду, что во время обучения в шестом классе она сдавала разницу и за частично пропущенный седьмой.

Анненский И. Ф. Бронзовый поэт.

153

Ахматова А. «Творчество» (1936).

154

Пастернак Б. «О, знал бы я, что так бывает…» (1932).

Ахматова А. «Муза» (1960).

Ахматова А. «Муза» (1924).

157

Пришедшие из Индии, в культуре которой подобные состязания с XIII в. до наших дней сохраняют статус популярного и массового спортивного единоборства.

Даже во времена Анны Буниной, когда русское художественное слово было строго регламентировано системой цензурных и моральных установок и образ пишущей женщины безболезненно воспринимался самыми строгими блюстителями общественной нравственности, лирические жанры, в отличие от повествовательных, всё-таки вызывали «гендерные» сомнения. Переживания частные, камерные и интимные (пусть даже самые невинные) не могли быть преданы гласности без ущерба (пусть и минимального) для репутации писательницы.

159

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

160

Ахматова А. «Путём всея земли» (1940).

161

Иван Васильевич Селивёрстов (1882–1942) – инженер и педагог; в 1910-е годы преподавал в царскосельской Николаевской гимназии, во время Первой Мировой войны ушел добровольцем на фронт; состоял действительным членом русской и международной электротехнических комиссий. Студентом И. В. Селивёрстов живо интересовался новейшей словесностью, примыкал к кружку царскосельской творческой молодёжи, который формировался тогда вокруг сына И. Ф. Анненского Валентина (будущего поэта и мемуариста В. И. Кривича) и филолога Сергея фон Штейна. Помимо того, Селивёрстов был другом Александра Оцупа (Сергея Горного), в то время – ученика Горного института, в недалёком будущем – «сатириконовского» фельетониста и поэта, а в исторической перспективе – одного из выдающихся деятелей русского литературного зарубежья.

162

А вот придёт пора – и ты, червей питая, / Как это чудище, вдруг станешь смрад и гной, / Ты – солнца светлый лик, звезда очей златая, / Ты – страсть моей души, ты – чистый ангел мой! (*Перевод Эллиса (Л. Л. Кобылинского)*).

163

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилья / Пока он – в небесах, витает в бурной мгле, /Но исполинские, невидимые крылья / В толпе ему ходить мешают по земле. (*Перевод Д. С. Мережковского)*

164

Природа – строгий храм, где строй живых колонн / Порой чуть внятный звук украдкою уронит; / Лесами символов бредет, в их чащах тонет / Смущённый человек, их взглядом умилён. *Бодлер Ш.* «Соответствия» («Correspondances», 1855? *перевод Эллиса (Л. Л. Кобылинского*)).

Следует оговорить, что в «печатном» творчестве Ахматовой влияние бодлерианства почти не ощутимо. Героический пафос неприятия мира, отрицания и бунта Ахматову-художника не задел никак, а безобразие жизненных гротесков лишь изредка мерещится в её поэзии, крайне нечувствительной к изобразительным эффектам. Что же касается поэтики «соответствий», то Ахматова рассматривала её как существенный этап в развитии художественной речи и в некоторых случаях весьма ценила, однако никакой «словесной магии» в метафорах символистов не находила. Впрочем, следует помнить, что юношеские тексты Ахматовой в большинстве своём утрачены, так что тема «Ахматова и Бодлер» обычно поднимается в литературоведении как реконструкция.

166

Буквально «конец века» (*фр.*). Пущенное в 1886 г. авторами парижской газеты «Le Décadent», это крылатое выражение стало обозначать глубокий духовный и жизненный кризис, поразивший Европу в ходе исторических потрясений второй половины XIX в.

167

В конце 1901 г. в России проходили переговоры с японским министром иностранных дел маркизом Х. Ито, сторонником мирного передела Кореи на российские и японские зоны влияния. На этих переговорах были достигнуты предварительные договорённости, которые должны были стать предметом обсуждения на втором туре переговоров в Токио, где и планировалось подписание соглашения. Однако сразу после отъезда Ито из Лондона было получено известие о заключении 18 (30) января 1902 г. союзного договора Японии с Великобританией – главным геополитическим противником России в Восточной Азии. В Японии ещё с 1897 г. действовала политика «гасин-сётан» (эквивалент выражению «спать на гвоздях», т. е. сознательно терпеть трудности ради достижения великой цели в будущем), направленная прежде всего на обеспечение военного преимущества в грядущей войне с Россией.

168

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

169

«“Аничка всем хороша. Только вот этот жест”. А<нна> А<ндреевна> ударила рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула мне её почти под нос. Жест приморской девчонки под покровом дамы, иногда естественно любезной, а чаще немного смешной» (*Н. Я. Мандельштам*).

170

В 1902 г. место директора Смольного занимала княгиня Е. А. Ливен.

171

То есть принимаемой в заведение при полной оплате проживания и обучения. На казённый счет сюда принимали дочерей лиц, имеющих военный чин полковника или светский чин статского советника. Дочери потомственных дворян (каковым и был коллежский советник А. А. Го – ренко) поступали в стены Смольного за годовую плату, размер которой читатель может представить, вспомнив, что за годовое обучение в царскосельской Мариинской гимназии взималось около 80 рублей.

Справедливости ради, следует отметить, что если деликатный Николай II, безуспешно пытавшийся согласовать самые разные точки зрения и не обидеть никого, казался слишком «политичным» в своих решениях и поступках, то его конфидент, при всех дарованиях, политиком не был вовсе. Вспыльчивый и нетерпеливый, Александр Михайлович, помимо прочего, относился к тому странному типу высокообразованных людей, которые, наткнувшись на менее осведомлённого собеседника, не дают тому ни малейшего шанса «сохранить лицо», а затем искренне удивляются враждебному и непримиримому отношению к собственной персоне.

173

«Дедушка русской индустриализации» и «отец золотого рубля» С. Ю. Витте (1849–1915) происходил из курляндских дворян, балтийских немцев. Его отец, инженер-агроном, был управляющим крупной фермой под Саратовым, где женился (приняв православие) на дочери саратовского губернатора. Детство и юность Витте прошли в южных провинциях. Как и А.А. Горенко, С.Ю. Витте учился в одесском Новороссийском университете. Получив степень кандидата физико-математических наук, работал в управлении Одесской железной дороги. Сотрудничал в дирекции РОПИТ, отличился во время Балканской войны в операциях по перевозке войск. В 1880-х гг. он занимал руководящие посты в Обществе юго-западных железных дорог, откуда и был призван на государственную службу в правительство. Репутация вольнодумца, склонного к риску и нетривиальным решениям сложилась у Витте ещё до начала политической карьеры и усугубилась после второй, скандальной женитьбы (1891) на авантюристке Матильде Нурок, имевшей на мужа большое влияние. Как курьёз можно упомянуть, что жене Витте, находящегося с 1889 г. постоянно в высшем эшелоне власти, было отказано… быть принятой ко двору.

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

175

Перевод В. А. Жуковского.

Анненский И. «“Расе”. Статуя мира» (<1904>).

177

Да упокоится с миром. Аминь (*лат.*). См. об этом подтексте стихотворений И. Ф. Анненского и Ахматовой: Пани Агнешка. Белая дева Расе (ресурс http://www.proza.ru/2010/10/26/733).

178

Ахматова А. «В Царском Селе» (1911).

179

Ахматова А. «Поэма без героя» (1940–1965).

Ахматова А. «Царскосельская ода» (1961).

181

Александр Иванович Павлов (1860–1923) с отличием окончил столичное Морское училище, и вскоре был направлен Александром III на дипломатическую работу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. С 1891 г. он работал в Китае, участвовал в событиях вокруг японо-китайской войны и активно способствовал заключению «корейских» соглашений Пекина с Петербургом. С 1898 г. Павлов стал генеральным консулом (позже – чрезвычайным посланником) в Корее, Во время русско-японской войны он ведал разведкой и контрразведкой и сумел наладить эффективную работу созданной им агентурной сети. Умер в эмиграции.

182

Стационером (от *фр*. stationnaire – неподвижный, т. е. в данном случае постоянно находящийся на стоянке в иностранном порту), называют судно, в задачу которого входит контроль за ходом событий, угрожающих интересам дружественной державы. Последней обычно делегируется право распоряжаться действиями корабля-стационера в случае военной необходимости. Иногда стационер находится в распоряжении отечественного посланника и обеспечивает его безопасность.

183

Строй пеленга – боевой строй кораблей в линию, расположенную по горизонтальному углу от ориентира до ведущего (пеленгу).

Между командованием разнообразными подразделениями и кораблями, З. П. Рожественский побывал ещё и членом комиссии Морских артиллерийских опытов, командующим морскими силами Болгарии и морским агентом в Англии. Ни на одной должности он не задерживался долго: за 1890-й и неполный 1891-й годы, например, командовал тремя кораблями в разных широтах (балтийским клипером «Наездник», тихоокенским клипером «Крейсер» и броненосной канонерской лодкой «Грозящий»), а затем убыл в Лондон. См. о З. П. Рожественском: Последние адмиралы. М.-СПб., 2002; *Шабуцкая Н. В.* Вице-адмирал Рожественский – «обесславленный герой одного из величайших сражений в истории флота» // Научные ведомости БелГУ. 2007. № 3 (34). С. 90–95.

См.: *Степочкина Е. В.* Эволюция образа врага в провинции во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. // Вестник СамГУ. 2008. № 1. С. 64–70.

См.: *Маренков А. С.* Освещение русско-японской войны в официальной печате // Вестник БИСТ. 2009. № 4 (декабрь). С. 36–47.

187

Ахматова А. «У самого моря» (<1914>).

188

Латинское humilis (от humus – «почвенная грязь») имеет значения «смиренный», «незначительный», «презренный», «покорный».

Эта «княжеская» семейная легенда получила широкое распространение в творчестве Н. С. Гумилёва, где часто встречаются намёки на тайну происхождения, связанную со «шведской», «скандинавской» генеалогией, которые истолковываются как указания на «рюриковскую кровь» в жилах автора, «заблудившегося навеки» «в слепых переходах пространств и времён» («Стокгольм»). «Он был, – свидетельствовал о Гумилёве писатель-переводчик И. фон Гюнтер, – убеждённым монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог ещё верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилёв же стоял за неё, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых? Может быть, скорее сторонником Рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковых».

190

Книжные форматы в половину, четверть и восьмую часть типографского листа (*лат.*).

191

Гумилёв Н. «У меня не живут цветы…».

Гумилёв Н. «Людям будущего» (1904–1905).

193

«Большой шарик, пожалуйста» (*фр*. «Grande ronde, s’il vous plait»).

194

Когда-то гордый замок стоял в одном краю. /От моря и до моря простёр он власть свою. (*Перевод В. В. Левика*).

195

Баллада немецкого поэта-романтика Иоганна-Людвига Уланда (Uhland, 1787–1862) «Проклятие певца» («Sängers Fluch») легла в основу оригинальной баллады Гумилёва «Песня о певце и короле» (1904). Помимо того в «Песне о певце и короле» заметно сильное поэтическое влияние К. Д. Бальмонта. Это стихотворение, вошедшее через год в книгу «Путь конквистадоров» стало одним из первых образцов раннего гумилёвского символизма.

196

Два весенних бала 1904 г., о которых вспоминала Ахматова, и которые упоминаются во всех биографических очерках, обращённых к завязке её любовного романа с Гумилёвым, традиционно вызывают сомнения у специалистов, знающим бытовые реалии начала XX века. Ведь Ахматовой в эти весенние дни не исполнилось ещё и пятнадцати лет, и она была гимназисткой, которой официально запрещалось без родителей, совершеннолетних родственников и лиц, коим «учащиеся поручались непосредственно от родителей», «посещение ресторанов, клубов, маскарадов, костюмированных, семейных и танцевальных вечеров в каких бы то ни было собраниях для взрослых». Однако в случае с пасхальным балом у Гумилёвых такими «поручителями» выступали Тюльпановы, которые, конечно, и были приглашены (опять-таки, от имени родителей) вхожим в их дом Дмитрием Гумилёвым. А весенний бал 1904 г. в царскосельской Городовой Думе был исключением из мероприятий подобного рода и там, наверняка, присутствовала Инна Эразмовна (и совершеннолетняя Инна Горенко, разумеется). Следует потому признать историю с «двумя балами» вполне правдоподобной. Другое дело, что сама Ахматова, много лет спустя, исключала из своих рассказов эти подробности, чтобы не загромождать романтическую повесть лишними персонами и деталями.

197

Колония немецких переселенцев Кайзерхайм возникла в двенадцати милях к юго-западу от тогдашней Одессы в 1804–1805 гг. в ходе активного освоения причерноморских земель выходцами из протестантской Европы и греческими беженцами, которым активно покровительствовал герцог Эммануил де Ришелье, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии в 1804–1815 гг. Согласно преданию, Ришелье любил устраивать тут праздники и вскоре колония была переименована в Весёлое Село (нем. Lustdorf). Вплоть до начала XX в. протестантский Люстдорф существовал автономно от мегаполиса, однако затем оказался вовлечённым в пригородную (дачную) застройку. В XX в. колония была уничтожена, кирха взорвана, протестантское кладбище разорено, а территория несколько раз переименовывалась. В настоящее время район Люстдорф входит в состав города Одессы.

198

Возможно, Анатолий Максимилианович Арнольд пытался получить в Горном институте свой диплом, несостоявшийся двадцать лет назад из-за неявки на выпускной экзамен по «тюремным обстоятельствам».

199

Одесская «Дача Фёдорова» в жизни писателей, поэтов, художников и артистов старших поколений серебряного века играла такую же роль, какую для поколений младших будет играть волошинская усадьба в Коктебеле. Как и «Дом Поэта» М. А. Волошина, дача А. М. Фёдорова в советские годы была превращена в писательский пансионат и клуб, которым заведовала жена Фёдорова Лидия Карловна. Судьба её была страшной: в 1937 г. по доносу Л. К. Фёдорова была казнена как жена «врага народа», а её сын умерщвлён в лагере. Созданный Фёдоровыми «Дом творчества писателей “Одесса”» существует и в наши дни; его современный адрес: улица Дача Ковалевского, 111. Правда, в отличие от места физического рождения Ахматовой, место её рождения литературного одесситы не отметили никак. Возможно, им было не до того: в конце XX – начале XXI вв. дом Фёдоровых переживал не лучшие времена, являясь предметом постоянных имущественных споров.

200

С купеческой и литературной одесской семьёй Попандопуло – работодателей Фёдорова по «Одесским новостям» – Аспазия Антоновна и её муж были связаны ещё со времён петербургской юности, т. к. младший из братьев, Николай Спиридонович Попандопуло, являлся одним из активных участников народовольческих собраний у них на квартире. С другой стороны во время сотрудничества Андрея Антоновича в «Одесских новостях» его коллеги по газете вполне могли появляться у Горенко на Спиридоньевской и быть хорошо известными хозяйке дома. Впрочем, посредником могла явилась и М. Ф. Вальцер, которая в 1904 г. продолжала работать в одесской частной гимназии В. Н. Масловской и Т. Н. Градской, одном из культурных центров Одессы. Главой педагогического совета тут был профессор университета В. Н. Мочульский, и его стараниями в гимназии регулярно проводились литературно-художественные вечера, частым участником которых был Фёдоров и другие писатели «Одесских новостей». Известно, что М. Ф. Вальцер была в дружеских отношениях с Лидией Карловной Фёдоровой и была вхожа в круг её «дачных» литературных гостей. Таким образом, в 1904 г. М. Ф. Вальцер могла привести сюда свою давнюю петербургскую подругу И. Э. Горенко и свою крестницу Ахматову запросто, без каких-либо церемоний.

201

Фёдоров писал Бунину 4 января 1904 г.: «Пришёл к себе и тут вижу статью Волынского о поэтах. Жена прочла её вслух. Помянуто и о нас, не так, положим, как в “Мире искусства”, где сказано, что Бунин, Галина и Федоров жалкие рифмоплёты, а Брюсов, Мережковский, Бальмонт и <нрзб.> – пророки поэзии и её избранники, но всё же до того снисходительно и <нрзб.>, что мне стало мучительно и горько. Когда же и кто, наконец, поймёт и оценит нас! И вот, после чтения этой статьи, где опять-таки мы оказываемся чем-то случайным и отсталым в русской поэзии, жена прочла вслух твой “Листопад” и я чувствовал как у меня всё время дрожали в душе слезы восторга и радости и я то и дело восклицал – “Милый ты мой! Люблю тебя, мой дорогой поэт и друг!” Это, верно, со стороны могло показаться смешным, хотя была здесь ещё одна славная женщина, которая слушали твои стихи, и была тронута, должно быть, не меньше».

Фёдоров А. «Бродяга» (1911).

Фёдоров А. «Памяти Чехова» (1904).

Ахматова А. «Мне от бабушки татарки…» (1917).

205

Ахматова А. «В ремешках пенал и книги» (1915).

206

Руина около Гатчинских ворот Екатерининского парка.

207

Гумилёв Н. «Ты помнишь дворец великанов…»

Эту работу С. В. фон Штейна высоко оценили как отечественные, так и зарубежные слависты. В. Н. Кораблёв считал, что «у г. Штейна налицо все данные, чтобы стать лучшим переводчиком славянских поэтов на русский язык», а И. Станишич уже в наши дни назвал сборник 1908 г. «самым значительным собранием антологического характера русских переводов произведений южно-славянских поэтов в начале [XX] века».

209

La bande joyeuse – весёлая шайка (*фр.*). Среди царскосёлов Штейн с друзьями пользовался репутацией местных гуляк, и к ним относились с опаской. Нет никаких оснований видеть в этой жизнерадостной компании искателей приключений некое «литературно-художественное общество», хотя большинство её участников были очень увлечены беллетристикой, а Штейн состоял активистом университетского «Кружка изящной словесности». В 1903 г. Штейн, Мейер, Анненский-младший и Варшавский приняли участие в выпуске «Литературно-художественного сборника», где публиковался молодой Александр Блок и был художественным редактором И. Е. Репин. Дружбу сына со Штейном поощрял И. Ф. Анненский, который и сам иногда включался в их студенческие беседы о новейшей зарубежной и отечественной поэзии и философии, о теориях Потебни и неославянофильстве. Отголоски этих бесед можно найти в критических этюдах Анненского-отца, собранных в «Книгах отражений».

Иванов Вяч. И. Цусима (1905).

211

«Или Цезарь, или ничто!» (*лат.*) – ответ императора Гая Калигулы (12–41), на упрёк в излишней роскоши двора.

Её отцом был Иван Дмитриевич Ахшарумов (1831–1903) – тайный советник, чиновник Военного министерства и один из сподвижников министра Д. А. Милютина по военно-судебной реформе; по выходе в отставку (1882) И. Д. Ахшарумов публиковал в столичной периодике нравоописательные романы и повести, которые современники склонны были ассоциировать с французской «бульварной» литературой. Братьями Ивана Дмитриевича (и дядьками Елены Ивановны) были поэт В. Д. Ахшарумов, художник, критик и беллетрист Н. Д. Ахшарумов и «петрашевец» Д. Д. Ахшарумов – врач, мемуарист и юношеский конфидент Достоевского.

213

Кто не любит вина, женщин и песен, тот всю жизнь остаётся дураком (*нем.*).

Андрей Горенко-младший, вспоминая об отце, замечал, что тот «вечно ухаживал за чужими женами, и они его очень любили. К нам приезжал Леонид Галахов, и мы отлично знали, что он незаконный сын моего отца». Как можно понять, этот визит пришёлся на последние годы проживания семейства Горенко в доме Шухардиной и, в таком случае, можно предположить, что длительная отлучка Инны Эразмовны из Царского Села в Киев в 1893 г. имела причиной не служебные, а именно романтические обстоятельства, случившиеся в жизни её супруга.

215

Гумилёв Н. «Осенняя песня» (1903–1905).

216

В евангельской истории Рождества упоминаются, в частности, «волхвы с востока», которые первыми «увидели Младенца с Марией, матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2. 1; 11). Богословская средневековая традиция говорят о «трёх царях» – из Африки (Бальтазар), Европы (Мельхиор) и Азии (Каспар), – которым искусство магии открыло тайну пришествия в мир Спасителя. Отсюда относительная терпимость Церкви к народным обычаям гадания и «ворожбы» во время рождественских праздников.

217

Гумилёв Н. «Русалка» (1904).

Минцлов С. Р. Петербург в 1903–1910 годах. Б. м. 2012 (запись от 23 февраля 1905 г.).

219

Этот «путиловский инцидент», возымевший воистину планетарные последствия, до сих пор поражает объективной ничтожностью конфликта: в сущности, некую несправедливость со стороны злополучного мастера Тетявкина (и стоящего за ним заводского начальства) можно усмотреть лишь в отношении уволенного рабочего лесообработочной мастерской Сергунина. Это был ветеран, отдавший заводу тринадцать лет и, конечно, заслуживающий снисхождения. Работал же он, по немощи, действительно, всё хуже и хуже: с должности старшего контролера был переведён на строгальный станок, потом на ленточную пилу, но и там не выполнял и половины нормы. Что же касается трёх остальных рабочих, то тут имела место обычная дежурная ругань начальника с подчинёнными: все трое по разным причинам попались на прогулах и получили, разумеется, «выволочку» (понятно – с угрозами уволить).

220

Михаил Андреевич Ушаков был ярким деятелем раннего профсоюзного движения в России, создателем «Независимой социальной рабочей партии» и издателем «Рабочей газеты» (1906–1908). Ушаков был противником влияния интеллигенции на рабочих. К любым революционным акциям он относился отрицательно, уповая исключительно на лояльные к существующим законам методы общественной борьбы, так что со стороны «левых» общественников (и Гапона, в том числе) «ушаковщина» воспринималась враждебно, как вредный вид оппортунизма.

221

Волошин М. А. «Предвестия (1905 г.)». Имеется в виду оптический гало-эффект (от англ. halo – ореол, сияние), возникающий на небосводе в морозную погоду: свидетелем такого необычного атмосферного явления автор стихотворения стал, оказавшись утром 9 января 1905 г. в Петербурге.

Упорные попытки историков связать Гапона с какой-либо политической партией (или с охранным отделением), видеть в нём сознательного провокатора и т. п. представляются малоубедительными именно потому, что он всегда держался какой-то собственной линии, связанной, как кажется, более с мистическими и нравственными интуициями, нежели с рациональным расчётом. Это был именно духовный вождь, вроде Петра Пустынника или Иоанна Лейденского, что и явилось основой его общественных успехов в российской народной среде.

По характеристике одного из видных эсеров: «Совершенно не понимая необходимости партийных программ и партийной дисциплины, считая деятельность революционных партий вредной для цели восстания, он глубоко верил только в себя, был фанатически убеждён, что революция в России должна произойти только под его руководством» (*С. А. Анский (Раппопорт)*). Следует добавить, что саму «революцию» Гапон мыслил как «обновление России на началах правды», т. е. крайне неопределённо. В эмиграции, куда он попал после Кровавого воскресенья, Гапон активно сотрудничал с эсерами, анархистами, социал-демократами, но уже к осени 1905 г. имел повсюду в этих кругах репутацию «обнаглевшего попа», с которым невозможно иметь дело. После дарования гражданских свобод Манифестом 17 октября 1905 г. он на краткое время нелегально вернулся в Россию, где вступил в тайные переговоры с… премьер-министром С. Ю. Витте (последний имел виды на Гапона как на будущего лидера легальных профессиональных союзов рабочих). За границей Гапон вновь публично отрёкся от идеи вооруженной борьбы («вооружённое восстание в России в данное время есть тактическое безумие»), после чего революционная печать заклеймила новоявленного «октябриста» как оппортуниста и провокатора. В конце концов, 28 марта 1906 г. он был убит эсером Петром Рутенбергом.

223

Газета «Новое время» так описывала случившееся: «Во время величественной иорданской церемонии, когда митрополит Антоний совершал водоосвящение и по сигналу ракеты в момент погружения креста загремел салют артиллерии, непостижимым образом в одном из холостых зарядов оказалось несколько патронов с пулями старого образца, которые при выстреле перелетели Неву, осыпали часть Иордани, коробку подъезда и колонны Зимнего дворца, оставив на них заметные следы. Одной пулей пробило знамя морского корпуса, одной пулей ранило городового; две пули пробили верхние стекла Николаевского зала и залетели в самый зал, упав под хорами». Именно этот инцидент, а вовсе не подготовка «шествия с петицией» (как потом утверждали революционеры), был причиной постоянного нахождения императора в Царском Селе с 7 по 9 января 1905 г.

5 марта петербургский военно-окружной суд признал случившееся «несчастным случаем» и вынес наказания нескольким офицерам за «бездействии власти, имевшем особо важные последствия» (т. е. за халатность). Однако в Петербурге ходили упорные слухи о военном заговоре или об террористической атаке японской агентуры. Любопытно, что эти слухи упомянуты в одной их листовок социал-демократов, посвящённой событиям 9-го января: «Достоверно известно, что выстрел 6 января картечью в Зимний дворец был не «несчастный случай», как говорит “Правительственный вестник”, а организованное покушение».

225

Во время переговоров 8 января министр юстиции Муравьёв, утратив нить понимания, пытался связать Гапона с министром внутренних дел Святополк-Мирским. Мирский заявил, что «не умеет» разговаривать с о. Георгием и посоветовал обратиться к директору департамента полиции Лопухину. Однако в полицию Гапон идти отказался, рассудив, что сведения о шествии он до властей уже довёл и может действовать по собственному усмотрению.

226

Статья П. Б. Струве, опубликованная 12 (25) января 1905 г. в либеральном журнале «Освобождение», носила характерное название «Палач народа». В том же духе о событиях в Петербурге многократно высказались и другие, как русские, так и зарубежные печатные органы самой разной общественно-политической ориентации, видевшие в происшедшем апофеоз «русской деспотии». Примечательно, что уже через два года Струве полностью изменит общественную позицию и станет инициатором сборника «Вехи», призывавшего к гражданскому миру, а Эмилий Диллон будет горячо приветствовать действия русского правительства по подавлению революционной смуты.

По официальным данным за весь день в столкновениях по всему городу было убито 96 человек, ранено около 300 (включая военнослужащих и полицейских). Современная историография установила 129 жертв «Кровавого воскресенья», полагая пострадавшими (от огнестрельных ранений или иных травм) до 800 участников событий. Однако молва оперировала, разумеется, куда большими числами, которые охотно подхватывала русская революционная печать и иностранные газеты и журналы. Так, 18 января 1905 г. В. И. Ленин в газете «Вперед» (статья «Революционные дни») упомянул о 4 600 убитых и раненных. В британских источниках фигурировали от двух до трех тысяч жертв среди участников шествия (которое сравнивалось со штурмом Бастилии и иными знаковыми событиями революций в Европе).

228

Из «Первого листка о революционных днях в Петербурге», выпущенного Петербургским комитетом РСДРП 9 января 1905 г. Именно эта версия событий станет впоследствии официальной в советской историографии.

На деле это была основная «путиловская» колонна манифестантов, во главе которой шел сам Гапон с «петицией», в окружении рабочих, несших кресты, хоругви и портреты Николая II и Александры Федоровны. Около полудня у Нарвских триумфальных ворот колонну в 2–3 тысячи человек остановили войска и полиция. После бесплодных переговоров, колонну атаковал, пытаясь (безуспешно) рассеять, эскадрон Конно-Гренадерского полка. Одновременно боевики-революционеры, скрывавшиеся в колонне, открыли беспорядочный огонь. В ответ, после троекратного предупредительного сигнала, пехотинцами Иркутского полка, стоявшими в заградительных цепях, было произведено 5 залпов, после чего наступавшая толпа рассеялась. Было убито и ранено более 40 человек; с противоположной стороны был убит околоточный надзиратель и ранен помощник пристава. Гапон спасся чудом: его укрыл и вывел из-под пуль тот самый эсеровский боевик Рутенберг, который годом позже умертвил ставшего к этому времени «оппортунистом» вдохновителя Кровавого воскресенья.

См.: *Одоевцева И. В.* На берегах Невы. М., 2005. С. 148.

231

Гумилёв Н. «Дева Солнца» (1903–1905).

232

См. о ней: *Косик В. И.* Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде: 1920–1950-е годы. М., 2006. Ч. I. Глава «Русский балет».

233

«Дафнис и Хлоя» – один из классических греческих романов, авторство которого приписывают Лонгу из Милетины (предположительно II век нашей эры). Ср. у Гумилёва: «Вот идут по аллее, так странно нежны, / Гимназист с гимназистской, как Дафнис и Хлоя» («Современность», 1911). В. С. Срезневская (Тюльпанова) озаглавила названием романа Лонга свои воспоминания о Гумилёве и Ахматовой – наверняка с подачи последней. В ахматовском плане воспоминаний о Николае Гумилёве (которые сохранились лишь в разрозненных фрагментах), главка о начале их отношений также обозначена: «Дафнис и Хлоя (Царскосельская идиллия)».

234

См. первую новеллу цикла Н. С. Гумилёва «Радости земной любви».

Эту «инсталляцию», устроенную влюблённым Гумилёвым в доме Полубояринова, описал в своих мемуарах очевидец Л. Е. Аренс (принявший, правда, русалку за водяного). Впоследствии «Аня Горенко в виде русалки» на стенах дома Полубояринова стала устойчивой составляющей царскосельских преданий о серебряном веке и попала на страницы первого научно-популярного очерка творческого пути Ахматовой, составленного Амандой Хейт.

236

Вопреки распространённому заблуждению, к началу XX столетия ранние браки не были распространены в России даже среди простолюдинов. Согласно данным всеобщей переписи населения страны в 1897 г. средний возраст вступления в брак для женщин оценивался в 21,4 года, а для мужчин – в 24,2 года.

237

«В три часа без двадцати минут, – читаем в корреспонденции «Русского слова». – Его Высочество Великий Князь Сергей Александрович в карете, запряжённой парой лошадей, выехал из Малого Николаевского дворца и направился Никольским воротам. Сзади, на хорошей лошади, ехали сопровождавшие два агента охранной полиции. Едва поравнялась карета со зданием окружного суда, как раздался громкий взрыв, равный по силе залпу нескольких орудий, и поднялось облако дыма. Через момент мчались лошади с одной передней осью, и на возжах тащился кучер. В воротах лошади остановились перед въезжавшим извозчиком, и были задержаны публикой. Кучер Андрей, весь окровавленный, был поднят и поставлен к железной решете маленького сквера, откуда потом и взят был каретой «скорой медицинской помощи», Когда рассеялся дым взрыва, сбежавшейся публике, между которой было много офицеров и солдат, представилась ужасная картина: щепки кареты, лужа крови, посреди которой лежали останки Великого Князя. Можно было рассмотреть только часть мундира на груди, руку, закинутую кверху, и одну ногу. Голова и все остальное разбито было вдребезги и разбросано по снегу. В это время по тротуару убегал человек, одетый как рабочий, с окровавленным лицом и руками». («Русское слово». 5 (18) февраля 1905 г.)

238

«Мой старший брат Андрей был учеником 6-го класса Царскосельской гимназии. Я помню, он пришел и с ним были 2 молодых человека. Один был Н. С. Гумилёв, который был в 7-ом классе, и Голенищев-Кутузов, который был другом Н. С. <…>». См.: *Кралин М.* Победившее смерть слово. Младший брат (http://www.akhmatova.org/bio/ kralin/kralin12.htm; упомянута семья юриста, писателя и русского переводчика Ницше Ю.М. Антоновского (1857–1913)).

239

Генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов (1855–1906) после окончания Пажеского корпуса служил в лейб-гвардии, был обер-полицмейстером Москвы а с 11 января 1905 г. возвысился до петербургского генерал-губернатора, вскоре получив под своё командование и полицию, и Особый корпус жандармов. Пост петербургского градоначальника занимал некогда его отец, Ф. Ф. Трепов (1812–1889), вошедший в школьные учебники истории из-за неудачного покушения на него в 1878 г. революционерки Веры Засулич. На следующий год после этой громкой истории Фёдор Фёдорович стал воспреемником старшего сына Елизаветы Васильевны Голенищевой-Кутузовой, крестившей Владимира 22 сентября 1879 г. в режицкой Рождество-Богородицкой соборной церкви (см: «Дело № 595 Императорского С-Петербургского университета студента Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова», ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. № 37845. Л. 4). Степень этого родства не установлена, хотя И. Ф. Анненский характеризует её как «ближайшую».

240

Ольга Викторовна Голенищева-Кутузова (1883–1921), о которой И. Ф. Анненский в 1905 г. говорит как об «очень выдержанной барышне», прожила недолгую, но героическую жизнь. В годы Мировой войны она работала сестрой милосердия в царскосельском Бригадном лазарете, после крушения Российской Империи – сотрудничала в антикоммунистическом подполье и была расстреляна «за связь с заграничной организацией “Белый крест”».

241

В «Аттестате зрелости», выданном Императорской Николаевской Царскосельской гимназией 2 июня 1900 г., отмечено оставление на второй год в VIII (!) классе и «удовлетворительная исправность в посещении и приготовлении уроков». Итоговые оценки, выставленные Педагогическим Советом Голенищеву-Кутузову, таковы: «отлично» по Закону Божьему, логике и французскому, «хорошо» по русскому и немецкому языкам, математической географии и истории, «удовлетворительно» по латыни, греческому, математике, физике и географии (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. № 37845. Л. 2)

Ахматова А. «Памяти Н. В. Н.» (1936).

243

См.: *Тименчик Р. Д.* Ахматова и Пушкин: Заметки к теме // Пушкинский сборник: Вып. 2. Рига: Латвийский гос. ун-т. / Уч. зап. / ЛГУ им. П. Стучки. Т. 215. С. 37–38.

Жуковский В. Царскосельский лебедь (1851).

245

Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. 1924–1925. Т. 1. Париж, 1991. С. 44 (запись бесед с Ахматовой 2 и 3 марта 1925 г.)

246

Древнегреческий философ Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 до Р. Х.) в поэме «О природе» утверждал, что мир состоит из комбинаций четырех «элементов» (земля, вода, воздух, огонь), слагаемых действием двух противодействующих сил – Любви (Филия) и Вражды (Нейкос). Подобное понимание любви обнаруживали Демокрит, Горгий, Критий и другие мыслители античного мира.

Скандал (*греч.*), то есть преткновение, соблазн, западня.

248

Поэт и литературный критик Николай Владимирович Недоброво (1882–1919) был поклонником Ахматовой в 1913–1916 гг. «Убеждённо говорит о себе: “Я чёрная”… – записывал об этом биографическом сюжете П. Н. Лукницкий. – В подтверждение рассказала несколько фактов. Никогда не обращала внимания на одного, безумно её любившего. У него была жестокая чахотка, от которой он и умер впоследствии. Однажды, встретившись с ним, спросила: “Как ваше здоровье?”. И вдруг с ним случилось нечто необычайное. Страшно смешался, опустил голову, потерялся до последней степени. Очень удивилась и потом, через несколько часов (кажется, ехали в одном поезде в Ц<арское> С<ело>) – спросила его о причине такого замешательства. Он тихо, печально ответил: “Я так не привык, что Вы меня замечаете!” <…> Ведь вы подумайте, какой это ужас? Вы видите, какая я…»

249

Ахматова А. «Угадаешь ты её не сразу…» (1910-е?).

250

Прекрасная Примавера и Гвидо Кавальканти, «первый друг» (primo amico) Данте Алигьери – любовная пара из повести Данте «Новая Жизнь» («La Vita Nuova», 1294, см. гл. XXIV). В реальности, Гвидо Кавальканти (между 1250 и 1260–1300) был одним из величайших флорентийских поэтов и мыслителей XIII века; с Данте его связывали сложные, противоречивые отношения, как личные, так и общественные.

251

Штампом «23 августа 1904 года» помечено полученное университетской канцелярией прошение Голенищева-Кутузова о продлении отпуска в Виндавской губернии до 6 сентября по болезни (с приложенной медицинской справкой о «случае сильного малокровия» и необходимости «отдохнуть» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. № 37845. Л. 20, 21). Следующий по хронологии «Дела…» документ – очередное университетское свидетельство «о свободном проживании в С-Петербурге и окрестностях» на срок до 20 августа 1907 г. выдан канцелярией лишь 19 сентября 1906 г.; на следующий день Голенищев-Кутузов представил в университет справку о возобновлённой царскосельской прописке (см.: Л. 27, 28). Любопытно, что из итогового «Свидетельства…» о завершении университетского курса следует, что с осени 1900 по весну 1907 гг. В. В. Голенищев-Кутузов «по выполнении всех условий, требуемых правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачтенных полугодий» (Л. 26). Никаких следов академического отпуска, исключения из университета и восстановления в нём в «Деле…» нет, хотя в университетских стенах Кутузов числился не восемь, а четырнадцать полугодий.

Ахматова А. «Пятнадцатилетние руки» (1940).

«Радости земной любви».

Экзамены на аттестат зрелости он сдал в Николаевской гимназии экстерном только в 1906–07 учебном году. С 1924 г. Курт Александрович Вульфиус (1885–1964) жил в Риге, где работал врачом-гомеопатом.

255

См.: *Вульфиус А. А.* Русский конквистадор. Воспоминания о поэте Гумилёве // Даугава. 1993. № 5. С. 159.

Ахматова А. «Угадаешь ты её не сразу…» (1910-е?).

В этом контексте можно указать и на иной, менее очевидный образный источник. Юная девушка в колодках позорного столба, над которой потешаются благополучные горожане, изображена на одной из гадательных карт Таро, именуемой «Бесчувственные люди».

258

Сивиллами (выразительницами божьей воли, σίβυλαι) называли женщин-пророчиц, берущих своё начало от дельфийских пифий. Усвоив склонность к мистическому трансу настолько, что она оставалась и без одурманивающего действия расщелины в Дельфах, сивиллы расходились по другим святилищам древнего мира, основывая новые оракулы в разных его областях.

259

Высоцкий В. «Песня о вещей Кассандре» (1967).

Лукницкий П. Н. Acumiana. Т. 1. (запись от 13 марта 1925 г.).

261

Откр. 3. 17.

Ахматова А. «Путём всея Земли» (1940).

263

Всего в первые минуты боя (начавшегося 14 (27).05.1905 в 13 ч. 49 мин. русскими залпами) японские корабли получили 150(!) попаданий крупного калибра. 30(!!) из них пришлись на флагманский броненосец «Микаса», на открытом мостике которого на протяжении всего боя находился Х. Того, препоясанный перевязью с самурайским мечом. И, вопреки всем мыслимым представлениям об огневой мощи, ни броненосец, ни адмирал даже не выбыли из строя!

Так называемый «бой фигурой “Т”», при которой на идущем впереди флагмане противника сосредотачивается огонь всего корабельного строя. При этом возможности ответного огня оказываются резко ограниченными, ибо действуют только носовые орудия передних кораблей, а арьергард вообще не может вступить в бой без нарушения строя. В эту безнадёжную ловушку и угодила русская эскадра уже на 20-й минуте Цусимского сражения.

Новиков-Прибой А. С. Цусима (1932–1941).

Заушение – пощёчина, в переносном смысле – оскорбление.

267

Ахматова А. «Пятнадцатилетние руки» (1940).

Это был новейший из николаевских броненосцев, вступивший в строй в мае 1905-го, выдержавший ходовые испытания и занятый в июне пристрелкой орудий главного калибра у Тендровской косы (100 морских миль от Одессы). Утром 14 июня приданный в сопровождение «Потёмкину» миноносец доставил на камбуз своего флагмана закупленные на одесском привозе муку, мясо, зелень, овощи и вино для кают-компании. Мясо оказалось несвежим, так что в обед возникла перепалка раздраженных матросов с вахтенным офицером, а затем и с капитаном 1-го ранга Е. Н. Голиковым, командиром корабля. Голиков с ходу объявил претензии команды военным бунтом и приказал немедленно казнить зачинщиков (набранных из случайных нижних чинов). Поражающая неадекватностью жестокость, по-видимому, объяснялась не только садическими наклонностями капитана и старших офицеров, но и круговой порукой флотских коррупционеров, страшащихся скандала и разоблачения. Тот же Голиков имел три дома в Севастополе, его приближенные, не таясь, наживались на матросских пайках (см., напр., «потёмкинские» публикации в «Запорожской правде» (26 июня 1955 г.) и «Советской Молдавии» (29 марта 1962 г.)). С другой стороны, в работах последних лет, авторы, склонные к оправданию и даже героизации офицеров, погибших во время мятежа, указывают на присутствие среди команды броненосца подпольной революционной организации, использовавшей поставку несвежего мяса (случай не столь редкий в жаркое летнее время) как провокационный предлог для уже спланированного выступления.

269

Прогарные ботинки – ботинки из грубой кожи на толстой подошве, надеваемые кочегарами при обслуживании действующих котлов.

В ходе восстания были зверски убиты шестеро офицеров, погибли четыре матроса и отдельно казнён судовой врач С. Е. Смирнов, которого живьём выбросили за борт в отместку за освидетельствование протухшего борща, как съедобного. На теле Голикова, вынесенном прибоем на берег у Тендровского маяка, нашли около десятка огнестрельных и колотых ран (его прах в советское время вторично подвергся поруганию, а могила на севастопольском кладбище была разорена).

Это был барбетный броненосец «Георгий Победоносец»; на следующие сутки он сел на мель и сдался властям. Помимо него, в «потёмкинские дни» волнения вспыхнули на других судах Черноморского флота – броненосцах «Синоп» и «Екатерина II», а также на учебном судне «Прут».

После четырёхдневного (с вечера 14-го по вечер 18 июня) пребывания на одесском рейде, «Потёмкин», в надежде пополнить запасы провизии и топлива, пошёл в Румынский порт Констанцу, куда прибыл вечером 19 июня 1905 г. Румынские власти предложили политическое убежище участникам мятежа, но наотрез отказались снабжать броненосец. 20 июня «Потёмкин» для «продолжения борьбы» покинул румынские воды и взял курс на Феодосию. Ранним утром 22 июня «Потемкин» встал на феодосийском рейде и начал переговоры с городскими властями, угрожая обстрелом, если на борт корабля не будут доставлены провизия, вода и уголь. Однако на следующий день была получена только провизия, а попытка силой захватить угольные баржи оказалась отбита огнем. Сил на боевые действия против гарнизона Феодосии и стянутых в город войск у восставших уже не было, и 24 июня «Потёмкин» вернулся в Констанцу, приняв ранее предложенные условия румынской администрации. Покинутый корабль был в июле возвращён представителям Черноморского флота, заново освящён и, переименованный в «Св. Пантелеймона», передан новому экипажу.

273

В записи П. Н. Лукницкого пространного автобиографического рассказа Ахматовой 2 и 3 марта 1925 г., она говорит не о Евпатории, а о Херсонесе, где, якобы, жила «три года» (чего не было никогда). Возможно, это описка Лукницкого, фиксировавшего рассказ «на ходу», подобно стенографу, возможно – сознательная мистификация Ахматовой.

27 4

Современный адрес: переулок Анны Ахматовой, д. 21/16.

Ныне – гимназия им. Илии Сельвинского города Евпатории.

См.: *Никифорова Л. Л.* Евпаторийские связи семьи Горенко // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 11. Симферополь, 2013 С. 249; Летопись. С. 41. Прошение было направлено в правление Русско-Дунайского пароходства, членом которого состоял А. А. Горенко и где сотрудничал (вероятно, благодаря тестю) сам Штейн.

277

См.: *Никифорова Л. Л.* Ученики и учителя Горенко // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 8. Симферополь, 2010. С. 96–97. Отметим, что 18 лет Андрею исполнялось 23 сентября, так что Андрей Антонович в прошении чуть «торопит события».

Мешков Н. «На церковном дворе».

Послереволюционные «московские» периоды Ахматовой в конце 1910-х – 1920-х гг. совпадают с временем очень активного участия Мешкова в ранних «советских» литературных предприятиях и объединениях новой «Красной столицы», так что вполне можно допустить возможность их встречи. В марте 1936 г. он был арестован и осуждён на 5 лет лагерей. Последние годы он жил в Муроме, работая сторожем в больнице. В одном из предсмертных писем родным († 11 августа 1947 г.) так подвел итог жизни: «Мне невыносимо тяжело: надвигается ужасный конец в полном одиночестве». В 1990 г. Н. М. Мешков был посмертно реабилитирован.

280

1 (14) августа 1900 г. союзные войска так называемого Альянса Восьми Держав (России, Англии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Италии, США и Японии) под общим командованием Н. П. Линевича взяли Пекин, захваченный мятежниками-ихэтуанями (т. н. «восстание боксёров»).

Особую роль тут сыграла тайная дипломатия, причём главной негласной движущей силой запущенного процесса играл, по-видимому, германский император Вильгельм II, а бенефициаром, в итоге, стал, разумеется, Николай II, «переигравший» на этом поле и немцев, и японцев, и американцев, но получивший враждебное охлаждение в отношениях с Берлином. См. об этом: *Брюханов В.* «Заговор против мира. Кто развязал Первую Мировую войну. М., 2005 [Гл. 7 «Россия и Германия: последний шанс на союз»]).

282

В своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте с желчной иронией передает разговор с начальником Генерального штаба Ф. Ф. Палицыном, состоявшийся после подписания Портсмутского мира: «Я ему задал вопрос – просил ли Линевич Государя не заключать мира и вообще, почему он бездействовал все время с того момента, когда заговорили о мирных переговорах? На это он мне ответил: “теперь Линевичу, конечно, выгоднее всего кричать, что если бы мы не заключили мира, то он победил бы. Это совершенно естественно для мелких людей. Куропаткин идёт дальше, он уверяет, что все виноваты в его поражениях, кроме него самого”». Для сравнения стоит привести и письмо Куропаткина к военному министру А. Ф. Редигеру от 30 июня 1905 г. «Не доверяйте Витте. Для него все мы шашки. Но он сам спутал свою игру, и в дамки проходят совсем не те лица, которые были бы ему угодны. Может кончить плохо. <…> Лично ожидаю с нетерпением возобновления решительных военных действий. Верю, что победа, наконец, склониться на нашу сторону, но во всяком случае, если великая Россия хочет остаться великой и не быть вынужденной после позорного мира быстро готовиться к новой войне, надо настоящую войну вести с желательной настойчивостью ещё год, два, три, но до победы. В этом спасение не только России, но и Европы. Иначе семьсот миллионов азиатов под главенством Японии сделают попытку прописать законы Европе, начав с России в Сибири, Франции в Индокитае и Англии в Индии. Зашевелятся Персия и Турция. Такого ли результата мы желаем вместо преждевременного мечтательного идеала: стать без права и без нужды хозяевами на берегах Тихого океана?» Спор о стратегии, выбранной в 1904–1905 гг. руководителями русских сухопутных сил на Дальнем Востоке, ведется историками до сих пор и вряд ли когда-нибудь будет закончен.

283

Сын великого князя Николая Николаевича старшего (1831–1891), генерала-фельдмаршала и главнокомандующего в Балканскую войну, великий князь Николай Николаевич младший (1856–1929) также отличился в эту победоносную компанию. В армии ценили великого князя за личный боевой опыт, который в сочетании с образованием в Академии Генштаба позволял ему демонстрировать понимание военного дела. Он обладал весьма внушительной «генеральской» внешностью и незаурядными артистическими и ораторскими данными, умел пробудить в сослуживцах боевой дух и веру в скорое торжество Империи.

Выразительный, хотя и предвзятый портрет великого князя Николая Николаевича дает здравомыслящий прагматик А. Н. Куропаткин в уже цитированном письме от 30 июня 1905 г.: «Это опасный и нехороший человек. Он много зла причинил нашему чудному государю, подсовывая ему Филиппа [Низье, французского ясновидца и целителя], внушая ему, что он не может ошибаться, ибо он не человек, а сверхчеловек. Он же внушал ему недоверие к министрам. Я считаю Николая Николаевича ненормальным человеком. Людей он ненавидит, лошадей не любит, собак любит. То он изрыгает злобу на людей, то часами на коленях проводит за молитвой. Вред усугубляется тем, что знания и ум ограничены, а самолюбие безгранично. Физически немощен. Ноги его не держат. На них одеты особые механизмы. Развратен». С. Ю. Витте именовал великого князя «генералом с зайчиком в голове».

285

17 октября 1888 г. в 14 часов 14 минут на 295 км линии Курск– Харьков императорский поезд, на котором Александр III с семьей возвращался в Петербург из Крыма, сошёл с рельс. В катастрофе, причины которой точно не установлены, 21 человек погиб, 68 пострадали, но сам Император и Наследник престола (будущий Николай II) остались невредимыми, хотя их вагон попал в эпицентр катастрофы. В традиции русского православия это спасение воспринимается как явленное чудо.

Эта встреча на яхте «Полярная звезда» 11 (24) июля 1905 г. была результатом личной дипломатии Николая II. Был подписан тайный союзный договор между Россией и Германией, в обмен на который император Вильгельм II обязался оказать давление на Америку в ходе переговоров в Портсмуте и обеспечить оптимальные условия для заключения мира с Японией.

287

Террористка-народница Вера Ивановна Засулич (1849–1919) прославилась в 1878 г. покушением (неудачным) на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и, особенно, громким судебным процессом, на котором была оправдана судам присяжных. Для поколения революционной молодежи 1870-х годов она была олицетворением идеалов, вдохновлявших на революционную борьбу.

288

Ахаматова А. «У самого моря» (<1914>).

289

По свидетельству Ахматовой с 1900 по 1911 гг. она, «с большими перерывами», написала 200 стихотворений («Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет <… > Как курьез могу сообщить, что… “Песня последней встречи” моё двусотое стихотворение»).

290

Овидий. Метаморфозы (10, 300–301).

291

Дом, располагавшийся по нынешнему адресу Круглоуниверситетская, 20/1, не сохранился.

То есть ордена св. Станислава II степени и св. Анны II степени.

293

В. В. Вакар (1878–1926) являлся активным членом РСДРП(б), дружил с А. В. Луначарским и был связным В. И. Ленина. Во время революции 1905–1907 гг. он входил в революционный актив большевиков, проводящий в Киеве акции неповиновения. Под постоянным псевдонимом В. Правдин В. В. Вакар был видным деятелем российской революционной печати. К революционному движению в годы учёбы примыкал и его старший брат, Анатолий, военный врач, побывавший на японской войне и служивший затем в крепости Осовец.

Гумилёв Н. «Памяти Анненского» (1912).

295

Национальный музей естественной истории (*фр.*), влиятельная научная организация во Франции, объединяющая несколько исследовательских институтов, лабораторий, хранилищ и экспозиций в Париже и провинциях.

296

Группа французских литераторов и критиков XIX века, издававших сборники-антологии «Современный Парнас» (Теофиль Готье, Теодор де Банвиль, Леон Дьеркс, Ж-М. Эредиа, Ш. Леконт де Лиль и др.). «Парнасцы» являлись предтечами европейского символизма и заявляли о себе как сторонники «чистого искусства», уделяя особое внимание художественной форме и творческому мастерству художника.

Теофиль Готье. «Искусство» (*перевод Н. Гумилёва*).

298

См.: *Никифорова Л.* Ученики и учителя Горенко… С. 98. В монографии Аманды Хейт, биографическая часть которой представляет более-менее точную запись рассказа Ахматовой, об этом ключевом биографическом эпизоде 1906 г. сказано так: «Весной 1906 года Анна вместе с тётушкой поехала в Киев держать экзамены в гимназию. <…> Анна выдержала экзамены и вернулась на лето в Евпаторию. Гумилёв, который после окончания в июне гимназии собирался в Париж, приехал повидать Ахматову, и они помирились» (*Хейт А.* Анна Ахматова. Поэтическое странствие. М., 1991. С. 29).

299

Гумилёв Н. «Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны…»

300

Зимой 1905/06 гг., во время крестьянских беспорядков, в поместье Берёзки под Рязанью, где постоянно отдыхал в летний сезон Степан Яковлевич Гумилев с семейством, случился поджог, двор выгорел и в мае-июне 1906 г. там вовсю шёл ремонт. За рабочими надзирала только Александра Сверчкова, но со сводною сестрою Гумилёв был очень дружен и полагал договориться с лёгкостью. В её «Записях о семье Гумилёвых» сохранились подробности: брат приехал не один, а со своим приятелем по Николаевской гимназии, Алексеем Ягубовым. Тот давно сох по дочери какого-то рязанского инспектора. Девицу почему-то тиранили, отказывая во встречах и переписке. План друзей заключался в том, чтобы, совместными усилиями, доставить в Берёзки Ахматову из Евпатории и инспекторскую дочку из Рязани, повенчаться одновременно в ближайшем сельском храме – а там будь, что будет. Профессиональный педагог, Александра Сверчкова, по её словам, употребила всё своё учительское красноречие, убеждая Ягубова оставить инспекторскую дочку в родительском доме и искать других путей к счастливому брачному союзу. Действовала умудрённая жизнью Александра Степановна тактично и хитро. Через несколько дней Ягубов потерял решимость и покинул Рязанскую губернию ни с чем. Но Гумилёв, проводив друга, всё-таки отправился в Крым. Возможно, Сверчкова понимала, что брата ей не остановить, а Ахматовой, в отличие от невесты Ягубова, терять уже нечего.

301

По данным В. Я. Черных Эразм Александрович Змунчилла (1863–1917) жил в Конотопе, был женат, имел двух сыновей – Игоря и Эразма. Игорь Эразмович Змунчилла (1890–1945?) происходил из дворян Подольской губернии, окончил Полтавский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище и авиационную школу в Севастополе; перед Первой мировой войной стал летчиком, командовал эскадрильей в Добровольческой армии, эвакуировался с войсками Врангеля из Крыма; в конце Второй мировой войны пропал без вести. У него были сыновья Александр и Владимир. Владимир Игоревич Змунчилла (1928–1992) родился в Югославии, окончил Русский кадетский корпус в г. Бела Црква; после войны переселился в Канаду, был «кем-то вроде адъютанта» у великой княгини Ольги Александровны и её мужа Н. А. Куликовского; имел двух сыновей Игоря и Эразма и дочь Татьяну. Последняя работает генеральным менеджером филиала американской компании в Торонто (см.: *Черных В.Я.* О родственных связях семей Змунчилла и Горенко // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 8. Симферополь, 2010. С. 79–92.

302

Анна Александровна Яворская (урожденная Змунчилла) после замужества жила в Польше, имела сыновей Константина, Георгия, Александра и дочь Екатерину.

303

Устный архаичный вариант произношения слова «Рождество», сохранявшийся в употреблении в начале XX в.

304

9 июля 1906 г., через два дня после назначения П. А. Столыпина председателем Совета министров, вышел Высочайший Манифест о роспуске I-й Думы, в котором, в частности, говорилось, что «выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область». В тот же день петербургский Таврический дворец, где проходили заседания, был закрыт и оцеплен войсками. Часть депутатов переместилась в Выборг, где издала «Воззвание» с призывами к гражданскому неповиновению. Вскоре все мятежные депутаты были арестованы, приговорены к трём месяцам заключения и лишены избирательных прав. Новая, II-я Дума была созвана в феврале 1907 г.

В уже упомянутых воспоминаниях А. П. Беклемишева об этом семейном «революционном» инциденте рассказывается так: «В 1905 году Владимир Викторович написал статью в газете <”Киевское Слово”>. Он был старый сотрудник газеты, во время русско-японской войны писал военные обозрения с приложением схем позиций и с рассуждениями о том, куда сунутся Того, Ноги и Камимура или куда отступит Куропаткин или Линевич под Ляояном или Мукденом. Но упомянутая статья 1905 года была другого характера, и в ней усмотрели призыв к ниспровержению существующего строя. Делу дан был законный ход, но ход медленный, и в 1907 году, когда можно было ожидать приговора, Владимир Викторович уехал за границу с женой и маленьким сыном Гогой. Они побывали в Париже, в Швейцарии и осели в Германии. <…> Осенью 1907 года в Бланкенбурге Владимир Викторович решил окончательно возвращаться в Россию и отбыть наказание в крепости. По прибытии из-за границы он был посажен в одиночку, знакомой ему по студенческим временам Лукьяновской тюрьмы, в Киеве, которая засчитывалась в качестве “крепости”. Режим был не слишком строгий: он имел свидания и ему разрешалось получать книги. Анна Эразмовна, Виктор Модестович и Мария Антоновна остались на лето в Киеве, чтобы навещать Владимира Викторовича в тюрьме. <…> Владимир Викторович был человеком очень тонкой нервной системы. Он много передумал за год “крепости” и, войдя в камеру социал-демократом большевиком, вышел из неё христианским социалистом».